ГЛАВПОЛИТПРОСВЕТ

КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 3 (13)

МАЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1923 ПЕТРОГРАД

Москва. Главлит № 7984. Гиз. 4551. 11.000 экз.
„Мосполиграф". 16-я типография, Трехпрудный, 9.

Автобиографические рассказы.

М. Горький.

(Продолжение)

Умерла бабушка. Я узнал о смерти ее через семь недель после похорон, из письма, присланного двоюродным братом моим. В кратком письме—без запятых—было сказано, что бабушка, собирая милостыню на паперти церкви, упала, сломала себе ногу, на восьмой день „прикинулся Антонов огонь". Позднее я узнал, что оба брата и сестра с детьми,—здоровые, молодые люди — сидели на шее старухи, питаясь милостыней, собранной ею. У них не хватило разума позвать доктора.

В письме было сказано:

„Схоронили ее на Петропавловском где все наши провожали мы и нищие они ее любили и плакали. Дедушка тоже плакал нас прогнал а сам остался на могиле мы смотрели из кустов как он плакал он тоже скоро помрет".

Я—не плакал, только — помню — точно ледяным ветром охватило меня. Ночью, сидя на дворе, на поленнице дров, я почувствовал настойчивое желание рассказать кому-нибудь о бабушке, о том, какая она была сердечно-умная, мать всем людям. Долго носил я в душе это тяжелое желание, но рассказать было некому, так оно невысказанное и перегорело.

Я вспомнил эти дни много лет спустя, когда прочитал удивительно правдивый рассказ А. П. Чехова про извозчика, который беседовал с лошадью о смерти сына своего. И пожалел, что в те дни острой тоски не было около меня ни лошади, ни собаки и что я не догадался поделиться горем с крысами, — их было много в пекарне, и я жил с ними в отношениях доброй дружбы.

Около меня начал коршуном кружиться городовой Никифорыч. Статный, крепкий, в серебряной щетине на голове, с окладистой, заботливо подстриженной бородкой, он, вкусно причмокивая, смотрел на меня, точно на битого гуся перед Рождеством.

— Читать любишь, слышал я?—спрашивал он.—Какие же книги, например? Скажем—Жития святых, али Библию?

И Библию читал я, и Четьи Минеи, — это удивляло Никифорыча, видимо сбивая его с толка.

— М-да? Чтение—законно полезное! А—графа Толстого сочинений не случалось читывать?

Читал я и Толстого, но — оказалось — не те сочинения, которые интересовали полицейского.

— Это, — скажем так — обыкновенные сочинения, которые все пишут, а, говорят, в некоторых он против попов вооружился, — их бы почитать!

„Некоторые", напечатанные на гектографе, я тоже читал, но они мне показались скучными, и я знал, что о них не следует рассуждать с полицией.

После нескольких бесед на ходу, на улице, старик стал приглашать меня:

— Заходи ко мне на будку, чайку попить.

Я, конечно, понимал, чего он хочет от меня, но — мне хотелось итти к нему. Посоветовался с умными людьми, и было решено, что если я уклонюсь от любезности будочника, — это может усилить его подозрения против пекарни.

И вот, — я в гостях у Никифорыча. Треть маленькой конуры занимает русская печь, треть — двуспальная кровать за ситцевым пологом, со множеством подушек в кумачевых наволоках, остальное пространство украшает шкаф для посуды, стол, два стула и скамья под окном. Никифорыч, расстегнув мундир, сидит на скамье, закрывая телом своим единственное, маленькое окно; рядом со мною—его жена, пышногрудая бабенка лет двадцати, румяно-ликая, с лукавыми и злыми глазами странного, сиреневого цвета; ярко-красные губы ее капризно надуты, голосок сердито суховат.

— Известно мне, — говорит полицейский, — что в пекарню к вам ходит крестница моя Секлетея, — это девка распутная и подлая. И все бабы—подлые.

— Все?—спрашивает его жена.

— До одной!—решительно подтверждает Никифорыч, брякая медалями, точно конь сбруей. И, выхлебнув с блюдца чай, смачно повторяет:

— Подлые и распутные от последней уличной... и даже до цариц. Савская царица к царю Соломону пустыней ездила за тысячи верст для распутства. А также царица Екатерина, хоша и прозвана Великой...

Он подробно рассказывает историю какого-то истопника, который за одну ночь с царицей получил все чины от сержанта до генерала. Его жена, внимательно слушая, облизывает губы и толкает ногою, под столом, мою ногу. Никифорыч говорит очень плавно, вкусными словами и как-то, незаметно для меня, переходит на другую тему:

— Например: есть тут студент первого курса Плетнев.

Супруга его, вздохнув, вставила:

— Не красивый, а — хорош.

— Кто?

— Господин Плетнев.

— Во-первых,—не господин, господином он будет, когда выучится а, покамест, просто студент, каких у нас тысячи. Во-вторых—что значит—хорош?

— Веселый. Молодой.

— Во-первых,—паяц в балагане тоже веселый...

— Паяц—за деньги веселится.

-- Цыц! Во-вторых, и кобель кутенком бывает...

— Паяц—вроде обезьяны...

— Цыц, сказал я, между прочим! Слышала?

— Ну, слышала.

— То-то...

И Никифорыч, укротив жену, советует мне:

— Вот—познакомься-ко с Плетневым,—очень интересный.

Так как он видел меня с Плетневым на улице, вероятно, не один раз, я говорю:

— Мы знакомы.

— Да? Вот как...

В его словах звучит досада, он порывисто двигается, брякают медали. А я—насторожился: мне было известно, что Плетнев печатает на гектографе некие листочки.

Женщина, толкая меня ногою, лукаво подзадоривает старика, а он, надуваясь павлином, распускает пышный хвост своей речи. Шалости супруги его мешают мне слушать, и я снова не замечаю, когда изменился его голос, стал тише, внушительнее.

— Незримая нить—понимаешь?—спрашивает он меня и смотрит в лицо мое округленными глазами, точно испугавшись чего-то.

— Прими Государь-Императора за паука...

— Ой, что ты!—воскликнула женщина.

— Тебе—молчать. Дура,—это говорится для ясности, а не в поношение, кобыла. Убирай самовар...

Сдвинув брови, прищурив глаза, он продолжал внушительно:

— Незримая нить, как бы паутинка, исходит из сердца Его Императорского Величества Государь Императора Александра Третьего и прочая,—проходит она сквозь господ министров, сквозь Его Высокопревосходительство Губернатора и все чины вплоть до меня и даже до последнего солдата. Этой нитью все связано, все оплетено незримой крепостью ее и держится на веки вечные Государево Царство. А—полячишки, жиды и русские, подкупленные хитрой Английской Королевой, стараются эту нить порвать где можно, будто бы они—за народ!

Грозным шопотом он спрашивает, наклоняясь ко мне через стол:

— Понял? То-то. Я тебе почему говорю? Пекарь твой хвалит тебя, ты, дескать, парень умный, честный и живешь—один. А к вам, в булочную, студенты шляются, сидят у Деренковой по ночам. Ежели—один, понятно. Но—когда много? А? Я против студентов не говорю—

сегодня он студент, а завтра—товарищ прокурора. Студенты—хороший народ, только они торопятся роли играть и враги Царя—подзуживают их. Понимаешь? И еще скажу...

Но он не успел сказать — дверь широко распахнулась, вошел красноносый, маленький старичок с ремешком на кудрявой голове, с бутылкой водки в руке и уже выпивший.

— Шашки двигать будем? — весело спросил он и тотчас весь заблестел огоньками прибауток.

— Тесть мой, жене отец,—с досадой, угрюмо сказал Никифорыч.

Через несколько минут я простился и ушел, лукавая баба, притворяя за мною дверь будки, ущипнула меня, говоря:

— Облака-то какие красные—огонь!

В небе таяло одно маленькое, золотистое облако.

Не желая обижать учителей моих, я скажу, все-таки, что будочник решительнее и нагляднее, чем они, объяснил мне устройство государственного механизма. Где-то сидит паук, и от него исходит, скрепляя, опутывая всю жизнь, „незримая нить". Я скоро научился всюду ощущать крепкие петельки этой нити.

Поздно вечером, заперев магазин, хозяйка позвала меня к себе и деловито сообщила, что ей поручено узнать—о чем говорил со мною булочник?

— Ах! Боже мой?—тревожно воскликнула она, выслушав подробный доклад, и забегала, как мышь, из угла в угол комнаты, встряхивая головою.—Что,—пекарь не выспрашивает вас ни о чем? Ведь его любовница—родня Никифорыча, да? Его надо прогнать.

Я стоял прислонясь у косяка двери, глядя на нее исподлобья. Она как-то слишком просто произнесла слово—„любовница", это не понравилось мне. И не понравилось ее решение прогнать пекаря.

— Будьте очень осторожны,—говорила она, и, как всегда, меня смущал цепкий взгляд ее глаз, казалось—он спрашивает меня о чем-то, чего я не могу понять. Вот она остановилась предо мною, спрятав руки за спину.

— Почему вы всегда такой угрюмый?

— У меня недавно бабушка умерла.

Это показалось ей забавным,—улыбаясь, она спросила:

— Вы очень любили ее?

— Да. Больше вам ничего не нужно?

— Нет.

Я ушел и ночью написал стихи, в которых, помню, была упрямая строка.

— „Вы—не то, чем хотите казаться".

Было решено, чтоб студенты посещали булочную возможно реже. Не видя их, я почти потерял возможность спрашивать о непонятном мне в прочитанных книгах и стал записывать вопросы, интересовавшие

меня, в тетрадь. Но однажды, усталый, заснул над нею, а пекарь прочитал мои записки. Разбудив меня он спросил:

— Что это ты пишешь? „Почему Гарибальди не прогнал короля?“ Что такое Гарибальди? И—разве можно гонять королей?

Сердито бросил тетрадь на ларь, залез в приямок и ворчал там:

— Скажи, пожалуйста—королей гонять надобно ему. Смешно. Ты эти затеи—брось. Читатель. Лет пять тому назад в Саратове таких читателей жандармы ловили, как мышей, да. Тобой и без этого Никифорыч интересуется. Ты—оставь королей гонять.

Он говорил с добрым чувством ко мне, а я не мог ответить ему так, как хотелось бы,—мне запретили говорить с пекарем на „опасные темы“.

В городе ходила по рукам какая-то волнующая книжка, ее читали и—ссорились. Я попросил ветеринара Лаврова достать мне ее, но он безнадежно сказал:

— Э, нет, батя, не ждите. Впрочем—кажется, ее на-днях будут читать в одном месте, может быть я сведу вас туда...

В полночь „Успеньева дня“ я шагаю Арским полем, следя, сквозь тьму, за фигурой Лаврова—он идет сажен на пятьдесят впереди. Поле—пустынно, а все-таки я иду „с предосторожностями“—так советовал Лавров,—насвистываю, напеваю, изображая „мастерового под хмельком“. Надо мною лениво плывут черные клочья облаков, между ними золотым мячом катится луна, тени кроют землю, лужи блестят серебром и сталью. За спиною сердито гудит город.

Путеводитель мой останавливается у забора какого-то сада за Духовной Академией, я торопливо догоняю его. Молча перелезаем через забор, идем густо заросшим садом, задевая ветви деревьев, крупные капли воды падают на нас. Остановясь у стены дома, тихо стучим в ставень наглухо закрытого окна,—окно открывает кто-то бородатый, за ним я вижу тьму и не слышу ни звука.

— Кто?

— От Якова.

— Влезайте.

В кромешней тьме чувствуется присутствие многих людей, слышен шорох одежд и ног, тихий кашель, шопот. Вспыхивает спичка, освещая мое лицо, я вижу у стен на полу несколько темных фигур.

– Все?

— Да.

— Занавесьте окна, чтобы не видно было свет сквозь щели ставень.

Сердитый голос громко говорит:

— Какой это умник придумал собрать нас в нежилом доме?

— Тише.

В углу зажгли маленькую лампу. Комната—пустая, без мебели, только—два ящика, на них положена доска, а на доске, как галки на заборе—сидят пятеро людей. Лампа стоит тоже на ящике, поставлен-

ном „попом“. На полу у стен еще трое и на подоконнике один—юноша с длинными волосами, очень тонкий и бледный. Кроме его и бородача я знаю всех. Бородатый басом говорит, что он будет читать брошюру „Наши разногласия“, ее написал Георгий Плеханов, „бывший народоволец“.

Во тьме, на полу кто-то рычит:

— Знаем!

Таинственность обстановки приятно волнует меня; поэзия тайны—высшая поэзия. Чувствую себя верующим за утренней службой во храме и вспоминаю катакомбы, первых христиан. Комнату наполняет глуховатый бас, отчетливо произнося слова.

— Ер-рунда,—снова рычит кто-то из угла.

Там, в темноте загадочно и тускло блестит какая-то медь, напоминая о шлеме воина. Догадываюсь, что это отдушник печи.

В комнате гудят пониженные голоса, они сцепились в темный хаос горячих слов, и нельзя понять кто чтб говорит. С подоконника, над моей головой, насмешливо и громко спрашивают:

— Будем читать или нет?

Это говорит длинноволосый бледный юноша. Все замолчали, слышен только бас чтеца. Вспыхивают спички, сверкают красные огоньки папирос, освещая задумавшихся людей, прищуренные или широко раскрытые глаза.

Чтение длится утомительно долго, я устаю слушать, хотя мне нравятся острые и задорные слова, легко и просто они укладываются в убедительные мысли.

Как-то сразу, неожиданно пересекается голос чтеца, и тотчас же комната наполнилась возгласами возмущения:

— Ренегат!

— Медь звенящая!..

— Это—плевок в кровь, пролитую героями.

— После казни Генералова, Ульянова!..

И снова с подоконника раздается голос юноши:

— Господа,—нельзя ли заменить ругательства серьезными возражениями, по существу?

Я не люблю споров; не умею слушать их, мне трудно следить за капризными прыжками возбужденной мысли, и меня всегда раздражает обнаженное самолюбие спорящих.

Юноша, наклонясь с подоконника, спрашивает меня:

— Вы—Пешков, булочник? Я—Федосеев. Нам надо бы познакомиться. Собственно—здесь делать нечего, шум этот—надолго, а пользы в нем мало. Идемте?

О Федосееве я уже слышал, как об организаторе очень серьезного кружка молодежи, и мне понравилось его бледное, нервное лицо с глубокими глазами.

Идя со мною полем, он спрашивал—есть ли у меня знакомства среди рабочих, что я читаю, много ли имею свободного времени и между прочим сказал:

— Слышал я об этой булочной вашей,—странно, что вы занимаетесь чепухой. Зачем это вам?

С некоторой поры я и сам чувствовал, что мне это не нужно, о чем и сказал ему. Его обрадовали мои слова, крепко пожав мне руку, ясно улыбаясь, он сообщил, что через день уезжает недели на три, а возвратясь, даст мне знать, как и где мы встретимся

Дела булочной шли весьма хорошо, лично мои—все хуже. Переехали в новую пекарню и количество обязанностей моих возросло еще более. Мне приходилось работать в пекарне, носить булки по квартирам, в Академию и в „Институт благородных девиц". Девицы, выбирая из корзины моей сдобные булки, подсовывали мне записочки, и нередко на красивых листочках бумаги я с изумлением читал циничные слова, написанные полудетским почерком. Странно чувствовал я себя, когда веселая толпа чистеньких, ясноглазых барышень, окружала корзину и, забавно гримасничая, перебирала маленькими розовыми лапками кучу булок,—смотрел я на них и старался угадать—которые пишут мне бесстыдные записки, может быть, не понимая их зазорного смысла? И вспоминая грязные дома „дома утешения", думал:

— Неужели из этих домов и сюда простирается „незримая нить".

Одна из девиц, полногрудая брюнетка, с толстой косою, остановив меня в коридоре, сказала торопливо и тихо:

— Дам тебе десять копеек, если ты отнесешь эту записку по адресу.

Ее темные, ласковые глаза налились слезами, она смотрела на меня крепко прикусив губы, а щеки и уши у нее густо покраснели. Принять десять копеек я благородно отказался, а записку взял и вручил сыну одного из членов Судебной Палаты, длинному студенту с чахоточным румянцем на щеках. Он предложил мне полтинник, молча и задумчиво отсчитав деньги мелкой медью, а когда я сказал, что это мне не нужно—сунул медь в карман своих брюк, но—не попал, и деньги рассыпались по полу.

Растерянно глядя, как пятаки и семишники катятся во все стороны, он потирал руки так крепко, что трещали суставы пальцев и бормотал, трудно вздыхая:

— Что же теперь делать? Ну, прощай! Мне нужно подумать...

Не знаю, что он выдумал, но я очень пожалел барышню. Скоро она исчезла из Института, а лет через пятнадцать, я встретил ее учительницей в одной крымской гимназии, она страдала туберкулезом и говорила обо всем в мире с беспощадной злобой человека, оскорбленного жизнью.

Кончив разносить булки, я ложился спать, вечерком работал в пекарне, чтоб к полуночи выпустить в магазин сдобное,—булочная по-

мещалась около Городского театра и после спектакля публика заходила к нам истреблять горячие слойки. Затем шел месить тесто для весового хлеба и французских булок, а замесить руками пятнадцать, двадцать пудов,—это не игрушка.

Снова спал часа два, три и снова шел разносить булки.

Так—изо дня в день.

А мною овладел нестерпимый зуд сеять „разумное, доброе, вечное". Человек общительный, я умел живо рассказывать, фантазия моя была возбуждена пережитым и прочитанным. Очень немного нужно было мне для того, чтоб из обыденного факта создать интересную историю, в основе которой капризно извивалась „незримая нить". У меня были знакомства с рабочими фабрик Крестовникова и Алафузова; особенно близок был мне старик ткач Никита Рубцов, человек, работавший почти на всех ткацких фабриках России, беспокойная, умная душа.

— Пятьдесят и семь лет хожу я по земле, Лексей, ты мой Максимыч, молодой ты мой шиш, новый челночек!—говорил он придушенным голосом, улыбаясь больными, серыми глазами в темных очках, самодельно связанных медной проволокой, от которой у него на переносице и за ушами являлись зеленые пятна окиси. Ткачи звали его „Немцем", за то, что он брил бороду, оставляя тугие усы и густой клок седых волос под нижней губой. Среднего роста, широкогрудый он был исполнен скорбной веселостью.

— Люблю в цирк ходить,—говорил он, склоняя на левое плечо лысый, шишковатый череп.—Лошадей—скотов—как выучивают, а? Утешительно. Гляжу на скот с почтением,—думаю: ну, значит, и людей можно научить пользоваться разумом. Скота—сахаром подкупают циркачи, ну, мы, конечно, сахар в лавочке купить способны. Нам—для души сахар нужно, а это будет—ласка! Значит, парень, лаской надо действовать, а не поленом, как установлено промежду нас,—верно?

Сам он был не ласков с людьми, говорил с ними полупрезрительно и насмешливо, в спорах возражал односложными восклицаниями, явно стараясь обидеть совопросника. Я познакомился с ним в пивной, когда его собирались бить и уже дважды ударили, я вступился и увел его.

— Больно ударили вас?—спросил я, идя с ним во тьме, под мелким дождем осени.

— Ну,—так ли бьют?—равнодушно сказал он.—Постой-ка,—почему это ты со мной на „вы" говоришь?

С этого и началось наше знакомство. Вначале он высмеивал меня остроумно и ловко, но когда я рассказал ему, какую роль в нашей жизни играет „незримая нить", он задумчиво воскликнул:

— А ты—не глуп, нет! Ишь ты?..—и стал относиться ко мне отечески ласково, даже именуя меня по имени и отчеству.

— Мысли твои, Лексей, ты мой Максимыч, шило мое милое — правильные мысли, только никто тебе не поверит, не выгодно...

— Вы же верите?

— Я—пес бездомный, короткохвостый, а народ состоит из цепных собак, на хвосте каждого репья много: жены, дети, гармошки, калошки. И каждая собачка обожает свою конуру. Не поверят. У нас, — у Морозова на фабрике — было дело! Кто впереди идет, того по лбу бьют, а лоб—не задница, долго саднится.

Он стал говорить несколько иначе, когда познакомился со слесарем Шапошниковым, рабочим Крестовникова, — чахоточный Яков, гитарист, знаток Библии поразил его яростным отрицанием Бога. Расплевывая во все стороны кровавые шматки изгнивших легких, Яков крепко и страстно доказывал:

— Первое: создан я вовсе не „по образу и подобию Божию", я ничего не знаю, ничего не могу и, притом, не добрый человек, нет не добрый. Второе: Бог не знает как мне трудно, или знает, да не в силе помочь, или может помочь,—да—не хочет. Третье: Бог не всезнающий, не всемогущий, не милостив, а—проще—нет его. Это — выдумано, все выдумано, вся жизнь выдумана; однако—меня не обманешь.

Рубцов изумился до немоты, потом посерел от злости и стал дико ругаться, но Яков торжественным языком цитат из Библии обезоружил его, заставил умолкнуть и вдумчиво съежиться.

Говоря, Шапошников становился почти страшен. Лицо у него было смуглое, тонкое, волосы курчавые и черные как у цыгана, из-за синеватых губ сверкали волчьи зубы. Темные глаза его неподвижно упирались прямо в лицо противника, и трудно было выдержать этот тяжелый, сгибающий взгляд—он напоминал мне глаза больного манией величия.

Идя со мною от Якова, Рубцов говорил угрюмо:

— Против Бога предо мной не выступали. Этого я никогда не слыхал. Всякое слышал, а такого—нет. Конечно, человек этот не жилец на земле. Ну, — жалко. Раскалился до бела... Интересно, брат, очень интересно.

Он быстро и дружески сошелся с Яковом и весь как-то закипел, заволновался, то-и-дело отирая пальцами больные глаза.

— Та-ак,—ухмыляясь, говорил он,—Бога, значит, в отставку? Хм. На счет царя у меня, шпигорь ты мой, свои слова: мне царь не помеха. Не в царях дело,—в хозяевах. Я с каким хошь царем помирюсь, хошь с Иваном Грозным: на, сиди, царствуй, коли любо, только—дай ты мне управу на хозяина—во-от. Дашь—золотыми цепями к престолу прикую, молиться буду на тебя...

Прочитав „Царь-Голод", он сказал:

— Все—обыкновенно правильно.

Впервые видя литографированную брошюру, он спрашивал меня:

— Кто это тебе написал? Четко пишет. Ты скажи ему—спасибо.

Рубцов обладал ненасытной жадностью знать. С величайшим напряжением внимания он слушал сокрушительные богохульства Шапош-

никова, часами слушал мои рассказы о книгах и радостно хохотал, закинув голову, выгибая кадык, восхищаясь:

— Ловкая штучка умишко человечий, ой, ловкая!

Сам он читал с трудом, — мешали больные глаза, но он тоже много знал и, нередко, удивлял меня этим:

— Есть у немцев плотник необыкновенного ума,—его сам король на советы приглашает.

Из расспросов моих выяснилось, что речь идет о Бебеле.

— Как вы это знаете?

— Знаю, — кратко отвечал он, почесывая мизинцем шишковатый череп свой.

Шапошникова не занимала тяжкая сумятица жизни, он был весь поглощен уничтожением Бога, осмеянием духовенства, особенно ненавидя монахов.

Однажды Рубцов миролюбиво спросил его:

— Что ты, Яков, все только против Бога кричишь?

Он завыл еще более озлобленно:

— А что еще мешает мне, ну? Я почти два десятка лет воровал, в страхе жил пред ним! Терпел. Спорить—нельзя. Установлено сверху. Жил связан. Вчитался в Библию,—вижу: выдумано. Выдумано, Никита!

И, размахивая рукою, точно разрывая „незримую нить", он почти плакал:

— Вот—умираю через это раньше время!

Было у меня еще несколько интересных знакомств, нередко забегал я в пекарню Семенова к старым товарищам, они принимали меня радостно, слушали охотно. Но—Рубцов жил в Адмиралтейской слободе, Шапошников—в Татарской, далеко за кабаном, верстах в пяти друг от друга, я очень редко смог видеть их. А ко мне ходить — невозможно, негде было принять гостей, к тому же новый пекарь, — отставной солдат,—вел знакомство с жандармами: задворки Жандармского Управления соприкасались с нашим двором, и солидные „синие мундиры" лазили к нам через забор — за булками для полковника Гангардта и хлебом для себя. — И еще — мне было рекомендовано не очень „высовываться в люди", дабы не привлекать к булочной излишнего внимания.

Я видел, что работа моя теряет смысл. Все чаще случалось, что люди, не считаясь с ходом дела, выбирали из кассы деньги так неосторожно, что иногда нечем было платить за муку. Деренков, теребя бородку, уныло усмехался:

— Обанкротимся.

Ему жилось тоже плохо: рыжекудрая Настя ходила „не порожней" и фыркала злой кошкой, глядя на все и на всех зеленым, обиженным взглядом.

Она шагала прямо на Андрея, как будто не видя его; он, виновато ухмыляясь, уступал ей дорогу и вздыхал.

Иногда он жаловался мне:

— Не серьезно все. Все все берут, — без толку. Купил себе полдюжины носков—сразу исчезли.

Это было смешно — о носках, — но я не смеялся, видя как бьется скромный, бескорыстный человек, стараясь наладить полезное дело, а все вокруг относятся к этому делу легкомысленно и беззаботно, разрушая его. Деренков не рассчитывал на благодарность людей, которым служил, но—он имел право на отношение к нему более внимательное, дружеское, — и не встречал этого отношения. А семья его быстро разрушалась: отец заболевал тихим помешательством на религиозной почве; младший брат начал пить и гулять с девицами; сестра вела себя, как чужая, и у нее, видимо, разыгрывался невеселый роман с рыжим студентом, — я часто замечал, что глаза ее опухли от слез, и студент стал ненавистен мне.

Мне казалось, что я влюблен в Марию Деренкову. Я был влюблен также в продавщицу из нашего магазина Надежду Щербатову, дородную, краснощекую девицу, с неизменно ласковой улыбкой алых губ. Я вообще был влюблен. Возраст, характер и запутанность моей жизни требовали общения с женщиной и это было скорее поздно, чем преждевременно. Мне необходима была женская ласка, или, хотя бы, дружеское внимание женщины, нужно было говорить откровенно о себе, разобраться в путанице бессвязных мыслей, в хаосе впечатлений.

Друзей у меня — не было. Люди, которые смотрели на меня, как на „материал, подлежащий обработке", не возбуждали моих симпатий, не вызывали на откровенность. Когда я начинал говорить им не о том, что интересовало их,—они советовали мне:

— Бросьте это!

Гурия Плетнева арестовали и отвезли в Петербург, в „Кресты". Первый сказал мне об этом Никифорыч, встретив меня рано утром на улице. Шагая навстречу мне задумчиво и торжественно, при всех медалях,—как будто возвращаясь с парада — он поднял руку к фуражке и молча разминулся со мной, но, тотчас остановясь, сердитым голосом сказал в затылок мне:

— Гурия Александровича арестовали сегодня ночью...

И, махнув рукою, добавил потише, оглядываясь:

— Пропал юноша!

Мне показалось, что на его хитрых глазах блестят слезы.

Я знал, что Плетнев ожидал ареста, — он сам предупредил меня об этом и советовал не встречаться с ним ни мне, ни Рубцову, с которым он так же дружески сошелся, как и я.

Никифорыч, глядя под ноги себе, скучно спросил:

— Что не приходишь ко мне?..

Вечером я пришел к нему, он только что проснулся и, сидя на постели, пил квас; жена его, согнувшись у окошка, чинила штаны.

— Так-то, вот!—заговорил будочник, почесывая грудь, обросшую енотовой шерстью и глядя на меня задумчиво.—Арестовали. Нашли у него кастрюлю,—он в ней краску варил для листков против Государя.

И, плюнув на пол, он сердито крикнул жене:

— Давай штаны!

— Сейчас,—ответила она, не поднимая головы.

— Жалеет, плачет,—говорил старик, показав глазами на жену. — И мне—жаль. Однако—что может сделать студент против Государя?

Он стал одеваться, говоря:

— Я на минуту выйду... Ставь самовар, ты.

Жена его неподвижно смотрела в окно, но когда он скрылся за дверью будки, она, быстро повернувшись, протянула к двери туго сжатый кулак, сказав с великой злобой сквозь оскаленные зубы:

– У, стерво старое!

Лицо у нее опухло от слез, левый глаз почти закрыт большим синяком. Вскочила, подошла к печи и, наклоняясь над самоваром, зашипела:

— Обману я его, так обману — завоет! Волком завоет. Ты — не верь ему, ни единому слову не верь! Он тебя ловит. Врет он,—никого ему не жаль. Рыбак. Он — все знает про вас. Этим живет. Это охота его—людей ловить...

Она подошла вплоть ко мне и голосом нищенки сказала:

— Приласкал бы ты меня, а?

Мне была неприятна эта женщина, но ее глаз смотрел на меня с такою злой, острой тоской, что я обнял ее и стал гладить жестковатые волосы, растрепанные и жирные.

— За кем он теперь следит?

— На Рыбнорядской, в номерах за какими-то.

— Не знаешь фамилию?..

Улыбаясь, она ответила:

— Вот я скажу ему, про что ты спрашиваешь меня. Идет... Гурочку-то он выследил...

И отскочила к печке.

Никифорыч принес бутылку водки, варенья, хлеба. Сели пить чай. Марина, сидя рядом со мною, подчеркнуто ласково угощала меня, заглядывая в лицо мое здоровым глазом, а супруг ее внушал мне:

— Незримая эта нить—в сердцах, в костях, ну-ко—вытрави, выдери ее? Царь—народу—Бог.

И неожиданно спросил:

— Ты, вот, начитан в книгах, Евангелие читал? Ну, как, по-твоему все верно там?

— Не знаю.

— По-моему—приписано лишнее. И—не мало. Например—на счет нищих: блаженны нищие,—чем же это блаженны они? Зря немножко сказано. И вообще—насчет бедных—много непонятного. Надо разли-

чать: бедного от обедневшего. Беден—значит—плох. А кто обеднел—он несчастлив, может быть. Так надо рассуждать. Это—лучше.

— Почему?

Он, пытливо глядя на меня, помолчал, а потом заговорил отчетливо и веско, видимо—очень продуманные мысли.

— Жалости много в Евангелии, а жалость—вещь вредная. Так я думаю. Жалость требует громадных расходов на ненужных и вредных даже людей. Богадельни, тюрьмы, сумасшедшие дома. Помогать надо людям крепким, здоровым, чтоб они зря силу не тратили. А мы помогаем слабым,—слабого разве сделаешь сильным? От этой канители крепкие слабеют, а слабые—на шее у них сидят. Вот чем заняться надо—этим. Передумать надо многое. Надо понять—жизнь давно отвернулась от Евангелия, у нее—свой ход. Вот, видишь—из чего Плетнев пропал? Из-за жалости. Нищим подаем, а студенты пропадают. Где здесь разум, а?

Впервые слышал я эти мысли в такой резкой форме, хотя и раньше сталкивался с ними,—они более живучи и шире распространены, чем принято думать. Лет через семь, читая о Ницше, я очень ярко вспомнил философию казанского городового. Скажу кстати: редко встречались мне в книгах мысли, которых я не слышал раньше, в жизни.

А старый „ловец человеков" все говорил, постукивая в такт словам пальцами по краю подноса. Сухое лицо его строго нахмурилось, но смотрел он не на меня, а в медное зеркало ярко вычищенного самовара.

— Итти пора тебе,—дважды напоминала ему жена, он не отвечал ей, нанизывал слово за словом на стержень своей мысли,—и вдруг она, неуловимо для меня, потекла по новому пути.

— Ты—парень не глупый, грамотен, разве пристало тебе булочником быть? Ты мог бы не меньше деньги заработать и другой службой Государеву Царству...

Слушая его, я думал, как предупредить незнакомых мне людей на Рыбнорядской улице, о том, что Никифорыч следит за ними? Там, в номерах, жил недавно возвратившийся из ссылки—из Ялуторовска—Сергей Сомов, человек, о котором мне рассказывали много интересного.

— Умные люди должны жить кучей, как, примерно, пчелы в улье, или осы в гнездах. Государево Царство...

— Гляди—девять часов,—сказала женщина.

— Чорт!

Никифорыч встал, застегивая мундир.

— Ну, ничего, на извозчике поеду. Прощай, брат! Заходи, не стесняйся.

Уходя из будки, я твердо сказал себе, что уже никогда больше не приду в „гости" к Никифорычу—отталкивал меня старик, хотя и был интересен. Его слова о вреде жалости очень взволновали и крепко

въелись мне в память. Я чувствовал в них какую-то правду, но было досадно, что источник ее—полицейский.

Споры на эту тему были нередки, один из них особенно жестоко взволновало меня.

В городе явился „толстовец“,—первый, которого я встретил,—высокий, жилистый человек, смуглолицый, с черной бородой козла и толстыми губами негра. Сутулясь, он смотрел в землю, но порою, резким движением вскидывал лысоватую голову и обжигал страстным блеском темных, влажных глаз,—что-то ненавидящее горело в его остром взгляде. Беседовали в квартире одного из профессоров, было много молодежи и между нею—тоненький, изящный попик, магистр богословия, в черной, шелковой рясе,—она очень выгодно оттеняла его бледное, красивое лицо, освещенное сухонькой улыбкой серых, холодных глаз.

Толстовец долго говорил о вечной непоколебимости великих истин Евангелия; голос у него был глуховатый, фразы короткие, но слова звучали резко, в них чувствовалась сила искренней веры, он сопровождал их однообразным, как бы подсекающим жестом волосатой левой руки, а правую держал в кармане.

— Актер,—шептали в углу, рядом со мною.

— Очень театрален, да...

А я незадолго перед этим прочитал книгу—кажется Дрепэра—о борьбе католицизма против науки, и мне казалось, что это говорит один из тех, яростно верующих во спасение мира силою любви, которые готовы, из милосердия к людям, резать их и жечь на кострах.

Он был одет в белую рубаху с широкими рукавами и какой-то серенький, старый халатик поверх ее,—это тоже отделяло его от всех. В конце проповеди своей он вскричал:

— Итак—со Христом вы или с Дарвином?

Он бросил этот вопрос, точно камень, в угол, где тесно сидела молодежь и откуда на него со страхом и восторгом смотрели глаза юношей и девушек. Речь его, видимо, очень поразила всех—люди молчали, задумчиво опустив головы. Он обвел всех горящим взглядом и строго добавил:

— Только фарисеи могут пытаться соединить эти два непримиримых начала и, соединяя их, постыдно лгут сами себе, развращают ложью людей...

Встал попик, аккуратно откинул рукава рясы и заговорил плавно, с ядовитой вежливостью и снисходительной усмешкой:

— Вы, очевидно, придерживаетесь вульгарного мнения о фарисеях, оно же суть не токмо грубо, но и насквозь ошибочно...

К великому изумлению моему он стал доказывать, что фарисеи были подлинными и честными хранителями заветов иудейского народа и что народ всегда шел с ними против его врагов.

— Читайте, например, Иосифа Флавия...

Вскочив на ноги и подсекая Флавия широким, уничтожающим жестом, толстовец закричал:

— Народы и ныне идут с врагами своими против друзей, народы не по своей воле идут,—их гонят, насилуют. Что мне ваш Флавий?

Попик и другие разодрали основную тему спора на мельчайшие частицы, и она исчезла.

— Истина, это—любовь!—восклицал толстовец, а глаза его сверкали ненавистью и презрением.

Я чувствовал себя опьяненным словами, не улавливал мысли в них, земля подо мною качалась в словесном вихре, и часто я с отчаянием думал, что нет на земле человека глупее и бездарнее меня.

А толстовец, отирая пот с багрового лица, свирепо закричал:

— Выбросьте Евангелие, забудьте о нем, чтоб не лгать! Распните Христа вторично, это—честнее!

Предо мною стеной встал вопрос: как же? Если жизнь—непрерывная борьба за счастье на земле,—милосердие и любовь должны только мешать успеху борьбы?

Я узнал фамилию толстовца—Клопский, узнал, где он живет и на другой день вечером явился к нему. Жил он в доме двух девушек помещиц, с ними он и сидел в саду за столом, в тени огромной старой липы. Одетый в белые штаны и такую же рубаху, расстегнутую на темной волосатой груди, длинный, угловатый, сухой,—он очень хорошо отвечал моему представлению о бездомном апостоле, проповеднике истины.

Он черпал серебряною ложкой из тарелки малину с молоком, вкусно глотал, чмокая толстыми губами, и после каждого глотка сдувал белые капельки с редких усов кота. Прислуживая ему, одна девушка стояла у стола, другая—прислонилась к стволу липы, сложив руки на груди, мечтательно глядя в пыльное, жаркое небо. Обе они были одеты в легкие платья сиреневого цвета и почти неразличимо похожи одна на другую.

Он говорил со мною ласково и охотно о творческой силе любви, о том, что надо развивать в своей душе это чувство, единственно способное „связать человека с духом мира“—с любовью, распыленной повсюду в жизни.

— Только этим можно связать человека. Не любя—невозможно понять жизнь. Те же, которые говорят: закон жизни—борьба, это—слепые души, обреченные на гибель. Огонь непобедим огнем, так и зло непобедимо силою зла.

Но когда девушки ушли, обняв друг друга, в глубину сада, к дому, человек этот, глядя вслед им прищуренными глазами, спросил:

— А ты—кто?

И, выслушав меня, начал, постукивая пальцами по столу, говорить о том, что человек—везде человек и нужно стремиться не к перемене места в жизни, а к воспитанию духа в любви к людям.

— Чем ниже стоит человек, тем ближе он к настоящей правде жизни, к ее святой мудрости...

Я несколько усомнился в его знакомстве с этой „святой мудростью", но промолчал, чувствуя, что ему скучно со мной; он посмотрел на меня отталкивающим взглядом, зевнул, закинул руки за шею себе, вытянул ноги и устало прикрыв глаза, пробормотал как бы сквозь дрему:

— Покорность любви... закон жизни...

Вздрогнув, взмахнул руками, хватаясь за что-то в воздухе, уставился на меня испуганно:

— Что? Устал я, прости.

Снова закрыл глаза и, как от боли, крепко сжал зубы, обнажив их,—нижняя губа его опустилась, верхняя—приподнялась и синеватые волосы редких усов ощетинились.

Я ушел с неприязненным чувством к нему и смутным сомнением в его искренности.

Через несколько дней я принес рано утром булки знакомому доценту, холостяку и пьянице, и еще раз увидал Клопского. Он, должно быть, не спал ночь, лицо у него было бурое, глаза красны и опухли,— мне показалось, что он пьян. Толстенький доцент, пьяный до слез, сидел, в нижнем белье и с гитарой в руках, на полу среди хаоса сдвинутой мебели, пивных бутылок, сброшенной верхней одежды, сидел раскачиваясь и рычал:

— Милосер-рдия двер-ри отвер-рзи нам...

Клопский резко и сердито кричал:

— Нет милосердия! Мы сгинем от любви или будем раздавлены в борьбе за любовь,—все едино: нам суждена гибель...

Схватив меня за плечо, ввел в комнату и сказал доценту:

— Вот—спроси его, чего он хочет? Спроси: нужна ему любовь к людям?

Тот посмотрел на меня слезящимися глазами и засмеялся:

— Это—булочник! я ему должен.

Покачнулся, сунув руку в карман, вынул ключ и протянул мне:

— На, бери все!

Но толстовец, взяв у него ключ, махнул на меня рукою:

— Ступай. После получишь.

И швырнул булки, взятые у меня, на диван в углу.

Он не узнал меня, и это было приятно мне. Уходя, я унес в памяти его слова о гибели от любви и отвращение к нему в сердце.

Скоро мне сказали, что он признался в любви одной из девушек, у которых жил, и, в тот же день,—другой. Сестры поделились между собою радостью, и она обратилась в злобу против влюбленного; они велели дворнику сказать, чтоб проповедник любви немедля убрался из их дома. Он исчез из города.

Вопрос о значении в жизни людей любви и милосердия—страшный и сложный вопрос—возник предо мною рано, сначала—в форме неопределенного, но острого ощущения разлада в моей душе, затем—в четкой форме определенно ясных слов:

— Какова роль любви?

Все, что я читал, было насыщено идеями христианства, гуманизма воплями о сострадании к людям,—об этом же красноречиво и пламенно говорили лучшие люди, которых я знал в ту пору.

Все, что непосредственно наблюдалось мною, было почти совершенно чуждо сострадания к людям. Жизнь развертывалась предо мною как бесконечная цепь вражды и жестокости, как непрерывная, грязная борьба за обладание пустяками. Лично мне нужны были только книги, все остальное не имело значения в моих глазах.

Стоило выйти на улицу и посидеть час у ворот, чтоб понять—все эти извозчики, дворники, рабочие, чиновники, купцы—живут не так, как я и люди, излюбленные мною, не того хотят, не туда идут. Те же, кого я уважал, кому верил,—странно одиноки, чужды и—лишние среди большинства, в грязненькой и хитрой работе муравьев, кропотливо строящих кучу жизни, эта жизнь казалась мне насквозь глупой, убийственно скучной. И, нередко, я видел, что люди милосердны и любвеобильны только на словах, на деле же незаметно для себя подчиняются общему порядку жизни.

Очень трудно было мне.

Однажды ветеринар Лавров, желтый и опухший от водянки, сказал мне задыхаясь:

— Жестокость нужно усилить до того, чтоб все люди устали от нее, чтоб она опротивела всем и каждому, как вот эта треклятая осень!

Осень была ранняя, дождлива, холодна, богата болезнями и самоубийствами. Лавров тоже отравился цианистым кали, не желая дожидаться, когда его задушит водянка.

— Скотов лечил,—скотом и подох!—проводил труп ветеринара его квартирохозяин, портной Медников, тощенький, благочестивый человечек, знавший на память все акафисты Божией Матери. Он порол детей своих—девочку семи лет и гимназиста одинадцати—ременной плеткой о трех хвостах, а жену бил бамбуковой тростью по икрам ног и жаловался:

— Мировой судья осудил меня за то, что я, будто, у китайца перенял эту системочку, а я никогда в жизни китайца не видал кроме, как на вывесках, да на картинах.

Один из его рабочих, унылый, кривоногий человек по прозвищу „Дунькин муж", говорил о своем хозяине:

— Боюсь я кротких людей, которые благочестивы. Буйный человек сразу виден, и всегда есть время спрятаться от него, а кроткий ползет на тебя невидимый, подобный коварному змею в траве, и вдруг ужалит в самое открытое место души. Боюсь кротких...

В словах „Дунькина мужа“,—кроткого, хитрого наушника, любимого Медниковым,—была правда.

Иногда мне казалось, что кроткие,—разрыхляя, как лишаи,—каменное сердце жизни,—делают его более мягким и плодотворным, но чаще, наблюдая обилие кротких, их ловкую приспособляемость к подлому, неуловимую изменчивость и гибкость душ, комариное их нытье,—я чувствовал себя, как стреноженная лошадь в туче оводов.

Об этом я и думал, идя от полицейского.

Вздыхал ветер и дрожали огни фонарей, а казалось—дрожит темносерое небо, засевая землю мелким, как пыль, октябрьским дождем. Мокрая проститутка тащила вверх по улице пьяного, держа его под руку, толкая; он что-то бормотал, всхлипывал. Женщина утомленно и глухо сказала:

— Такая твоя судьба...

— Вот,—подумал я,—и меня кто-то тащит, толкает в неприятные углы, показывая мне грязное, грустное и странно пестрых людей. Устал я от этого.

Может быть, не в этих словах было подумано, но именно эта мысль вспыхнула в мозгу; именно в тот печальный вечер я впервые ощутил усталость души, едкую плесень в сердце. С этого часа я стал чувствовать себя хуже, начал смотреть на себя самого как-то со стороны, холодно, чужими и враждебными глазами.

Я видел, что почти в каждом человеке угловато и несложенно совмещаются противоречия не только слова и деяния, но и чувствований,—их капризная игра особенно тяжко угнетала меня. Эту игру я наблюдал и в самом себе, что̀ было еще хуже. Меня тянуло во все стороны—к женщинам и книгам, к рабочим и веселому студенчеству, но я никуда не поспевал и жил „ни в тех, ни в сех“, вертясь, точно кубарь, а чья-то невидимая, но сильная рука жарко подхлестывала меня невидимой плеткой.

Узнав, что Яков Шапошников лег в больницу, я пошел навестить его, но там криворотая, толстая женщина в очках и белом платочке, из-под которого свисали красные, вареные уши,—сухо сказала:

— Помер.

И, видя, что я не ухожу, а молча торчу перед нею,—рассердилась, крикнула:

— Ну? Что еще?

Я тоже рассердился и сказал:

— Вы—дура.

— Николай,—гони его!

Николай вытирал тряпкой какие-то медные прутья, он крякнул и хлестнул меня прутом по спине. Тогда я взял его в охапку, вынес на улицу и посадил в лужу воды у крыльца больницы. Он отнесся к этому спокойно, посидел несколько минут молча, вытаращив на меня глаза, а потом встал, говоря:

— Эх, ты, собака!

Я ушел в Державинский сад, сел там на скамью у памятника поэту, чувствуя острое желание сделать что-нибудь злое, безобразное, чтоб на меня бросилась куча людей и этим дала мне право бить их. Но, несмотря на праздничный день в саду было пустынно и вокруг сада—ни души, только ветер метался, гоняя сухие листья, шурша отклеившейся афишей на столбе фонаря.

Прозрачно синие, холодные сумерки сгущались над садом. Огромный бронзовый идолище возвышался предо мною, я смотрел на него и думал: жил на земле одинокий человек Яков, уничтожал всей силой души Бога и умер обыкновенной смертью. Обыкновенной! В этом было что-то тяжелое, очень обидное.

— А Николай—идиот; он должен был драться со мною или позвать полицию и отправить меня в участок...

Пошел к Рубцову; он сидел в своей конуре у стола, пред маленькой лампой и чинил пиджак.

— Яков помер.

Старик поднял руку с иглой, видимо желая перекреститься, но только отмахнулся рукою и, зацепив за что-то нитку, тихо матерно выругался.

Потом—заворчал:

— Между прочим—все помрем, такое у нас глупое обыкновение,— да, брат! Он, вот, помер, а тут медник был один, так его тоже—долой со счета! В то воскресенье, с жандармами. Меня с ним Гурка свел. Умный медник! Со студентами несколько путался. Ты слышал бунтуются студенты—верно? На-ко, зашей пиджак мне, не вижу я ни черта...

Он передал мне свои лохмотья, иглу с ниткой, а сам, заложив руки за спину, стал шагать по комнате, кашляя и ворча:

— То—здесь, то—инде, вспыхнет огонек, а чорт дунет и—опять скука! Несчастливый этот город. Уеду отсюда, пока еще пароходы ходят.

Остановился и, почесывая череп, спросил:

— А—куда поедешь? Везде бывал. Да! Везде ездил, а только себя изъездил.

Плюнув, он добавил:

— Ну—и жизнь, сволочь! Жил, жил, а—ничего не нажил, ни душе, ни телу...

Он замолчал, стоя в углу у двери, и, как будто, прислушиваясь к чему-то, потом решительно подошел ко мне, присел на край стола:

— Я тебе скажу, Лексей, ты мой Максимыч,—зря Яков большое сердце свое на бога истратил! Ни бог, ни царь лучше не будут, коли я их отрекусь, а надо, чтоб люди сами на себя рассердились, опровергли бы свою подлую жизнь,—во-от. Эх, стар я, опоздал, скоро совсем слеп стану—горе, брат. Ушил? Спасибо... Пойдем в трактир, чай пить...

По дороге в трактир, спотыкаясь во тьме, хватая меня за плечи, он бормотал:

— Помяни мое слово: не дотерпят люди, разозлятся когда-нибудь и начнут все крушить—в пыль сокрушат пустяки свои. Не дотерпят...

В трактир мы не попали, наткнувшись на осаду матросами публичного дома,—ворота его защищали Алафузовские рабочие.

— Каждый праздник здесь драка!—одобрительно сказал Рубцов, снимая очки, и, опознав среди защитников дома своих товарищей, немедленно ввязался в битву, подзадоривая, науськивая:

— Держись, фабрика! Дави лягушек! Глуши плотву! И—эх-ма-а!

Странно и забавно было видеть, с каким увлечением и ловкостью действовал умный старик, пробиваясь сквозь толпу матросов-речников, отражая их кулаки, сбивая с ног толчками плеча. Дрались беззлобно, весело, ради удальства, от избытка сил; темная куча тел сбилась у ворот, прижав к ним фабричных, потрескивали доски, раздавались задорные крики:

— Бей плешивого воеводу!

На крышу дома забрались двое и складно, бойко пели:

Мы не воры, мы не плуты, не разбойники,
Судовые мы ребята, рыболовники!

Свистел полицейский, в темноте блестели медные пуговицы, под ногами хлюпала грязь, а с крыши неслось:

Мы закидываем сети по сухим берегам,
По купеческим домам, по амбарам, по клетям...

— Стой! Лежачего не бьют...

— Дедушка—держи скулу крепче!

Потом Рубцова, меня и еще человек пять врагов или друзей повели в участок, и успокоенная тьма осенней ночи провожала нас бойкой песней:

Эх мы поймали сорок щук,
Из которых шубы шьют!

— До чего же хорош народ на Волге!—с восхищением говорил Рубцов, часто сморкаясь и сплевывая, и шептал мне:—Ты—беги. Выбери минуту и—беги. Зачем тебе в участок лезть?

Я и какой-то длинный матрос следом за мною бросились в проулок, перескочили через забор, другой и—с этой ночи я больше не встречал милейшего умницу Никиту Рубцова.

Вокруг меня становилось пусто. Начинались студенческие волнения,—смысл их был непонятен мне, мотивы—неясны. Я видел веселую суету, не чувствуя в ней драмы, и думал, что ради счастья учиться в университете можно претерпеть даже истязания. Если б мне предложили:

— Иди, учись, но за это, по воскресеньям, на Николаевской площади мы будем бить тебя палками!—я, наверное, принял бы это условие.

Зайдя в крендельную Семенова, я узнал, что крендельщики собираются итти к университету избивать студентов.

— Гирями будем бить!—говорили они с веселой злобой.

Я стал спорить, ругаться с ними, но вдруг почти с ужасом почувствовал, что у меня нет желания, нет слов защищать студентов.

Помню, я ушел из подвала как изувеченный, с какой-то необоримой, на-смерть уничтожающей тоскою в сердце.

Ночью сидел на берегу Кабана, швыряя камни в черную воду и думал тремя словами, бесконечно повторяя их:

— Что мне делать?

С тоски начал учиться играть на скрипке, пилил по ночам в магазине, смущая ночного сторожа и мышей. Музыку я любил и стал заниматься ею с великим увлечением, но мой учитель скрипач театрального оркестра, во время урока,—когда я вышел из магазина,—открыл незапертой мною ящик кассы, и, возвратясь, я застал его набивающим карманы свои деньгами. Увидав меня в дверях, он вытянул шею, подставил скучное, бритое лицо и тихо сказал:

— Ну—бей!

Губы у него дрожали, из бесцветных глаз катились какие-то масляные слезы, странно крупные.

Мне хотелось ударить скрипача; чтоб не сделать этого, я сел на пол, подложив под себя кулаки, и велел ему положить деньги в кассу. Он разгрузил карманы, пошел к двери, но, остановясь, сказал идиотски высоким и страшным голосом:

— Дай десять рублей!

Деньги я ему дал, но учиться на скрипке бросил.

В декабре я решил убить себя. Я пробовал описать мотив этого решения в рассказе „Случай из жизни Макара". Но это не удалось мне,—рассказ вышел неуклюжим, неприятным и лишенным внутренней правды. К его достоинствам следует отнести—как мне кажется—именно то, что в нем совершенно отсутствует эта правда. Факты—правдивы, а освещение их сделано как будто не мною и рассказ идет не обо мне. Если не говорить о литературной ценности рассказа;—в нем—для меня—есть нечто приятное,—как будто я перешагнул через себя.

Купив на базаре револьвер барабанщика, заряженный четырьмя патронами, я выстрелил себе в грудь, рассчитывая попасть в сердце, но только пробил легкое, и через месяц, очень сконфуженный, чувствуя себя до-нельзя глупым, снова работал в булочной.

Однако—недолго. В конце марта, вечером, придя в магазин из пекарни, я увидал в комнате продавщицы Хохла. Он сидел на стуле у окна, задумчиво покуривая толстую папиросу и смотря внимательно в облака дыма.

— Вы свободны?—спросил он, не здороваясь.

— На двадцать минут.

— Садитесь, поговорим.

Как всегда, он был туго зашит в казакин из „чортовой кожи“, на его широкой груди расстилалась светлая борода, над упрямым лбом торчит щетина жестких, коротко остриженных волос, на ногах у него тяжелые, мужицкие сапоги, от них крепко пахнет дегтем.

— Ну-те-с,—заговорил он спокойно и не громко,—не хотите ли вы приехать ко мне? Я живу в селе Красновидове, сорок пять верст вниз по Волге, у меня там лавка; вы будете помогать мне в торговле, это отнимет у вас немного времени, я имею хорошие книги, помогу вам учиться,—что скажете, согласны?

— Да.

— В пятницу приходите в шесть утра к пристани Курбатова, спросите досчаник из Красновидова,—хозяин Василий Панков. Впрочем,—я уже буду там и увижу вас. До свидания.

Встал, протянув мне широкую ладонь, а другой рукой вынул из-за пазухи тяжелую серебряную луковицу-часы и сказал:

— Кончили в шесть минут! Да—мое имя—Михайло Антонов, а фамилия Ромась. Так.

Он ушел не оглядываясь, твердо ставя ноги, легко неся тяжелое, богатырски литое тело.

Через два дня я поплыл в Красновидово.

Волга только что вскрылась; сверху, по мутной воде, тянутся покачиваясь серые, рыхлые льдины; досчаник перегоняет их, и они трутся о борта, поскрипывая, рассыпаясь от ударов острыми кристаллами. Играет „верховой“ ветер, загоняя на берег волну, ослепительно сверкает солнце, отражаясь ярко белыми пучками от синевато-стеклянных боков льдин. Досчаник, тяжело нагруженный бочками, мешками, ящиками, идет под парусом,—на руле молодой мужик Панков, щеголевато одетый в пиджак дубленой овчины, вышитый на груди разноцветным шнурком.

Лицо у него спокойное, глаза холодные, он молчалив и мало похож на мужика. На носу досчаника, растопырив ноги, стоит с багром в руках батрак Панкова, Кукушкин, растрепанный мужичонко в рваном армяке, подпоясанном веревкой, в измятой поповской шляпе, лицо у него в синяках и ссадинах. Расталкивая льдины длинным багром, он презрительно ругается:

— Сторонись!.. Куда лезешь?..

Я сижу рядом с Ромасем под парусом на ящиках, он тихо говорит мне:

— Мужики меня не любят, особенно—богатые. Нелюбовь эту придется и вам испытать на себе.

Кукушкин, положив багор поперек бортов, под ноги себе, говорит с восхищением, обратив к нам изувеченное лицо:

— Особо тебя, Антоныч, поп не любит...

— Это верно,—подтверждает Панков.

— Ты ему, псу рябому, кость в горле!

— Но есть и друзья у меня,—будут и у вас,—слышу я голос Хохла.

Холодно. Мартовское солнце еще плохо греет. На берегу качаются темные ветви голых деревьев, кое-где в щелях и под кустами горного берега лежит снег кусками бархата. Всюду на реке—льдины, точно пасется стадо овец. Я чувствую себя как во сне.

Кукушкин, затискивая в трубку табак, философствует:

— Положим, ты попу не жена, однако, по должности своей, он обязался любить всякую тварь, как написано в книгах.

— Кто это тебя избил?—спрашивает Ромась, усмехаясь.

— Так, какие-то темных должностей люди, наверно — жулики,— презрительно говорит Кукушкин. И—с гордостью:—Нет, меня, однова, антиллеристы били,—это—действительно! Даже и понять нельзя—как я жив остался!

— За что били?—спрашивает Панков.

— Вчера? Али—антиллеристы?

— Ну—вчера?

— Да—разве можно понять, за что бьют? Народ у нас вроде козла: чуть что—сейчас и бодается! Должностью своей считают это—драку!

— Я думаю,—говорит Ромась,—за язык бьют тебя, говоришь ты неосторожно...

— Это, пожалуй, так! Человек я любопытного характера, навык обо всем спрашивать. Для меня—радость, коли новенькое что услышу.

Нос досчаника сильно ткнулся о льдину, по борту, злобно шаркнуло, Кукушкин, покачнувшись, схватил багор, Панков, с упреком говорит:

— А ты гляди на дело, Степан!

— А ты меня не разговаривай!—отпихивая льдины, бормочет Кукушкин.— Не могу я за один раз и должность мою исполнять, и беседу вести с собой...

Они беззлобно спорят, а Ромась говорит мне.

— Земля здесь хуже, чем у нас, на Украйне, а люди—лучше! Очень способный народ.

Я слушаю его внимательно и верю ему. Мне нравится его спокойствие и ровная речь, простая, веская. Чувствуется, что этот человек знает много и что у него есть своя мера людей. Мне особенно приятно, что он не спрашивает—почему я стрелялся? Всякий другой, на его месте, давно бы уже спросил, а мне так надоел этот вопрос. И—трудно ответить. Чорт знает, почему я решил убить себя. Хохлу я, наверное, отвечал бы длинно и глупо. Да мне и вообще не хочется вспоминать об этом,—на Волге так хорошо, свободно, светло.

Досчаник плывет под берегом, влево широко размахнулась река, вторгаясь на песчаный берег луговой стороны. Видишь, как прибывает вода, заплескивая и качая прибрежные кусты, а навстречу ей по лож-

бинам и щелям земли, шумно катятся светлые потоки вешних вод. Улыбается солнце, желтоносые грачи блестят в его лучах черной сталью оперения, хлопотливо каркают, строя гнезда. На припеке трогательно пробивается из земли к солнцу ярко зеленая щетинка травы. Телу— холодно, а в душе—тихая радость и тоже возникают нежные ростки светлых надежд. Очень уютно весною на земле!

Как сквозь дрему, слышу голос хохла:

— Там есть рыбак один, Изот, он, наверное, понравится вам...

К полудню доплыли до Красновидова. На высокой, круто-срезанной горе, стоит голубоглавая церковь, от нее, гуськом, тянутся по краю горы, хорошие крепкие избы, блестя желтым тесом крыш и парчевыми покровами соломы. Просто и красиво.

Сколько раз любовался я этим селом, проезжая мимо него на пароходах.

Когда, вместе с Кукушкиным, я начал разгружать досчаник, Ромась, подавая мне с борта мешки, сказал:

— Однако — сила у вас есть!

И, не глядя на меня, спросил:

— А грудь —не болит?

— Ни мало.

Я был очень тронут деликатностью его вопроса,— мне особенно не хотелось, чтоб мужики знали о моей попытке убить себя.

— Силенка — имеется, можно сказать — свыше должности,— болтал Кукушкин.— Какой губернии, молодчик? Нижегородской? Водохлебами дразнят вас. А еще — „Чай, примечай, отколе чайки летят"— это тоже про вас сложено.

С горы, по съезду, по размякшей глине, среди множества серебром сверкающих ручьев, широко шагал, скользя и покачиваясь, длинный, сухощавый мужик, босой, в одной рубахе и портах, с курчавой бородою, в густой шапке рыжеватых волос.

Подойдя к берегу, он сказал звучно и ласково:

— С приездом.

Оглянулся, поднял толстую жердь, другую, положил их концами на борта и, легко прыгнув в досчаник, скомандовал:

— Упрись ногами в концы жердей, чтоб не съехали с борта, и принимай бочки. Парень, иди сюда, помогай!

Он был картинно красив и, видимо, очень силен. На румяном лице его, с прямым, большим носом, строго сияли голубоватые глаза.

— Простудишься, Изот,— сказал Ромась.

— Я-то? Не бойся.

Выкатили бочку керосина на берег, Изот, смерив меня глазами, спросил:

— Приказчик?

— Поборись с ним,—предложил Кукушкин.

— А тебе опять рожу испортили?

— Что с ними сделаешь?

— С кем это?

— А — которые бьют...

— Эх, ты,— сказал Изот,—вздохнув и обратился к Ромасю.— Телеги сейчас спустятся. Я вас издали увидал,— плывут. Хорошо плыли. Ты — иди, Антоныч, я послежу тут.

Было видно, что человек этот относился к Ромасю дружески и заботливо, даже — покровительственно, хотя Ромась был старше его лет на десять.

Через полчаса я сидел в чистой и уютной комнате новенькой избы,—стены ее еще не утратили запаха смолы и пакли. Бойкая, остроглазая баба накрывала стол для обеда, Хохол выбирал книги из чемодана, ставя их на полку у печки.

— Ваша комната — на чердаке,— сказал он.

Из окна чердака видна часть села, овраг против нашей избы, в нем — крыши бань, среди кустов, за оврагом— сады и черные поля; мягкими увалами они уходили к синему гребню леса, на горизонте. Верхом на коньке крыши бани сидел синий мужик, держа в руке топор, а другую руку прислонил ко лбу, глядя на Волгу, вниз. Скрипела телега, надсадно мычала корова, шумели ручьи. Из ворот избы вышла старуха, вся в черном, и, оборотясь к воротам, сказала крепко:

— Издохнуть бы вам!

Двое мальчишек, деловито заграждавшие путь ручью камнями и грязью, услыхав голос старухи, стремглав бросились прочь от нее, а она, подняв с земли щепку, плюнула на нее и бросила в ручей. Потом, ногою в мужицком сапоге, разрушила постройку детей и пошла вниз, к реке.

Как-то я буду жить здесь?

Позвали обедать. Внизу, за столом сидел Изот, вытянув длинные ноги с багровыми ступнями, и что-то говорил, но—замолчал, увидя меня.

— Что ж ты?—хмуро спросил Ромась.—Говори!

— Да, уж и ничего, все сказал! Значит — так решили: сами, дескать, управимся. Ты ходи с пистолетом, а то—с палкой потолще. При Баринове—не все говорить можно, у него, да у Кукушкина — языки бабьи. Ты, парень, рыбу ловить любишь.

— Нет.

Ромась заговорил о необходимости организовать мужиков, мелких садовладельцев, вырвать их из рук скупщиков. Изот, внимательно выслушав его, сказал:

— Окончательно мироеды житья не дадут тебе.

— Увидим.

— Да, уж — так!

Я смотрел на Изота и думал:

— Наверное,—вот с таких мужиков пишут рассказы Каронин и Златовратский...

Неужели удалось мне подойти к чему-то серьезному, и теперь я буду работать с людьми настоящего дела?

Изот, пообедав, говорил:

— Ты, Михайло Антонов, не торопись, хорошо — скоро не бывает. Легонько надо!

Когда он ушел, Ромась сказал задумчиво:

— Умный человек, честный. Жаль — малограмотен, едва читает. Но—упрямо учится. Вот,—помогите ему в этом.

Вплоть до вечера он знакомил меня с ценами товаров в лавке, рассказывая:

— Я продаю дешевле, чем вдвое, других лавочников села; конечно—это им не нравится. Делают мне пакости, собираются избить. Живу я здесь не потому, что мне приятно или выгодно торговать, а— по другим причинам. Это затея вроде вашей булочной...

Я сказал, что догадываюсь об этом.

— Ну, да... Надо же учить людей уму-разуму,—так?

Лавка была заперта, мы ходили по ней с лампою в руках, и на улице кто-то тоже ходил, осторожно шлепая по грязи, иногда тяжко влезая на ступени крыльца.

— Вот—слышите?—ходит! Это—Кирилка, бобыль, пьяница, злое животное, он любит делать зло, точно красивая девка кокетничать. Вы будьте осторожны в словах с ним, да и — вообще...

Потом, в комнате, закурив трубку, прислонясь широкой спиною к печке и прищурив глаза, он пускал струйки дыма в бороду себе и, медленно составляя слова в простую, ясную речь, говорил, что давно уже заметил, как бесполезно трачу я годы юности.

— Вы человек способный, по природе — упрямый и, видимо, с хорошими желаниями. Вам надо учиться, да — так, чтоб книга не закрывала людей. Один сектант, старичок, очень верно сказал: „всякое научение от человека исходит". Люди учат больнее,—грубо они учат— но наука их крепче въедается.

Говорил он знакомое мне, о том, что, прежде всего, надо будить разум деревни. Но и в знакомых словах я улавливал более глубокий, новый для меня смысл.

— Там, у вас, студенты много балакают о любви к народу, так я говорю им на это: народ любить нельзя. Это — слова, — любовь к народу...

Усмехнулся в бороду, пытливо глядя на меня, и начал шагать по комнате, продолжая крепко, внушительно:

— Любить — значит: соглашаться, снисходить, не замечать, прощать. С этим нужно итти к женщине. А — разве можно не замечать невежества народа, соглашаться с заблуждениями его ума, снисходить ко всякой его подлости, прощать ему зверство? Нет?

— Нет.

— Вот, видите. У вас, там, все Некрасова читают и поют, ну. іаете, с Некрасовым далеко не уедешь! Мужику надо внушать — ты,)ат, хоть и не плох человек сам по себе, а живешь плохо и ничего : умеешь делать, чтоб жизнь твоя стала легче, лучше. Зверь, пожалуй, ізумнее заботится о себе, чем ты; зверь защищает себя лучше. А из :бя, мужика, разраслось все,—дворянство, духовенство, ученые, цари, :е это бывшие мужики. Видишь? Понял? Ну—учись жить, чтоб тебя : мордовали...

Уйдя в кухню, он велел кухарке вскипятить самовар, а потом ал показывать мне свои книги,—почти все научного характера: Бокль, ийэль, Гартполь, Лекки, Леббок, Тейлор, Милль, Спенсер, Дарвин, а і русских — Писарев, Добролюбов, Чернышевский, Пушкин, „Фрегат аллада" Гончарова, Некрасов.

Он гладил их широкой ладонью ласково, точно котят, и ворчал)чти усиленно:

— Хорошие книги! А это—редчайшая: ее сожгла цензура. Хотите ать, что есть государство—читайте эту.

Он подал мне книгу Гоббса „Левиафан".

— Эта—тоже о государстве, но легче, веселее.

Веселая книга оказалась „Государем" Маккиавели.

За чаем он кратко рассказал о себе: сын Черниговского кузнеца, был смазчиком поездов на станции Киев, познакомился там с рево-)ционерами, организовал кружок самообразования рабочих, его аре- эвали, года два он сидел в тюрьме, а потом — сослали в Якутскую ласть на десять лет.

— В начале—жил там с якутами, в улусе, думал—пропаду. Зима м, чорт побери, такая, знаете, что в человеке застывает мозг. Да и шний разум там. Потом, вижу: то—здесь, то—тут—торчит русский тыкано их—не густо, а, все-таки,—есть. И,—чтоб не скучали,—новых ним заботливо добавляют. Хорошие люди были. Был студент Вла- мир Короленко, — он теперь тоже воротился. Я с ним хорошо жил, том—разошлись. Мы оказались во многом похожи один на другого, на сходстве дружба не ладится. Но—это серьезный, упрямый человек, особен ко всякой работе. Даже иконы писал,—это мне не нравилось. перь — говорят — хорошо пишет в журналах.

Долго, до полуночи беседовал он, видимо, желая сразу, прочно ставить меня рядом с собою. Впервые мне было — так серьезно — рошо с человеком. После попытки самоубийства, мое отношение к бе сильно понизилось, я чувствовал себя ничтожным, виноватым ед кем-то и мне было стыдно жить. Ромась, должно быть, понимал о и, челевечно, просто открыв предо мною дверь в свою жизнь, — прямил меня. Незабвенный день,

В воскресенье мы открыли лавку после обедни и тотчас же к на- му крыльцу стали собираться мужики. Первым явился Матвей Ба-

ринов, грязный, растрепанный человек, с длинными руками обезьяны и рассеянным взглядом красивых, бабьих глаз.

— Что слышно в городе? — спросил он, поздоровавшись и, не ожидая ответа, закричал навстречу Кукушкину:

— Степан! Твои кошки опять петуха сожрали.

И тотчас рассказал, что губернатор поехал из Казани в Петербург к царю хлопотать, чтоб всех татар выселили на Кавказ и в Туркестан. Похвалил губернатора:

— Умный. Понимает свое дело...

— Ты сам выдумал все это,—спокойно заметил Ромась.

— Я? Когда?

— Не знаю...

— До чего ты мало веришь людям, Антоныч,—сказал Баринов, с упреком, сожалительно качая головою.—А я—жалею татар. Кавказ требует привычки.

Осторожно подошел маленький, сухощавый человек, в рваной поддевке с чужого плеча; серое лицо его искажала судорога, раздергивая темные губы в болезненную улыбку; острый левый глаз непрерывно мигал, над ним вздрагивала седая бровь, разорванная шрамами.

— Почет Мигуну! — насмешливо сказал Баринов. — Чего ночью украл?

— Твои деньги, — звучным тенором ответил Мигун, сняв шапку, пред Ромасем.

Вышел со двора хозяин нашей избы и сосед наш Панков, в пиджаке, с красным платочком на шее, в резиновых галошах и с длинной, как возжи, серебряной цепочкой на груди. Он смерил Мигуна сердитым взглядом:

— Если ты, старый чорт, будешь в огород ко мне лазить, я тебя—колом по ногам!

— Начинается обыкновенный разговор,—спокойно заметил Мигун и, вздыхая, добавил:—Как жить, коли—не бить?

Панков стал ругать его, а он прибавил:

— Какой же старый я? Сорок шесть годов...

— А на святках тебе пятьдесят три было,—вскричал Баринов.—Сам говорил—пятьдесят три! Зачем врешь?

Пришел солидный, бородатый старик Суслов[1]) и рыбак Изот, — так собралось человек десять. Хохол сидел на крыльце, у двери лавки, покуривая трубку, молча слушая беседу мужиков; они уселись на ступенях крыльца и на лавочках, по обе стороны его.

День был холодный, пестрый, по синему, вымороженному зимою небу быстро плыли облака, пятна света и теней купались в ручьях и лужах, то ослепляя глаза ярким блеском, то лаская взгляд бархатной мягкостью. Нарядно одетые девицы павами плыли вниз по улице, к

[1]) Плохо помню фамилии мужиков и, вероятно, перепутал или исказил их.

Волге, шагали через лужи, поднимая подолы юбок и показывая чугунные башмаки. Бежали мальчишки с длинными удилищами на плечах, шли соседние мужики, искоса оглядывая группу у нашей лавки, молча приподнимая картузы и войлочные шляпы.

Мигун с Кукушкиным миролюбиво разбирались в неясном вопросе, кто больнее дерется—купец или барин? Кукушкин доказывал—купец, Мигун защищал помещика, и его звучный тенорок одолевал растрепанную речь Кукушкина.

— Господина Фингерова папаша Наполеон Бонапарта за бороду драл. А господин Фингеров, бывало, ухватит двоих за овчину на затылках, разведет ручки свои да и треснет лбами—готово. Оба лежат недвижимы.

— Эдак—ляжешь!—согласился Кукушкин, но добавил:—Ну, зато купец ест больше барина...

Благообразный Суслов, сидя на верхней ступени крыльца, жаловался:

— Не крепок становится мужик на земле, Михайло Антонов. При господах не дозволялось зря жить, каждый человек был к делу прикреплен...

— А ты подай прошение, чтобы крепостное право опять завели,— ответил ему Изот.

Ромась молча взглянул на него и стал выколачивать трубку о перилы крыльца.

Я ждал—когда же он заговорит? И внимательно слушая несвязную беседу мужиков, пытался представить — что, именно, скажет Хохол? Мне казалось, что он уже пропустил целый ряд удобных моментов вмешаться в беседу мужиков. Но он равнодушно молчал и сидел идольски неподвижно, следя, как ветер морщит воду в лужах и гонит облака, стискивая их в густо-серую тучу. На реке гудел пароход, снизу возносилась визгливая песня девиц, подыгрывала гармоника. Икая и рыча, вниз по улице шагал пьяный, размахивая руками, ноги его неестественно сгибались, попадая в лужи. Мужики говорили все медленнее, уныние звучало в их словах, и меня тоже тихонько трогала печаль, потому что холодное небо грозило дождем, и вспоминался мне непрерывный шум города, разнообразие его звуков, быстрое мелькание людей на улицах, бойкость их речи, обилие слов, раздражающих ум.

Вечером, за чаем, я спросил Хохла — когда же он говорит с мужиками?

— О чем?

— Ага, — сказал он, внимательно выслушав меня, — ну, знаете, если бы я говорил с ними об этом, да еще на улице,—меня бы снова отправили к якутам...

Он натискал табаку в трубку, раскурил ее, сразу окутался дымом и спокойно, памятно заговорил о том, что мужик—человек осторожный, недоверчивый. Он—сам себя боится, соседа боится, а особенно—всякого чужого. Еще не прошло тридцати лет, как ему дали волю, каждый

сорокалетний крестьянин родился рабом и помнит это. Что такое воля— трудно понять. Рассуждая просто — воля это значит — живу как хочу. Но—везде начальство, и все мешают жить. У помещиков отнял крестьянство—царь, стало быть—теперь царь единый господин надо всем крестьянством. И снова—а что ж такое воля? Вдруг придет день, когда царь объяснит, что она значит. Мужик очень верит в царя, — единого господина всей земли и всех богатств. Он отнял крестьян у помещиков,— может отнять пароходы и лавки у купцов. Мужик — царист, он понимает: много господ—плохо, один—лучше. Он ждет, что наступит день, когда царь объявит ему смысл воли. Тогда — хватай кто что может. Этого дня все хотят, и каждый — боится, каждый живет настороже внутри себя — не прозевать бы решительный день всеобщей дележки. И — сам себя боится: хочет много и есть что взять, а как возьмешь? Все точат зубы на одно и то же. К тому же везде — неисчислимое количество начальства, явно враждебного мужику, да и царю. Но — и без начальства нельзя, все передерутся, перебьют друг друга.

Ветер сердито плескал в стекла окон обильным вешним дождем. Серая мгла изливалась по улице; в душе у меня тоже стало серовато и скучно. Спокойный, не громкий голос раздумчиво говорил:

— Внушайте мужику, чтобы он постепенно научался отбирать у царя власть в свои руки, говорите ему, что народ должен иметь право выбирать начальство из своей среды — и станового, и губернатора, и царя...

— Это—на сто лет!

— А вы думали все сделать к Троицыну дню?—серьезно спросил Хохол.

Вечером он ушел куда-то, а часов в одиннадцать, я услышал на улице выстрел, — он хлопнул где - то близко. Выскочив во тьму, под дождь, я увидал, что Михаил Антонович идет к воротам, обходя потоки воды неторопливо и тщательно, большой, черный.

— Вы—что? Это я выпалил...

— В кого?

— А, тут, какие-то, с кольями наскочили на меня. Я говорю— отстаньте, стрелять буду, — не слушают... Ну, тогда я выстрелил в небо,—этим ему не повредишь...

Он стоял в сенях, раздеваясь, отжимая рукой мокрую бороду, и фыркал, как лошадь.

— А сапоги, чортовы, оказывается, худые у меня! Надо переобуться. Вы умеете револьвер чистить? Пожалуйста, а то заржавеет... Смажьте керосином...

Восхищало меня его непоколебимое спокойствие, тихое упрямство взгляда его серых глаз. В комнате, расчесывая бороду перед зеркалом, он предупредил меня:

— Вы ходите по селу осторожней, особенно—в праздники, вечерами: вас, наверное, тоже захотят бить. Но—палку с собой не носите,

это раздражает драчунов, и может внушить им мысль, что вы боитесь. А бояться—не надо! Они сами народ трусоватый...

Я начал жить очень хорошо, каждый день приносил мне новое и важное. С жадностью стал читать книги по естествознанию, Ромась учил меня:

— Это, Максимыч, прежде всего и всего лучше надо знать, в эту науку вложен лучший разум человечий.

Вечерами, трижды в неделю, приходил Изот, я учил его грамоте. Сначала он отнесся ко мне недоверчиво, с легонькой усмешкой, но после нескольких уроков добродушно сказал:

— Хорошо объясняешь! Тебе бы, парень, учителем быть...

И—вдруг предложил:

— Ты, будто, сильный, ну-ка, давай на палке потянемся?

Взяли из кухни палку, сели на пол и, упершись друг другу ступнями в ступни ног, долго старались поднять друг друга с пола. Хохол, ухмыляясь, подзадоривал нас:

— А—ну? Уть!

Изот поднял меня, и это, кажется, еще более расположило его в мою пользу.

— Ничего, ты—здоров!—утешал он меня.—Жаль, рыбу не любишь ловить, а то ходил бы со мною на Волгу. Ночью, на Волге—царствие небесное!

Учился он усердно, довольно успешно и—очень хорошо удивлялся; бывало, во время урока, вдруг встанет, возьмет с полки книгу, высоко подняв брови, с натугой прочитает две-три строки и, покраснев, смотрит на меня, изумленно говоря:

— Читаю, ведь, мать его курицу.

И повторяет, закрыв глаза:

— „Словно, как мать над сыновней могилой
„Стонет кулик над равниной унылой“... Видал?

Несколько раз он вполголоса, осторожно спрашивал:

— Объясни ты мне, брат, как же что выходит, все-таки? Глядит человек на эти черточки, а они складываются в слова, и я знаю их—слова живые, наши. Как я это знаю? Никто мне их не шепчет. Ежели бы это картинки были, ну, тогда понятно. А здесь, как-будто, самые мысли напечатаны,—как это?

Что я мог ответить ему? И мое—

— Не знаю,—огорчало человека.

— Колдовство!—говорил он, вздыхая и рассматривая страницы книги на свет.

Была в нем приятная и трогательная наивность, что-то прозрачное, детское; он все более напоминал мне славного мужика из тех, о которых пишут в книжках. Как почти все рыбаки, он был поэт, любил Волгу, тихие ночи, одиночество, созерцательную жизнь.

Смотрел на звезды и спрашивал:

— Хохол говорит,—и там, может, кое-какие жители есть, вроде нашем,—как думаешь, верно это? Знак бы им подать, спросить — как живут? Поди-ка,—лучше нас, веселее...

В сущности, он был доволен своей жизнью,—он сирота, бобыль и ни от кого не зависим в своем тихом, любимом деле рыбака. Но к мужикам относился неприязненно и предупреждал меня:

— Ты не гляди, что они ласковы, это—хитряга народ, фальшивый, ты им не верь! Сейчас они с тобою—так, а завтра—иначе. Каждому только сам он виден, а общественное дело—каторгой считают.

И с ненавистью, странной в человеке такой мягкой души, он говорил о „мироедах":

— Они—почему богаче других? Потому что—умнее. Так ты, сволочь, помни, если умный: крестьянство должно жить стадом, дружно, тогда оно—сила. А они расщепляют деревню, как полено на лучину ведь, вот что. Сами себе враги. Это—злодейский народ. Вот как Хохол мается с ними...

Красивый, сильный он очень нравился женщинам, и они одолевали его.

— Конечно, в этом я избалован,—добродушно каялся он.—Для мужьев—обидно это, я сам бы обижался на ихом месте. Однако баб нельзя не пожалеть,—баба, она вроде как вторая твоя душа. Живет она—без праздников, без ласки, работает, как лошадь, и больше ничего. Мужьям любить некогда, а я—свободный человек. Многих, в первый же год после свадьбы, мужья кулаками кормят. Да, я в этом—грешен, балуюсь с ними. Об одном прошу: вы, бабы, только не сердитесь друг на друга,—меня хватит на всех. Не завидуйте одна другой,—все вы мне одинаковы, всех жалею...

И, конфузливо усмехаясь в бороду, он рассказал:

— Я, даже, чуть-чуть с барыней одной не пошалил, — на дачу приехала из города, барыня. Красавица, белая, как молоко, а волосья лен. И глазенки синеваты, добрые. Я ей рыбу продавал и все, бывало, гляжу на нее. Ты что?—спрашивает. Сами знаете,—говорю. Ну, хорошо,—говорит,—я к тебе ночью приду, жди! И—верно! Пришла. Только комаров она стеснялась, закусали ее комары, ну, и не вышло у нас ничего. Не могу, говорит, кусают очень, а сама чуть не плачет. Через сутки к ней муж прибыл, судья какой-то. Да, вот они какие, барыни-то,—с грустью и упреком кончил он.—Комары им жить мешают...

Изот очень хвалил Кукушкина:

— Вот, приглядись к мужику,—хорошей души этот! Не любят его, ну,—напрасно! Болтун, конечно, так ведь—у всякого скота своя пестрота.

Кукушкин был безземелен, женат на пьяной бабе батрачке, маленькой, но очень ловкой, сильной и злой. Избу свою он сдал кузнецу, а сам жил в бане, работая у Панкова. Он очень любил новости, а

когда их не было—сам выдумывал разные истории, нанизывая их всегда на одну нить.

— Михайло Антонов—слыхал ты? Тиньковский урядник в монахи идет, от своей должности; не желаю, бает, мужиков мордовать,—шабаш!

Хохол серьезно говорил:

— Вот так все начальство и разбежится от вас.

Вытаскивая из нечесанных, русых волос на голове, соломинки, сено, куриный пух, Кукушкин соображает:

— Все—не убегут, а которые совесть имеют,—им, конечно, тяжко на своих должностях. Не веришь ты, Антоныч, в совесть, вижу я. А, ведь, без совести и при большом уме не проживешь. Вот, послушай случай...

И рассказывает о какой-то „умнейшей" помещице:

— Такая злодейка была, что даже губернатор, не взирая на высокую свою должность, в гости к ней приехал. Сударыня,—говорит,— будьте осторожнее, на всякий случай, слухи, говорит, о вашей подлости злодейской даже в Петербург достигли. Она, конечно, наливкой угостила его, а сама говорит: поезжайте с Богом, не могу я переломить характер мой! Прошло три года с месяцем, и вдруг она собирает мужиков:—вот, говорит, вам вся моя земля и прощайте, и простите меня, а я...

— В монастырь,—подсказывает Хохол.

Кукушкин, внимательно глядя на него, подтверждает:

— Верно, в игуменьи! Значит—и ты слыхал про нее?

— Никогда не слыхал.

— А—откуда же знаешь?

— Я тебя знаю.

Фантазер бормочет, покачивая головой:

— До чего ты не верующий людям...

И так—всегда: плохие, злые люди его рассказов устают делать зло и „пропадают без вести", но чаще Кукушкин отправляет их в монастыри, как мусор на „свалку".

У него являются неожиданные и странные мысли,—он вдруг нахмурится и заявляет:

— Напрасно мы татар победили,—татары лучше нас...

А о татарах—никто не говорил,—говорили в это время об организации артели садовладельцев.

Ромась рассказывает о Сибири, о богатом сибирском крестьянине, а вдруг Кукушкин задумчиво бормочет:

— Если селедку года два-три не ловить, она может до того разродиться, что море выступит из берегов, и будет потоп людям. Замечательно плодущая рыба.

Село считает Кукушкина пустым человеком, а рассказы и странные мысли его раздражают мужиков, вызывая у них ругань и насмешки,

но слушают они его всегда с интересом, внимательно, как бы ожидая встретить правду среди его выдумок.

— Пустобрех,—зовут его солидные люди, и только один щеголь Панков говорит серьезно:

— Степан—человек с загадкой...

Кукушкин очень способный работник; он бондарь, печник, знает пчел, учит баб разводить птицу, ловко плотничает, и все ему удается, хотя работает он копотливо, неохотно. Любит кошек, у него в бане штук десять сытых зверей и зверят,—он кормит их воронами, галками и, приучив кошек есть птицу, усилил этим отрицательное отношение к себе: его кошки душат цыплят, кур, а бабы охотятся за зверьем Степана, нещадно избивают их. У бани Кукушкина часто слышен яростный визг огорченных хозяек, но это не смущает его:

— Дуры, кошка—охотничий зверь, она ловчее собаки. Вот я их приучу к охоте на птицу, разведем сотни кошек, продавать будем, доход вам, дурехи.

Он знал грамоту, но—забыл, а вспомнить—не хочет. Умный по природе своей, он быстрее всех схватывает существенное в рассказах Хохла.

— Так, так,—говорит, он, жмурясь, как ребенок, хватающий горькое лекарство:—Значит—Иван-то Грозный мелкому народу не вреден был...

Он, Изот и Панков приходят к нам вечерами, и, не редко, сидят до полуночи, слушая рассказы Хохла о строении мира, о жизни иностранных государств, о революционных судорогах народов. Панкову нравится французская революция:

— Вот это—настоящий поворот жизни,—одобряет он.

Он два года тому назад отделился от отца, богатого мужика с огромным зобом и страшно вытаращенными глазами, взял—„по любви"—замуж сироту племянницу Изота, держит ее строго, но одевает в городское платье. Отец проклял его за строптивость и, проходя мимо новенькой избы сына, ожесточенно плюет на нее. Панков сдал Ромасю в аренду избу и пристроил к ней лавку против желания богатеев села, и они ненавидят его за это, он же относится к ним—внешне равнодушно, говорит о них пренебрежительно, а с ними—грубо и насмешливо. Деревенская жизнь тяготит его:

— Знай я ремесло—жил бы в городе...

Складный, всегда чисто одетый, он держится солидно, и очень самолюбив; ум его осторожен, недоверчив.

— Ты от сердца, али по расчету за такое дело взялся?—спрашивает он Ромася.

— А—как думаешь?

— Нет—ты скажи!

— По твоему, как лучше?

— Не знаю. А—по твоему?

Хохол упрям и в конце концов заставляет мужика высказаться.

— Лучше—от ума, конечно! Ум без пользы не живет, а где польза—там дело прочное. Сердце—плохой советчик нам. По сердцу, я бы такого наделал—беда. Попа обязательно поджег бы,—не суйся, куда не надо.

Поп, злой старичок, с мордочкой крота, очень насолил Панкову вмешавшись в его ссору с отцом.

Сначала Панков относился ко мне неприязненно и почти враждебно, даже хозяйски покрикивал на меня, но скоро это исчезло у него, хотя—я чувствовал—осталось скрытое недоверие ко мне; да и мне Панков был неприятен.

(Продолжение следует).

Кощеева цепь.

(Хроника).

Михаил Пришвин.

ЗВЕНО ПЕРВОЕ.—ГОЛУБЫЕ БОБРЫ.

Абиссинская царевна.

Моей матушки двоюродная сестра Калиса Никаноровна удивительно вкусно умела приготовить рубцы. Мыла она обыкновенную коровью требуху в семи водах, отмачивала в уксусе, выдерживала в молоке, в чем-то еще оттягивала,—и так у нее из этой дряни, коровьей требухи, получалось кушанье, да и еще и какое кушанье: рубцы Калисы Никаноровны ела и хвалила сама Абиссинская царевна.

Удивительно мне было маленькому слышать, и теперь странно вспомнить, что Абиссинская царевна была в Ельце, ела и хвалила рубцы Калисы Никаноровны. Я слышал от своей матери, что в ту либеральную эпоху в честь Абиссинской царевны в Ельце был устроен торжественный вечер для объединения сословий—дворянского и купеческого, и матушка моя была на этом балу в голубом тарлатановом платье. Можно догадаться,—в этом костюме она была очень мила: именно с этого вечера за ней упорно стал ухаживать первый елецкий кавалер эпохи великих реформ, член нового суда, Капустин-Козленко. Слышал я стороной, что этот лев пробовал начать объединение сословий с Калисы Никаноровны, но она по-купечески резко оттолкнула его и сказала, намекнув на его непервую молодость „залежалый товар цену теряет". Обе они, и мать моя, и Калиса Никаноровна, в то время были уже замужем, и легко было сообразить, с какой целью светский лев стал ухаживать за купчихами. Но время было такого большого подъема, что мать не позволила себе догадываться. Капустин-Козленко стал бывать у нас на дому (до раздела мы жили в том большом доме на Торговой, где теперь Утрамот). Мать играла ему на фортепьяно единственную свою пьесу—польку Анну, а он ей носил „Русские Ведомости"

(выходили тогда небольшими тетрадками) и пел куплеты, сам себе аккомпанируя:

— Mon fils в солдатах —Умираю,—
Так говорит одна maman.
— Зачем дворянство брать, не знаю,
Так разве нет у нас пейзан?
Quelle malheur, quelle malheur,
Рад не рад, а иди
И в солдатах служи.

Либерализм Капустина-Козленко очаровал мать мою, и всю жизнь свою она читала „Русские Ведомости", с этой газетой в руке в глубокой старости она умерла в первый год Германской войны. Бедная! легко либеральничать, сдав свои дела управляющему, а кáк ей пришлось потом—тут можно было только думать, что мир не идет к лучшему прогрессивно, а вращается и возвращается к своему, чем он был и есть от века веков. Но юность, пережитая в годы освобождения, и потом лет пятьдесят чтения день за днем „Русских Ведомостей" укрепили в ней прочно особое, отдельное от хозяйства парадное понимание, что мир движется вперед. Представить себе лучшие европейские государства в драке между собой, она не могла: это значило бы, что и те—лучшие „идейные" люди обманывались и были—„как мы". Собирая свои последние силы в вере в хорошее, перед самой смертью, она просила меня объяснить ей войну. Как маленьким детям, я объяснял ей на карте картину нашего наступления. Она кивала седой головой, но точка на карте ей ничего не говорила.

— Вот,—показывал я,—огромное неустроенное имение — Россия; возле него, как маленькие наши крестьянские наделы, лежат государства Европы, и им так же хочется земли, они так же ищут выхода из своего положения, как наши крестьянские хозяйства.

— Я всегда думала,—сказала матушка,—что война бывает из-за земли. Всегда я говорила, что мужики одолеют, и земля перейдет к ним. Значит, ты думаешь и наша русская земля перейдет к тем маленьким, злым и злым государствам?

И не дожидаясь ответа:

— После меня тебе достанется хорошая земля с садом и лесом, как славно теперь иметь клочок хорошей земли!

Я не очень понимал, почему теперь так особенно хорошо иметь землю. Она ответила:

— Из-за земли же люди дерутся.

Так всегда бедная матушка жила на-двое: по одному верила в движение к миру на земле, а по другому,—что все идет кругом и возвращается к обыкновенному. И видел я на старом лице глубокую скорбь о закате лучшего мира и на том же лице видел радость, что у меня, ее любимого сына, есть кусочек родной земли, из-за чего могу я, как и все другие, подраться. Так всегда она жила на-двое; в будни скупость она свою доводила до куриной косточки, и везде у нее был

„свой глаз“, но стоило только собраться у нас гостям, или выедет куда,—кошелек у нее был открытый, и только дурак, или порядочный человек, из него не берет.

— Как это ты можешь так,—говорила ей Калиса Никаноровна;— копила, копила и вдруг...

- Ну, так что же?—отвечала мать.—Детям я даю образование, а для чего же мы сидим на месте? Конечно, чтобы проехаться.

Всю свою жизнь мать моя имела слабость к дворянскому быту, в задушевные минуты, в глубокой старости, она говорила, как шестнадцатилетняя девушка:—„любовь—это что-то розовое“. И это мать моя наводит меня на такую мысль: „часто женщина, много рождающая, лучше сохраняет в душе своей девушку“.

Между тем, этот же самый Капустин-Козленко сделал матери грубейшее предложение и ничуть как-то не унизил себя; мало того, он нашел это у Калисы Никаноровны, и все-таки всю свою жизнь моя мать с ней была в самых дружеских отношениях (Калиса Никаноровна умерла всего годом позднее, в 1915 году). Слышал я, что у Калисы Никаноровны уже не он пел, она пела ему свои куплеты:

Кто у нас с хорошим местом
Рано просит орденок,
Кто всех чаще под арестом?
— Матушкин сынок.

Эти куплеты пела мне Калиса Никаноровна уже в своем шестидесятилетнем возрасте, и в тот момент, когда она, ударив по клавишам, сделала паузу, оглянулась на меня с лукавым лицом и, уже не видя клавиатуры, еще раз взяла аккорд и выговорила:

Ма—туш—кин сы—нок!

Я понял, что и Калиса Никаноровна ничего существенного не имела с Капустиным-Козленко.

— Хороша ли в молодости своей была мама?—спросил я раз Калису Никаноровну.

— Обе мы с ней были недурненькие,—ответила она,—только мама твоя рано замуж вышла, еще не сформировалась и первое время была немножко п л о с к а.

— Что вы говорите?

— То-есть бюстом была не так, я была попышней, за что же меня и прозвал этот Капустин-Козленко Абиссинской царевной: она тоже была пышная.

— Хороша ли была Калиса Никаноровна?—спросил я мать.

— Как тебе сказать: наша Абиссинская царевна была кругленькая, мужчинам иногда это нравится. Только взгляды ее остались узко купеческие, на ней эпоха не сказалась, вышла замуж и замкнулась на замок, как лавочка.

— Еще, мама твоя,—говорила Калиса Никаноровна,—по-моему напрасно—этим дворняжкам поддавалась: мы с ней купчихи, я на этом

твердо стояла, а она все читала с ними „Русские Ведомости", одним словом, мама твоя—ли-бе-раль-ная, не помогли и седые волосы.

Я сказал Калисе Никаноровне:

— Разве это так плохо быть либеральной?

— Не плохо,—ответила она,—а и хорошего мало, я же знаю, с какой целью ухаживал за ней этот козел Капустин: они нам люди чужие, у них свой интерес.

— Без своих интересов, тетушка, жить невозможно,—сказал я,—иметь свой интерес вовсе не плохо.

— Не плохо, конечно, мы все свои интересы имеем, но их интересы выслужиться и обобрать нас, мы же в них совсем не нуждаемся, зачем это разыгрывать либералку и еще при седых волосах—не понимаю.

— Вы тетушка, стало-быть, предполагаете, интересы нашего купеческого сословия ближе стоят к жизни всего народа?

— Боюсь тебе, дорогой мой, солгать. Если бы я была либералкой, то, может быть, и пропела бы тебе про купеческое сословие, но как я купчиха, то скажу тебе прямо: я рассчитываю на самое себя,—крепок замок, и сплю спокойно.

— Не знаю верно, но считаю возможным, что этот дворянский идеализм эпохи великих реформ через мать повлиял и на отца, и потому он после раздела купил у разоренных дворян имение. В этом опустевшем дворянском гнезде с высокими липами, сиреневыми аллеями поцелуев и вздохов, еще до рождения моего поселились мои родители. Там, в одном огромном, на месте сделанном крепостными руками кресле Курым, родился я и был прозван Курымушка.

Курымушка.

Часто я думаю, что у каждого из нас жизнь,—как наружная оболочка складного пасхального яйца; кажется, так велико это красное яйцо, а это оболочка, только—раскроешь, а там синее поменьше и опять оболочка, а дальше зеленое, и под самый конец выскочит почему-то всегда желтенькое яичко, но это уже не раскрывается и это есть самое, самое наше. Бывает, при переломах душевных сосредоточишься в себе, и вот начинает все нажитое отлетать, как скорлупки. И со мной раз было так: все отлетело, и вышел маленький мальчик Курымушка у постели своего больного отца. Мать сказала:

— Папа просит тебя на постель, полезай к нему!

Отец сделал губами, глазами, единственной здоровой рукой какие-то знаки, понятные матери, и она сейчас же дала ему лист бумаги и карандаш. Он хорошо рисовал, одним движением сделал на бумаге каких-то необыкновенных животных в елочках и подписал: голубые бобры.

Этой же ночью представилось Курымушке, что в его полог над кроватью залетела огромная муха и жужжит на весь дом, никому

спать не дает, все бегают с огнем, стучат, шепчутся. Он плачет, зовет в темноте, кусает в отчаянии бахрому полога — нет ответа! Так всю ночь муха хрипит, и только под утро стало тихо, но все — не так, что-то большое случилось в доме, и с этим темным предчувствием Курымушка выходит из детской. В передней на пороге стоит неизвестный мужик, староста Иван Михалыч машет ему рукой:

— Уходи, уходи!

— Надо бы...

— Не до тебя: Михал Дмитрич помер.

— Царство небесное!—перекрестился мужик и вышел.

Курымушка входит к отцу, он лежит на своем месте такой же, только совсем голый, и няня намыливает ему палец, стягивает золотое кольцо. Особенного, страшного тут ничего не было, и Курымушка просто переходит в другую комнату, где сидит Софья Александровна и еще дамы, тоже из соседей, помещицы.

— Миленький, поди-ка сюда, папа твой умер, ты теперь сирота.

— Ну, что ж,—ответил Курымушка,—зато у меня вот что есть!

— Что это?

— Папа вчера мне дал: голубые бобры.

— Фантазер был!—улыбнулись дамы и заговорили между собой, будто тут и не было возле них Курымушки.

— И правда, одни голубые бобры! Бедная Марья Ивановна,— имение по двойной закладной, пять человек детей!

— И еще купцы! Последний дворянин живет на земле и это у него естественно, разорится и все живет, и все естественно, а купцы полезли на землю зачем? Что им земля? Простой выгоды нет, масло в городе купить дешевле обойдется.

— Хотят жить, как господа!

— Вот и пожили: все профуфукал покойник, и правда, остались какие-то голубые бобры.

— Сиротка,—погладила Софья Александровна по голове Курымушку.—Бедная Марья Ивановна, совсем еще молодая женщина.

Пришла мать с платком в руке, в слезах, обнялась со всеми, сказала:

— Теперь всю жизнь работать на банк!

— Эх, Марья Ивановна, мы все на банк работаем.

— Ну, вы дворяне, вас все-таки опекают.

— Зато вы такая здоровая и сильная.

— Да, это была наша коренная ошибка, ненужно было нам забираться в деревню, все равно земля рано или поздно перейдет мужикам.

— Почему вы так думаете?

— Потому что им волю объявили, а земли не дали, их много они одного хотят—земли, и своего добьются: земля непременно перейдет мужикам.

Из всех этих разговоров Курымушка заметил себе много неприятных вещей: какой-то Банк схватил маму, и она теперь будет на него вечно работать; еще нехорошее, что он сирота, что „мы — купцы", и что земля перейдет мужикам. Хороши были только голубые бобры, но и то над этим смеялись.

Бледный господин.

Далеко до солнца, но мать всегда до солнца встает и уходит в поля, никогда ее летом поутру не увидеть Курымушке. Только за обедом она сидит загорелая, как бронзовая, и могучая, ест и сама разговаривает со старостой Иваном Михалычем.

— Рыжка — того?

— Причинает, Марья Ивановна!

— А Бурышка?

— Не того!

— Опять ты за свое: „не того, не того!" Говори языком человеческим, я тебя спрашиваю: Бурышка... того?

— Пошла в передой.

— Вот-те-раз! Ну, как же это ты допустил?

— Да это не я.

— А кто же, не ты?

— Бык ослабел.

— Вот-те-раз! ты с ума сошел: „бык ослабел!", ты сам ослабел!

И так весь обед точит она Ивана Михалыча. Ничего в этом не понимает Курымушка, и только жалко ему и даже страшно бывает подумать, что Старшие от ранней весны и до поздней осени должны работать на Банк.

Кто этот Банк и где он? (На небе господь живет, а Банк—в городе.) На синее небо летают птицы, в город ездят на лошадях и там—Банк. Все работают с утра до вечера на Банк — Иван Михалыч, мать и особенно мужики.

Только поздней осенью, когда начинает рано темнеть, приходит часто соседка Софья Александровна, ходит по коридору до забитого на зиму зала и обратно в столовую до самого кресла Курым, откуда он все слушает и обо всем думает. Бывает, приходит из своей школы тетя Дунечка, с ней мать говорит про Софью Александровну, а с той про Дунечку, и как можно освободиться от Банка.

— На ле-галь-ном положении,—говорит Дунечка,—я долго работать не буду, это я временно.

— Да, только бы освободиться от Банка!—постоянно говорит мать.

— Нужно терпеть,—учит Софья Александровна,— наша вся жизнь есть долг и терпение.

Про это вот больше и спорят все: ни мать, ни Дунечка не хотят

терпеть, им только бы как-нибудь освободиться от Банка. Так проходит из года в год, и Курымушка мало-по-малу складывает себе историю про Софью Александровну и про Дунечку.

Было три жениха у Софьи Александровны, два были хорошие и один Бешеный. Софья Александровна посоветовалась со Старцем, ей было велено итти за хороших. Но это Курымушка хорошо понимал, если велят по-хорошему, то хочется итти по-плохому: Софья Александровна вышла за Бешеного. И началась беда: Бешеный барин раз все стулья поломал и как ругается! его слышно здесь на балконе. А еще Бешеный барин, и это хуже всего, был а-те-ист,—что это значит, Курымушка думал-думал и не понял. Раз Софья Александровна убежала из дому сюда и не знала как быть ей дальше, но вспомнила Старца, написала ему. „Сама виновата,—ответил Старец,—не нужно было выходить, а если вышла, терпи до конца и спасешься". С этого дня Софья Александровна стала все терпеть и во всем слушаться Старца.

Все это шепотком от прислуги, это всё большие тайны, а про хозяйство начинают всегда громко:

— У вас почем стала рожь?

— По восемнадцать копен.

— Хорошо! Вязь большая?

— Не обхватишь снопища.

— Как все у вас ладно выходит!

— Я во всех даже мелочах со Старцем советуюсь, а как вы с травой на валах, бабы тащут у вас?

— Мешками тащут, ничего не поделаешь, за ними ведь не угонишься.

— Я научу вас, как нужно.

— Ну-те-с?..

— Я незаметно к бабам подхожу кустами, и будто их не вижу, а сама покажусь, когда им уж бежать нельзя, тогда они непременно залягут в канаву. Я сяду, будто отдохнуть на край канавы, над самыми бабами, и дожидаюсь, пока они встанут; они думают меня перележать, а я думаю их пересидеть, но я непременно их пересижу, зашевелятся и сами отдают мне мешки. Выходит двойное наказание—и время потеряли, и мешки.

„Вот какой хитрый Старец,—думает Курымушка,—и почему это мама борется с Банком сама и не хочет слушаться Старца?"

Другая история была про Дунечку, но это еще много чуднее, чем про Софью Александровну. В большом купеческом доме на маминой родине, у одного из ее братьев был мальчик по прозвищу Га-ри-баль-ди. Когда он стал довольно большим, то поднял в этом доме восстание, и с ним ушла его сестра Дунечка. Куда они делись, нельзя было узнать, мать говорила: „все покрыто мраком неизвестности". Мать признавалась, что сама в этом плохо понимает, почему-то они ненавидят царя, такого хорошего, освободителя крестьян.

— Вы-то как думаете про это, Софья Александровна?

— Я тоже в этом мало понимаю, но думаю, из них могут потом выйти очень хорошие умные люди; у них это от гордости, хотят все сами, а что сами! Вот я хотела сама выйти замуж, и что вышло! Нужно терпеть! Потом они тоже смирятся и будут умные люди.

— Умные, что и говорить, в нашем роду глупых не было,—он был умница во всем городе и по-ра-жал всех. Дунечка за ним, как за Богом, шла, как вы теперь за Старцем идете: бес-по-во-рот-но! Он был в тюрьме, и это у них за святость считается, страдал за народ, как Христос.

— Не говорите так, Мария Ивановна!

— Нет, отчего же, мне кажется, Христос был очень хороший.

— Да разве так можно?

— Господи, я же знала его гимназистом, какой он был хороший, как заступался при малейшей обиде за прислугу, за бедных родственников, за больную собаку, птицу, замерзающую на улице, увидит и приголубит. И Дунечка пошла за ним, они были в Париже, учились, но, должно быть, не-ле-галь-но.

— Не-ле-галь-но,—твердит, запоминая, Курымушка.

— Ты что там шипишь?—спрашивает его мать,—не уснул еще, подожди, не спи, скоро ужинать.

И опять Софье Александровне:

— Он остался там, она приехала по его приказу работать на ле-галь-ном положении, п о к а...

— А потом?

— У них про-грам-ма: жить без царя.

— А потом?

— Я не знаю, но у них потом выходит как-то очень хорошо, я сама не понимаю, как люди вдруг переделаются, если не будет царя. Но она такая милая и такая хорошенькая, хотя и ми-ниа-тюр-на-я, кулачки свои крошечные подымет: царь такой большой, она такая маленькая, мне это нравится.

— Очень миленькая! А вы бычка своего продали?

— Симментала, нет еще.

— Вы променяйте мне его на телушку, я давно мечтаю о симментальском бычке.

Курымушка все это слушал и по-своему понимал. И когда Дунечка прочла ему свое любимое стихотворение:

Жандарм с усищами в аршин
И рядом с ним какой-то бледный
Полуиссохший господин.

Курымушка понял, что б л е д н ы й г о с п о д и н и есть он, тот самый Га-ри-баль-ди, и он Дунечке все равно, как Старец Софье Александровне; а у мамы только Банк, и она сама. Но почему же, бывает, мама иногда так просияет, будто всем солнце взошло, а Софья Александровна и Дунечка так не могут? „Работать на ле-галь-ном положении хуже",—думал Курымушка.

Земля и воля.

Задавались вечера и это называлось „гости", когда и Дунечка была, и Софья Александровна и еще другие соседи, все больше женщины. Тогда ужин оттягивается надолго и Курымушку развлекают, чтобы не уснул. Кто-то поет ему песенку:

Ах ты воля, моя воля,
Золотая ты моя,
Воля сокол поднебесный,
Воля светлая заря.

Матери песенка эта очень нравится, она говорит:

— Какая все-таки светлая эпоха была, я венчалась как раз в шестьдесят первом году.

А за дверью громкие вздохи и кашель.

— Кто там?

— Я!

— Гусек?

— Так точно!

— Тебе что, Гусек?

— К вашей милости.

— Ну, что?

— Землицы!

— Вот-те раз! Ты с ума сошел: какой тебе землицы?

— Дозвольте крайнюю десятину взять, я отработаю.

— Ты отработаешь? Господь с тобой, знаю я, как ты работаешь: тебе бы только перепелок ловить.

И просветлив потемневшее лицо:

— Ну-те-с?

Это значит: „Ну, продолжайте го хорошее, о чем говорили"

— Тетенька, милая, не говорите этого нашего ужасного купеческого „ну-те", ведь это с лошадей взяли; лошадям „ну", людям „ну-те". Слышать этого не могу, да еще слово-ер.

— Спасибо, Дунечка, правда, нехорошо, надо отвыкать, не буду, не буду.

И, вспомнив опять это светлое время эпохи освобождения крестьян, вся сияя от радости гостям, говорит:

— Ну-те-с?

Прежний голос поет:

Не с росой ли ты спустилась,
Не во сне ли вижу я?
Иль горячая молитва
Долетела до царя?

Дунечке это не нравится, она не любит царя:

— Какое старье ты поешь!

И читает:

Добрый папаша, к чему в обаянии
Умного Ваню держать,
Вы мне позвольте при лунном сиянии
Правду, всю правду ему рассказать.

– Какую же правду?—спрашивает Софья Александровна.

— Правду какую?—вот:

В мире есть царь, этот царь беспощаден...

— Ты, Дунечка,—говорит тот голос, певший „волю“,—вся на мужиках сосредоточилась, тебе безлошадные, двухлошадные больше значат, чем Пушкин и Лермонтов.

И поет этот голос такую песню, лучше какой Курымушка после уж никогда не слыхал:

И звук его песни в душе молодой
Остался без слов, но живой.

А мужик все вздыхает в передней.

— Ты разве не ушел, Гусек?

— Никак нет.

— Что тебе от меня надо?

— Землицы.

— Землицы, землицы, затвердил Якова, одного про всякого, я бы на твоем месте и нос не показала сюда,—ты намедни скородил?

— Скородил.

— Борону ты сломал?

— Сама сломалась.

— Сама! Уходи, уходи, нет у меня для тебя земли! откуда я тебе землю возьму, не могу же я всех землей наделить.

— Сделайте Божескую милость.

— У-хо-ди-и!—нет у меня земли.

— Какую-нибудь завалящую

— Господи, закройте ж там дверь, что же это такое, собрались посидеть, и нет ни покою, ни отдыху. Такая жажда земли, а мы тогда думали, ка-ак хорошо будет, такая светлая эпоха была!

Только собралась опять с духом и сказала свое „ну-те-с“,—в передней новый шум, топот, отхаркиванье, отсмаркиванье, староста Иван Михалыч робко приотзынул дверь:

— Что там?

— Мужики пришли.

— Вот-те раз! те?

— Те самые, намеднишные.

— Что им надо?

— Земли просят: запольный клин.

— Рожна им! Запольный клин хотят энти снять.

— Энти посильнее.

— Ну, скажи им: „у Марьи Ивановны гости, занята". И только выбрались те мужики, Иван Михалыч опять приотзынул дверь:

— Энти!—шепнул.

Мать моргнула.

„Энти"—богатые мужики, они, может быть, даже и задаток принесли, их, может быть, надо и водкой угостить. Дверь отворяется настежь, вся столовая наполняется запахом тулупов. Мать делает вид, будто ничего не знает, зачем пришли мужики, и даже старается их припугнуть.

— Что вы пришли?

— К вашей милости.

— Ну, что... к милости?

— Пожалейте нас!

— Мне вас нечего жалеть, вы меня пожалейте.—Перечисляет все их преступления за лето.

— Это не мы,—защищаются „энти" мужики,—это те, они разбойники, а мы..

— Те, те!—сердится мать,—а чьих загоняли лошадей?

— Мы прикоротим!

— И в саду копыта видела!

— Это те.

— Ваши копыта!

А задаток уже показывается в руке старшего из „энтих". Поладили скоро. Мать довольная направляется к горке и там, в этой горке, там наверху только для виду стоят красивые вещи, на нижных полочках за дверцами—четверти с водкой, бутылки с наливкой, уксус, пузырьки с лекарствами. Мать переливает, подливает, отцеживает мух; не раз, наверно, попадает в сивуху и уксус, и постное масло наверх кружками всплывает. В дверь, теперь уж настежь раскрытую, Иван Михалыч входит, выходит с большим стаканом, подносит. „Энти" выпивают по очереди, без закуски, рукавами отирая бороды.

— Все?

— Никишке красное.

Тот всегда пьет вино только легкое, но если бы знал он, что́ пьет!—в стакане та же сивуха, но для цвету из незаткнутой бутылки наливки, наполненной мухами так, что уж и не жидко, добавляется еще немного. И это он пьет по фасону своему, как легкое.

— Извините, я сейчас!—повторяет хозяйка гостям.

И последнее: короткий наряд на завтра:

— Хватею—солому возить, Кузьме—дрова рубить. Позови плотника сбить кормушку, съезди в ночное, не пасут ли на клевере. Слышишь?

— Слушаю.

— Ступай!

Кончено, садится в кресло, тасует карты, хочет раскладывать свой любимый пасьянс: „Николай умирает, Александр рождается", но

опять что-то темное мелькнуло в лице, и „свой глаз" тревожно смотрит на дверь.

— Там кто?

— Я!

— Кто тт,—Гусек?

— Так точно!

— Тебе что?

— Землицы!

Пока мать, измучив себя и Гуська, решается сдать ему „завалящий клок" под работу в кружок, Курымушка под шумок перебирается на свой диван, по-своему молится, засыпая: „Господи, благодарю тебя, что не создал меня этим Гуськом".

Гусек.

Много думал об этом Курымушка, почему такие бедные и несчастные мужики бывают в доме, когда приходят за чем-нибудь к матери, и самые веселые люди, самые хорошие—на полях они—те же самые мужики.—„Это не они виноваты,—решил Курымушка,—это наш дом такой: мы купцы". Было однажды весной у колодезя, Павел с Гуськом воду качали. Курымушка стал Гуську под руку и тот сказал:

— Посторонись, барин!

— Какой он барин,—сказал Павел,—он купец.

— А что значит купец?—спросил Курымушка.

Павел ответил:

— Индюх!

Было очень обидно.

— Нет, брат,—успокоил Гусек Курымушку,—ты не горюй, купец нам с тобой самый хороший человек; купец—человек богатый. Что барин! тому были бы собаки, а купец любит птицу.

— Какую птицу?

— Птицу какую! Пойдем ка, брат, ко мне в избу,—я тебе покажу.

И тащит его за рукав к себе в избу. И что там у него в избе: тут и петух-дракун, и курица кахетинская, и скворец-говорец, и голуби космачи, и голуби вертуны, и куропатка ручная; а перепелов!—всякие есть, но Гусек подводят к любимому.

— Люб ли тебе?

Перепел серый, с подбитым затылком. Какое-то сходство с Гуськом. У Гуська лицо заросло волосами, у перепела—перышками, нос голый и чуть-чуть крючком, как перепелиный клюв.

— Люб ли тебе?

— Они все одинаковы.

— Во-она! Да ты знаешь ли, оратец мой, этого перепела верст за двадцать слышно, а ежели он у попова огорода треснет, или у Горелого пня, так ты, братец...

— Что, Гусек?

— Ножками брыкнешь, вот что, милый.

— Перепела в поле разные; хорошие—редки и дороги. Вот почему купцы сидят в городах, а чуть прослышат—залетел к нам звонкий, сейчас лошадей запрягать—и в поле.

— В прежнее время,—рассказывает Гусек,—купцы к нам в каретах съезжались, с женами, слушать голосистого, вот, брат, что значит купец, это—богатый человек. Да поймай я настоящего купеческого перепела, он озолотит меня.

— Озолотит?

— Озолотит!—Буду богатый и куплю себе тульский самовар: чай буду пить—вот что значит купец. Ну, так люб ли тебе мой перепел?

— Серенький...

— Вот то-то и горе, мой милый, что серый: настоящий-то купеческий—б е л ы й.

— Белый?

— Как бумага! Не веришь!—покажу. Сам своими глазами видел. Приходи на вечернюю зорю к Горелому пню.

Это недалеко за садом. Вечером Курымушка пробирается к Горелому пню. Понемногу смеркается. Едет мужик в ночное, будто черный парус плывет по зеленому морю. Лягушки-квакушки стихли, зато лягушки-турлушки завели трель на всю ночь. Кукушки охрипли и смолкли. Черный дрозд пропел. А перепела все не кричат.

— Рано?

— Погоди,—шепчет Гусек,—соловьи еще зорю играют, а дай стихнут...

— Закричит?

— Во-она!

Гусек шепчет свое „во-она" совсем на перепелиное любовное „ма-ва".

Стихают один за другим соловьи: „чмок-чмок" и конец.

И кажется, звенит тугая струна.

— Жук?

— Жук прожундел. К чему-й-то много жундит жуков,—шепчет Гусек.

— К чему?

— Да бог его знает к чему, молчи.

Молчит Курымушка, ни жив, ни мертв. Но лягушки-квакушки отчего-то вдруг проснулись, взгомонились и заглушили лягушек-турлушек.

— Ку-а, ку-а!—передразнивает недовольный Гусек.

Квакушки замолчали. Заголосили девки в деревне.

— Пропадите вы пропадом!

На колокольне сторож ударил,—глянула на небе первая звезда. Пахнуло от озими рожью. Пала роса. Тогда-то, наконец, по всему росистому полю—от попова огорода и по Горелый пень—будто кто-то невидимый хлопнул длинным предлинным арапником—крикнул перепел.

— Голосистый, белый?

— Купеческий.

И тихо, как полевые звери, крадутся охотники по росистому полю, вниз, к оврагу и на ту сторону к попову огороду.

Старик на колокольне еще звонит, и еще глянула в уголку небес молодая звезда, и еще, и еще...

Голосистый не шутит: бьет,—в ушах звенит. Самка молчит. Берет опаска: тюкнет не во-время. Расстелить бы и оправить поскорее сеть. Слава Богу, молчит: чуть копается в своей темной лубяной клетке, обвязанной бабьим платком. Сытая она теперь и довольная: перед левом Гусек напоил ее для чистоты голоса теплым молоком.

Зовет голосистый. Она молчит под сетью в пахучей росистой ржи.

Осторожно берет Гусек свою кожаную тюколку и тюкает. Когда самка молчит, необходимо подтюкнуть.

— Тюк-тюк!

И наступает решительный миг, самка взяла:

— Тюк-тюк!

Если бы можно было теперь съежиться в маленькие комочки, как перепела, и притаиться под глудкой. Если бы уйти по самое горло в землю и покрыться краешком сетки! И загорелось же там у голосистого белого перепела! Мечется он по полю, выбегает, как мышь, на межу, поднимает головку, смотрит над стеблями. И опять в рожь и со всего маху:

— Пить-полоть!

А она в ответ тихо:

— Тюк-тюк!

Но ему ли отвечает она? Вот теперь по всему полю кричат перепела.

Она отвечает ему. Конечно, ему!

Он егозит на рубеже, поднимается на цыпочки. Нет, не видно. Он мечется и лотошит, перескакивая с глудки на глудку. Пробует взобраться на сухой татарник—колко! На прошлогоднюю полынь—гнется! Хочет крикнуть—голос пропал: вместо прежнего звонкого „пить-полоть!"—хриплое и неслышное, страстное—„ма-ва".

— Тюк-тюк!—отвечает она.

Он хлопает крыльями о сырые темные комки и больше не слышит земли под ногами. Летит. Куда летит? Бог знает. Свет велик!

— Летмя, летмя!—шепчет Гусек, сгибаясь над сетью в три погибели.

Хочет уменьшиться—и не может. Хочет быть, как перепел,—тесно.

И вдруг упал возле сетки. Шуркнул в зеленях, шепчет страстно:

— Ма-ва.

— Тюк-тюк!—отвечает она.

— Иди, иди, любезный перепел,—замирает сердце у охотника.

Он ходом идет, шевеля верхушками озимых стеблей. Перед самой сетью плешинка, вымочина, рожь едва-едва прикрывает ее. Он останавливается, боится. Может быть, видит уже, что тут в десятке шагов, другой огромный перепел сидит, согнувшись над полем, и отблеск зари зловеще сверкает на его голом перепелином носу.

— Видит или не видит?—замирает охотничье сердце.

Не видит! Идет напролом. Последнее „ма-ва", последнее „тюк-тюк" и рожь шевелится под сетью возле самой клетки.

Теперь самка высунула свою серую головку из лубяной темницы в окошко, где привязана фарфоровая чашечка для питья, а он—тоже у чашечки. И глядят друг на друга: очи в очи, клюв в клюв. Густые озими пахнут, призывают: „разбей, голосистый белый перепел, лубяную темницу—думать тут нечего!".

Где тут думать: он ерепенится, хохлится и бьет грудью и крыльями о сухой лубок.

Час пробил: пора!

Встряхивают сеть. Перепел висит в петле, как раз против стаканчика с водой, где он только что видел склоненную головку. Не упустить бы только теперь. Не ускользнуло бы из рук его тепленькое, бьющееся тельце. Голосистый туго завязан в мешечке из-под проса. Полевая песнь его спета. Теперь он будет петь в городе, в железных или рыбных рядах, услаждая купеческое ухо.

Охотники, мокрые от росы, шагают по полю домой, будто водяной со своим маленьким сыном переходит из озера в озеро.

Церковный сторож давно отзвонил. Давно уже небо покрылось звездами. Месяц взошел. И тысячи малых земных звезд засияли на стеблях озими, на сапогах, на чекмене, на бороде Гуська, на завязанном мешке, где в тьме притих голосистый. Все птицы притихли. И лишь лягушки-турлушки ведут свою вечную трель от вечерней зари и до утренней.

И чудится Гуську, будто четверка белых коней мчит из оврага карету в зеленое поле. Едет купец, не глядит, что топчет чужие поля: у него ли не хватит денег! Вот остановился, а Гусек, будто открывает дверцу:

— Ваше степенство, извольте слушать: кричит!

Кричит белый перепел. Задумался купец в карете, забыл свои счета, кули, мешки, трактиры и мельницы. Разгорелось сердце.

— Поймай, Гусек, Христа ради!

— Сию минуту,—отвечает Гусек,—не извольте беспокоиться, самка у меня хорошая, молочком ее тепленьким попоил, для голосу, для чистоты, для вас старался, вас ждал. Сию минуту.

И будто уходит Гусек и возвращается с перепелом.

— Ваше степенство, извольте!

— Белый?

— Так точно, ваше степенство, купеческие перепела—белые.

— Что же ты хочешь за белого?

— Сколько пожалуете!

Озолотил купец Гуська. Мчится в своей карете на белых конях с белым перепелом целиком по полям, по оврагам, по мужицким и поповским огородам.

И чудится Гуську: из своего собственного самовара поит он всю деревню и рассказывает быль о праведном купце и белом перепеле.

Дома при огне охотники хотят полюбоваться драгоценной добычей, пересадить из мешка в клетку. Развязывают, вынимают.

— Во-она!

— Что ты, Гусек, покажи.

— Серый,—качает головой Гусек,—опять мимо капнуло—русака ловили.

Что это! Или вовсе на свете нет белого? Тускло горит копчушка в избе Гуська. Спит петух-дракун, спит соловей-певун, спит скворец-говорец, спит плотный ряд космачей и турманов на шесте. Нет купеческого перепела, нет у Гуська тульского самовара.

— Так и нет их на свете?

— На све-те! Что тебе свет-то клином у нас сошелся,—перешли на новые места.

— А где новые места?

— Известно, в Сибири.

— И там, верно, есть белые?

— Там перепела все белые.

— И бобры голубые?

— Синенькие, зелененькие, там всякие есть, по дорожкам бегают,—надо бы и нам подаваться туда.

Тайна сушеной груши.

На том месте, где была наша усадьба, теперь новая деревня построилась, и в старом саду—сенокос, но трава на когда-то удобренных клумбах и теперь растет выше, косцы узнают, вспоминают, что тут раньше были цветы. Но это еще что: трава на клумбах—отцовские маргаритки я нахожу в траве и думаю, это непременно отцовские, потому что матери уже было некогда заниматься цветами. Все-таки был у нее хромой садовник Евтюха, лениво подскребал бороздником сорные травы, и розы целыми аллеями долго росли после отца. Только эти розы, эти вишни и яблони—людей под липами не было, и бегали по дорожкам желторотые галчата и вовсе одичавшие братья Курымушки—гимназисты. Бывало, только заслышатся бубенцы и топот, сломя голову несутся ребята из сада на двор смотреть, кто едет, куда: как за оградой из-за кустов акации покажутся гнутые шеи пристяжных, как одна пристяжная завернет между каменными столбиками,—тут уж не-

чего дожидаться, далеко позади себя дети слышат ужасный крик няни:

— Гости!

Ласковым, но необыкновенным голосом долго мать зазывает детей, думает: „Выйдут и попадутся", но по одному этому голосу о гостях легко догадаться, если бы и не видели их своими глазами. Залегает Курымушка всегда под Розанку: в этой старой яблоне ствол у корней расщеплен и, как в окошко, можно смотреть через ствол в аллею на лавочку, где почти всегда гости садятся и разговаривают. Сладкой стрелой вонзается ему в сердце радость при виде подъезжающих гостей, но бежать от них нужно, а то не миновать колотушки от братьев за отдельную радость. По липовой аллее, на дорожке, желтой от троичных песков, разгуливают краснозобые снегири, зяблики, и заяц тихо проковыляет, и уж проползет, а ступит нога человека — и все разбегается и разлетается. Им тоже, быть может, очень хотелось в душе побыть вместе с людьми, но верно и у птиц на деревьях, у козявок в траве, есть своя какая-то страшная тайна и от того-то все разбегается и разлетается, когда заслышатся шаги человека. Так тихо бывает в саду на дорожке, когда все спрячется, но как ни будь тихо, все кто-то сзади шепчется, обернулся и нет никого — только мелькнули в воздухе чьи-то копытца. В страхе бежит от них Курымушка и вдруг остановится на площадке возле дома и рассыпает вокруг себя крестики.

— Что с тобой?

— Ничего, я обедню служу

Сбылось однажды тайное желание Курымушки, всех детей гости захватили, и за торжественным столом, накрытом белой скатертью, они сидели, как привязанные за жабры ерши.

Блюдо с грушами, сушеными на солнце, мягкими, сладкими, стояло как раз возле Курымушки, и он изловчился, как будто незаметно для всех, стянул одну, и в карман. Только брат Коля это заметил, шепнул: „Отдай, а то скажу!". Курымушка старшему подчинился, отдал.

— Стяни мне сухарь.

— Вот еще!

— Ну, так я покажу сейчас грушу.

И кончик ее показал ему под столом.

„Не покажет,—думает Курымушка; — не осмелится".

А Коля руку из-под стола поднимает все выше и выше.

„И вдруг покажет? нет, не осмелится!"

— Последний раз спрашиваю: стянешь сухарь?

— Не стяну.

— Не стянешь, ну, так вот же тебе!

Кладет руку на стол и медленно открывает.

— Подожди, подожди!

— То-то.

Курымушка изловчился, вытянул и потихоньку под столом передал Коле сухарь. Славу Богу, благополучно сошло.

— Ну, отдавай теперь грушу.

— Как бы не так! Стяни мне конфетку.

Пришлось и конфетку стянуть.

И пошло, и пошло с тех пор: под страхом открыть всем тайну сушеной груши, Коля распоряжался Курымушкой, раз даже двугривенный пришлось незаметно вытащить из кошелька матери, и как это страшно было и гадко: мать спала после обеда, на маленьком столике возле кровати лежал большой полуоткрытый серый замшевый кошелек; Курымушка подкрался и, не сводя глаз с лица матери, вытянул двугривенный, а в дверях уже дожидался страшный мучитель, хорошо еще отпустил и не велел другого стянуть! С каждым днем нарастала сила тайны сушеной груши, а тут еще скоро подоспела другая беда.

Озорная тропа.

В зарослях вишняка подслушал Курымушка разговор старших братьев:

— Давай убьем гуся: они нашу пшеницу клюют.

— Давай!

— И зажарим на вертеле, как Робинзон.

— Какого же гуся?

— Поповского: поповские самые жадные!

Как раз тут и подходили поповские гуси. Братья отбили самого большого белого гусака и сначала камнями швыряли, а потом добили палками. Весь гусак был в крови. Хватились — нет спичек, один побежал добывать и вернулся:

— А не вытрем ли из дерева?

Долго трут палка о палку, ничего не выходит.

— Нет, ступай скорей за спичками.

Один побежал, другой караулит, а Курымушка в кусту сидит хочется ему очень, до смерти хочется вместе с братьями отправиться жарить гуся на вертеле, но что если и его они палками: „Не подглядывай, не подсматривай!“ — невозможно.

Вот бежит, запыхался.

— Добыл?

— Есть!

— Ура!

Озорная тропа, выбитая больше босыми ногами, гладкая, твердая, как мозолистая ступня, уходит в пшеницу неизвестно куда. Братья по ней исчезают в пшенице, а за ними босой Курымушка идет, крадучись а пшеница ему, — как лес, конца этому лесу кажется нет и только, небо одно голубое, и тихо, даже не шепчутся колосья между собой, Вот это самое страшное, что пшенице конца нет, что тихо, а большой

Голубой смотрит и все видит. Жутко стало Курымушке красться за братьями, захотелось назад, но как назад: там, позади давно уж сомкнулась пшеница. Курымушка решился подойти к братьям, будет что будет, только бы не быть одному! Но только что стал он к ним подходить, вдруг тот, кто гуся тащил, уронил его, и гусь гокнулся о сухую набитую озорную тропу, гулко ударился и — как закричит! Братья от гусиного крика — прысь назад и не посторонись Курымушка, сбили бы его с ног. Но он, услыхав крик, прыгнул в пшеницу и пустился дуром, оставляя за собой широкую дорогу. По этой дороге за ним пустился кровавый гусак. Это был Голубой, кто все видит, это Он покарал злодеев и пустил на них гусака. Ему молится на ходу Курымушка:—„избави нас от лукавого". Упадет, прошепчет молитву, гусак подождет и опять бежит, сзади шумит и гогочет. „Богородица, дево радуйся" — обороняется Курымушка другой молитвой. И когда, наконец, он прочел: „Господи, милостив буди мне грешному!" — пшеница кончилась и по дорожке знакомого вала он вернулся к себе.

Будь Курымушка такой же, как его братья, из большой тайны кровавого гусака он бы мог себе против них сделать маленькую тайну, подобную сушеной груше, но Курымушке это и в голову не пришло. Только он понял из этого, что есть тайны большие, которые остаются с самим собой, и есть тайны маленькие, они выходят наружу и ими люди постоянно мучат друг друга. Вот эта мучительная тайна сушеной груши,— как бы просто казалось открыть ее, рассказать всем и сразу покончить, а поди, открой,— ведь не в груше тут дело, а в тайне, и тайна эта с каждым днем все нарастает и нарастает. И у Старших есть свои тайны,— у Софьи Александровны со Старцем, у Дунечки с Бледным господином, и Старец и Бледный господин тоже, наверно, пугают какой-нибудь сушеной грушей, а поди-ка вот скажи вслух про нее!

Большой Голубой.

До сих пор не могу без тревоги слышать жалобный крик уносимой ястребом птицы; как услышу, так сиротею. И как увижу осиротелых ребят, спешу купить чего-нибудь и раздаю по конфетке, по прянику; эта милостыня мне доступней, чем калекам и уродам на паперти в церкви. Я часто вижу тайное страданье на лице мальчугана, и тогда мне кажется, будто кто-то большой Голубой вышел с ним на борьбу. В жизни нужно уметь бороть Голубого, я это знаю, не миновать этого. Но все-таки он совсем один, мальчуган, и я, сам отец, тогда прошу, умоляю: „Отец, отец, если уж неизбежно страдать, то помоги этому мальчику обороть Голубого, не сделай его напрасною жертвой, не доведи мне слышать его стон, подобный крику уносимой ястребом птицы".

Есть тайна у Курымушки и такая страшная, что если бы ее братья узнали, так лучше съел бы в пшенице кровавый гусак. Пришло это

не от греха, а как-то само собой, когда он смотрел в окошечко яблони на гостей и слушал, как они, такие радостные, хорошо одетые, между собою говорили.

— Бедная Мария Ивановна, вот уж как трудно ей, наверно, с хозяйством, некогда за детьми посмотреть и не на что, должно быть, гувернантку нанять, дети совсем одичали.

— А как хорошо бы здесь жить богатым, это настоящее Дворянское Гнездо. Смотри, Катя, вот это дерево называется голубая сосна.

Ее звали Катя.

В другой раз Курымушка слышал другой разговор и ее звали Маруся. Но когда пришла Маруся, Кати не было, и когда Надя пришла — не было Маруси, она всегда была одна и эта она так радовала и так мучила Курымушку. Она всему радует и от всего спасает, но тайну эту никому сказать нельзя, и если узнают, то пусть тогда лучше уж явится кровавый гусак. Тайну легко выдать за обедом, когда в разговоре скажут „Маруся" и вдруг огненно покраснеешь; — раз обмануть, два обмануть, но когда-нибудь догадаются. Спасение тут бывает одно: когда скажут „Маруся", нужно самому прошептать „кровавый гусак", и тогда встают перед глазами ужасные картины: и ад, и сатана, и небо по краям загорается, конец мира наступает, архангел трубит, встают мертвые. Тогда он бледный сидит за столом и мать участливо спрашивает:

— Что с тобой, отчего ты такой бледный?

— Должно быть муху проглотил,—отвечает Курымушка.

Какой-то старший, большой, и добрый, и Голубой чудится иногда Курымушке, ему бы все это как другу сказать, и он, ведающий всеми тайнами, улыбнулся бы,—и все с него снял. Кто это желанный чудился Курымушке, не отец ли?

Отец, отец, пожалей своего мальчика.

Марья Моревна.

Голубой услышал Курымушку, улыбнулся ему: в дом вошла прекрасная девушка, у нее были солнце и месяц во лбу, и звезды в тяжелых косах,—настоящая Марья Моревна!

Она вошла и сказала:

— Мама моя просит спросить вас, Мария Ивановна, не разрешите ли вы ей побродить в саду и в парке, ей хочется побыть с родными,—у нас столько здесь воспоминаний.

Потом вошла и сама генеральша, бывшая хозяйка имения, в золотых очках, еще не старая женщина в черном.

Долго они потом ходили, обнявшись, по аллее, сидели на лавочке, и Курымушка из-за своей яблони в окошко ствола видел, как генеральша вытирала слезы платком, слышал все их разговоры между собой.

— Там было бабушкино дерево, цела ли еще эта яблоня?—спросила дочь генеральши.

— А вон стоит!

— Возле нее был налив?

— И налив на своем месте.

„Не убежать ли,— схватился Курымушка:— а то еще вспомнят и Розанку". Но подняться было опасно, а главное, в это окошко, поверх зеленой травы, так хорошо было смотреть на Марью Моревну и думать:—„Вот это она, вот это она пришла настоящая".

Генеральша говорила:

— Нужно отдать справедливость этим купцам, они хорошо берегут сад, и сколько цветов у них,—у нас этого не было. А помнишь, где-то была тут старая яблоня Розанка и внизу, в стволе ее, было окошко.

— Помню, как же... Да вот и она стоит!

— Ну, пойдем посмотрим.

Курымушка не успел убежать, Марья Моревна заглянула в окошко и сказала:

— Посмотри, мама, какой тут в траве чудесный бутузик лежит.

Подошла няня, очень важная, подобралась вся и осмелилась:

— Марья Ивановна просит вас откушать, ваше превосходительство.

— Какая там уж превосходительство!—улыбнулась генеральша.

— Вот настоящие господа!—говорила няня после Курымушке.

— А мы-то не настоящие?

— Ну, какие мы господа, мы—купцы!

Никто не мог так радоваться гостям, как мать, она вся сияла, встречая, и шептала Дуняше про дочь: „Вот настоящая тургеневская женщина!" Чего, чего тут на них наготовили.

За обедом и Курымушка узнал отличие настоящих господ: они ели не церемонясь, сами просили подложить, если есть хотелось, и отказывались сразу, если кушанье не нравилось. Еще думал Курымушка, что Марья Моревна, конечно, и есть та самая она, про которую говорят все — кра-са-ви-ца, но что это значит, как узнают это сразу, взглянут и скажут: кра-са-ви-ца!—об этом он так решил: „простая женщина с разными людьми говорит разным голосом и улыбается разно, а красавица—одинакова со всеми, богатыми и бедными, большими и маленькими, да! вот это главное ее отличие: с маленькими она говорит совсем, как с большими. Но что если вдруг,— в ужасе подумал Курымушка,— она — эта настоящая и единственная Она — за столом ему что-нибудь скажет, ведь он непременно тогда ужасно покраснеет, и всем откроется его тайна, что это она!" На всякий случай он приготовился и стал держать в уме кровавого гусака, чтоб сразу его пустить и вызвать ужасную картину ада и светопреставления. И вот, правда, Марья Моревна смотрит прямо на него, улыбается...

— Господи, милостив буди мне грешному! — готовит Курымушка своего гусака.

Марья Моревна спрашивает:

— Ты умеешь читать?

Курымушка сказал про себя:

— Ад, сатана!—и сразу пустил гусака.

Земля, там где небо к ней прикасается, красным заревом вспыхивает, огромная черная гора открывается, на вершине архангел трубит, покойники встают, и кто, как няня, всю свою жизнь отрезал себе ногти и берег их в мешечках, теперь ногти эти срастаются и, цепляясь ими за камни, лезут праведные люди на гору к архангелу, а грешники скрежещут зубами, обрываются и падают в адский огонь.

И не красный, а смертельно бледный сидит Курымушка: он победил. Мать говорит:

— Что с тобой, отчего ты вдруг побледнел?

Курымушка ответил:

— Должно-быть, муху проглотил.

— Вот всегда ты хапаешь ртом, ну, выпей поскорей воды, может пройдет.

Курымушка выпил воды и спокойно сказал Марье Моревне:

— Я умею читать.

— Хорошо, я тебе отличную книжку дам, любимая моя детская: Андерсен, не читал?

— Нет, не читал.

После обеда она пошла, порылась в своих вещах и принесла эту книжку с картинками.

Бой с Голубым.

В старую беседку, обвитую хмелем, с зелеными замшалыми половицами, забрался после обеда Курымушка и читает рассказ за рассказом и картинку за картинкой рассматривает внимательно. Не слышно теперь ему ни птиц, ни голосов на дворе, и если бы даже, правда, архангел затрубил—он не слыхал бы трубы. Но вот подходит одна картинка, в ней есть череп и крест, поскорей эту страшную картинку перевернуть и дальше читать, но какая-то сила не голосом, прямо своей силой велит ему обернуть картинку и смотреть на нее. Перевертывает — ужасно! Пробует дальше читать, сила опять велит посмотреть, посмотрел — еще страшнее! Нет, дальше так нельзя, надо поскорее куда-нибудь книгу спрятать, и чтобы уж к этому месту никогда не подходить: место будет заколдованное. Зеленая половица под его ногой скрипнула и качнулась—вот куда! Поднимает половицу, хоронит туда книгу с крестом и черепом, закапывает и хочет бежать, но у входа в беседку стоит Марья Моревна, улыбаясь, с венком из одних лиловых колокольчиков. Вокруг нее рамой зеленой вьется хмель

и совсем недалеко на яблоне, не пугаясь, спит птица — сойка, свесив от полдневного жара голубое крыло.

— Ну, что читал мою книжку?—спросила Марья Моревна.

В это самое время вдруг всколыхнулись все птицы на высоком дереве, захлопали крыльями, взлетели, закружились над садом, но как ни было шумно, все-таки явственно слышался жалобный стон уносимой ястребом птицы.

— Что с тобой?—спросила Марья Моревна.

— Как что?—ты разве не слышишь: это ястреб уносит птицу.

— Чего же ты дремлешь,—слышишь и так стоишь, беги скорей, отбивай!

Прямо против беседки была аллея тонких пирамидальных тополей, сзади нее стоял Голубой и туда, видно было на голубом, огромный ястреб уносил птицу. Туда, за ястребом пустился Курымушка на своих крыльях. Много он уже пролетел и вдруг застрял в кустах вишняка, в непроницаемых никогда зарослях и вспомнил: нет у него крыльев и ястреба ему невозможно догнать. Но крик все был слышен, и опять он забыл, что нет крыльев и снова летит, шумя по зарослям, прыгает; только что выбрался, что же там под голубым небом и палящими белыми лучами полдневного солнца? Там-то самое страшное желтое, непереходимое поле пшеницы, где живет ужасный кровавый гусак. И там где-то в этом же поле на одном месте все кричит и стонет жалобно птица.

Курымушка слушает и стоит у входа в пшеницу на озорной тропе.

Большой Голубой стал против него:—„Кто у нас одолеет?“ Маленький знал в своем сердце: если броситься назад, то за ним все бросится вслед—и ад, и сатана, и все это шепчется за спиной, когда идешь в тишине, и кровавый гусак. Маленький сжался, его кулаки стиснуты и от этого руки стали дубовые, голова наклонилась и, рассекая воздух, он несется вперед на Голубого по озорной тропе. Голубой это любит, ничего нет страшного впереди, всюду он, Голубой, и золотые колосья пшеницы.

Вот он тот самый овраг, где тогда гокнулся и закричал кровавый гусак, сюда, в этот овраг он тогда свалился, и тут его страшное царство, тут он живет; и в самый этот овраг теперь нужно спуститься и перебраться на ту сторону. А на той стороне светло, пшеницы нет, только стоит один дерновый кустик и прямо за ним слышно—пищит птица и ястреб торжествующий хлопает в воздухе крыльями.

На краю оврага опять в последней страшной борьбе стал маленький и против него опять стал Голубой. Но теперь уже знает маленький, как нужно бороться с ним, теперь он только слушает и думает, как это нужно сделать. Он спускается в овраг, в пазуху набирает камней, карабкается наверх, ползет прямо на куст.

... За кустом распласталась по земле, кричит и трепещет птица с голубыми крыльями, и полдневный ветерок, будто мелкие кораблики,

уносит куда-то перышко за перышком. А над птицей, впустив в нее когти, и себя поддерживая в воздухе взмахами огромных серых крыльев, круглыми огненными глазами, не моргая, смотрит на солнце хищник, шипит, выпускает красный язык из гнутого клюва: ему бы еще долго тут плясать в воздухе и шипеть, наслаждаясь криком птицы с голубыми крыльями. Но камень из-за куста сшибает его, другой летит прямо в голову, третий, четвертый...

... Умирающий пахарь в последнюю минуту, часто бывает, выходит из дому и говорит, уходя умереть в поле—„домой иду", и умирающую птицу сразу узнаешь в лесу, когда она—хлоп! хлоп! хлоп! о землю крыльями, и это у них то же значит свое: „домой, домой улетаю". Белой пленкой завешивается у ястреба огненный глаз. А помятая птица с голубыми крыльями, оправляется, обирается и улетает жить в сад.

Теперь все это разбросанное в мире, голубое небо—все, желтое поле—все, и лес далекий впереди—весь, и сад назади—весь, все вместе собирается и летит сюда в голосе и голос этот милый зовет и все близится, близится,—и вот она, Марья Моревна, идет по полю, у нее и солнце, и месяц, и звезды, она встречает, обнимает, целует, надевает на голову мальчику венок из одних только лиловых колокольчиков и говорит:

— Ты, герой!

Счастливый день проходит за днем и, как тяжелый сон иногда по частям вспоминается, открываются тайны одна за одной. Над сушеной грушей много смеется Марья Моревна, легко ее добывает и бросает к лягушкам. Из-под гнилой половицы в беседке появляется на свет Андерсен, теперь там картинки больше уж не пугают. Зато у Андерсена есть другая картинка, на ней лицо с такой же улыбкой, как у Марьи Моревны, и, как у ней, брови раскинуты птичьими крыльями.

— Знаю теперь, знаю,—говорит Курымушка.

— Что ты знаешь?

— Красавица, это значит ты на картинке.

— Ну и я хочу что-то сказать... хорошее.

— Я—гадкий.

— Почему ты это знаешь?

— Я видел себя в зеркале: я—Курымушка.

— А не смотрись в зеркало, хуже всего, когда мальчик смотрится в зеркало.

Из Андерсена она читает ему, как гадкий утенок все смотрелся в воду и узнавал все плохое, а когда лебеди пролетали, то взяли с собой.

— Ты—лебедь?

— А ты—лебеденок, я унесу тебя далеко.

— Где живут голубые бобры?

— Там все голубое.

Печь камер-юнкера.

Бывает летом,—накроют стол на балконе и так хорошо бы тут, в тени, под навесом чаю попить, но выходит мать и осматривает: ей видно, как на своих полях крестьяне уж работают, а на дворе работники только что запрягают.

— Что-то я заспалась сегодня,—говорит она;—мужики уже на работе, и все так, пока **сам** не проснешься, никто у нас не начнет.

Она всегда про себя говорит **сам**.

— Сам встал до свету,—ворчит она,—кажется, после обеда имеешь право на отдых, а они и пальцем не шевельнут, пока не выйдешь **сам**.

Далеко видно с балкона в поля, из полей тоже виден далеко самовар на белой скатерти в тени, под навесом балкона.

— Нельзя,—говорит мать,—там работают, а мы будем за чаем рассиживаться, переносите все в комнату живо.

— Мама,—просит Курымушка,—зачем в комнату, мы же там не будем работать, все равно будем чай пить.

Стыдливо бормочет мать:

— Мало ли что!

И пьет в комнате чай, в жаре и с мухами.

„Она боится мужиков,—думает Курымушка,—так же, как мы боялись раньше гостей: мы от гостей в сад бегали, она от мужиков в дом, а чего их бояться?"

Всегда смело ко всем мужикам подходит Курымушка; только один Иван недобрый, у него тоже есть тайна и должно быть большая и страшная. Нанялся Иван в конюхи уж осенью и сразу от него на дворе все стало не так.

— Вот конюх, так конюх,—говорит мать,—и лошади чисты, и кормушки все починены, он и конюх, и плотник, и бредень починит рыбу поймать, и за собаками ходит; таких еще у меня не было!

Только одно плохо,—на него кричать нельзя. Мать попробовала как-то свое начать:

— Что тебе говорят, Иван, раз я тебе сказала, ты должен исполнить немедленно: вчера я тебе приказала починить на колодезе круг.

А он как посмотрит на нее из-под своей черной бороды, сразу мать переменилась:

— Иван, **как бы** круг на колодезе починить.

С тех пор всегда говорит ему: **как бы**. А отойдет от него и жалуется:

— Боюсь я этого Ивана, какой-то он страшный.

Курымушка тоже раз пробовал подкатиться к Ивану с яблоками, а он сказал:

— Ешь сам, что у меня рук что ли нету яблок нарвать?

— Тебя поймают.

— За что?

— Яблоки не твои?

— А твои что ли они?

— Мои!

Тут Иван посмотрел на него страшно, как на мать тогда, и сказал:

— Ты—головастик.

С тех пор Курымушка не мог уже просто, как прежде, к работникам бежать с пазухой яблок, везде был Иванов страшный глаз. Так и было в этом глазу и в этих руках, за что он ни возьмется, за дугу— в глазу его: „ну, разве у настоящих такая дуга?" Конь застоялый взовьется у него в руках, как огненный, а он хлестнет его и так,— будто это последняя кляча;—и все так, и этот двор с постройками, и сад, и земля: не смотрел бы на все, да так уже, не за что ухватиться пока...

— Не Балда ли это?—думал Курымушка,—тот ведь тоже был хороший работник, а что из работы вышло: от одного его щелчка поп улетел.

Он попросил даже Дунечку прочесть ему еще раз „Балду"—и когда прочел—

— Нет, Иван не Балда.

Про Ивана каждый день говорили:

— Вылитый он.

А он—был Бешеный барин, атеист.

И это было как-то связано с тем, что постоянно бывало в кухне на печке, где спала горничная Настя, потом Дуняша, потом Катя. Одна горничная уходила, нанимали другую, а перед уходом всегда няня таинственно шептала матери:

— Зажгла свечку, а на печке коленки, кра-асные.

— Кто же?

— Да все Кирюшка.

— Опять свалялись?

— Баламутный малый.

Что-то очень гадкое бывает на печке, и лица у мамы и Дунечки, когда про это говорят и что Иван вы-ли-тый Бешеный барин, бывают такие же.

В этом ли была тайна Ивана?

Старшие говорили: „их много, едешь иногда, встречается, ну, вы-ли-тый, только одет мужиком". Но это говорили уже не про атеиста, а про самого большого барина ка-мер-юн-ке-ра. У него есть лакей тоже вы-ли-тый, и лакей ходит к дьячихе, и у дьячихи семь человек детей, и все вы-ли-ты-е. Многое множество вы-ли-тых было, и Курымушка иногда думал, какая же огромная печь должна быть у камер-юнкера.

С тьмою зимних вечеров и ночей приходило это „на печке", когда сверчок неустанно поет, рыжие тараканы снуют на лежанке неустанно щелкают счеты в комнате матери и стук! стук! оледенелые ветки в замороженное окно. Вздрогнет няня от стука, спустится с огнем посмотреть в кухню, вернется оттуда...

Курымушка спит и не спит, видит, как осторожно няня шевелит ручкой двери маминой комнаты.

Щелканье счет обрывается.

— Тебе что, няня?

— Опять Баламутный на печке.

— Вот-те раз!

И начинается долгое совещание.

Из всего этого вышел Иван, вылитый Бешеный барин.

Тайна Ивана.

Такой был вечер зимой. В полднях пригревало, Курымушку выпускали на угреве сосульки сшибать, а вечер был еще долгий, зимний, где-то в гостях — очень редко случалось — были мать и Дунечка; вышла такая минута, куда-то няня ушла, не проверять ли, что было на печке; совершенно один был в большом старом доме Курымушка и вдруг слышит голоса: „Царя убили!"; какие голоса, кто это крикнул, только явственно слышал: „Убили царя". Курымушка, услыхав, подумал сразу о Дунечке: „Теперь Дунечке хорошо будет". Но за криком и плач начался, шум, шопот: это няня с Настей бежали по лестнице. И Курымушке стало жутко отчего-то.

— Да, вот убили царя-батюшку,— всхлипывает няня.

— Чего ты плачешь, няня!— спросил Курымушка,— что будет от этого?

— Как что! Теперь мужики пойдут на господ с топорами.

„Топорами на печи сено косят раки",— подумал Курымушка в первую минуту, а потом стало вдруг от этого очень страшно, и все стало как видение: мужики идут на господ с топорами, вроде светопреставления.

— Ай-ай-ай!— вдруг залился Курымушка.

Няня испугалась:

— Что, что ты?

— Как что́: мужики пойдут с топорами!

— А может и не пойдут.

— Пойдут, непременно пойдут.

— Ты-то почем знаешь?

— Царя убили.

— Царя-то убили.

— И пойдут.

— Очень просто, пойдут.

Настя плачет, няня плачет, Курымушка плачет.

— Что же делать-то, няня? Разве спрятаться?

— Нужно позвать мужиков посидеть, пока наши подъедут, а то жутко одним. Настя, позови мужиков!

— Как, мужиков!

— Наших ребят, наши смирные.

Скоро входят и мужики, тот самый Иван и Павел.

Няня говорит Ивану:

— Теперь всех перечистят?

Иван отвечает:

— Всех под орех!

Курымушка:

— И нас?

— Какие же вы господа?—усмехнулся Иван.

— Слава Богу,—обрадовался Курымушка и с легким духом смело спросил,—почему не тронут купцов, Иван, открой мне свою тайну!

— Купцы на капиталы живут,—сказал Иван.—Да ты этого еще не понимаешь, я тебе растолкую:—сотворил бог Адама из земли?

— Ну, сотворил.

— Адам согрешил и бог его выгнал из рая, знаешь?

— Слышал.

— А знаешь, что́ бог сказал человеку, когда выгнал из рая?

— Не знаю.

— Бог сказал: в поте лица своего обрабатывай землю.

— Это знаю.

— А вот Гусек есть человек, почему у него нету земли, куда его земля делась?

— Перешла к маме.

— Твоя мама купила у господ, а как она к господам от Гуська перешла? Они ее не покупали, кто ее дал господам?

— Царь, должно-быть?

— Царица Катерина; кто ей, бывало, полюбится, тому и дает.

— Да вот,—сказал Павел,—у вас в саду есть большое дерево Лим, веку ему никто не запомнит, на этом Лиму дедушка мой хомут вешал: мужицкая земля была, потом перешла к господам, а от господ к купцам.

— И теперь опять к вам перейдет?

— Вот будут землю столбить, тогда разберут.

— Как столбить?

— Ну, барин, тебе всего не расскажешь.

Иван усмехнулся по-прежнему:

— Барин, барин, без портков, а пляшет.

— Как без портков,—я в штанах.

Все так и покатились со смеху, и, отсмеявшись, Павел сказал:

— Это, брат, тебе на ночь Иван задачу дал, ложись в кровать подумай, что это мужики говорят: барин, барин, без порток, а пляшет.

Кощей.

С тех пор, как Марья Моревна уехала — обещалась не надолго, а прошла почти вся зима — собрались опять разные тайны; то показывалось раньше в саду, в лесу, в полях, а теперь стало в людях и спросить про это опять некого: на такие спросы в ответ только смеются, или говорят: „сам догадайся", а есть такое — спросишь и пропадешь. Поговорили на деревне про Адама, что бог создал его из земли и велел ему землю пахать, тот Адам успел землю получить, и так стали мужики, про которых мать говорила „энти мужики". И еще говорили на деревне про второго Адама, что ему бог тоже велел обрабатывать землю, но земли уж больше не было, от этого второго Адама начались, как мать называла, „те мужики", и вот те мужики задумали землю **столбить**. Приехал становой узнавать кто хотел землю столбить. Все сказали на Ивана. И увезли куда-то Ивана.

— Куда увезли Ивана?

— Куда Макар телят не гонял.

— Какой Макар?

Все засмеялись и это значило: „сам догадайся!".

Царя убили и опять стал царь, сразу большой, с бородой. Мать раскладывает: „Николай умирает, Александр **рождается**" — не с бородой же рождается царь? Опять сам догадайся.

— Отчего это, мама,— спросил он,— все догадываются сразу, а я после?

— Оттого, что ты очень рассеян.

Вышла новая загадка — все люди, как люди, а он какой-то рас-се-ян-ный. Вот если бы хоть на один день увидать Марью Моревну, она бы все тайны и загадки сняла.

Светлый день пришел: на земле снег лежал, на небе облака растаяли, солнце показалось. Сказали: „как день-то прибавился!". Еще сказали: „Это весна!". А еще сказали: „Сегодня Маша приедет!".

Мать говорила:

— Не узнаю своих детей, что сделала с ними за одно лето эта милая Маша; как они ее слушаются, скажет: „нарвите цветов", и они собирают; но мало того: часами сидят, цветочек к цветку,— и букет выходит. Скажет: „найдите хорошее яблоко!" и сколько они натрясут, насшибают, перекусают, пока не найдут янтарное наливное.

Скупая Софья Александровна против этого:

— По-моему и не очень хорошо.

— Как не хорошо, что вы! Пусть перекусают все яблоки, только бы на людей были похожи, а то ведь было совсем одичали, чуть кто к нам — и бежать; теперь сами гостей встречают и радуются — удивительно! Какие у нее способности! Вот бы каких нужно для воспитания детей, а не старых дев и уродов

— Очень горда: она и детей этим заражает, возбуждает их к чему-то необыкновенному, а жизнь требует в смирении и терпении учиться класть кирпичик к кирпичику.

— Этому сама жизнь научит, а Маша... Тургеневская женщина.

— Экс-пан-сив-на-я: ее бросает в разные стороны, то она цветами осыпает певцов, то вдруг окажется на ма-те-ма-ти-чес-ком, то в Италии, то доит коров у Толстого в Ясной Поляне. Все это от гордости: красавица, порода, а самого главного для жизни нет,—у вас они не занимали?

— Пустяки, я бы очень рада была поблагодарить, дети мои—неузнаваемы, в гимназии начали хвалить.

— Ей бы устроиться гувернанткой в аристократическую семью, но разве она пойдет? Я право не знаю, что ждет ее в будущем.

— Пустяки, такая красавица и не найдет себе партии?

— Искать, конечно, найдет, да позволит ли она себе искать, и сами знаете, какие у нас женихи.

— Жених, правда, у нас никуда.

— Я хочу ей посоветовать к Старцу съездить. Вы не знаете, сколько там теперь бедных девушек из отличных дворянских семей собираются, каждая находит себе утешение. Там и на нее пахнет этим духом смирения, а то, право уж, она чересчур горда.

А Курымушка в кресле сидит и все наматывает себе на клубочек, он это понимает, что Софья Александровна хочет отдать Машу Старцу, и теперь Старец ему кажется Кощеем бессмертным. Но он, Курымушка, это не допустит; вот Маша сегодня приедет, и он все ей перешепчет Марью Моревну он не отдаст Кощею бессмертному.

Суд.

Мать всегда такая: одна радоваться не может; по случаю приезда Маши созывает гостей, просит Софью Александровну с мужем,—она и не подумает, рада ли будет сама Марья Моревна Бешеному барину.

— А главное, — опасается Курымушка, — при гостях, как я ей перескажу про заговор с Кощеем бессмертным?

Так он думал. Крикнули: „едут!“. Он бросился.

— Оденься, оденься!

Но было уже поздно. Курымушка раздетый, без шапки вылетел вон на снег и там машет, и пляшет, и поет, встречая Марью Моревну. Вот она выходит из саней, целует его, вот сейчас бы тут ей на лестнице все и пересказать, но за Курымушкой погоня, Дунечка выходит, мать. Потом дома начинаются совсем ненужные разговоры, приготовления к вечеру, и в ожидании гостей все сидят за столом, опять мать раскладывает и рассказывает:

— Какие удивительные перевороты бывают, я это знаю: он был настоящий а т е и с т.

— Какой там атеист,—отвечает Дунечка,—просто и верно говорят мужики: Бешеный барин.

— Но все-таки Александр Михалыч в бога не веровал, везде этим выставлялся, и вдруг...

— Как же это вышло?—спросила Маша.

— А так вышло, очень странная история: после убийства царя он стал сам не свой и даже заболел,—на желудочной почве начались экс-цес-сы.

— Тетенька,—засмеялась Дунечка,—вы ужасно смешно рассказываете.

— Я не смеюсь: это мне все она так передала, а знаете, какая она хитрая,—воспользовалась этим его состоянием и уговорила спросить у Старца совет. Ответ был, как всегда, ла-ко-ни-чес-кий: „пусть ест гречневую кашу и соленые огурцы". И что же вы думаете, все у него прошло, настроение прекрасное и говорит: — „православные посты—великое дело!".

— И уверовал?

— Не сразу. К Старцу съездил и тогда вдруг святошей стал: свечи продает в церкви, с тарелочкой ходит. Софья Александровна в восторге, у нее теперь с ним печки и лавочки. Вот увидите, сегодня они вместе придут, очень интересно.

Дунечка тяжело вздохнула, она теперь стала совсем невеселая: убили царя и царь опять сразу явился, а Дунечке еще стало хуже и работает она по-прежнему на ле-галь-ном положении и по-прежнему стоит маленькая у печки, читает:

Жандарм с усищами в аршин,
И рядом с ним какой-то бледный
Полуиссохший господин.

Мать не может выносить, когда кто-нибудь недоволен, страдает и отдельно живет,—украдкой на нее посматривает через очки и робко спрашивает:

— Милая Дунечка, все-таки я этого вашего никогда не пойму, бывают же все-таки и жандармы хорошие?

— Тетенька!

— Вот для примеру становой Крупкин у нас уничтожил все конокрадство в уезде, какое он сделал для крестьян колоссальное дело.

— Тетенька, это совершенно другое.

— Но почему же другое, и как это у вас разделяется; жандарм, положим, исполняет честно свои обязанности, чем он хуже других людей, а вы всякого жандарма презираете! Царь был тоже прекрасный человек, освободитель крестьян, и его убили, ну, как это понять? Объясни пожалуйста, ведь я на медные деньги училась.

— Вы правы,—сказала Маша,—убийство, это—несчастье, убийство задумывать нельзя, и если оно выходит, то это несчастье.

— Маша, Маша, — воскликнула Дунечка, — как ты этого не понимаешь, это не убийство.

— А что же это такое?

— Это?—это суд!

Маша хотела что-то ответить, но на дворе сразу все собаки загамели и обычный ужасный крик раздался, будто кого-то собака за ногу схватила:

— Гости идут!

— Тетенька, милая, — отпустите меня, я спрячусь, не могу я видеть его, слушать и молчать.

— Нет, Дунечка, останься, мы же тебя не дадим в обиду, что ты будешь одна сидеть, и знаешь, у нас сегодня твой любимый постный пирог с грибами, жареные пескари. Накрывайте же на стол, няня, няня!

Открытие.

Случилось это первый раз за все время: Софья Александровна вошла вместе со своим мужем Александром Михалычем и под руку. Но зато как неловко было всем сидеть за столом, — разговор обрывается, мать нетерпеливо говорит в дверь:—„Ну, скоро ли у вас будет готово, подавайте же!“ И опять занимает гостей:

— У вас, Александр Михалыч, червяк сильно точил озими?

— Пустяки, у нас каждую осень бывает червяк.

— Осенью все-таки зеленя очень зажухли, весной вы думаете отрыгнут?

— Какая будет весна.

— Я спрашивала и Старца про это, — сказала Софья Александровна,—он тоже ответил:—„осень—выклочу, а весна—как захочу“.

— Разве Старец и в этом понимает?—спросила Маша.

— Ну, как же, он все понимает, ему это дано. Вы послушали бы, что у него бабы спрашивают, — в каком платье венчаться: в голубом или розовом, какого поросенка оставлять: белого или пестрого...

— А это уж глупо!

— Как вам сказать, он так говорит о себе: монах — сухой кол, а вокруг него вьется зеленый хмель, и для того существует монах, чтобы поддерживать хмель.

— Как это прекрасно, какой он мудрый человек! Я только про баб думаю, можно ли такими глупостями его затруднять? А что он отвечает на это?

— Он отвечает всегда: „ты сама как хочешь?“ и благословляет то, что они сами хотят.

У Марьи Моревны вдруг загорелись глаза и брови раскинулись птичьими крыльями.

— Значит, — сказала она, — они идут к нему с сомнением, а по пути сами догадываются?

— Конечно, так просто.

— И это он благословляет: их собственную догадку в пути к нему?

— Их догадку?

— Так они и Старца рождают сами в своем сердце, как это прекрасно, я непременно хочу видеть его поскорей.

— Поезжайте завтра, у меня будут лошади, только приходите пораньше.

„Конец, конец, — думает Курымушка, — теперь все пропало, он не успеет ничего ей рассказать, она рано уедет, и Кощей бессмертный никогда не выпустит от себя Марью Моревну; но во что бы ни стало нужно добиться разговора с ней и предупредить".—Полный тревожных дум, рассеянно он стал катать шарик из хлеба, заложив палец за палец, и выходило очень странно: шарик был один, а казалось — два.

— Убери руки со стола, — сказала мать, — что ты там делаешь пальцами?

— Шарик катаю, — ответил Курымушка, — удивительно, шарик один, а кажется—два.

— Как это?—спросил Александр Михалыч.

— Вот так.

— А и правда!

Все очень обрадовались, что не нужно стало заниматься разговорами, и все стали катать шарики.

— Ну, молодец, вот так открытие!

Как сказали открытие, высоко взлетел Курымушка и так сладко стало ему там наверху. „И почему бы,—думал он, — теперь не спросить их всех сразу о всем, — они все хорошие, и сам Бешеный барин катает шарики, как маленький".

— Спрошу! — решил Курымушка, — может быть и это будет открытие.

Уже хотел спросить, но раньше его мать свое начала:

— Я думаю завести четвертый клин с клевером и тимофеевкой, хочу посоветоваться с Данкевичем.

— Что же, посоветуйтесь,—сказал Александр Михайлыч,—у него хозяйство образцовое. Он только вернулся из Петербурга.

— Представлялся царю?

— Я его вчера видел, он в восторге от царя: „лицо русское, борода широкая".

Все опять замолчали. Дунечка упорно смотрела в тарелку, мать стеснялась Дунечки, Маше тоже отчего-то было неловко. А Курымушка решил окончательно: „спрошу! и может опять это будет открытие". Какой-то крючок соскочил, и звонко спросил он при общем молчании:

— Царя убили, и он сразу родился с бородой, — как это может быть?

Вышло второе большое открытие: все, даже Дунечка, долго смеялись, и Александр Михалыч наконец объяснил:

— Царь рождается, как и все, маленьким, и растет наследником, а потом, когда царь умирает, наследник прямо же становится на его место и делается царем.

— А если так,—спросил Курымушка,—если царь всегда, непременно рождается, то зачем же его убивают?

Тогда вдруг что-то очень злое стало в лице Александра Михалыча, он посмотрел на Дунечку и сказал:

— Ты, мальчик, лучше спроси об этом свою тетю, она в этом больше меня понимает.

Дунечка вся вспыхнула. Все глухо замолкли. Открытие было какое-то ужасное. Но Курымушка уже был высоко, он хотел делать все новые и новые открытия и спросил:

— Бог сотворил Адама из земли?

— Ну, хорошо, сотворил.

— И велел землю пахать?

— Велел.

— Почему же он землю не дал?

— Вот ты какой!—удивился Александр Михалыч.—Неужели это сам догадался?

— Я не умею догадываться,—ответил Курымушка,—мне это Иван ал.

— Те-бе это Иван ска-зал?

— Иван, а про Ивана почему-то все говорят: выли-тый Александр алыч.

Тогда случилось, как бывает часто во сне: по стеклянному полу льшом зале идет Курымушка, по сторонам много людей, смотрят его, как он пройдет, а пол стеклянный вдруг наклоняется и „ай-й“! он катится торчмя головой и куда-то „бух!“—просыпается.

Пол наклонился, Курымушка полетел и видел, как моргала ему черными глазами, как махала ему белой салфеткой, слышал, как ал Александр Михалыч:—„Рано тебе за столом разговаривать, ты дурак“! Все встали, благодарили мать за ужин, и ему строго ве-:—„Ступай спать“.

Тихий гость.

Велика эта ночь вышла Курымушке, уснуть он не мог и все думал, о это он что-то неловко тронул, сорвался с цепи Кощей и теперь закует своей цепью, и с Марьей Моревной теперь простись на-а. В приоткрытой двери маминой комнаты светилась лампада и о слышится оттуда, как Дунечка плачет и шепчется с матерью.

— В письме так и сказано: „работать неопределенное время на ьном положении“—это значит всю жизнь в этой тьме, в глуши.

— Милая, поезжай в город.

— В городе таких, как я, много.

— Ну, не плачь, не плачь, привыкнешь, обойдется, что же делать, вот я работаю на банк и, видишь, совершенно одна.

— Вы все-таки любили.

— Что ты, как я любила? Помню, вывели меня к нему, посадили на зеленый диван и увидела я черную бороду—вот и все.

— А потом?

— Я не скоро к этому привыкла, и тебе не это нужно, не это любовь.

— Не говорите так, у вас есть дети, мне и того не достанется.

— Полюбишь чужих детей, как своих.

— Полюблю, я знаю, но все это „не то".

„Бедная, бедная,—шепчет Курымушка,—всех вас опутал Кощей своей цепью, но как быть? Ведь это я виноват, это я выпустил Кощея, как быть? Надо покаяться,—решил он,—во всем покаяться Марье Моревне, все ей сказать и тогда будет опять хорошо, а главное, нужно открыть заговор на нее. Как бы ей это открыть? Разве пробраться к ней в спальню „в маленькую комнату", разбудить: она все поймет? Но как пробраться туда через мамину комнату, по коридору, и как дождаться, пока все уснут".

„Надо, надо!"—решил он и с этой минуты началось ему это „надо" на всю долгую ночь.

Долго шепчутся мать с Дунечкой. Курымушка нарочно не закрывает глаза и видит голубой снег, по снегу идет он к дереву и там, у дерева долго стоит. Дед Мороз спрашивает: „тепло ли тебе, Курымушка?"—„Очень тепло!"—отвечает он морозу, а со стороны голос:—„Надо, надо!"

— Слышите?—спрашивает Дунечка,—слышите?

— Кажется, плачет,—надо посмотреть, вот всегда так дети при гостях нервничают, что он сегодня разделывал!

— Ужас! Всегда один, вот нехорошо: в одиночку у детей складывается все особенно.

— Спишь?—тихонько спрашивает мать.

Курымушка нарочно сопит.

— Спит!

И обычное: рука на голове.

— Кажется, есть жарок, но это нервное, в другой раз непременно буду раньше укладывать. Давай-ка и сами ложиться, очень уж поздно.

Пока они раздевались и укладывались, Курымушка все боролся со сном, но когда затихли, ему представилось будто он машет ладонями по воздуху и поднимается, пробует еще раз—выше поднимается, к самому потолку в зале, и всю залу у самого потолка облетает, как муха. Он заявляет об этом открытии всем, и множество народу соби-

рается на двор посмотреть, как полетит Курымушка. Вот он выходит, машет ладонями, разбегается, опять машет, но земля, как магнитом, держит его ноги,—и все хохочут, ругаются:—„вот собрались, дурака-то мальчишку послушались", но когда все разошлись, он попробовал и опять поднимается, и все выше и выше. Так ужасно его мучит, что нельзя им показать свое открытие, было бы так хорошо всем летать.

— Опять плачет, слышишь?—говорит Дунечка.

— Не дать ли ему брому?—спрашивает мать.

— Нет, подождите,—кажется, опять спит.

Курымушка нарочно сильно сопит, но глаз больше не закрывает и опять видит белую поляну, спящая красавица Марья Моревна лежит под сосной, Иван царевич подходит к ней, и надо ему разбудить Марью Моревну, а не знает, как тронуть ее, и чтобы не испугалась, так и стоит и стоит Иван царевич возле спящей красавицы, вот, вот и сам заснет. Вдруг как из пушки ударило:

— Надо, надо!

Курымушка проснулся, и так ему стало невозможно и трудно сделать задуманное, ему кажется верным делом спать, и задуманное, как страшный сон, прошло и не надо. „Нет, надо!"—опять вспомнил он и прислушался: все спят, слышно даже, как Настя в коридоре храпит и там крыса пол грызет, у няни сверчок, темно, у мамы лампада. Нет надо итти, надо, надо! Холодно в одной рубашке, но где тут искать штаны в темноте! Открывает дверь, громко скрипнула под ногой половица, он сел и ползет между кроватями; мать спит и Дунечка спит. Вот медная ручка, которой няня с той стороны шевелит осторожно, когда хочет мать разбудить; эту самую ручку и он теперь шевельнул.

— Ты что, няня?—спрашивает мать.

— Живот болит, не знаю что делать,—отвечает Курымушка.

Кажется сказал вслух, а ничего не сказал, и мать это спросила во сне. Вот теперь коридор этот темный и длинный, где Настя храпит и крыса скребет. Вот „маленькая комната" и у нее ручка точь в точь такая же, точно медная стуколка, но тут хорошо, пусть Марья Моревна услышит и спросит. Нет, она не слышит, спит. Открывает дверь и вдруг, как сон: на белом лежит спящая красавица и темные волосы ее разметались и даже свесились с подушки, и он, как Иван царевич, стоит, хочет и страшно будить: она вскрикнет на весь дом и все откроется, и что тогда скажешь при всех. Иван царевич долго стоит и дрожит от холода в одной рубашонке.—Не убежать ли?—спрашивает себя.—Надо, надо!—кто-то велит.

Тихо шепнул он:

— Марья Моревна!

Открыла глазок и закрыла.

— Марья Моревна!

Опять открыла глазок.

— Марья Моревна!

Другой.

— Ах, как я долго спала! Кто это? Ах ты, Курымушка?

Странно смотрит и страшно от этого. И уже хочет сказать Иван царевич в ужасе:—„у меня живот болит, не знаю что делать".

— Надо, надо!—требует ночной голос.

И падает маленький гость, как в „Отче наш", на колени:

— Прости меня, прости меня, милая Марья Моревна.

— Ну, что ты, родной, что, милый мальчик,—шепчет Марья Моревна,—иди сюда на кровать, ложись, вот так, ну что, рассказывай все.

Про Кощея бессмертного рассказывает Курымушка,—как он спустил его сегодня с цепи и что там уже есть заговор на нее,—отправить завтра к Старцу, а Старец и есть Кощей, и что он велел себе не не упустить Марью Моревну—все рассказал, все тайны открыл и даже как он во сне куда-то летал и при людях это не удалось и его засмеяли.

— Не уезжай, не уезжай к Старцу!

С улыбкой счастья глядя куда-то, кажется на эту картину прекрасной дамы с младенцем в руках, Марья Моревна сказала:

— Милый сыночка, ты разбудил меня, и я тебе обещаю: никто никогда меня не возьмет.

— Не поедешь завтра к Старцу?

— Зачем теперь мне к Старцу ехать, я без него знаю чтó мне нужно делать.

— Неужели ты пойдешь в гувернантки?

— И в гувернантки не пойду, я всегда буду с такими, как ты, кто меня будет любить и звать, к тому я и буду ходить.

— Я всегда тебя буду любить и звать.

— И я всегда буду с тобой.

Тогда показалось Курымушке, будто кто-то третий тихим гостем явился сюда и стоит.

— Кто это?

— Кого ты видишь?

— Вон, голубой!

— Ах, это уже рассветает. Спи, сыночка!

— Но отчего же там голубое?

— Это всегда так, весной на рассвете так голубеют снега.

— Мне показалось, будто кто-то вошел.

— Сыночка, спи дорогой, ничего не бойся и не летай во сне без меня; может быть, когда-нибудь я научу тебя летать по-настоящему, и никто над этим не будет смеяться.

— И все полетят?

— Все, все полетят!

— Куда же, в рай?

— Какой тебе рай, это близко, далеко за рай, в страны зарайские!

— Где живут бобры голубые?

— Там все голубое.

Сладко спит победитель всех страхов на белой постели Марьи Моревны. Тихий гость вошел с голубых полей. Несет по облакам светлого мальчика Сикстинская прекрасная дама. Гость пришел не один, с ним вместе с голубых полей смотрят все отцы от Адама с новой и вечной надеждой: „не он ли, этот мальчик, победитель всех страхов, снимет когда-нибудь с них Кощееву цепь?!".

Конец первого звена.

(Продолжение следует).

Вокзалы.

Повесть.

А. Малышкин.

(Окончание).

Часть вторая.

На севере от Финляндии, на юге до Карпат и Черного моря, две тысячи верст в длину, тысяча в глубину — солдатская земля.

В мглах дороги польские, галицийские, буковинские; шумят августовские леса; в дорогах обозы, как половодье. В обозах ползут еще обозы, орудия; по земле путь армий — в обломках жилья, вокзалов, развороченных рельсов — там золотыми нитями неслись когда-то европейские поезда.

На западе — зарево; обозы, ямами зыблющиеся за ними поля — в мутно-красном закате, будто не в жизни. На зареве, отпав от груды темных, мелькнет горбатый, с большой лохматой головой, с винтовкой. Или на коне, тонкий, как игла; пика пляшет на спине о дикой победе. Или на черном бугре четкий, гордый клюв статного, затянутого в черкеску; его бинокль льнет в далекое, где — задвинутое ночами — смерть, крики, беганье исступленных; на бугре недвижно стоит стиснув зубы, кровь туманит, бьет в виски: царская кровь...

И вдруг ближе — наклонит землю, загудит пудами, глыбами железа, ураганным; долины, леса, реки — в дымах, в ураганном; плоскости земли горят, шатаются, из вырванных ямин взметываются в небо смерчи земли, в них маленькие бегут миллионами, кое-как, кричат, глыбы рухают в них — в мокрое, в говядину — и опять высыпает множеством, бегут;—где-то за столом—вечерняя семья, девушки читают стихи Блока, в театрах симфонические концерты, там мыслители пишут, что человечество восходит в зенит прекраснейшей своей культуры; на земле кричат, садятся, крича; стихают, заваленные дымом, другими; в ямы, на кучи скорченных, наскоро сыплют землю прямо на пухлые остекляневшие глаза...

Бой...

Но опять возникнут над ними города, вокзалы; в горизонты качающимся поездам еще не раз промчать золотые свои огни на Остендэ, Ниццу — через затихшие непомнящие поля!..

И еще и еще подвозят с востока... Земля гудит от шагов, переполненная человечьим дышащим множеством — может быть, встают еще из земли и те, что залегли там пластами под корой, по которым ходят... мешаясь с живыми, опять идут на сумрачную свою работу...

Вот:

Вчера в степи скакали в атаку, клонясь беспамятно и упрямо вперед, как бы преодолевая противящийся, откидывающий ветер. С фланга скакал поручик, выставив вперед немой, без крика раздвинутый рот, поручик в зеленой бекеше, с белым барашковым воротником, без лица. Вдруг разверзлось залпом, сухо и огненно пыхнуло из земли, эскадроны падали, громоздились друг на друга, рыча метались на буграх тел взбешенными задранными мордами лошадей; пригибаясь к гривам, ринулись назад... Лежал поручик у дороги с кровавым корневищем вместо головы...

А сегодня — опять: за бугры тащилась батарея, серые, долгополые подталкивали орудия плечом, отлячивая в подошву бугра коренастые, исхлестанные в глине ноги. Над бугром — зарево; где-то всенощная восходила в огне, вое, смертях. И за орудиями, приказывая, шел поручик, тот самый, с белым барашковым воротником, без лица; указывал позицию, цифру панорамного прицела. Поручик своей батареей начинал бой: рядом — полями — уже стремились в западную стену ночей теневые тысячи, миллионы: чтобы закричать, упасть, затихнуть навсегда... лечь рваным телом на бок, раскорячиться, закатывая глаза...

...в ту ночь над ними пойдут поезда, двое будут глядеть в поля, покачиваясь под музыку вагон-салонного рояля, щекой к щеке. Из окна будут глядеть в лунную песню ночи, немые от счастья, он скажет: здесь была мировая война...

Нет!

. . . .

Скорые еще мчались через страну трепещущим сказочным блистаньем.

Вокзалы, не касаясь, уплывали мимо них, ложились за окнами, как грязные отвратительные голгофы. От Рассейска в скорый сел генерал с дочерью, она была в трауре по женихе, убитом под Сольдау. Где-то за сто верст впереди, на узловую станцию, пригнали молодняк из города, морозили на порожнем первом пути, состава не подавали долго; с молодняком были и Толька и Калаба. Скорый шел к узловой, через нее — на Петербург; уже за тысячу верст все в вагоне было петербургским: тучный барственный господин в визитке, куривший у окна; предупредительно пропускающий всех в коридоре офицер генерального штаба, табачно-бледный, с холодными, неприятными, сказочными глазами; ленивые напудренные женщины в шелковых по-

вязках, лежавшие с книжками на диванах; сигарный дым — будто над смокингами и проборами вечернего чая. В окне вращались, как на подносе, те же белые поля, волчьи сугробы, деревенские зады с ометами, тощей ветлой, курными банями — все тысячелетнее, закинутое, смирное — то самое, о чем смутно тосковал молодняк, жмясь к перронам узловой, приседая и ляская зубами от дрожи: вечер был февральский, талый, но ветреный, сквозь шинели секло, как по голому...

Генерал разговаривал с господином в визитке о войне. Генерал был близок к сферам, где все знали; он с полным правом мог дать честное слово, что у тех хватит продержаться только до весны, что весной кончится все. Поезд мчался по насыпям в ветра бодро и мощно. Собеседник желчно и брюзгливо сводил все время разговор на твердые цены на хлеб: разве они не знают там по кому бьют? разве государство не на наших плечах? Это нам за гвардейские полки, которые грудью отстояли Варшаву! Вообще, правительство... Вы видели, что делается у магазинов, на вокзалах? Нужно верная, твердая рука,—иначе!.. Глаза генерала стали фанатичными и торжественными — он видел себя на Марсовом поле, на ветру, перед тысячами выпертых грудей, рабьих глаз, готовых ринуться, куда угодно,— генерал нарочно отчетливо и громко, не считаясь ни с кем, сказал:—„Пока мы, пока народ, идем умирать за отечество, эти изменники ведут там какую-то темную игру!..“— собеседник понимал, что речь идет о Думе:—„Но стоит государю сказать нам слово!..“. В купе лежа читали о войне, о любви, ленивые теплые тела скучали. Девушка в трауре прошла за коридор, встала у окна против уборной; девушке было понятно, что даже в этой вихревой жизни поезда, даже в летящем из пространств Петербурге ничего, ничего нет. Офицер вышел тоже, встал за ней, наклонясь близко — говорил; они не были знакомы, но он знал такие же женские глаза на фронте, у сестер милосердия — там, в солдатской земле, обдышанные тысячами голодных и злобных, девушки легко отдавались на темном дворе за госпиталем, в торопливом углу вагона — под цыганский крик гитары, эти зрачки блестели дико и жадно... Она слушала: может быть, жизнь:—затеряться сквозь вокзальные уличные трущебы, где теперь все спуталось, все легко,— сделать вид, что верит этим глазам, где-то в бесстыдной спрятанной от всех комнате распять себя, жечь преступно и сладко. Офицер полунасмешливо следил за ней, уже видел, как будет все...

И кричали свистки — скорый вползал в тусклые вокзальные дебри узловой. На первом пути с узлами, с котомками толпился нестройной шеренгой молодняк; состава еще не подавали. Из вагонов шли к буфету; окна сияли сумеречной голубизной; просторная безлюдность огромных столов, отблески паркета, высокие воздуха зал успокоительно напоминали о далеких гостинных, к которым мчал экспресс. Еще все было ясно, еще ничего не могло быть страшного в том, что из каких-то

подземных нечеловечьих кругов сползались к порогу, к окнам, впивалось в комнаты мутными глазами...

Но все-таки было нечто неотвязное и неспокойное... как будто поездам не прорваться сквозь наваленную в ночи океанную слепоту тьмы — там, у сидящих и лежащих на перроне и дальше, какие-то несвязные миры лепились из мутных злобных дум, могло вырасти в один бред, рвануть вдруг на кого-то все звериные толпы — ыххх! — в клочья. под каблуки сапог, голыми кровянящими руками сквозь брызнувшие стекла — за горло . . . .

. . . .

. . . будто обожженные вокзалы в бреду, поезда стоят и крутятся от Новохоперска до Смоленска — только, плакаты рвутся со стен окровавленными кулаками — рвутся — добей! убей! — грохочут красные поезда — из них орут, глаза навыкат, винтовки куда попало; и уже не генерал Арапов — гражданин из города Сохачева трясется на полу теплушки в потной давке, бабьих узлах, среди смрадного больного хрипа — куда? — на Воронеж, на Орел...

— идет сила с Дона, гражданин знает, где высадиться, ждать...

И уже гремит из степи, ахает и роет мостовую где-то за станцией — ближе — ближе. На перегоне взорван мост — перед ним деникинский бронепоезд пыхтит в упор, красные штабы под парами, уже через рельсы волокут к вагонам пулеметы, рвут провода; выброшенные пассажиры лежат, накрывшись мешками, дрожат под вокзальным забором. Один гражданин из города Сохачева сидит на земле прямой, как струна, в пиджаке, в лохматой своей шапке, ждать гражданину уже недолго — кто-то останавливается против него, глядит, глядит, глядит, — коренастый, зловещий, уши шлема по ветру —

— Ты кто такой есть?

— А, документы! Вставай...

В штабе, спиной к вагонному окну, стоит тот в расстегнутой гимнастерке — гражданин не знает его, но ненавидит — на низком столе карта, маузер, горячка, глаза на минуту отрываются к гражданину и прилипают — изумленные, под упавшей космой — коренастый говорит:

— Вот, товарищ Анатолий, узнаешь?..

Глаза мутятся — видится им дальняя ночь, вой обнявшихся, ночь, страшная земля...

— Вы кто?

— Гражданин города Сохачева, по командировочному документу, вот документы.

— Вы знали в городе Рассейске гофмейстера, генерала, генерала Арапова?

— Ну?.. — спрашивает гражданин, он выпрямляется, прям, как струна: он уже ответил.

Товарищ Анатолий торопливо пишет записку.

— В вагон Особотдела... некогда...

Он смотрит вслед уходящему, он знает—что это уходит навсегда костлявой упорной спиной...

Генерала доводят до пакгауза, дальше итти незачем, провожатые переглядываются, понимая друг друга. Генерал чувствует, быстро повертывается, губы на белом лице горят.

— Ну?—щемит тихий голос.

* * *

... нет, только сумрачью толпились у порога, дальше не смели; за перронами шеренга покорно зябла, ежилась, ляскала зубами, никому не было до нее дела—все равно гнали на фронт. Из шеренги глядели в мокрую тьму: где-то за грудой путей и огоньков чувствовалась та земля, огромная, черная, страшная; тусклые миры вокзалов казались уже невероятными, они были накануне ее, перроны, фонари краями нависали над смертью; задыхающийся свет, резко и празднично горевший в вагонных окнах, был как глухая боль...

Звонили звонки, распахнулись двери, за которыми горело тысячью ламп. С перронов неохотно поднимались, отползали, давая дорогу, провожая идущих слипшимися от лежанья, кровяными глазами. У вагонов толпились офицеры, с папиросами в углах ртов, пропуская вперед дам, смеющихся и боязливо неловких на ступеньках, поддерживали их, как драгоценность, за локти, за талии шелковых манто; с перронов на них глядели дико и изумленно.

И к вагонам прошел генерал—на рельсах вытянулось, оцепенело—генерал прошагал не глядя, раздражительный, для всех этих неприкосновенный, грозный—он был взволнован разговорами о политике. И за ним—в мехах, качающая бедрами; зубы ее под трауром смеялись; надушенным крепом—словно туманящим дыханьем её самой—Тольку задело по лицу.

Он узнал обоих.

Окна вагонов стояли, как та ночь в саду.

Из сырых степных потемок пронеслись ветры с пьяной упорной силой,—в вагонах крикнули:—слышите, это весна. И как-будто опять тоской, огнями, чужим счастьем осыпалось из сада, шумела топотами ночь, за вокзалами согнанные из волостей в самсоновскую армию запасные, Эрзя, опять бежали по улицам, по терзающим площадям, бежали еще живые, но уже обреченные—на головах снились синие пятна проломов...

И за ними поведут его, этих мерзнущих на рельсах, они все—одно, слежавшееся в мутных потемках в комья уже неживого, кинутого; то, что осталось еще—надвигалось тусклыми нарами воинского, последней ездой, сумраками, дыханьем ждущей где-то озверелой резни... Вагоны захлопывались, замыкались навсегда в свои сияющие недоступные уюты.

Били звонки, паровозы свистели натужно и визгливо. Из потемок, с пьяных степей, бурно, тяжело дышала весна.

Ветрами кричало: нет, нет, нет!

И вагоны неслышно двинулись над морем пресмыкающихся, завистливо прикованных к ним зрачков, над низинами тел: в низинах лежали укрощенные. В медлительном отплыве вагонов была незыблемость, правота, властность—та же, какая из комнат министерств и штабов крутила поездами, народищем по всему белому плацу, гнала через сугробы к станциям, гиблым, каким-то нужным для себя делом шатала всю Россию; в вагонах знали: все равно за ними будет покорность, смирное слепое признанье.

Толька вскочил на перрон—нет, нужно было бежать, догнать, можно было еще успеть стряхнуть с себя эту мутную чару. Она шла оттуда, из отбегающих светов—это и злоба и бессилие и какое-то цепко сидящее в душе, слепое преклоненье—он пытался добежать, но под ногами тискалось, скулило живое, сапоги вязли в лежащем сплошь, телом к телу. Задохнувшись, распялся спиной у фонарного столба—поезд уже летел в степи, ликуя направо и налево цветными огнями; лишь пустые составы, ветры неслись кругом, вокзалы мчались, кружились, обволакивали сугробами тел.

— Я!—крикнулось внутри само.

Нет: ночи, толпы валят—лязгами, колоннами, некому услышать, глушь, земля задушена топчущими. От отчаяния, от съеживающей тебя злобы кричи—на тебя валами, за тобой валами—ты уже в валах, в спершихся холмах человечины—не вырваться, сцепило, как щепку, прет тобой на запад.

— Я!..

— Я-а-а-а!..

Глохнет крик, шопотный, словно на дне...

... Шеренга каменела на секущем ветру—будто целые века стояла здесь—ночи не было конца; качаясь, спали наяву.

— Теперь, значит, подыхай тут...

— Везли бы уж, один конец...

Толька подошел, шальные глаза светились на ребят злобой:

— А какого чорта стоите здесь? Вон в первом классе свободно, шли бы и никаких! Что мы им—собаки? А чего они нам сделают какого чорта?

Губы едко свело.

— Иль духу не хватит! Калаба, пойдешь?

Калаба угрюмо нахлобучил картуз на самые подлобины и шагнул на перрон.

— Айда! Все одно хуже не будет.

— Айда!

Шеренга вся хлестнулась о перрон, полезла туда на коленках. Протолкались тенигой к высоким стеклянным дверям, столпились. Толька

оглянулся—в тени стояли безликие, загнанные злобой, дышали на него, он дышал на них, сцепились друг с другом тесно своими пропащими жизнями—на все стало смело, весело, наплевать...

Ввалились сразу всклокоченной грудой, клубами пара. Толька впереди всех. За дверью швейцар метался, размахивая кулаками, отпихивая животом назад.

— Куда, куда, аль ополоумели? Черти!

Тысячью ламп горело, в ласковом ослепительном воздухе качались цветы; от столов обернулись; удивленно смотрели; сидящий с краю офицер нахмурился. Толька оттолкнул швейцара, скинул свой мешок на пол.

— Куда! Ишь ты тут... в тепле-то...

За столом взволнованно зашептались, офицер медленно вставал, отложив в сторону салфетку, зловеще прищурившись, подходил.

— Эт-та что? Ты кто—солдат или нет? Ты пьян?

Брезгливые глаза на секунду промерили всего—какого это: тысячного, стотысячного по счету?—офицер коротко кивнул на дверь:

— Пошел вон.

Толька, сбычившись, стоял, сумасшедшими пальцами расстегивая шинель. Из-за столов впились глазами, тишина стояла тошная, как перед убийством.

Вдруг плачем, визгом, захлебом:

— Ка-кэ-эй ча-асти?..

Толька рванул шинель, выгнул грудь, визгнул:

— Н-на, бей!

Сполз на пол, цепко лег на мешок. Калаба шатнулся за ним, ударил кулаком себе в грудь.

— Раз солдат, все равно подыхать. Бей!

Бросил мешок на пол, лег рядом. Сзади заелозили темные, выпускали из рук мешки, шуршали:

— Бей!..

— Бей!..

— Бей!..

Ложились.

Шинельными спинами налегло до дверей. Прямо по шинельным спинам, из ночи, робко проползали еще, согбясь, ждя удара; не сводя с трясущегося офицера глаз, падали где-то у стены.

— Бей!..

Офицер поземлянел, мучительно улыбнулся; пожав плечами, вдруг побрел к столу. На него не глядели, мог расплакаться, ударить шашкой по лампе, по первому сидящему...

... стояло настежь; несло нефтяным угаром, отхожими, лязгающими поездами; с перронов поднимались, лезли, отталкивая друг друга, торопливо ложились, цепко хватаясь за пол—злобные, жадные на тепло.

Облепило у стен; лохматой ночлежкой, коленками, животами, расстелилось до столов. У столов вяло ели, теснились друг к другу, боязливо поджимали ноги. Им чудилось—в темени бескрайное, разнузданное сорвалось с петель, хлещется какими-то бурунами... Часы до поезда становились жутко-бесконечными, за дверями, на железных путях, заваливало валами мрака, шло, шло...

Часть третья.

Над Петербургом облаками на огромной высоте мчалась ночь. Армии по всему фронту отходили за Варшаву. На Сенатской площади над зданиями дул ветер, в оттепели тускло блистали мрачные плоскости прибрежных гранитов—от тех огней, что где-то за Невой; фосфоресцировал мокрый снег мостовых от пролетевшего автомобиля; с автомобилем пролетало кружение парадных комнат, угрюмый блеск огромных вестибюлей, накуренных чрезвычайно совещательных зал... На Сенатской от медного всадника отошел человек: под шляпой водянисто-прозрачные глаза, жидкие ноги под жидким пальтецом, разъигравшимся на ветру. Издали еще раз оглянулся на всадника: тот неподвижно и уверенно плыл над тьмами, среди освещенных колонн; поводьями напрягал тьму.

На Невском, в тумане, в огнях густо шел народ; в тьму и из тьмы шел народ; от вокзалов—с Ораниенбаума, Петергофа, Любани, завезенные из далекой России, шли гурьбами солдаты, сами не зная, зачем. К вокзалам и обратно скакали отряды конных, их притворное и злобное спокойствие было зорко, как взведенный курок. Сквозь улицы, сквозь стенания трамваев из огненных стекол кричало:

— Сомма!..

— Сто двадцатый день под Верденом!..

Светящиеся окна Главного Штаба жили над ночью, как бдительные глаза: они заставляли тревожно знать, что Верден действительно есть, действительно существует за ночью, огненный и живой. Работа происходила над провалами какой-то безвестной и огромной тьмы. Армии отходили за Варшаву. Отходящее море было еще послушно, но загадочно, расплывчато в своей громадности и тьмах; как-будто какие-то неучтенные множества, еще не наколотые булавками на карты, входили в него помимо ясной управляющей воли; было слишком резко слышно, как гудели задавленные сапогами и телами города, вокзалы, ночи, уже с поездов расхлестывалось сюда—в Невский, под окна Штаба, министерств, шлялось зачем-то здесь—безлицое, лохматое, извалянное в окопной земле. Хотя меры были приняты, но могло подняться, смыть все к чорту, могло быть безумие, какого не знала история. Сила приказов и карт временами казалась призрачной, условной. Над комнатами висело накуренным дымом—курили много и жадно—работающим мере-

щились, становились неотвязным бредом полночи, цыганский крик, жадные мутные губы той. В поневежских лесах шел императорский поезд—высоко и тихо на валу; внизу—в темноте—стояли невидимые часовые с винтовкой к ноге, спиной к поезду, стерегли темь; из-за штор, из голубых купе не было видно ни часовых, ни леса—была слепая, всемирная, готовящаяся тьма. В ночной сдавленной стенами тишине бесчисленные, каждый день беззаветно сваливающиеся в полях коленками, животами, проломленными глазами вверх, представлялись иными, совсем неизвестными: нужно было еще раз овладеть ими, проверить их покорность.

В эту ночь начиналась наступательная операция на линии N—NN—NNN.

Армиям —

в ночи овладеть командным гребнем высот у N, где, сосредоточив все имеющиеся в наличии на участке силы, до подхода перебрасываемых сюда резервов, наметить первый прорыв; вливая, как в воронку, атакующие колонны, опираясь на частный успех, переклонить падающие груды масс на ту сторону, на запад. Наступление должно было всколыхнуть дух войск, спаять, озлобить и подчинить тьму.

Связавшись через пространства, работали в одном напряжении ставка, штабы; темное туго, но послушно поддавалось, закапывалось в землю, останавливалось на мыслимых намеченных рубежах.

... где-то в поле, в лесах шло; поезда обрывались к последним вокзалам, из них выкидывалось суетней одурелых, лязгающих чайниками, винтовками, орущих под метельными задыхающимися фонарями; с платформ стадом топало в ночь, стихало, неслышно шуршало там по снегам на много верст—

на линии N—NN—NNN.

В лесах шел Толька; шли, крадучись, невидимые, в лесах казалось пусто—лишь жили тысячи дымных сознаний, сны; в глубинах сознаний стояли глухой нечеловечьей яркостью леса, эта ночь... Вверху облака неслись, кидаясь в дикой опрокинутой погоне; тени крались в лесах, прижимая винтовки к животам, чтоб не звякало, слышали, как в затылки им дышали невидимые, за теми еще, за теми еще—ими ползло от самых вокзалов; слышали—гудело над гребнем, над предсмертным мраком—в высоте уже шло о них великое надмирное служенье...

Толька остановился передохнуть, огляделся: лиц не было, пошел дальше; рядом шел кто-то дружный, неотступающий—в нем угадывался крепкий упорный Калаба; еще кто-то вяз сбоку, вытягивая шею, тяжело дыша—и его узнал—это из той ночи был—Эрзя; сны его были глухи, как лес. И тогда стороной хлынули, узнались ильинские, из второй армии—им не было конца—тоже шли к гребню, прижимая винтовки к животам, чтобы не услышали, не убили опять; наверху над лесом неслись свои же, неслось ногайским валом, туретчиной...

Ползла обреченная тьма...

От жизни оставалось лишь воспоминание стужи, ям, штоломных надрывных блужданий; затянутые и искаженные чужой землей тонули в могильной тоске избы. Рассейск, ветляные тишайшие речки—вся покинутая сладостная небыль, будто уж там, далеко смирились быть без них, будто уж закопали и забыли навсегда, возвращенья туда нет. И уже в закрытых глазах хотелось, само тянулось к последнему — где-то на черте прорвать размозженной своей головой слепоту, пасть в беспамятное равнодушное освобожденье, чтобы разом потопило сомкнулось...

Ночью дошли, сели в снег у невидимых корней. Рядом жили из другого мира, навалились за гребнем, слушали.

Шифрованной телеграммой неслось: начать в два часа...

В Петербурге знали: начать в два часа. Лихорадочная ночь штабов, вокзалов, тронувшиеся в наступление массы переходили на Сенатской в вечное и упоенное окаменение колонн. Мимо колонн пробежал человек в трепыхающемся пальтеце, впитал их в себя, в них была привычная стройность и непоколебимость, всадник успокоительно плыл над тьмами.

После книг, после комнат была ночь отдыха, бездумных глаз...

В ресторане подали чай на балкон, в нишу; внизу — сквозь верхушки зимних растений лежал застланный огнями эллипсический зал, чувственная теплота поднимала оттуда, как крылья. Чай оказался холодным коньяком. Человек пил, в эту ночь душа должна была разжаться, как губка, чтобы полнее напиться яви; смычки пели в зале, еще полупустынном, над бесшумными там коврами, что мир далеко неясен, что он полон сладчайших туманностей, погрузиться в них — только этим цветна и сладостна жизнь; еще пели о чем-то, чего человек не понимал: это о том, что ночь была последней и прекраснейшей— сквозь стены и улицы она открывалась вся: там ехали по двое, шепчась, сливаясь головами, входили в комнаты, потушив огни, падали...

Человек пил коньяк, покачивая в такт головой. Он добрел, он допускал на сегодня все.

Тогда двое прошли по коридору — к кабинетам, наклонившись от чужих взглядов — офицер с актерским табачно-бледным лицом, с очерненными сказочными глазами, она—в мехах, розовогубая, дико прикрывшаяся ресницами; ее походка была преступна. Человек задохнулся: коньяк был очень крепок, или его задел своей безумной сферой еще неизвестный ему мир; смычки крикнули—он почти понял о чем; в эту ночь торопились любить, словно над ужасом, ее лицо, смычки—росли, опрокидывая все спокойствие дней; ночь беспокойная, тяжкая разрешалась в нее, обе они согласовались в мучительном слияньи...

Он потянулся из-за стола — в коридоре уже никого не было.

И спокойствия не было: угроза, недоговоренное были слишком ощутимы, что-то чрезвычайное, неизвестное, задевающее всех делалось

помимо него. Он уже спешил по Невскому не зная, зачем и куда. Толпы копились у витрин, качались сутулыми плечами; с вокзалов, на вокзалы бестолково двигалось колючими горбами шинелей, от которых тесно становилось огням и очередям трамваев — трамваи пробирались сквозь них шагом. Отряды всадников медленно проезжали, ни один не глядел по сторонам.

На мосту человек встал; ветром, резкой улицей хлестнуло по глазам, вывело из снов, осталось—

что в громадной вышине бурно, облаками мчится ночь.

Представились какие-то неизмеримые возлюбленные пространства, с них летели, дымясь, эти облака. Родимой пустынностью стояли дороги. Ветер шумел в избах унывной снящейся песней.

Это напомнилось огромно и потрясающе. Нет, ничего кроме, никакой другой любви не может быть никогда. Пьяненький мужчина прислонился лбом к ледяному парапету, он хотел бы забыть про улицу, утонуть во всеотдающей беспамятной распростертости. Но в светлых эллипсических залах едко водили смычками; та шла в своем мучительном мире; стекла громад судорожно кричали.

В ночи жутко росло—что?..

На циферблате, плавающем в тумане, стрелки показывали одиннадцатый час, он был, может быть, последним; вокзалы неспокойно гудели на гнилых грязях извозчичьей и человечьей суеты;—и дальше за заставами чудились затаенные тусклые окраины, гигантские корпуса, набитые пропрелыми этажами — там тускло горел керосин, ютилось население, какая-то Нерусь, дымили в небо всероссийские трубы— это оттуда тайком накапливалась безликая неисчислимая муть, крыла все своими сумраками, магазины гасли, кричало:

— Война!!!

— Сомма!!!

— Сто двадцатый день под Верденом!!!

Поля лежали уже не те — они были нелюдимые, чужие; облака мчались над ними погоней, лизали холмы, как страшный высокий дым. Крестного пути быть не могло, было безумие. Петербург вставал в пространствах косым мерзлым пожаром, за кривизной тысячеверстной пустоты багровело еще над Соммой, над Верденом, там еще, еще—расплавленными скрещенными дугами сливалось — над человечьим дымом и воем в полях—в один какой-то

Петербургосоммоверден...

...как тогда, в ночь самсоновской армии — все вечера дум, все великие дни, то, во что верил всю жизнь, могло разнестись сразу зыбким, смехучим, лживым дымом. Человечек сорвался с места, побежал, отхлестывая встречных распахнутым пальтецом: „нет, надо уехать, у меня, кажется, переутомленье, мы оторвались от земли"... Открылась привокзальная площадь, в туманных тылах громадин, обсту-

пивших ее, вокзал сиял, как огромное тусклое солнце, в колонных вратах входили, выходили, за оградой клочьями трубило, разбегаясь в темь, в сны...

— Уехать...—растерянно повторил он и здесь; гудки сосали сердце, звали в темную, другую, небылую Русь...

Солдаты метались по двое, по трое, кучами выбредая из-под колонн; закручивались по площади, разговаривая, покуривая, сойдясь лбами друг к другу. От них и от гудков потянуло как будто избяной землей, простотой; жуткая ночь спадала с души облегченно. Человек заторопился на мостовую, потянулся к одному с папиросой.

Тот предупредительно сковырнул пепел с цыгарки, поднес—

— Извольте-с.

Лица не было видно, стоял затылком к фонарю, глаза, наверно, нарочито-глуповатые, почтительные — разговориться бы с ним попросту, постоять... и вдруг раздулось цыгарным огоньком у зрачков, пронизало до дна усмехающуюся мутину их...

Человечек съежился в своем пальтеце, отшатнулся—ночь рухнула сразу какой-то тьмой. Кругом сдавило сразу народом, вдоль вставших грамваев по Невскому гикнули конные; шинели, котелки поползли, пригибаясь к земле, вырвались в темноту, за угол, помчались туда, падая. В угляном зареве облаков прохрипел над самой головой рысак задранной мордой — в экипаже метнулась белеющим ежиком голова бледного генерала, он был без шапки, качался...

...глыбы домов будто рвались по швам, напрягаясь камнями и окнами; из этажей истекала напряжением бессонная упрямая воля — глазами, вылезающими из впадин — волей давило в ночь, в упорствующую там силу—чтоб удержаться самим, чтоб не рухнуть—волей бесновалось над пространствами, лилось до Соммы, до зарубежных темнот—

но без десяти в два не дождались: осветили сверху, из-за гребня, видали: в снегу—впереди—под корнями столетних, в буреломе лежало ерыми узлами, серые узлы лежали за деревья в ночь, в тьму; трясясь, надавили рукоятки пулеметов, прорвали ночь лихорадкой жеезных зубов — скрежетом косили в ночь; узлы поднимались, живели елыми глазами из снега, стояли ослепленные в зареве прожекторов. I вот минута — ее ждали, в нее с жутью, перестав работать, глядели итабы, ставка; на ней покоились миллионы светлых огнями этажей, олночи Петербурга, Одессы, Киева — и там — Зауралья, до Владиостокских над-океанных кабарэ... и вот минута — тем, стоящим лесах, пересилить себя, стучащие зубы, ринуться, подняв винтовку, в огненный край—

тогда встала всеми мертвыми годами солдатская земля, уже переолненная до краев, проламывающаяся от ног и от тел, разверстая до чины своими взрытыми чревами, трупным оскаленным спаньем —

больше ее, страшнее ее не могло быть ничего — передние шатнулись, колыхнулись назад...

И задние, еще вязнущие в снегу, остановились, прислушались, тоже шатнулись назад, как будто ждали, побежали, побежало все, бросая винтовки, кладу. Навстречу вокзалы, пустые, с запертыми составами, стояли в метели, в задыхающихся фонарях...

* * *

Через недели, месяцы, через времена, ставшие бурными и косматыми, как море—через стоки наваленных друг на друга, накрещенных улиц—

а улицы приподняло всеми горбами мостовых, особняками, колоннами, адмиралтейством и бросило о земь, в железный визг, топот, лязг... солдатами сперлось от стены до стены, штыки шуршали над Невским, над Литейным, словно железный овес; этажи, колонны, адмиралтейство косо падали над плоскостями голов; Аничков, испещренный пулями, был вдавлен в землю, пуст, стогна пустынных зал излизывались уличными сквозняками;

даже в туманные желтые дни, как-бы желающие забыться, уснуть в себя—вой голосов, грудей звучал резко; солдаты отражались в этажах, как воронье, слишком долго не улетающее—на мокром петербургском снегу, тревожили; красные сырые полотна были настойчивы, они не считались ни с дождями, ни с туманами—шли; улицы будто пролегли от той самой темной земли, оттуда накопленное долгими годами—теперь вырвалось и шло, шло, шло; на хребтах, пока не сбрасывая, несло колонны, дома, балконы, с балконов кричали в толпы, балконы были косы, как и здания, шатались над землей . . . .

. . . .

— пургой несло с запада. Человечьей пургой несло, заваливало вокзалы, города.

Рассейские шли с фронта зимой, в конце семнадцатого. В пурге человечьей поезда ползли живыми завалами, на Рассейск, казалось— не проперећь. На узловой бунтовали, ходили с винтовками на станцию, устроили рвачку у депо, поезд все-таки достали. Грузились с лошадьми, с повозками, с пулеметами — все это увозили с собой. Вместо машиниста на паровоз сел матрос—из своих.

Калаба вышел на середину, свистнул через два пальца.

— Ходу.

Шли насквозь, не останавливаясь ни на станциях, ни на полустанках, пока на паровозе хватило топлива. Перед вокзалами матрос нарочно разгонял, гудел, как бешеный, толпы с платформ шарахались в сторону; теплушки пролетали; в них сидели на полу, болтая ногами;

впереди из классных перевешивались через разбитые окна, махали шапками, пытались кричать „ура“, но рты, уже позабывшие муштру, не слушались, расхлябисто орали:

— Ар-ря-а-а-а!..

С платформы ждущие глядели с завистливой радостью, на лету кричали:

— Домой?

— Домой! Ар-ря-а-а-а!..

Через восемь пролетов встали: всем составом грузили уголь; паровоз брал воду. Со станции подошел, попросился сесть человек в шляпе, со сладкой слезой на водяных прозрачных глазах; сказал, что тоже на Рассейск; Толька посадил его в классный. Опять шли, не считая задыхающихся пролетов, матрос снял фланельку, стоял голый перед огнем, рядом кочегар, тоже голый, то и дело ширял лопатой. Поезд лязгал по мостам, звонил на стрелках, вдогонку и обгоняя телефоны звонили —

...поезд с вооруженными... громят вокзалы... пропускать без жезлов... катастрофа неизбежна...

На вокзалах, в углах фойе, отгородившись баулами, чемоданами, сидели, пряча лица, в пальто, в гладких шапках, в пуховых платках. Баулы то и дело опасливо отодвигались в сторону—баулы были хрупки, из тонкой полированной фанеры, косолапые, через все прущие сапоги могли сразу же расхрустать их в щепки. И сидящие отодвигались— будто и им сапоги грозили наступить на горло. Огромное, каменностенное шатнулось, рухало, обломки летели смертельно, со стенанием и пляской, отовсюду дуло ощетиненными, злобно шуршащими сквозняками—страшно и некуда было бежать от них, путь был темен, лют, далек, путь был—годы...

За окнами грохало, кидалось бесноватой радостью во все концы—

— Ар-ря-а-а-а!..

Пассажир сидел в вагоне на тощем своем чемоданчике, в смрадной тесноте, надвинув шляпу на глаза; сбоку на плече кто-то спал, сверху болтали ногами, задевая шляпу, осыпая всякую дрянь на щеки и на плечи... А вот когда-то также подъезжал к Рассейску — в вагоне горок, сквозь закрытые ресницы, знаешь, — будет голубой просвет окна, сумерки, вдруг после Петербурга пахнет избой, сбегутся березы к полотну, наклонят ветви плакуче и сумеречно, сквозь них родина тихая, дремучая сквозит...

...у этих голоса резкие, готовые всегда кричать; лежали и сидели сторожко, будто в чужой опасной земле' винтовки на ночь клали под себя...

И сама земля другая.

Брошенные в снега кружились деревни — избы разбегались вразброд, как бы охально горланя, улицы белели широкими головорезными

пустырями. Ветлы сбегали в сугробные завалы с огородов, сучкляво и разгульно разметываясь на бегу; распор сучков был колюч, неспокоен, криклив; пурга косым мороком летела, летела, крыла все, как вражья чара...

Телефоны звонили, обгоняя.

Ночью была тревога. В разбитых окнах заелозили фонари, по платформе шопотом заметались люди; к задним теплушкам торопливо клали сходни, выводили лошадей, лошади топали и ржали слишком громко, станция стояла глухая.

— где?

— а чорт его знает... Буди ребят!..

В вагонах поднялось сразу, как будто и во сне чутко и злобно стерегло себя каждую минуту сквозь закрытые веки. Пассажир тоже проснулся, ночь стояла незнакомая, не полевая...

За станцией стеной висела мгла, черные конные относились задом, наскакивали друг на друга в тусклом колыхании фонарей, облетали станцию, роя грудью темь.

— где?

— а чорт его знает... Бери винтовки!..

Толька подскакал к фонарям; на него глядели, будто он знал, что...

— Выходи один молодняк, старикам оставаться с поездом. Пулеметы к вагонам. Путь закрыт, когда можно будет ехать, пришлем. Дозоры держать кругом...

По рельсам процокали, ускакали в степь.

Пассажир сидел, стуча зубами—ему казалось, что на него поглядывали с опаской, чуждаясь — как будто и он из тех, что в ночи. Фонари слепли, шатались, из поля наскакивал готовый подушить все, выжидающий мрак.

— Правда, что ошибку дали: тогда бы еще всех порезать!..

На рассвете двое прискакали, сказали, что можно ехать. Остальные ушли далеко в степь, ждать не велели. Поезд стоял, не трогался. Запасные ходили к верховым в вагон.

— хто там?

— хто... знамо, хто...

Из-за станции приходили мужики, шептались с солдатами. Поезд стоял, не трогался. Матрос нацепил наган сверх шинели и ушел за станцию по дороге. К полдню опустели почти все вагоны, остались только караульные и дежурные у пулеметов — все ушли за поле. Пассажир слез, спросил караульного, куда.

— Куда?— шпирт громить, шпиртной завод тут недалече. Мужики позвали.

В сумерках дороги стали праздничными; к станции шли гурьбы с песнями, зазвенели колокольцы, с солдатами пришли бабы, зубасто

и конфузливо щерясь, все в шалях, как на масленицу, пришли мужики, тоже веселые; по платформе без толку топало, дергало плечами, качалось — деревья из станционного садика пьяно разбежались над рельсами, стояли в озорной одури; за станцией лежали рыхлые, словно масленичные снега до самого края, где начиналась ночь — там дорогами уходило, сумерками уходило на Рассейск — не с полустаночной — с полевой стороны...

И солдаты были уже дома; из бабьих радостных ртов шел пар; из закутов ревели телята, дымился навоз; дороги качали, качали, качали в снегах до сладкой обмирающей тоски... Всклокоченный, с разодранными в кровь белками, вскочил на городьбу, замахал руками:

— Товаришши!

Народ закрутил у городьбы, тянул к нему рты.

— Как мы таперь три года были на бойной!.. Таперь, как мы лежали в земле! Нешто слыхано это, а? А эти самые буржуи тут в классных катались, чаи с булками жрали! Нет, товаришши, таперь будет Таперь мы их, пожалте, за холку! Таперь у нас — вот.

Стучал остервенело кулаком по винтовке.

За станцией полыхало, снег стал красный, дороги в западинах черные, как уголь. Народ чернел омутом.

...— Таперь у нас — вот! Нам вагонов не давали, говорят: нет. Сами взяли. Вон — едем! Все возьмем! Приедем домой, скажем мужикам: как мы три года в земле лежали, мы наученые, нам все давай!.. Таперь стали мы...

Оскалил зубы из клочкастой бороды, визгнул:

— Всее земли-и!..

В омуте подхватили — хриплым дыхом:

— ар-ра-виль-на-а-а!..

За станцией от зарева стояло светло, как в закате, угляные дороги полосовали снега; там ходило темным косматым морем — в избах, в сучклявых ветлах, в пургой исшатанных деревьях — розвальни толпами бежали на Рассейск; на араповском дворе рыжо от соломы, от конского помета, в залах, в махорочном и овчинном смраде — съезд; колонны низки, кривы от дряхлости; старинные облупленные стены — тесны и приземисты; перед стульями, перед горой косматых, впившихся, жадных глаз,— мечется белесый в зале, оскалив зубы, кричит:

— Всее земли!..

Из зала, с вензельных стульев ревет:

— ...и-и-и-и!..

В пригодьях рвет гармоньями пьяно, бессонно, крутит соломой, пометом, по улицам рассейским — сквозняком деревень, прелых изб, солдатской махорки...

— Ходу.

С ведрами, с котелками — в них спирт — лезли опять в вагоны, утискивались на площадках, на буферах; сзади на площадке сидела мордва, самые смирные; винтовки держали молча, цепко...

Ночью спали каменно и люто. С утра поезд вступил в рассейские леса, в пурге вынесся из них, шел ногайским валом. С утра пили спирт, кричали песни, на полках, задрав кверху коленки, галдели:

— Вот погодь, доедем! Докажем там...

Пассажира поили тоже. Пил прямо из котелка, захлебываясь, жадно, чтоб скорее отупеть. И сразу горячими мягкими ладонями стиснуло голову, заколыхалось все омраченно, разъято, безнадежно. Рассейские поля мчались за ногайским валом тошным упрямым весельем.

— Сколько лет тоже морочили: царь да бог, царь да бог. Погоди, вот приеду, я им все крестики с кумполов посшибаю!..

Распоясанный, дымный подполз на брюхе по полке, вцепился человеку в плечо.

— Как, правильно, я говорю, шляпа, иль нет?

Глаза мокрые, налитые одурью — это они чумными ветрами визжали там над затоптанным миром. Как он их ненавидел — о, если бы вот так опять, чтобы трусливо погасли, чтоб метнулись опять в рабьем ужасе!.. Он встал, теперь — знал — уже не остановиться — сладко, надрывно летел в расступившиеся пустоты —

— Ты!

Затопал ногами, задохнувшись.

— Ты!.. Да от тебя Россия, мать от тебя откажется, ты! Подожди, задрожишь...

На полках ворочались, привставали.

— ...а-а-а... опять Николашку захотел!..

Он тряс скорченными пальцами:

— Распяли? Распяли? Опять жива будет!.. Не вами оживет! Плюнет, плюнет в безумные твои глаза!..

С полок западало, забурлило:

— Плюнет? То-то ты шляпу-то надел!..

— Откуда этакий здесь?

— Мызни его, чтоб оплевался!..

Трезвые вмешались:

— Стой, не пачкай здесь. Кидай лучше из вагона, к чортовой матери!

— Бросай их, сволочей, посидели на нашей шее!..

...хрипом навалились, проволокли, пальцы вцепились было в поймайную раму, стали цепко-синими; глянул — глаза были мутны, пусты, продернуты зверьей тоской; ударом кулака спихнули, как кулек...

. . . . !

Поезд ногайским валом грохотал...

Сумерки синим дымком заструивались, кутали со снегов.

Шумели полем...

Начинался перегон под самую губернию — уклон на семнадцать верст: здесь в прежнее время шли на всех тормозах. Матрос вспомнил, дал гудки — тормозить. Матрос выглянул, перевесившись через борт паровоза, крыши и тормоза были в сумерках мутны от народища.

— Ах, чорт... встать бы надо,— подумал он и крикнул помощнику: — давай тревогу, может быть, догадаются!

Гудок тревогой рванулся, рыднул, понес железным воем в пургу.

— Давай еще.

Из вагонов услышали, обрадовались:

— Чует! Дом зачуял! Гудеть! Ар-ря-а-а-а!..

Матрос ругался:

— Спились там, черти!.. Гуди.

Уклон только еще начинался, но поезд уже несло вихрем; в пурге, в снегу ничего не было видно — будто падало в белую сумасшедшую трубу. Впереди было еще пятнадцать верст разгона. Тормоза не поддавались, матрос сказал:

— Стреляй.

Оба палили в свистящую бездну; там хлопало и пропадало трескуче, глухо. В вагонах все-таки услыхали, подумали, что это для веселья; винтовки полезли к окнам,— рявкнуло:

— Ар-ря-а-а-а!..

Из окон, из теплушек палили залпами, не переставая. Поезд падал в сплошном крутеве снега, вьющихся столбов, ахающих залпов. Полем потрясалось, подвизгивало. Тогда матрос сказал:

— Все равно пропадем, кидайся...

Сам первый сошел на ступеньки, стиснул зубы, подпрыгнул вдоль поезда, канул в белое мутево; помощник перекрестился, прыгнул за ним.

Залпами били по белесой мути, по столбам, по проводам; провода лопались, свивались, падали. Вставшие из-за вала мчались, бежали рядом, со свистом разрезая воздух. Телефоны не звонили. Станция вставала из вихрей, из снегов зеленым стожаром.

В теплушках откатывали двери, накручивали котомки на плечи.

И над темными горбами пригородов пролетело воем, с ревом и звоном прострельнули, проискрились мосты; высунувшимся из теплушек ветер рвал глаза, там все-таки кричали: — ар-ря-а-а!.. хотя ничего не было ни слышно, ни видно; в грохоте, в свисте рельсы скакали, звонили под колесами; со стрелок звонили на вокзал — там не знали, какой поезд; велели переводить на первый тупик; поезд летел в тупик со скоростью шестидесяти верст в час, в теплушках, в открытых дверях махали шапками, плясали...

Тогда трусливо кинулось народом от вокзала; бежали на дворы, под вагоны; загороженные узлами и чемоданами тревожно поднимались от стен; через них, рыча, топало, хрястало сапогами по баулам, по головам—

и вдруг шатнуло с корнем этажи; в тупике надулось чугунным пузырем, лопнуло, взрыло горой асфальт; стекла с верхов били ливнем... из-под горящей осыпи обломков выползали черные, крохотные, бежали за вагоны, за насыпь, в снега, прижимая винтовки к животам, падали, выли —

— Ар-ря-а-а-а-а!..

. . . .

В полях брел по насыпи человек, его сбивало ветром, хилые ноги шатались, подламывались. За пургой, в полнебном зареве, гудело тревогой, рельсы стенали в земле, стороной мчались миллионы вставших, бесновались, ликовали в муть...

Ночь шла дикая, половецкая...

Голубые пески.

Роман.

Всеволод Иванов.

(*Окончание*).

Книга третья и последняя. Завершение длинных дорог с повестью об атамане Трубычеве.

VIII.

Чей-кем, который от места слияния своего с Га-кемом получает название Уля-кем, значит быстро-цветущий. Берега его подобны бледно-зеленому бериллу, потому что запахи водных берегов столь же сладки коню, сколь запах драгоценного камня — человеку. Кони ржут, поводя ушами, глаза их наполняются светло-зеленым бериллом. Губы их пересохли, износились, похожи на сапоги погонщиков их людей, беженцев.

Все же от запахов берилла, от вод Чей-кема к горным кряжам подымаются телеги. Деготь родных мест с них высох и унесен в пыли с пылью.

Подле скалы Алтаин-нуру, глядя в пустыню, из которой шли телеги, атаман прочел письмо от барона Унгерна.

Атаман недовольно сплюнул. Ой, как далеко до Урги, до ставки барона, если туда ехать — кони уйдут в песок по грудь.

Барон Роман Унгерн пишет: „Государства крепли своими монархами и их верными помощниками,— аристократами. У нас, аристократов — одна идея, одна цель, одно дело: восстановление царей. Как погибает человечество на Западе, под влиянием социалистических и анархических учений, так воскресает человечество на Востоке, хранящем в своих сердцах устои монархизма...“.

Конверт письма — из полосатой японской бумаги. Атаман не верит в армию барона,— на чужих землях армии похожи на перелетных птиц: не выводят птенцов и не защищают гнезд. Посланному барона мало понятна аллегория. Он затянут в ремни, и лицо его под проб-

ковым шлемом неподвижно. Тогда атаман, не слезая с камня, казачьими матерками ругает офицера в пробковом шлеме.

Посланный звенит шпорами и едет к хану Балиханову. В тот же вечер юрты киргизов и белая, расшитая шелком юрта хана Чокана откочевали на север долины. От повозок, что ли, они откочевали. Потому что новые повозки беженцев из Сибири грохотали в долине. Мрачны сбруи повозок.

Атаман повернулся к адъютанту. Камень под его ладонью остер и холоден: чужой. Атаман вскочил.

— Допросить тщательно беженцев. Имею сведения о большевицких агитаторах. Внимательнее—за бабами, казаки легко поддаются на баб. Большевики все умеют усчитывать.

И, сам поверив внезапно выдуманной лжи о беженцах, ударил папироской в камень:

— Я тоже все знаю, какие там заговоры.

Адъютант-одноглаз, с черной засаленной повязкой на лбу. Он еле шевелит губами, повязка словно мешает ему говорить:

— Слушаюсь, господин полковник.

— Следить за прислугой...

— Слушаюсь, господин полковник.

— Следить за ханом!

Атаман посмотрел на юрты, покрывшие север долины. Издали они походили на весенние норки сусликов. И здесь, в Монголии, юрты поставлены и дым из них такой же, что и там, в Голодной степи, дома, подле Иртыша. „Нужно ли им возвращаться..."

— Впрочем, что ж за ним следить?

У адъютанта взмыленный загнанный глаз. Пьяный он срывает повязку и хвастается, что глаз вырвали большевики, и за этот глаз он своей рукой расстрелял семьдесят три человека. Фамилия его Сандгрен, и в приказах он подписывается: „фон-Сандгрен". Подсаживая атамана в седло, он говорит:

— Казаки стадо сайг выследили.

— Пущай облавят...

— А вы, атаман?

Атаман ударил тяжелой витой плетью коня по животу.

Сандгрен отскочил.

Атаман гнал коня мимо подымающихся в горы повозок. Или там в камнях теплее,—ближе к солнцу? Атаман слышал обрывки напряженных речей. Чиновник, поправляя синий, рваный картуз, стонал: „умереть спокойно негде". Атаман, задерживая коня, крикнул:

— Как фамилия?

— Уфимцев... Степан...

— Явись после обеда в штаб к атаману. Я тебя в отряд принимаю. Умрешь. Две кости и череп. Уго!

От юрт в смутно-серовато-желтую полынь шли стада. Казалось, всю жизнь идут стада полынью, тлится под копытами пыль солончаков.

Вот в юрте хана Чокана ламы в толстых длиннорукавых одеждах (еще на кисть руки за пальцами болтается рукав) ели баранину. В широких деревянных блюдах плавают в супе нарочито толстые куски мяса, и ламы нарочито берут его пальцами, хотя тысячу лет изобретены вилки. И бывший инженер Чокан Балиханов тоже берет мясо пальцами.

Атаман сидел на сундуке, а ламы — на кошмах, раскиданных по полу юрты. Молодой лама в огромных китайских очках просил надеть пенснэ хана Чокана. Прорезы глаз в китайских очках, как жилка в листке тополя. Чокан подал ламе пенснэ, тот погладил стеклышки:

— Англичан берегет железо, ишь — голое стекло... стекло голое нельзя на глаза, ее... как баба... надо в золото. Англичан...

Раньше ламы приписывали все русским. Теперь они говорят, что Россия отошла к англичанам: офицеры и казаки бегут в Монголию, не желая служить англичанам.

Конечно, Чокан ответит напыщенно и зря, так же, как эти халаты стеганые и с рукавами, длиннее пол,— все ж атаман спрашивает хана:

— Я плохо понимаю по-монгольски. Почему вы не убеждаете их, что Россия есть?

— У нас с гостями не спорят, полковник. Кроме того, они могут возразить: зачем русским бежать, если у них есть родина. Я про себя говорю: мы, киргизы, ищем кочевий.

— Барон и вам наверное писал: человечество воскресает на Востоке...

— Не одновременно ли приехал я с бароном на Восток?

— Я сегодня выгнал посланного барона, он убежал к вам.

Атаман внезапно кричит:

— Я прошу его выдать мне!.. я не признаю власти барона!.. Я его на оглоблю вздерну!

Чокан велел подать кумыса. Губы Чокана чуть подбриты, и один уголок их пригибается. Халат у него опалового шелка, возможно, что он улыбается на халат: Чокан не лишен иронии.

— Кроме вас, полковник, офицер барона имел послание ко мне. Там он тоже говорит о монархии на Востоке. Мне, аристократу, понятна его мечта. Посланному я подарил халат, и он, довольный мной, спит в юрте. Офицеров у нас мало,— зачем вешать офицера? Повесьте кого-нибудь из своих казаков, они столь же виноваты пред вами, как и посланный... На худой конец — десяток пленных...

— У меня все готово... я подожду, когда к зиме большевики надоедят крестьянам, и пойду к Иртышу. Я объявляю мобилизацию беженцев...

— Эээ... сила войск закрепляется войнами, полковник.

Из тонкой, как камыш, трубочки Чокан курит тибетский табак. Дым слегка пахнет полынью. Чокан, слегка улыбаясь, с любопытством глядит на лам. Ламы говорят о торговле: китайские купцы платят хуже русских и товары их дряблы, как мох. Атаману бьет в виски муть от сладковатого запаха кож, китайских молитвенных свечей.

— Власть завоевывается, а не дарится, полковник... Я искренно рад за вас.

— Почему вы так же не ответите барону?.. И что вы ему вообще пишете, хан?

— Я говорю о вашем здоровье, полковник, а не о бароне. Барон объявил себя хутухтой, он — святой, он — Будда...

— Вы-то — магометанин.

— В годы войны и джута, говорит пословица, да молится человек всем святым.

— Зачем вы откочевали от моего отряда, хан?

— Мои пастухи утверждают, что от долгого стояния на казачьих лошадях появилась заразительная болезнь... Еек. Я плохой скотовод и верю накопленному опыту. Возможно, что лечение, предложенное бароном Унгерном... Угодно полковнику кумыса?

В покинутую полковником юрту киргизки внесли еще кумыса. Сразу по выходе атамана голос хана дребезжит, он бранит кого-то.

У прикольев, полузакрыв прозрачными розовыми веками глаза, дремлют жеребята. Атаман вел в поводу свою лошадь. Так он вел целый час, пока не пересек долину и не подошел к становью своего отряда. Подле куч свезенного монголами аргала, у края становища, стояли три черные рваные юрты. Здесь жили продавцы опиума и проститутки. Ремесло „готовой лечь“ не считается позорным в Монголии. По утрам у проституток гостили ламы. Несколько раз приезжал настоятель монастыря Танну-ола, тогда подле юрт кололи баранов. Днем приезжали китайские офицеры курить опий, казаки же приходили днем и проституток почему-то уводили в степь, в полынь. У китайских офицеров были рыхлые сонные лбы, глаза и нос они закрыли ладонями. И еще странно маленькие рты:—Не потому ли они едят так мало,— подумал атаман.

Накрашенная монголка с большим достоинством указала ему на степь: „бармыс!“ и тотчас же перевела: „туда!“ Атаман отвел ее рукой и она села поправлять огонек у очага.

После ухода атамана Трубычева, хан Чокан собрал биев-старейшин, лам и мулл. Хан сидел перед юртой на туше только что заколотой кобылицы (кобылицей должны были кормить собравшихся по окончании речи).

Бии (лишь один имеет черные молодые брови), ламы (их губы от обильных яств широко загнуты, как крыши пагод — от обильных молитв), муллы (они в знак горя не моют своих белых чалм),— все слушающие хана сидели священным кругом, подобным озеру. Как

в озере благословенны воды, так речь хана охлаждает тоску войн. Пальцы их лежали на коленях, а это означает, что мозг, работающий быстрее пальцев, преклоняется, слушая, как верблюд перед погонщиком.

Чокан говорил медленно, потому что он вспоминал бумажку, на которой по-русски была записана его речь:

— Из степей, где наши стада пасут люди, любящие красное, сообщили мне... Эээ... Волк тоже любит красные листья и небо осенью, потому что осенью скот неповоротлив и жирен. Я знаю, это так, я хан...

— Ты хан,— повторили ламы, муллы и старейшины, нажимая коленные чашечки:— ты мудр...

— Из степей присланы бумаги, говорящие, что русские с красными флагами идут в Монголию. Летом и осенью тяжело итти пустыней, а зимой толстые короткие ружья, одна минута жизни которых уничтожает людей больше числом, чем все мои стада... зимой они вкатывают эти ружья на сани, цепляют парус с красным флагом и через снега Гоби могут пробежать в одну ночь на лыжах, утром же петь песни, убивать и есть наших баранов... Эээ!.. Предвидя войну, великий хутухта, барон и царь Роман Унгерн приказывает собрать войско на них.

— Хорошо собрать войско,— сказали ламы и муллы.

— У лам толстые откормленные губы, и муллы напрасно не моют своих чалм,— разве грязью показывается горе? Идут ли муллы и ламы умирать под выстрелы пулеметов? Они идут молиться и после этого в черные юрты, что оставят русские, когда уйдут воевать. Русские научили „готовых лечь“ многому, и после русских лестно...— так сказал один из биев. Губы у него самого сухие и тонкие.

— Кроме тысячи седел, уже данных русским, мы откажемся дать новому царю джигитов. Они выбирают царей да ждут, эти казаки. Пока у них от „готовых лечь“ вырастут дети и заменят отцов в войне, этого они ждут... Калом казаков, что лежит подле их телег, можно удобрить всю Гоби...

Злые волчьи губы у бия. У всех биев, сидящих в кругу, стали такие губы.

— Если мы вернемся в свои степи, не меньше ли перебьют русские, чем здесь казаки в войне? Просить прощенья легче, чем воевать.

Тогда хан Чокан Балиханов сказал:

— Кроме вестей с теплого языка, люди привезли из степи бумаги, которые расклеили русские на телеграфных столбах и на березах в колках. Таких бумаг три. В них рассказывается, как мы можем вернуться к русским, и что мы должны им платить, и что они должны нам платить.

Ламы и муллы сказали:

— Не надо. Русские лгут, как женщины, опившиеся кумысу. Бумага побледнеет ли от лжи?

Бии пошевелились на кошмах:

— Сразу видно лам: умеют верить себе. Надо знать торговлю и уметь сходиться в цене.

Но все же бии не стали слушать бумаги. Бии, ламы и муллы ушли молиться, рыгать и объезжать стада. Чужие пастбища не столь обильны сенами, как свои у берегов Иртыша и в пахучих и темных логах. Китайский чай, хотя пахуч и зелен, но не столь крепок и тверд, сколь „42 №“ настоящий „Цейлон“.

Бии думали крепче других, потому что их заставляли и жены, и пастухи, и стада.

Несколько дней думали бии и, вновь собравшись к хану, сказали:

— Читай.

На синей толстой (в какую закупоривают головы сахару), толстой, чтоб не разорвал ветер,— на такой бумаге, разделенной жирной чертой надвое, с одной стороны по-русски, с другой по-киргизски, вверху: „товарищи, трудящиеся степи!“, внизу: „председатель Ревштаба степных дивизий Василий Запус“,— на такой бумаге напечатано все.

Русские буквы тяжелы и круглы, как паровозы, киргизская вязь — словно осенние травы.

Хан начал киргизскую вязь.

Бии сказали:

— Читай по-русски.

Ламы и муллы не пришли к юрте Чокана. Они молились.

Влажным нательным гневом облились горы Монголии. Тоскливо молочно-белое небописание. Сухая степная обволочь подымается из пустыни к кряжам. Обсеменяет тоской камни, скот и погонщиков: в степи нет людей, есть только погонщики. Горы—не дома: сколько ни поднимайся выше, теплее не найдешь. Все в горах разложили свои костры беженцы. Казаки проигрывают в карты своих возлюбленных— беженок. И каждого из возлюбленных спрашивает она: „скоро домой?“. Каждый думает, что она любит героя, каждый сбирается воевать. Всех милее один, он говорит: „завтра“. Его ласкают даже сонного,— и ему почти не нужно играть в карты.

IX.

Семнадцатый,—начало Запуса,—нес с собой еще остатки мирного быта: какой-нибудь клочок ситца на плечах женщины, шелковый плетеный пояс у бедер; иногда в кармане внезапно находили носовой платок. Но уже на портянки употреблялись мохнатые полотенца (теплее), и потому же солдаты любили портьеры. Был год шинелей. Года шинелей. Русская шинель гранитного цвета. Революция началась в Петербурге, где Запус видел манифестации на гранитных набережных.

Был год портфелей.

Портфели сменил год мешков за плечами.

Конечно, и кожаные куртки примечательны, но они характерны для тех, кто как-будто со своим лицом проходил чрез всю революцию. Не лучше ли сапоги, сначала доходившие до колен, а затем выше и, наконец, — не видно штанов: френч с карманами, как портфели, и мощная нога, горной глыбой громоздящаяся над напуганной землей?

Осенью двадцатого года Запус приехал в Павлодар, мотаясь в зеленоватой английской шинели со львами — гербом Британии — на блестящих бронзовых пуговицах. Шинель была непомерно широка, он выпрыгивал из нее, она неслась позади косматым зеленым пятном, догоняя его портфель. Пароход высадил Запуса и его спутников не у пристаней, а прямо у яра, в город. У яра была мель, — и с большим уважением к Запусу пароход ткнулся и застрял в песке. Все же сходни не достали до берега, и сажени две пришлось итти по воде. Запус на руках вынес Олимпиаду. Президиум совета ждал Запуса подле автомобиля. Город имел два автомобиля, захваченные у колчаковцев. Новобранцы, щелкая семячки, толпились подле знамени, где выцвела надпись: „вся власть советам". Запус принимал доклад в Народном Доме. Где-то подле Долонского бора появились „зеленые", предводительствовал ими какой-то граф Строгонов. Павлодарский уезд выполнял разверстку плохо. Кроме этого секретные донесения Информационного Отдела сообщали о монархистах-попах, о самогонщиках и тут же рядом таинственно жаловались, что избы-читальни не получают газет и книг... ержать бы почту... Последнее сведение почему-то чрезвычайно обижело предусовдепа тов. Миронова. Был он тощ, со слезящимися робкими глазами, и все не решался сесть рядом с Запусом.

Запус, накрепко прикрывая бумаги рукой, спросил:

— А вы знаете, товарищ Миронов, что здесь двух председателей разорвали и мне плечо проткнули? Здесь революционную дисциплину... уполномочен расстреливать... даже вас.

Тов. Миронов держал „индивидуальный" огород и боялся, что Запусу донесли. Он многозначительно повел пальцами поверх волос:

— Война, разъязви их... Несмотря на уничтожение сословий...

Запус нехотя подумал: „надо его сменить, переизбрать" и он, чтоб больше поверить, спросил подробности, как тов. Миронов и еще двое красноармейцев частью перебили, частью арестовали шайку „черно-бандистов" в сорок человек. Дело о бандитах сегодня разбирает Особый отдел дивизии под председательством товарища Олимпиады.

— Главное, машина...—начал тов. Миронов.

Складывая донесения в портфель, Запус увидал там вырезку из газеты. „Белогвардейскими отрядами в северо-западной Монголии командует вешатель рабочих и крестьян Сибири атаман Трубычев", говорилось в ней. Вырезка измялась.

Тов. Миронов погладил горло:

— На митинг в кирпичные заводы, товарищ Запус...

Запус сунул вырезку в конверт, написал сверху: „тов. Олимп. Савицкой. Особотдел“. Тов. Миронов крикнул курьера. В автомобиле Запус попросил Миронова повторить рассказ о бандитах. Черноглазый шоффер часто оборачивался и скалил зубы. „Опрокинешь! — строго сказал Миронов. „Даешь“,—ответил шоффер. Миронов пояснил: „Он на бандистов машину попер... кабы не машина...“. Повесть была незатейлива и коротка. „Черно-бандисты“ сидели в деревне, когда ворвался автомобиль, крытый брезентом. Дело было ночью, по „краешкам бревешек натыкали вокруг автомобиля, чтоб на пулеметы походили, заорали им: выходи по двое! ну, они и выходили на фонарь. Которые помягче лицом, тех пристреливали, — не забрать же сорок человек в одну машину, — а предводителей привезли. Они, разъязви их в нос, думали деревню-то батальён оцепил“.

На кирпичных сараях многие помнили „Андрея Первозванного“, бегство Запуса в урочище и сельско-хозяйственную ферму. Выпачканные в глине, пахнущие дымом и землей, подле низеньких сарайчиков, похожих на хлевы, торопливо, чтоб не задерживать, жали они Запусу руки. „А это баба Овчинникова, того, что разорвали“, — сказал один. И Запус потряс ее холодную руку. Мокрая глина осталась у него на пальцах. Он мало говорил о социальной революции, больше вспоминал о Павлодаре семнадцатого года. Рабочие наполнялись чем-то иным, даже плохо понятным сейчас для него, они только плотнее нажимали на столик, с которого он говорил. Шапки у них походили на обломки кирпичей и тяжело, точно жуя глину, двигались за его словами их рты.

Он почему-то подумал, что после его речи не будут, как везде, жаловаться на плохие пайки, отсутствие одежды и обуви, напрасно разгоняемые базары. Так оно и случилось. Плотно, многочадно обступив, проводили его до автомобиля, и какой-то киргиз крикнул одобрительно:

— На-а!..

И тогда грянуло сухо, надтреснуто, словно глыба обрушившихся каленых кирпичей:

— Ура-а!.. Ва-а-аська!.. кро-ой!..

Запус с митинга поехал в Народный Дом захватить забытый портфель. Тов. Миронова он спустил подле Особого Отдела: нужно дать показания о „черно-бандистах“.

Прошлым летом, когда брали Курган, у Олимпиады от Запуса родился ребенок. Заведовала она тогда Политотделом. В походе, к югу от Петропавловска, где трава в степях масляниста и гуще кустарников, в казачьей станице Пресногорьковской, ребенок умер. Запус помнил: без приглашения явился отпевать ребенка седенький голубоглазый попик. Олимпиада не прогнала его. Попик, всхлипывая, рассказал о расстреле двух сыновей. Чувствовалось: не столь отпевать он пришел, сколь пожаловаться и поплакать пред большевиками.

Дети вносят в войну слабость.

Олимпиада отказывается теперь от детей: после войны.

Запус быстро вытащил из кармана папироску.

Неимоверно широкие мягкие кресла запружали весь номер гостиницы. А на одном из них тщательно вычищенная пишущая машинка, накрытая полотенцем.

Олимпиада устало скинула шляпку, перевязанную слинялым лиловым шарфом. Слегка двинула кресла и улыбнулась на машинку. Носовым платком было стянуто несколько книг, она распустила узелки. Брови у ней двинулись далеко по лбу:

— Свежие. Ты бы лучше почитал.

У ней вгубленные, сокровенной влажностью наполненные зрачки. Сапоги бурые, солдатские, громыхающие. На скинутом грохоте их она всегда останавливала зрачки:

— Вам, мужчинам, легче, вам как-то... верят, а нам приходится учиться. Ты для чего мне вырезку о Трубычеве прислал, чтоб напомнить, могу ли я судить других, сама имевшая такого мужа? Так? Иметь его, конечно, преступление... меня судили... я еще сейчас сужусь. Их сегодня,—она посмотрела на часы:—расстреляют в четыре утра.

Запус закурил.

— Не умеем ненавидеть лично... террор тоже массовый. Меня толпа перла. Хочу самостийно. Трубычева своей рукой пристрелю... Ты не уговаривай...

Человеческое сердце—словно соль озера Калкамена: на пол-аршина под водой крутые пласты соли—умей взять. Крестьянское сердце любит речь медленную, спокойную—так движется лошадь в полной клади. И как конь даже в буран найдет свой дом, так к скирдам, пашням, к воде—внушительно великоросло нужно двигать свое слово и дальше: о разбое, грабежах, белых виселицах, о мужицкой — вдогад — справедливости.

Широкие—шире площади—улицы со слабо наезженными колеями, поросшие влажной травой. Приземисты с маленькими в кулачок оконцами мазанки. Вместо заборов и плетней вокруг усадьб горе-горькие канавы, а за канавами степь: мертвые тракты, зверь и киргиз. У новоселов в поселках Переходном, Михайловском, Полтавском, Багорчековом, Гурьевском, с бревен, с пней (мимо которых и подле которых— расстреливал, порол—проходил атаман Трубычев), на улицах, в степи, бору—говорил такие мужицкие речи Васька Запус.

Казачья мечта,—как степной конь: сто верст без отдыха, с храпом, в байковой пене, а перед смертью, сладостно горделиво поведя глазом, на последние силы—фыркнет. Жизнь в пикетах, в станицах горьче полыни. Разговоры, как высохшие летом речки с деревянными мостиками,—скудны. Словами надо—как беркут на утку! В станицу надо влететь с грохотом, звоном, чуб чтоб из-под фуражки—словно золотой флаг!

Соленые короткие казачьи слова говорил Запус.

Подле озера Джамбая крупнозернистые степные ветра обнажили граниты, темномалиновые порфиры, яркозеленые сланцы. Медленно подымаются в степь камни,—словно верблюды от чоха погонщика. В пещере Аулие-Тае есть большой с углублениями в средине камень. Со стен и потолка пещеры скопляется в нем холодная вода. Омовение ее целит бесплодие. От холмов Сары-Тау, от логов Субунды-Куль прикочевали киргизы. Малахаи открыли глаза, ставшие жесткими, подобными темномалиновым порфирам; сердце их не омыто водой из Аулие Тау, но оно оплодотворено.

Почему?

В степи трава не будет выжжена солнцем: от копытца овцы он подымется выше конского хребта! Казачью девяти-верстную полос берегов Иртыша могут косить киргизы! Стада биев и ханов отходя к народу! Чтобы взять, надо быть сильным! Все это говорилось раньш золотоголового в островерхом малахае.

Почему?

Речь его для киргиза, словно караванный тракт в Индию, сме в ней, как бубенцы нагруженных бухарскими товарами верблюдов Слова будто московские ткани: фай, парча и пахнущий чаем ситец Растяжные должны быть речи, ропотлив смех и серповидны руки. Рассласти слово твое, как сады свои—туркестанцы! Будут сладки губы говорящего! вот почему порфиры озера Джамбай подобны глазам киргиз, из-под малахаев глядящих на Запуса...

На юго-запад в Каркаралинск, на юго-восток в Семипалатинск к могиле Ак-тау, к гористой долине реки Тесте-Карасу, по вьючным тропам за Каркалинском к Спасскому медноплавильному заводу, другими вольными степными трактами—ожесточенно, с переливчатым звоном, развертывалась и рвала, тянула и опрокидывала, цыпляла и чертила пятиугольники на шапках,—к пристаням, где народные пароходы стоят под парами, пружина золотоволосых слов Васьки, Василь Антоныча, Баскэ, комиссара Запуса...

Монголии глухие земли, камень, песок да ветер!

X.

„Приказываю немедленно, объединив свои силы, двинуться в местности, занятые отрядами Казагранди. Войти в ближайшие сношения с ханом Балихановым. Беспощадно наказываю изменников Родине... Атаман, ради Бога, прошу...

„В народе мы видим разочарование, недоверие к людям, ему нужны имена известные, дорогие, чтимые. Такое имя одно лишь—законный хозяин земли, Император Всероссийский Михаил Александрович.

„Монгольским племенам, где бы они ни жили, как со стороны Русской, так и со стороны Китайской революции, грозит смертельная опасность... Борьба в объединении племен внешней и внутренней Монголии, управляемой ныне Богдо-ханом.,. объединение всех племен и нерований монгольского корня в одно серединное государство, возглавляемое императором из кочевой маньчжурской династии“...

Таково было второе письмо генерала-барона Унгерна, таковы воззвания осведомительного Отдела Штаба Отдельного Конного Урянхайского Отряда войск генерала-барона Унгерна.

Письмо было к атаману Трубычеву, воззвания к казакам и киргизам племени Балиханова.

Письмо вручил монгол Цан-Вану. Щелкая серебряным с золотыми вензелями портсигаром, он угощал атамана американскими сигаретами. Портсигар подарил ему барон. Веки Цан-Вану припухшие, цвета солодкового корня.

Он рассказывал о том, как Богдо-хан Ван милостивым приказом, данным в Урге, по высоким заслугам наградил русского генерала-барона потомственным великим князем Дарван-хошей Цан-Ваном в степени хана.

Чтоб позлить гостя, атаман долго не отвечает ему. Сдергивает пропотевший под мышками френч. Монгол смятенно смотрит в пол.

— Генерал будет писать Великому Герою.

— Иди к чорту, собака... Надоели. Как волки после случки, разбежались, кто куда. Почему барон хан, а я... Чего вы мне врете все... Сколько тебе барон заплатил сюда приехать?.. Вели-икий геро-ой. Ступай к Чокану, он тоже ха-анны...

Атаман положил голову на седло. Седьмой год голова отдыхает на кожаной подушке седла, седьмой год над глазами прокуренное небо палатки. Жирно-мозглые генералы, учителя и чиновники-министры, офицеры-аристократы в штабах: опять то же самое. Поднявшие восстание казаки превращены в палачей, их приучили расстреливать и пороть. Чиновники почтово-телеграфных контор, вдруг превратившиеся в министров, возмущаются казачьим варварством. Колчак стыдился принимать атаманов.

Трубычев раздраженно гладит барабан револьвера.

У пятившегося к дверям монгола видны зеленые задники сафьяновых сапог.

Цан-Вану, почтительно коснувшись порога, ушел. Адъютант эсаул Сандгрен опустил за ним полу палатки.

На языке атамана кисловато-вяжущие следы... Опия атаман больше курить не будет.

Эсаул Сандгрен докладывал о состоянии продовольствия.

— Что? Крысы?

— Никак нет, вы ослышались.

— Я вам говорю, какие в степи крысы! Для проституток воруют. Усилить караулы... Я прикажу расстрелять Чокана.

Казаков приучили расстреливать: в ветреные удушливые дни они расстреливают скот, назначенный в еду.

Оставшись один, он хохочет, не раскрывая рта. Смех вяжущий и кислый лепит скулы.

Фиоза вечерует у него через три дня. В неделю ей приказано выдавать пять фунтов масла, десять муки и осьмую кирпичного чаю. Одну осьмую. Вполне точно (как отдавая атаману себя) она получает чай.

Родина.

Три беженки уже приходили жаловаться на Фиозу: купаясь с ними, она хвастала любовью Запуса, и казакам отдается с агитационной целью. Все три были молоденькие, и всем хотелось заменить Фиозу. Попросту-то он ревновать не способен. И то — он не прогнал Фиозу.

Вошедшему хану, впуская его в палатку, он бормочет о родине.

Лоб лоснился от пота и пах конем.

— Родина. Наврал я вам, хан, про родину... они там сплошь с ума сошли, сплошь больные. Мы их расстреливали, а их лечить надо... может быть поддакивать и лечить... А мы расстреливать привыкли, чтоб пользы настоящей не принесли, нас чиновники научили... Они, чиновники-то... достаточно хитры.

Он потянулся через столик, раздавил по пути локтем папироску хана и, почти касаясь губами его усов, выговорил:

— Расстреливать только своих нужно.

Хан отшатнулся, поднимая узенький чиновничий подбородок.

— Например, меня.

Хан даже взвизгнул от радости:

— Ва-ас. Друзья, однокашники—и к камню. Во-о! Это подвиг, это геройство, понял? Дезертиров вернешь, иначе?

Чокан осторожно пошевелил раздавленную папироску. Достал портсигар, он с такими же вензелями, как у Цан-Вану. Царапнув по вензелю длинным и твердым ногтем, выкатил такие же круглые и ровные, что папиросы, слова:

— Дурак. Я хан. Ханов не расстреливают, а разрывают лошадьми. Казачьи лошади не приучены разрывать ханов.

— Запус готовится к переходам через пустыню... в России есть пустыни не меньше Гоби. Это последние сведения,—сказал он в дверях, не оборачиваясь.

Расплывчивы полосы его халата, палатка медленно опускается за ним.

Атаман щелкнул револьвером.

— Собака.

За звоном стремени он услышал тихий голос хана.

— Кане-ке (ну-ка), дегендей ак кылытки кылдыкт (мне уже довольно сделал)...

Атаман кинул револьвер.

— Есаул.

Кружились у головы коня синевато-белые запахи полыни. Конь был смешной, жидкохвостый.

Хватаясь за повод, атаман торопливо спросил:

— Митингують? Социализму в степи захотели?

Подле козырька рука в черной перчатке. Сейчас лишь заметил — и на руке одноглазая черная повязка. Захохотал.

— Никаких митингов в окрестностях не наблюдал, господин полковник.

Атаман вертел его поводья.

— Нету?

— Никак нет, господин полковник.

Атаман вытянул шею и сказал решительно:

— А все-таки Еровчука повесить. Туда...

Он указал на скалы за палатками беженцев. Там сохло в камнях единственное вблизи стана дерево. Проскакивая мимо, атаман рубил с него ветки. Последний раз, вчера, он не мог достать шашкой сук.

— Слушаюсь.

Неподвижен широкий пухлый рот есаула.

— Наблюдать за настроением казаков во время исполнения приговора. Сказать: раз за свою социалистическую губернию воевал, виси, наблюдай ее. Да. Ро-одина, ма-атушка, ай-я-яй... Виси, курва...

Вестового Еровчука схватили подле казана, в котором он варил щи атаману и есаулу. Был он белобрыс, толстоног и бабоподобен. Волочась в толпе лениво шагающих казаков, он мазал забытой в руке ложкой усы и бороды. Ему казалось, что он плачет, но слезы не шли. Здесь есаул ударил его по шее плетью: „митинговать, тварь!"—закричал он пискливо. Плеть скользнула вяло. Казаки молчали. Есаул оглянулся. У всех лупленые жаром носы, начинающиеся ниже глаз, скатанный, цвета спелых камышей волос. Есаул махнул плетью: „веревку забыли". Казаки, не слушая его, продолжая лениво бороздить песок, шагали к скалам. Есаул заметил, что все они были босые, но с саблями. „Не по уставу"... „Веревку",—повторил он. К толпе, с горы, спешили беженцы, но женщин среди них не было. От толпы едко пахло, руки есаула Сандгрена вязли в потных телах, мокрых одеждах. Он уже не мог высвободить и поднять плеть. И чем ближе к дереву, тем прямее тело поганого Еровчука, он находит силы обернуться к есаулу. Он даже, кажется, ехидно поводит щекой. „Молчать!"—закричал есаул, пытаясь поднять руку. А Еровчука теснили не к дереву, а к камням.

К дереву же теснили есаула. Его плечи наклонили к земле и вдруг все головы обернулись к нему. Он вспомнил, что в толпе, кроме него, не было офицеров. Он раскрыл губы, но чья-то широкая (от уха до уха) пахнущая махоркой ладонь стянула его щеки. Теплый кусок льда вошел ему в спину. Он попытался укусить ладонь. „Шалишь",—сказал пухлый голос. Уши охладели. Волосы его цеплялись за кору дерева, „митингу...", но здесь казак, зажимавший ему щеки, кривым монгольским ножем вырезал ему горло.

Тогда же почти Еровчук влез на камень, вытер выпачканные кашей брови, сплюнул и, поднимая кулак, заорал:

— Товаришши...

Немного ранее этого верховой казак Наных от палатки атамана помчался, махая белым флагом. Скакал он между телег, юрт, стад и скал. Прогудев в рожок, он кричал: „либизация" и читал приказ атамана. Подле юрт казак кричал по-киргизски.

А недалеко от белой юрты хана в казака выстрелили. Наных уронил флаг и приказ. Лошадь лягнула, казак упал разбитой головой в аргал. Бурая жирная овца осторожно потянула сначала флажок, потом приказ, но, учуяв кровь, отошла.

Хан Чокан, услышав выстрел, испортил слово. Тряхнул малахаем, зачеркнул. Продолжал писать. Русские буквы огромны и тяжелы. Вкруг него, вдоль увешанных коврами стен, неподвижно сидели бии и впервые пришедшие в юрту хана—пастухи.

Офицеры, опустив поводья, скачут к палатке атамана. Уши коней тверже камня. Уши коней, касаясь бледных щек офицеров, колются, мажут губы их едкой пылью. Выше дери удила. Офицеры, крутясь в седлах, разряжают назад маузеры. Назад, в палатки беженцев, где белошеии девушки только что слушали от них слова, кружащие сердца. Назад харкают восемь маузеров. Прямо в конопельные взбунтовавшиеся усы. Казаки, а впереди их Еровчук. Потому-то от палаток беженцев— к атаману. Но поперек пути за камнями цепи... Тридцать две подковы, восемь маузеров, восемь поводьев—натянулось, рвет, стреляет, мечется. Не для бегства крупный галечник долины Уля-кем, для гостевых прогулок. Две ноги пополам. Одна рука обмакнулась в кровь и словно кипяток зашипел в жилах.

Атаман кличет подле палатки есаула. Но у есаула третья повязка на теле—черное вырванное горло.

Пики казаков длиннее долины Уля-кем. На погонах офицеров белый череп и перекрещивающиеся кости. Ведь люто же знают казаки намалеванные неумело кости,—зачем их срывать?

— Сдавайся, уцелешь...

— Поизголялись над нашим братом...

Офицеры крючковато кидают маузеры. Грудятся подле лошади, сломавшей ногу. Кровь их так же, как и лошадиную, быстро впитает песок. Восемь френчей подымают руки.

Тогда-то вот от палатки атамана каурый конь выносит всадника. Долина крута, как стремя, впившееся в кривую ногу.

Кривоногий вскрикивает в уши коню:

— Бунт... бунт...

Подковы о щебень:

— Бу-нт... ббу-нт, бу...нт, бу...

Казаки не спешат. Скачи не скачи: Гоби шире неба, времени хватит догнать. Известно, хорошая пуля берет на три версты. В отряде много хороших пуль, но еще больше коней.

Кони застоялись.

— Скачи, атаман.

Казаки не даром выхохатывают:

— Подрал.

— Иш, затрясло лихоманку.

— Седло... грызет.

Но тут сбоку от киргизских юрт за атаманом второй всадник. Позади его пестрым стеганным полукругом на сытых иноходцах—бии. Степь мимо их стремян медленная, как стадо овец. Золотая и опаловая пыль подле их седел.

Атаман, натянув поводья, задерживает лошадь. Конь его крутится, гнет шею, не верит биям. Выхлебывает:

— Бунт, ха-ан... бу-унт...

И с ханского седла,—с усмешечкой,—жаль далеко не видно ее,—осторожной чиновничьей усмешечкой, степенно возвышая голос:

— Лучше вам сдаться, атаман... От имени народа гарантирую вам...

Конь обрадовался. Вперед.

А тот малюет нагайкой воздух:

— Остановитесь, атаман!

Поздно.

За Чоканом, гикая, понеслись бии. Иноходцы их плавны и веселы: куда торопиться? Усиливается гик, и оттого кажется, кони распластались, ветер.

Куда торопиться биям: атаман Трубычев скачет к крутизне. Один чудрый хан, плохо знакомый с долиной пытается догнать атамана. Пусть догоняет: оба они не вооружены.

Трубычев вгоняет на скалу. Конь круто храпит. Храп его в сердце, как седельная лука в теле: потому что на одно мгновение атаман взглянул вниз.

А там кочковато кружится, готовый разнести все скалы багровый поток. Голубовато-рыжий водопад обрушивается, грызет камни, добиваясь до сосен. А сухие верхушки собираются вонзить шипящую хвою.

Бии почтительно задерживают иноходцев.

Один из них говорит хану:

— Остановись. Он умирает, как богатырь... конь у него наших табунов, такой конь не устрашится прыгнуть в пропасть на камни. Хорошо.

— Хорошо,—вытряхивают бии.

Они сбирают коней в круг. Они, сняв аракчины, трут вспотевшие затылки: прекрасны осенние жары.

Неподвижна скала.

— Молодец,—говорит бий:—всегда полезно перед смертью вручить свою душу богу. Так и в песне будут петь.

Вдруг атаман поворачивает коня.

Спрыгивает.

Подняв руки, идет к Чокану.

Хан скачет прочь.

Гикают.

Бий, свистнув арканом укрючины, схватывает атамана под-мышки. Бранясь, бьет его плетью по лицу.

Френч атамана в крови и песке. Рот разорван в куски плетями сыромятной нагайки.

— Православные...—храпит атаман:—Господи-и...

А бий, любящий песни, спихнул тем временем со скалы лошадь атамана. Все же о чем-нибудь можно будет пропеть,—так, чтоб вкруг его толпились девушки с двойными серьгами!

К скалам лениво, с песней, едут казаки. Они босы и без шапок.

У переднего, свисая с пики, вечерний ветер полощет по спине огромный кумачевый лоскут.

XI.

— Матросом был? По роже офицеры били?

— Нет.

— Сполоснуло бы все вопросы... от молодости и скуки. Ты, хлопец, способный. Меня как два раза к стенке и один раз с солью выпороли, на продолжительнейшее время откинул... о ценности личности...

— Я воюю, а тут... бумаги.

Никитин порывисто вытянулся. Лицо у него квадратное и серое. и прямые, как строка, брови. На такой бумаге, серой, как его кожа, печатали в революцию газеты. У него своими строками заверстан мозг, и беспокойные смятые слова Запуса ему мешают. Однако он уважает Запуса за бесстрашие.

— Война может быть чудом, а революция нет.

— Уездная война... Трубычев—это исправник уездный. А я море видел... и дреадноуты... Он опять удерет, опять через всю революцию

по уездной грязи тащить на горбу его тело... рысью. А вы тут бумажки в пески шлете.

— Устал ты, детинушка, устал... Бумажка-то, огурчик, вторая душа... Тут. Они, бумаги, камни из этого песка слепят. Чем заменишь?

— А я знаю?

— Ну, и не крякай.

Здесь, в перевалах монгольского Алтая, на границе пустыни, Никитину приятно усадить в охотничьей избушке штаб отрядов на продолжительное заседание. Квадратами, ромбами, прекрасной цветистой диаграммой, нигде не сталкиваясь, по горам и по Иртышу, по станицам, пикетам, деревням—лежит перед ним список революции. Он четырехугольной спичкой закурит точеную трубку и будет говорить прокламациями. И эти диаграммы чернобандитов и статистика настроений, а рядом отряды трудовой армии работают в приисках. Все проверено инструкторами, и разве не радостно сознавать, что пока диаграммой (раз нельзя—железные дороги и копи) закручены человеком горы.

— Плохо ты философствуешь, Вась. Ты лучше пойди с камушков медведей постреляй.

— Сейчас медведи линяют...

— Откуда мне это знать.

Подле избушки, свесив с пня в травы длинные, корявые, словно корни, ноги, качнулся навстречу Запусу партизан Микола. Он с удовольствием посмотрел на беспорядочно спутанные волосы Запуса. Он подмигнул и словно в зеленой тине блеснула рыбка:

— Сподвижник-то, увещал... Ничево, я твою бабу видел, с такой не жалко срастись. Душа у те золотая, а золото в одних руках не любит находиться... Для Никитинского дела людей надо верных, чтоб быдто часы. На жись, на смерть по сикундам крой. А ты и часами и молотком хочешь быть... Ты не тоскуй...

Он гордо оглянулся.

Запус, беспричинно подергивая плечами, уходил в гольцы.

Партизаны привезли с собой лыжи и лохматые собачьи дохи. Беспокойно трепал их резкий гольцовый слеток. Отряды ждали снегов, чтоб по первопутку ринуться в пустыню. Митинговали о боге, о социальных революциях, трудовых армиях. Уральские рабочие жаловались: буржуи в колчаковщину все машины вывезли и попортили. Казанки их пальцев были в резких, разъеденных кислотами морщинах, и сибирские снега не успели отморозить кожи.

На скалистых склонах, круто падающих к пустыне, грелись красноармейцы. Каждый день они хохотали над непроходимыми бомами: „наворочено-то... мать ты моя. Лесу-то, камню-то...".

Подходившему Запусу один махнул:

— Кабы да через нее ароплан.

Хохот.

— Нельзя; от жары бензин испарится, ароплан в песку утонет,- тут пески, что омуты.

— Один тут ароплан—верблюд.

А в канцелярии отряда—мухи. Всю войну вслед Запусу летели они. Тут же, подле, пензенский мужичок, ныне алтайский красный партизан, Микола, восторженно глядел в усы студенту-секретарю штаба. Тот рассказывал о радии. Заметив возвратившегося Запуса, мужичок радостно плеснулся лицом.

— Товаришш Василь, нет, ты пойми, как мы пут вычитали... сонце-то, грит, никогды не погаснит—милльярт лет, грит, гореть будет... И в земле-то, внутри-то ее, сплошь радии—милльярт лет еще, стрялец, проживет. Выходит тут...

У него на косолапых глазах слезы, он восторженно хлопнул кулаком по книжке:

— Когды-нибудь да возьмет наша... времени-то... уборок-то. Мы, брат, до буржуя доползем... мы...

Запус сказал студенту:

— В Омске в рабочем факультете одиннадцать крестьян с ума сошло, когда им доказали, что бога нет. Почему это?

Тряся листками, перебил его Микола:

— Видно сразу,—книжка-то про радий после их смертей обнаружилась... Тогда бога зачем, коли радий?

— Чего тебе радий?

— Радий, радий чего? Парень, Вась, эх... да ведь оно, значит, радось. Очень просто.

XII.

Даже беркуту видно:

От бархан до звезд колючие вихри.

Бесчисленны под беркутом тропы пустыни. Саксаулы в мертвых судорогах корчатся на песках барханов.

Это беркуту—с неба, а внизу ободья колес в персть стирают знойные щебневые тропы. Сбруи сгнивают от пота. Запах его противен беркуту, и подле хомутов падали он оставляет мясо. Остатки грызут мыши.

Арбы. Нестройные тюки беженцев на верблюдах. Телеги с женщинами. Джигитующие всадники. Казаки. Лампасы. Шитые шелком малахаи. Шляпы мещан и попов. Над ордой—сухая песчаная вонь. Над караванами рвутся узорные крики и звоны. В скрипах—вопли пастухов.

А вокруг стада, табуны...

Собак кормят плохо. Волки с падали, остающейся позади караванов жиреют и по трое суток непробудно спят на барханах. Собаки отстают от орды, у них свои стаи. Позади и вокруг орды—по правую сторону бегут волки, по левую—обволчившиеся собаки.

...Чему бы мог здесь воспротивиться Кирилл Михеич?

Во главе орды четверо волов везут длинную немецкую фуру. В ней тычутся о деревянные перекладины головами атаман и восемь его офицеров. У всадника же, что рядом с фурой,—оголенная шашка и на укрючине красный флаг. И от этого, иль от чего другого,—шея Кирилла Михеича заросла серым волосом. В таком же волосе его душа.

Ночью к Фиозе Семеновне приходят казаки. Однажды он слышал, как смеялись над ней: „сразу целый полк родит". Еще год назад, полтора, он бил ее дедовским пермским боем. Необъятное тело ее было под каблуком словно глина, что месят для построек. Визг ее—как голуби, влетающие в непокрытый дом. Теперь он забыл, как надевать тугие сапоги. Ступни его завернуты в сыромятную воловью шкуру. Пока мужик лезет к ней в телегу, он печет в костре картофель.

Даже в небо с молитвой здесь... Но оттуда в глаза сыплется земля, колени после молитвы разгибаются с большой болью.

Казаки в долине Уля-кем покинули бога. Попы остригли волосы, муллы сбросили чалмы. Председателя каравана Еровчука они просили не выдавать их красным.

— Разберемся,—ответил он, переходя к текущем делам.

Кирилл Михеич думал: его нива—постройки, церкви, кирпичи... Она тучнеет и томится. Кирилл Михеич чистит и печет для нее картофель. Но все же сильнее жжет внутри, чем картофель пальцы, когда казак, отталкивая его, говорит:

— Обождь, я еще не был.

Плечи Кирилла Михеича пустые и дряблые.

Фиоза взяла хлеба отнести атаману. Она лежала с казаками, дабы ее пропустили к фуре. Кирилл Михеич проследил за ней. Гикая, улюлюкая, гонит ее прочь караульный.

Однажды Кирилл Михеич видел хана Балиханова. Носил тот уже пиджак, грязную мещанскую шляпу, брит. Быстро мигая, говорил он что-то биям. Они же, туго перетянув бешметы, хмуро оглядывались на казаков, гнавших на водопой скот. Киргизский и свой.

В тот же день пастухи схватили биев и хана. Биям под расписку выдали по иноходцу и мешку курта. Проводив их за пределы орды, сказали: „поезжайте замаливать грехи в Мекку". Стада их Исполком каравана постановил пригнать в подарок революционным рабочим Сибири. Хана же кинули в телегу, где сидел Трубычев.

Но Кирилл Михеич не видал одного:

Артюшка пхнул хана ногой в зубы и отвернулся. Губу хана оцарапал рваный ноготь. Он достал из кармана клочек бумаги, смочил слюной и заклеил ранку.

Под Зайсаном, когда орду встретили передовые разъезды отрядов Запуса, случилось так, что Кирилл Михеич отстал. Произошло это просто, как и все в его жизни. Сначала лопнул чересседельник. Кирилл Михеич пробовал его сшить. Дратва пересохла и ломалась словно

тростник. Румяный всадник показался подле обоза. Острый шишак с малиновой звездой делал его похожим на Запуса.

— Офицеров не прячете, граждане?

Тогда обоз рванулся почему-то, понесся вперед через кустарники, по щебню, вниз, в луга. Загикал кто-то, засвистал, выстрелил. „Грабят,— завизжал женский голос:—режут!“

Шишак темно сверкнул наганом:

— У кого тут оружие спрятано?

И поскакал вслед за грохочущим вниз обозом.

Кирилл Михеич распряг лошадь. Дня два он ждал чего-то в кустарниках возле реки. Зажигать костер боялся. Фиоза спала, просыпаясь же просила есть, хрипло ругая слякоть, холод и Кирилла Михеича.

Тронулись. Луга, тальники, камыши затоптаны ордой. Острая вонь шла от дороги. В кустах застряли ломаные ободья, лагушки оглобли. Ободранная полуизгрызенная падаль с дикоторчащими багровыми ляшками. И везде по траве, по ветвям—седой человеческий волос. Уже в Лебяжьи рассмотрел он, что в приведенной телеге, кроме Фиозы и половиков, находилась рассохшаяся лагушка и сломанная ось, захваченная в растопку. А в поселке—обгорелые хаты, почти всю родню постреляли: чернобандиты, белые, партизаны, зеленые... все приложили руки. Поп остригся и ходит в пиджаке. Рыба в Иртыше чахнет... Станицу же переименовали в село и в школе ставит спектакли „Союз молодежи“.

Кирилл Михеич жалостливо помахал пальцами и отказался остричься, а волос через воротник полз на спину. Тогда, за тихий его ум, приход назначил его сторожем в церковь, а весной обещали пустить с общественным стадом.

Фиозу же взял кузнец. Был он росл, рыжебров и на заимке, в бору, варил самогон. Теперь, кроме самогона, он угощал в кузнице парней Фиозой.

Над каждым своим словом, над проходившими мимо, над кузницей и над Фиозой, одеревенело хохочут парни.

Сгущались над поселками соленые овражные вечера.

Осень.

Зима.

Весна.

Лето.

Осень!

Зима!!

... И жизнь, и смерть приходит в свое время.

XIII.

Запус прыгнул к окну. По противоположному забору улицы, мальчишка клеил газеты. И даже через пыль прочитаешь заголовок: „Суд над сибирской белогвардейщиной“. Благонравно шлепая расхлябанными

досками тротуаров, сбирались к забору обыватели. Издали газета походила на большой кусок грязи. Шел дождь. Тускло-блестящие зонтики заслоняют газету. Пробираясь к дивану, Запус гладил виски, вспухшие густой тяжестью. Две ночи в Семипалатинске происходили облавы, а в казачьем районе, подле кладбища, их обстреливали. Запус путается в половике. Вздрагивает.

— Усни,—задумчиво говорит Олимпиада.

Не обращая внимания, Запус резко подбирает под себя ноги. Розовато-золотистые щеки его вдруг словно нашли кости. Нос обострился.

— Я жду... я отступления перед ним... я последний раз. Он, знаю, скажет, там...

Они не пошли на суд...

Областной Семипалатинский Революционный Трибунал вел дело „белогвардейского полковника-атамана Трубычева, его штаба и его сообщников". Суд происходил в железнодорожном депо. Между шпал в черную угольную землю вбили колья, поверх доски—это скамьи для народа. Помостом—грузовая платформа, крытая брезентом. Длинный стол, укутанный в кумач. С потолка на кумач сыплется от рева толпы пепел, красноармеец осторожно тычет судьям метелку: сами. Двое из судей: партизан и рабочий спорят перед началом заседания о земельной политике советской власти. Об атамане молчат. На ржавом паровозе, что позади платформы, лепятся телефонист и секретарь Запуса, товарищ Архипов. Запус тупыми, словно пустая обойма, глазами глядел на плетеные из лоскутков половики. Там торчали расплюснутые окурки.

— Разве в номерах такие должны ковры быть?.. Были, наверное были... по описи значились, когда национализировали... а теперь прислуга подменила... А там Трубычева подменивают, борца из него за монархию... Это исправник уезд усмирял. А...

— Усни, ты же сколько не спал.

— Война.

Он быстро ткнул кулаком в скулу. Боль уже переметнулась в затылок. Тогда он со свистом, былым матросским харчком, плюнул через номер.

— Чего тебе нужно?

— А я знаю... России нужна революция, это я знал... И бороденка у него противная, и ходит,—будто у него бревно меж ног. А-а. Никитин про меня—интеллигентщина. Ну. Сами вместо суда митинг с демонстрированьем живого монархиста. Я на войне сам много этих концертов слышал... Кто не был... Ты мне душу его, сволочь.

Зашипел на столе полевой телефон. Запус, волоча на рукаве шинель, тронул аппарат. Олимпиада стояла, вытянувшись, у притолки. Лицо у ней—цвета осеннего калинника. Новые тесовые перегородки пахли смолой, а ей хотелось, чтоб хоть немного пахло олифой или лаком. Осенние бивуаки пахнут смолой...

— Слушаю. Что? Перерыв? Какой перерыв? Ах, да, это вы, товарищ Архипов... Слушаю.

Он глубоко до заноз царапал мизинцем стол. Крошечный голосок шипел точно... проволоку внутри сверлили.

Глаза толпы так же запылены, как потрескавшиеся окна огромного депо. Согревают стены потеющие мазутом волосатые руки. С потолка каплет: там дребезжат стеклами крики, рев. Вокруг двенадцати подсудимых обострились штыками красноармейцы. Немного кривя губы, атаман Трубычев делает показания о расстрелах рабочих:

— Вы расстреливали каждого десятого?

— Не всегда.

— Расстрелы и порки вы производили собственноручно?

— Нет. Чаще всего есаул, офицеры. Пороли казаки.

— Но были случаи собственноручного?..

— Да.

— Для чего это производилось?

Молчание.

— Вы считали расстрелы рабочих необходимым средством укрепления власти Колчака и барона Унгерна?

— Я не признавал барона.

Молчание. Подсудимый тычет в толпу пальцем.

— Вы имеете сказать?

— Да.

— Я прошу выйти из зала мою жену Олимпиаду...

... Чокан Балиханов говорит о культуре. Кочевым народам необходимо, в целях своего самоохранения, приобщиться к европейской культуре. С этой целью он приехал в степь и, когда его выбрали ханом,— согласился. Но у власти Колчака и особенно позже у барона Унгерна, заострившего провинциальную власть, были стимулы восточной культуры, как раз той, все этапы которой восток прошел и благотворно которая на киргизах не отразилась бы. Он видел авантюристов и палачей. В интересах киргизского народа он вошел в сношения с готовящимися к мятежу казаками и помог им арестовать атамана. Если б хотел, он мог бы укочевать со своими стадами в глубину Монголии...

— Известно ли было подсудимому, что народно-революционная армия Дальне-восточной республики подходила к Урге?

— Такие сведения имелись.

— Известно ли, что барон Унгерн просил помощи у киргизских ханов и монгольских князей?

— Известно.

— Не стояла ли в связи с крушением власти барона помощь чокановых киргиз восставшим казакам?

— Нам нечего было бояться.

Атаман Трубычев протягивает руку:

— Вы просите слова?

— Да.

Атаман рассказывает, как они с Чоканом вспарывали живот жены павлодарского председателя совдепа, чтоб узнать, кем беременна она.

Опять трещат разрушаемые скамейки. Рабочие оттесняются винтовками. Старуха, прорвавшись через цепь, харкает в лицо хана. Атаман услужливо подает ему платок. Чокан кидается платком. Звонит председатель.

— Эта ложь... демагогия... демагогия, гражданин председатель...

. . . .

Запус отодвинул аппарат.

В ладонях жар, он охватывает ими телефон. Голова—на кисти руки. Там, в машинке свист, и легкий топоток, словно игрушечный паровозик... вот пары выпустил. Запус до десяти вечера сидит у телефона. Через каждые полчаса-час секретарь сообщает о процессе. В десять движение прекращается. Город на военном положении. То-есть—деревянные домишки приготовились к войне.

Полчаса десятого—подсудимых на большом грузовике, окруженных конвоем, мчат в тюрьму. Мальчишки свищут и кидаются грязью. Идя на казачий казарменный митинг, Запус видит: в одном из дворов курчавый расклейщик газет изображает его, Запуса.

— Догоню, белая сволочь,—пронзительно кричит он.

А дальше он встретил обозы. Свистя полозьями, несутся они. Солдаты словно путаются в винтовках. Песок, ветер, снег...

— Какого полка?—спрашивает он.

— Запуса,—отвечают ему.

Да.

Не плохо так с винтовками бежать полем. Если не зачем в Монголию, так есть еще Приморье.

Мало ли полей в России, по которым нужно пробежать с винтовкой!

Да.

Запус возвратился, не дойдя до казарм.

Третий день за столом Запус слушал шипенье телефона.

...допросы... пояснения... они каются... атаман Трубычев обрывает их... они понимают, жизнь одна... грузовик... партизан-судья зовет Запуса пить чай... а если...

Словно раскаленная проволока в воде—телефон.

— Слушаю. Я. Запус. Слушаю...

. . . .

Конечно, Чокан всегда за народ. Конечно, странно думать о социализме среди киргиз в период первобытного кочеванья. Можно ли судить человека, когда брошенный волной на подобного себе,—он раздавит того. (— Плавать умей,—кричат из толпы). Человеческие волны

так же высоки и горьки, как и морские. Атаман Трубычев,— он организатор и активный деятель монархизма.

— Не тебе... не тебе...

Офицеры его штаба, оглядываясь на толпу, улыбаются над ним. Все они тонколицые и прямые, а он скуласт и кривоног. Береза и саксаул не растут рядом. И сначала один, а потом все восемь:

— Он нас заставлял под револьвером...

Тяжело поднимая грубые пальцы, обвинитель-рабочий кричит в толпу:

— „Грабителям, вешателям, палачам, морившим Россию с голоду, расстреливавшим вас... еще кровь не высохла подле этого депо, к стенке которого атаман ставил десятого... царским опричникам, душегубам — какое наказание?..“

Толпа втаптывает в землю скамьи. Молчит, дышит слюной и потом. Паровозы, копоть, дым, лязги буферов — и вдруг выше всего заглушающий даже само слово, грохот:

— „ссссмммееееррртттьььь...“.

. . . .

„Семипалатинский Областной Трибунал постановляет атамана Трубычева, его восемь сообщников-офицеров белогвардейского штата... высшей мере... без права кассации... Чокана Балиханова, самозванно присвоившего себе сан хана... заключению в концентрационные лагеря на все время гражданской войны...“.

. . . .

Запус опять придернул телефон:

— Да, да... Дайте Архипова, Архипова, говорю. Да, я. Нет, жду. Товарищ Архипов, вы? Товарищ, благодарю вас за сообщения. Немедленно по исполнении приговора позвоните мне... Что? Буду ли я завтра на пленуме?.. Не знаю.

Ночью, около четырех часов, он внезапно спрыгнул с кровати Не зажигая огня, кинулся к крючку, где висело платье.

Зашумел кожей и вдруг один за другим возгласы:

— Ать. Ать... Ать...

И три выстрела.

Толкаясь в него, в стол, звеня и обрезаясь об упавшую посуду,— Олимпиада:

— Вася... Васенька... Ва... да, да что-о...

По коридору бежали с грохотом. Кто-то разбил окно и вопил во двор: „скорей, скорей, Запус застрелился!..“.

Он приоткрыл дверь в коридор и сказал медленно:

— Ничего, это у меня револьвер разрядился. Все спокойно.

Он зажег лампу.

Олимпиада босая, в рваной рубашке, ощупывала его. Он увидал на ее ноге кровь от пореза и наклонился. Олимпиада плача схватила его голову. Колени ее надломились в стекло, Запус успел подставить руку, слабая вяжущая влага облила его пальцы. Она толкалась ему в плечо: „тебе чего... чего...“. Запус, широко раскрыв губы, смотрел на ее шею. Какая-то серо-желтая улыбка вталкивалась на его лицо.

— Это я в него... его... атамана. Не хотел умирать...

Здесь зашипел телефон и голос тов. Архипова сказал:

— Слушаете?.. Сейчас исполнен приговор над...

XIV.

Продовольственные карточки выдавали каждый месяц. В деревне имеется одна печать, в уездном—десяток, в губернском — ах, сотни резиновых машинок шлепались на листки. Но и печати почиют по разному: барышня ее — словно французский каблучок—легко; красноармеец— будто гвозди вбивает; у породистого канцеляриста — ровно и чистенько, словно не печать, а вицмундир старых времен. Но, как и от вицмундира, одни приятные воспоминания подле этой печати. Что значит — печать? Раньше это награда, увольнение, сообщение о повышении, аттестат зрелости, женитьба, на худой конец. Теперь же на одну печать приходится не больше золотника хлеба.

Короче говоря, простояв сутки рядом в очереди, два мещанина, Максим Боголепов и Семен Кисель, решили убить Запуса.

Боголепов — лыс, ростом с телушку, при соответствующей ей расширенности тела и подрыгивающей телячьей походке. Кисель — соборный звонарь. Посему глух, великокост (во сне он часто видит— возьмет с паперти да и достанет рукой до колокольни). Боголепов понравился ему за тонкий голосок. Ему надоели колокола, он ловит по весне комаров и ему кажется, что он слышит их писк. Он давит их на блюдечке.

Кончить Запуса решили вот почему. Боголепов сбегал из очереди и сорвал „Семипалатинскую Правду“. Кисель, склонив громадное — словно копыто — ухо, слушал с умилением непонятный писк Боголепова. В хронике сообщалось: „Василий Запус, по расстроенному здоровью, получил отпуск и едет лечиться в алтайские деревни“.

— Лечиться,— подмигнул Боголепов:—знаем мы это леченье самогонкой внутрь.

Винтообразно повращав рукой, Кисель сказал мрачно:

— На колокольню бы его...

И неизвестно почему заорал вдоль очереди:

— Да вы что—молитесь? Двигайтесь!

— Двигайтесь, граждане,— пискнул Боголепов.

Другие стоят в очереди, получают в день три четверти фунта хлеба, едят селедку... они решили убить Запуса.

То-есть не то, чтоб решили убить, а переглянулись и подумали: „не плохо, кабы кто-нибудь его сегодня при отъезде по башке кокнул".

— Кокнут,— вздохнул мрачно Боголепов.

А Кисель покачал головой:

— Для такого дела не вредно опоздать.

— Мне сегодня вечерню выбивать, опоздаю.

Так Кисель и Боголепов попали к номерам, обитаемым Запусом. Какому-то мутнообразному, с приклеенным поверху синим картузом, Боголепов шепнул: „не предполагаете, могут его сегодня?..". Посмотрел внимательно — чекист, наверное, чекист; по голым губам видно — чекист. Юркнул за угол, подождал, выглянул — нет, рядом со всеми и даже по-большевицки грудь пятит. Верно, спорят о расстреле атамана и мутнообразный сопит, словно снег по крыше: „так ему и надо". „Позвольте,— шепнул Боголепов:— есть точные сведения... А вдруг провокация". Шаркнул конспиративно пимом по снегу, подмигнул Киселю и сказал басовито:

— Смотри.

— Ничего не вижу,— сказал Кисель:— холодно, верно... пайки худые. Подводы бы хоть ему подавали. Губернатор когда выезжал, стражники за пять часов весь снег по городу утаптывали: не любил, чтоб сугробы. Архиерей, тот при выездах протоиерею говорил: попроси Киселя на колоколах малину изобразить. У меня такие колокола есть, что девочки...

— Смотри.

— Ничего не вижу.

— Да и я ничего не вижу, а смотрю.

А увидать бы они могли вот что:

Мужики же, окружившие Запуса, глубокоглазы, по волосам их прошли метели. В избе они пахнут землей, а на снегу шаг их отдает деревом. Они в зипунах, жестких и пахнущих коноплей, и в ушатых волчьих шапках.

— Перепер, Васька, с ливорвертом-то, перепер... Сплошашь да спросоня в себя пустишь. Лимпиада, ты чего смотришь, тут надо с уголька спрыскивать...

— Ничего, товаришши, оживет...

И Микола распускает кушак. Партизан—судья Словцов жмет ему руки и уговаривает взять побольше книг. Тягучебородый, агатовый и низенький выскакивает из-за его спины другой:

— Пчела-то нонешним летом пойдет, Вась, я тебе говорю, по синице. Ульев хочешь, меду ломать надобно—получай ульи...

— Получай...—гудят, словно уходя в землю, мужики. У одного подле уха в бороде теплая золотая соломинка. Запус улыбается. Расплывчивость словно несколько проходит, он вскакивает, идет между мужиками, волоча за собой шинель. Тусклые, какие-то вымышленные, бороды. Он опять садится.

— Никитин скоро?

— Сичас... Да ты не жди его, ты прямо садись, сичас кашевы подадут. Мы те с шаркунцами пожгемь...

— А-а...

Одурело махая шапкой, топчется подле стен Микола. Несколько раз сбивает об стену снег с пимов.

— Да, вить, как же это так?.. да, вить, етак сдохнуть легко!.. Нада жа и над сваим телам думать.

Он наклонился к Запусу, потрогал расстрепанные полы шинели:

— У те в ногах ознобу нету?

— Нет.

— Выходит,—не тиф, а то бы в больницу тебя.

Запус молчит. Если это не митинг, лучше молчать. Мужика в одиночку не убедишь. Они садятся на пол и ждут, охватив колени руками. Поплевывая, они вспоминают германскую войну. Олимпиада сбирает половики, чтоб не заплевали. Один спрашивает ее:

— Ты остаешься?

— Да.

— И то хорошо.

Впопыхах входит Никитин. Он держит смятую газету. И смята она у него так, словно свернута четырехугольником:

— Слушай, Запус, ты что ж,—передумал?

— Как?..

— Но тут пропечатано: ты едешь в алтайскую деревню... поправляться.

Запус кивает на мужиков:

— Они считают меня больным, один из них дал в хронику... Я еду в Питер.

Мужики топчутся вокруг Никитина, но не дотрогиваются до него. Он—словно дом, выстроенный в лесу, одиночкой. Трубка его яростно хрипит. Запуса надо в деревню: он уже в стены палить начал. Слова у них длинные, как алтайские травы. Запус болен: они же понимают. Зря они приехали. Дно их слов Никитин видит: там громадная тропа к пашне...

— Приехали зря.

— Кашевы при воротах... Не дури ты, Микитин, зачем парня сбивашь?..

— У меня машина „при воротах". Готово?

— Есть,—отвечает Запус.

Он, тряся хохолком, быстро целует Олимпиаду. „Устроюсь, напишу", повторяет он. Он помогает ей укутаться в тулуп, сам надевает полушубок. Микола дарит ему свою волчью шапку.

За автомобилем, вымываясь из снегов, шуркунцами, звоном катят—кошевки. Мужики обнявшись орут: „на диком бреге Иртыша" и, не доезжая железнодорожной станции, сворачивают на тракт, к го-

рам. Мимо них—стога в снегах, сорока на стогу, воз, свернувший с дороги и застрявший в сугробе. Песня у них похожа на пьяную. „Свадьба",—думает встречный.

XV.

Для Кобдо, Кульджи, Чугучака и Булун-Тохой, для бухарцев, китайцев и киргиз был раньше в Семипалатинске меновой двор и таможня. На меновом дворе—4-й Трудовой Батальон Красной армии, а в таможне—отощавшие крысы. На пристани с юга привозили тонкую, как пыль, монгольскую шерсть, разноцветные меха для русских, масло...

Весной Олимпиада работала на субботнике по погрузке железной ломью пароходов. В соседней пристани, через забор, арестанты исправдома и буржуазия концентрационных лагерей таскали соль в баржи. В перерыве Олимпиада прошла мимо пакгаузов к баржам. Работами арестантов руководил Никитин. Арестанты курили. Соленая грязь нежно лепилась на подошвы, приятно было ее соскоблить о доски сходен, приятна изнеможенная сонливость мускулов.

— Можно вас на минутку?—вдруг услышала она.

Перед ней—дергаясь паучьими морщинками висков, узкоплечий с раскосым лицом, казак.

— Не признаете, Олимпиада Лаврентьевна?

— Нет.

— Я—Чокан Балиханов.

Пожатие ее острое, как укол иголки. Чокан торопливо сел подле нее на пласт соли. Она не смотрела на него, и он перестал приглаживать клоками растущую бороденку.

— Я вас не задержу... я хотел попросить вас, чтоб мне чаще пропускали передачу. Назначены условные дни, а киргизы никак не могут разобраться... тем более часы и сорт продуктов. Здесь необходимо только одно словечко председателю Чека, даже коменданту лагерей... Или вот товарищу Никитину...

— Я скажу.

— Благодарю вас. У вас нехорошие воспоминания обо мне.

— Нет, почему же...

— Спасибо. Тут видите: гружу каждый день, иногда удается надсматривать. Публика не привыкла к работе, интригует... Василий Антоныч здоров?

— Он в Петербурге.

— Это мне известно. Здоров, значит?

— Да.

— Служит где?

— Учится.

— Превосходно. Храбрый воин, героическая личность. Он в „школе маршалов".

— Нет, в другой...

— Я учился в Политехникуме. Из него превосходный инженер выйдет...

— А вы почему знаете?.. Он пишет, что учение идет успешно... Я скоро, быть может, тоже туда вырвусь...

Олимпиада улыбнулась. Чокан разозлился и, положив нога на ногу, без необходимости громко сплюнул.

— Конечно, выйдет... Я бы тоже продолжал ученье, но тут разве что достанешь! Учебники, окружающая среда. Во французскую революцию заключенная аристократия читала Овидия, Виргилия... перед эшафотом... А мы больше сплетничаем, подделываемся, интригуем. Я же на досуге занимаюсь этнографией. Вспоминаю легенды, предания. Записал на-днях, например, один вариант сказания о голубых песках. Если желаете, расскажу.

— Успеете ли?

Он, порывисто взглянув ей в лицо, забормотал:

— Произошло это задолго до Карла Маркса и даже до Корана. На месте Семипалатинска стояли семь дворцов из необожженого кирпича, их крыши были из дунганского фарфора. Монгольская орда Бык-Буу устала от суровой окружающей ее природы, захотела воды, которая бы доставалась даром,—и заклубила дороги, ища счастья. Не успели обтрепаться нитки у подрубленных краев кафтанов, как народ попал в некую пустыню Убы. Почва ее была отличного голубого цвета, так что, когда временами ветры подымали пыль, народ думал—он на небе. Счастье всегда кажется удобным и маленьким. Народ искал его во всех расщелинах. Обширны были поиски,—пуховые платки стерлись об волосы и женщины ходили гологоловыми, подобные зверю. Народ беспокойно вскидывал ртами слюну, словно лошади, которых тревожит овод.—Для чего растет высокая полынь?—говорили они—для чего мы ищем и где найдем? Много вождей умерло... но в последнее время выделился своей смелостью юноша Зоршинкид. Он хорошо умел делать жубат—пустяками утешать человека. Он сказал, что умершие вожди скрывали от них, потому что боялись пустить туда народ,—скалы и пропасти: вождей могут убить,—есть в скалах гор пустыни Убы золотая дорога, ведущая вверх, к счастью; там, вверху, кому нужно будет—хлеб, масло и сыр, женщины и кони, юрты и постели. Народ заклубился в скалах. Но он уже пожрал весь хлеб, скот, имел суровое лицо. И когда увидали лепящуюся по скалам над пропастью золотую дорогу не шире ладони, у немногих были силы подойти к началу ее. Мудрецы говорили речи; молодежь собрала силы и побежала вверх по дороге. Все они расшиблись, и на голубых песках было много крови. Тогда Зоршинкид сказал: „я вынесу вам счастье". Он простился с любимой девушкой: у какого героя нет любимой девушки? Завязал глаза и ощупью побрел вверх по золотой дороге. Голубые пески несли голубую пыль над ним и всем казалось, что Зоршинкид уходит в небо. Но он ушел и не возвратился. Возможно, что устав итти подобно сле-

пому, он понадеялся на свой успех и развязал глаза. Увидал пропасти, охнул—и скатился. Может быть поскользнулся, потому что он был истинным героем, и когда голодал народ, голодал и он,—значит он был слаб. Народ подождал, подождал—дольше всех ждала его любимая девушка, но и она возвратилась к старым жилищам, где вновь расселился народ Бычк-Буу. У скал, ожидая друга, издохла одна собака. Но ее имя забыто... А по другим вариантам, имеющимся у меня, видно, что народ кидается вслед Зоршинкиду. Горы удивляются их смелости, пропасти закрываются, и все они, за исключением мертвых, попали в круг счастья...

Олимпиада встала. Не оборачиваясь, сказала на ходу:

— Почему вас еще не расстреляли?

Чокан бессмысленно посмотрел на ее брови. Они седеют у переносицы. „Самая хитрая лисица—седобровая",—вдруг вспомнилась ему киргизская пословица. Он, комкая соль в руке, шагал за ней:

— Знаете... знаете... забыли. Но вспомнят.

И вдруг остановился:

— В чужой орде ханы всегда были рабами...

„Он смелый",—подходя к погрузке, подумала она.

Подъехал в телеге разъезжающий по работавшим партиям оркестр. Инструменты, наверное, теплые, и ревут они, словно прыгая по воздуху. Барабанщик поджал губы, жалест—в Интернационале барабану мало работы. Он ждет Марсельезу. За оркестром загудел пароход. Был он блестящий, белый, словно одна глыба соли. Железную ломь застенчиво прячет под себя.

Поднимали громадную ржавую балку. К ней прилипли грибы и мягкие щепы.

— Раздавит,—закричал какой-то рабочий на подходившую Олимпиаду. Она уже хотела согнуться, но красноармеец подал ей записку. На махорочной обертке Чокан писал жирным черным карандашем: „ради бога... я больной, простите за сказанное... я больн... одичавший челов... я прошу... кругом дрянь... не забудьте... Никитину... все-таки...".

Олимпиада не дочитала до конца. Она отшвырнула.

— Поо-одхо-оди, на-аа-летай...

Она подставила плечо. Железо показалось жидким, потому что сразу осело по всему телу. Глубоко отяжелели кости, и пот выступил по вискам. Ботинки—словно скатываются каблуки... Шею уберите, заест,—прохрипел ей в спину чей-то жгущий кожу голос.

Каждый вершок трапа вдвое тяжелит балку, каждый сучочек доски налит кровью и трепещет, больно отдаваясь в ушах. Какая длинная дорога!

Олимпиада несла...

Волки.

Бор. Пильняк.

В тысяча девятьсот семнадцатом году, в декабре, когда не рассеялся еще дым октября, когда дым только густел, чтоб взорваться потом осьнадцатым годом,—когда первые эшелоны пошли с мешечниками, развозя бегущую с нарочей армию, в ураганном смерче матершины,— —

— — на одной станции подходил к вагону мужичок, говорил таинственно:

— Товарищи, — спиртику не надоть ли? —. Спиртовой завод мы тут поделили, пришлось на душу по два ведра —

на другой станции баба подходила с корзинкой, говорила бойко:

— Браток, сахару надо?—Графской завод мы делили, по пять пудов на душу —

на третьей станции делили на душу – свечной завод —

степь, ночь, декабрь— —

— в городах на заводах, в столицах ковалась тогда романтика пролетарской революции в мир, а над селами и весями, над Россией шел пугачевский бунт, враждебный городам. Тогда поднимался занавес русских трагедий, увертюра октября отгремела пушками по Кремлю. Тогда надо было знать секрет, чтоб влезть в поезд—в сплошную теплушку: надо было шайкой в пятнадцать человек лезть с кулачным боем в первую попавшуюся теплушку, через головы, спины, шеи, ноги, в невероятной матершине и в драке на смерть.— И вот, была холодная декабрьская ночь. Поезд шел в степь. Каждый, кто ехал за хлебом, ехал тогда в первый раз,—поезд шел в степь, на диких степных станциях растеривая тех, кто, не желая умирать с голоду, брал быка за рога—просто вез себе хлеба. Теплушки были набиты человеческим мясом до крыш, это мясо было злобно и голодно, оно злобно молчало, когда шумел поезд, и оно рычало матершиной, когда поезд стоял: оно ехало из городов. И ночью поезд выкинул на дикую

станцию полсотни людей. Луна уже сошла с неба, ночь помутнела, была черна, должно быть теплело перед снегом, на востоке едва-едва зеленело. За станцией был поселок, у станционной коновязи стояли возы, лошади мирно жевали, на возах валялись люди. Скоро узналось, что поселок переполнен людьми, — поселок не спал, то тут, то там вспыхивали огоньки спичек и папирос, но было очень тихо, потому что все шептались.—Приехавшие—одни решали итти в трактир попить чаю и лечь часок поспать, другие—сейчас же итти по селам за хлебом: узнали, что ближайшее село в трех верстах. Несколько человек пошло к околице,—

— и когда они подошли к последней избе, где метелями были надуты сугробы и откуда открывалось черное пустое поле,—их остановила старуха.

— В Разгильдяево идете?—спросила она.

— Туда, а—что?

— Не ходите. Меня тута Совет приставил—упреждать. Волки очень развелись. На людей бросаются. Вчера ночью московского задрали, за мукой приезжал. А нынче с вечеру—корову задрали. Погнали корову к колодцу поить,—как отбилась, никто не видел,—только, слышут, ревет корова, как свинья, за задами,—побежали мужики, видят—шагов сорок—корова, а вокруг ней семь волков,—один волк тянет к себе корову за хвост, потом бросил сразу, корова упала, второй волк тогда корову за шею.—Когда подбежали мужики, полбока волки уж съели.—Не ходите.

Восток чуть бледнел, впереди лежало черное холодное поле. Среди идущих за хлебом был один, приявший романтику городской, машинной, рабочей революции,—и эта весть о волках, это холодное пустое поле впереди навсегда остались у него—одиночеством, тоской, проклятьем хлеба, проклятьем дикой мужицкой жизни вперемежку с волками.

С тех пор прошло пять лет.

И новый пришел декабрь—великих российских распутий.

Глава первая.

Монастырь лежал в лесу, у соснового бора, на берегу озера,—на болотах, на торфяниках, в ольшаниках, в лесах — под немудрым нашим русским небом. Монастырь был белостенным. По осеням, когда умирали киноварью осины, а воздух, как стекло,—цвели кругом на бугорках татарские серьги. Неподалеку, в семи верстах, шел Владимирский тракт—старая окаянная Володимирка, по которой гоняли столетьем в Сибирь арестантов. И есть легенда о возникновении монастыря. Монастырь возник при царе Алексее Тишайшем. Смута уже отходила, и засел здесь на острове среди озера разбойник атаман—

Бюрлюк, вора Тушинского военачальник, грабил, с божьей помощью, Володимирку: знал дороги, тропинки лесные, вешками да нарезями путины метил,—заманит, засвищет. И на Владимирском тракте однажды, кроме купцов, изловил Бюрлюк двух афонских монахов, с афонской иконой. Монахов этих убили, перед смертью монахи молились—не о себе, но о погибшей душе Бюрлюка, о спасении его перед господом,— о них же скажут богу дела их. Монахов этих убили, но икона их осталась, —и вскоре потом Бюрлюк перелил пушки на колокола, в месте разбойничьем стал монастырь. Легенд таких много на Руси, где разбойник и бог—рядом.

Но монастырь стал почему-то женским, хоть и сохранил имя Бюрлюка—Бюрлюковская женская обитель. И идет декабрь, в ночах, в снегах, в метелях. В новую российскую Метель—Бюрлюкова обитель погибла, забыта: за монастырскими стенами военное кладбище—склад авио-слома, ненужный уже и революции, при нем шесть красноармейцев, комиссар и военспец,—в грязной гостинице—капусто-квасильный, для армии, завод, на зиму заброшенный. Монашки живут на скотном дворе, без церкви, роются в поле по веснам, зимами что-то ткут и доят советских коров. И в малом доме отмирает,—умирают остатки коммуны анархистов. И декабрь.

— „В революцию русскую—в белую метель—и не белую, собственно, а серую, как солдатская шинель,—вмешалась, вплелась черная рука рабочего—пять судорожно сжатых пальцев, черных, в копоти, скроенных из стали, как мышцы,—эта рука, как машина,—взяла Россию и метелицу российскую под микитки: никто в России не понял романтики этой руки, как орлиная лапа,—никто не понял, что она должна была быть враждебной—врагом на смерть—церквам, монастырям, обителям, погостам и пустыням—не только русским, но всего мира; что это она должна была—во имя романтики, как машина,—нормализовать, механизировать, ровнять, учитывать, как учтена, нормализована, механизована машина, сменившая солнце электричеством; что это она в каждый дом внесла романтику быта заводской мастерской и рабочей казармы, с их полумраком, с их пылью, с их теснотой, с их расчетами и сором бумажным в углу на полу и на столе под селедкой. Это—рабочий. Тогда казалось, что над Россией из метели восстала—бескровная черная машина, рычаг которой в московском Кремле; Россия была лишь желтой картой великой европейско-российской равнины, бескровной картой—в карточках, картах, плакатах, словах, в заградительных отрядах, в тысяче мандатов на выезд, в нормализационной карточке на табак, в человечьих лицах, пожелтевших, как табачные карточки". — —

И декабрь. И монастырь.

„Некогда Россия—столетьями—прожеванная аржаным—шла культурою монастырей, от монастырей, монастырями, где разбойник и бог рядом. Так создавались Владимирская, Суздальская, Московская Руси.

На столетья — в веках — застряли иконостасы, ризы, рясы, монастыри, погосты, обители, пустыни, — дьякона, попы, архиепископы, монахи, монахини, старцы. В монастырях, в городах за спасами, в церквах, за папертями, в притворах, в алтарях—иконами, паникадилами, антиминсами, ковриками, по которым нельзя ходить, невидимо—ютился дух великого бога, правившего человечьими душами две тысячи лет,—рождением, моралью, зачатием и смертью, и тем, что будет после смерти. В церквах пахло ладаном, тем, которым пахнет на улицах, когда несут покойников. При нем, при боге, были служки, которые носили костюмы ассирийцев: они мало, что знали, они богослужили, но они чуяли, что у бога нет крови, хоть и разводят кровь вином, и что бог уходит в вещь в себе,—они же протирали лики икон и ощущали себя—мастерами у бога у них было много свободного времени.—Человечество, жившее в тридцатые годы двадцатого столетия, было свидетелем величайшего события—того, как умирала христианская религия.—Но—исторический факт—в шестнадцатом веке в России, в семнадцатом—монастыри были рассадниками и государственности русской и культуры. И другой исторический факт—в революцию русскую тысяча девятьсот семнадцатого—двадцать вторых годов—лучшими самогонщиками в России было духовенство".

В Бюрлюковской же девичьей обители не осталось даже священника: стены белые,—белые церкви, которые звонят только—сиротливо—ветром в метели,—черные дома, как кустарно-фабричные бумагопрядильные корпуса, да лес, да летом—озеро с карасями. Комиссар арткладбища—Косарев, военспец и шесть красноармейцев приладились жить так, чтобы спать по четырнадцати часов в сутки.

И декабрь. Есть такой мороз, который одевает деревья, дома, землю холодным, мглистым инеем. С сумерек поднимается луна и зажигает иней миллиардами бриллиантов. Небо атласно и многозвездно, и кругом неподвижность и тишина, тишина гробовая, от которой становится страшно и звенит в ушах. А мороз кует и сковывает все.—Под монастырской стеной идет проселок, он сворачивает к монастырским воротам, идет мимо скотного двора, через гостиные стройки, начало и конец его затеряны в лесу. Тени от монастырских стен и строек, тени от деревьев четки, точно вырезаны ножницами. В малом гостином доме из нижнего этажа, из угольных окон идет керосиновый свет. Скрипят сани, едут двое в розвальнях—проезжают на скотный двор, слышен скрип нескольких шагов, и мирный керосиновый свет возникает в другом конце малого гостиного дома, во втором этаже. И опять тишина. Гостиный дом построен, как строятся казармы и хорошие конские конюшни: продолговатой коробкой, с коридором посреди, с двумя выходами в концах коридора и со стойлами номеров направо и налево.

В нижнем этаже, в углу, в комнате горит железная печка, сотворенная здесь же на арт-кладбище из военно-технического слома; под

потолком висит лампа; на диване с книгой лежит анархист Андрей Волкович, у печки возится Анна. Потом приходит из города — за восемь верст — со службы Семен Иванович, он греется у печки. В доме холодно.

— Сегодня двадцать четвертое декабря по новому стилю,— говорит Андрей.— Сегодня во всем мире, в Европе, в Австралии, в обеих Америках — рождественский сочельник, во всем мире, кроме России и Азии.

Молчат.

— В городе афиши расклеены,— говорит Семен Иванович,— приезжает на праздники зверинец будут показывать попугаев, шакалов, обезьян, медведей, волков, а также всемирный оптический обман — женщину-паука. — Вы, Андрей, не ходили на завод?

— Нет, пойду завтра.

— Да, ступайте. Надо что-нибудь делать.

Анна подает на стол горячую картошку. Семен Иванович садится есть. Андрей натягивает на плечи тулуп и идет к двери.

— Вы куда?

— Пойду пройдусь.

В коридоре гостиного дома мрак и холод, здесь не топят. Над деревьями стоит луна. Тишина гробовая и неподвижность над монастырем. Тени — точно их вырезали ножницами, рядом с Андреем идет карапуз его тени. На скотном дворе в кухне у монахинь вспыхнул огонек, и вот перебежала из тени в тень на дворе — бесшумно,— монахиня,— ворота во двор открыты.

Продналоговый инспектор Герц, бывший офицер, и его попутчик учитель Громов, что приехали заночевать в обитель, во втором этаже гостиного дома, глотками огревают комнату. Монашенка растапливает печурку. Они, Герц и Громов, бодры, стаскивают тулупы, распоясывают полушубки. Луна лезет в окна. Монашенка зажигает лампу.

— Ффу, холодно! Хо, фа! — самоваришко нам, да попогонки бы,— говорит Герц.— Ха, фа! И печку теплее.

— В одной горнице спать будете, или как? — спрашивает монашенка, улыбается, — она стоит прямо, против огня, черное монашье платье обтянуло грудь, на свету зубы, глаза, лоб, — и Герц видит, что лицо монашенки, молодой еще, красиво и хищно, — она смотрит на Герца покойно, еще больше хочет выпрямиться, откинув спину и голову назад, белые зубы светят из-за губ.

И Герц говорит:

— Как ты прикажешь, матушка,— в двух. Попогонки достанешь? А поужинаем вместе. Тебя как зовут?

— Сестра Ольга. А ты, батюшка, ведь офицер Герц?—попогонки достану, спосылаю к попу на село. Я пойду, самовар поставлю. За печуркой посмотрите, чтобы теплее. Пришлю сестру Анфису. Только — чтоб потише,—чтоб никто не слышал.

Герц греется у печки, — ффу, ха, фа, — монастырский гостиный номер невелик, у изразцовой печки—печурка, за печуркой деревянная кровать, постель под одеялом, шитым из лоскутьев, на столе под лампой—белая скатертка. Громов—в полушубке, у стола, голову в шапке—пока не согреется комната—опер ладонью.

— И придут?—спрашивает Громов.

— Придут,—отвечает Герц.

Приходит другая монашенка, сестра Анфиса, белая и плотнотелая,— ни Герц, ни Громов не замечают, что на ней черное, галочье платье,— и Герц, и Громов сразу представляют, что тело ее — не то чтоб было полно, но деревянно, крепко сшито, как у калужских копорщиц. Сестра Анфиса смеется добродушно и чуть смущенно.

— Печурку надо в другой горнице растапливать, кто со мной?— спрашивает она и фыркает.

— Идите вы, Громов,—говорит нехотя Герц.

Через полчаса в горнице тепло, парно, со стен и окон течет сырость, окна плотно занавешены, на столе, под лампой, шипит самовар, на тарелках разложены — яйца, масло, соль, черный хлеб, Герц вынул из сумки баночку с сахаром, на окне у стола стоят две бутылки самогона, у стола—две монашенки и двое мужчин, самогон разливает сестра Ольга, чай — сестра Анфиса. Лампа — чуть коптит, или так кажется от пара. Печурка, железная, на четырех ножках — полыхает, жужжит, — вот-вот соскочит с места и завертится юлой по полу от жара. И сестра Ольга говорит строго:

— Скорей ужинайте, а то нам половина двенадцатого на молитву, часы стоять.

Но до полночи еще долго. — И через час — прощаются: сестра Анфиса и Громов уходят в соседнюю горницу. Сестра Ольга стоит среди комнаты, Герц — у стола, опершись на него—спиной к нему— руками. Ольга прислушивается к тишине дома, подходит к печурке, заглядывает в нее, подходит к кровати, откидывает одеяло, медленно идет к столу, протягивает руку привернуть лампу, — и, приворачивая, другой рукой охватывает шею Герца, загораясь, сгорая, — губами, зубами вливает в себя губы Герца — —

У полночи — мужчины спят, обессиленные. Сестра Ольга встает с постели, привернутая лампа начадила, печь потухла, Ольга в белой рубашке, надевает чулки, башмаки с ушками, рясу, шубейку, черна, как галка. Она раздувает огонь в печурке, припускает свету в лампе. Она идет к Анфисе, будит бесшумно ее — —

Над землей—мороз. Луна ушла, но звезды—горят, горят, и небо— ледяная твердая твердь, по которой можно было бы кататься на

коньках, если бы была возможность залезть туда. За навесом, на скотном сарае, за калиточкой для навоза на огороды, к лесу,—стоит баня. Тут темно. По двору, из углов идут черные тени монахинь — через навозную калиточку, в полночь, к бане. В бане, где был полок, весь угол в образах, мигают — не светят, не освещают лампады, собирается десятка полтора черных женщин, согбенных, и молодых, и старых. И старуха запевает — старческим дребезгом вместо голоса — некий тропарь, который человеку со стороны показался бы диким, страшным и нелепым. И сестра Ольга подхватывает истерически мотив, и падает на пол, стукаясь лбом по доскам пола. В бане полумрак. В бане жарко натоплено. В бане черные женщины, и чёрные тени от черных женщин—овцами—бегают по стенам и потолку. В бане замурованы окна. — И мотивы тропарей все страшнее, все страстнее, все жутче.—Так идут часы.—Женщины поют истерически, в бане— —

— А глубоко за полночь—за третьими петухами—ночь темна, черна, недвижна — звезды мутнеют — сестра Ольга в ночь идет в гостиный дом, во второй этаж. Герц спит. Ольга бросает на пол шубейку, в черной рясе наклоняется к лицу Герца, долго смотрит в лицо,—она, изогнувшаяся на кровати, похожа на черную кошку—или на ведьму?— которая хочет выпить всю силу и всю кровь. Герц не знает —

— странной истории сестры Ольги.—Где-то на Ветлуге, в старообрядческих скитах, в фанатизме и анафематствуя умирают мать и тетка Ольги,—и тетка игуменствует. Но Ольга, из старообрядческой семьи иваново-вознесенских ткачей, окончила гимназию первой ученицей, примерной богомольщицей, была на первом курсе курсов Герье, на филологическом отделении. — В революцию, в Октябрь, в дни восстания она пошла в штаб белой гвардии и с винтовкой в руках стояла за Кремль, — чтоб загореться и сгорать потом коммунистической партией, чтоб быть фанатиком, как монах, ненавидеть неистово и неистово любить, крикнуть в мир Интернационалом, возненавидеть старосветскую Русь, проклясть бога, в мир кинуть поэму машины,— теперь, вспоминая, вспоминает сестра Ольга, как тогда, в парт-школе, сорвав икону Николая угодника, неистово повесила она туда портрет Карла Маркса. Потом она была в Иваново-Вознесенске, и там многим казалось, что она сошла с ума, когда задумала, изобрела, неистово проводила в жизнь — систему социалистического делопроизводства, такого, где люди совсем вышелушивались и оставались одни номера. Она была девственница, она никогда не любила, ни девичьи, ни женски. Потом ее послали на фронт редактировать газету, — там, при отступлении от Врангеля, в редакционных теплушках, она занеистовствовала, залюбила, засумасшедствовала любовью, у нее стал муж, убежавший затем к белым, — и через полгода после этого она, порвав с коммунистической партией, с революцией, была уже на послухе в Бюрлюков-

ской женской обители, в черном платье, как галка,— на молитве и в половой истерии.—Но тогда, в октябре, в Москве— —

— Герц не знает.

Герц просыпается от удушья. Свет от чадящей лампы не велик,—и над Герцем склонилось лицо, глаза широко раскрыты, безумны, и бегом рядом из-за красных губ, блестят зубы. И Герцу вспоминается что-то смутное, уже очень далекое, сокрытое за метелями, за голодами, за скитаниями,—где-то там, в октябре, в Москве— —Сестра Ольга охватывает его шею, черная, в черном,—и приникает к нему — —

Луна ушла за лес, померкла красным углем, исчезли тени,—все стало, как тень,—потемнело небо и ярче звезды,—теперь совсем ясно, как лезть от звезды ко звезде. Лес почернел, поугрюмел. Анархист Андрей долго бродил по проселку, он слышал, как где-то вдали в лесу провыл одиноко волк,—Андрей думал о России, о метелях, о волках. Монастырь—безмолвен, темен, мертв,—торчат к небу шатровые колокольни.—Спит, руки скрестив на груди, далеко откинув голову, выставив кадык,—Семен Иванович, бесшумно дышит. Легла уже Анна.—Андрей сидит у стола, над дневником, у лампы под абажуром из газеты. Встает с постели Анна, кладет руки на плечи Андрею, прислоняет к голове голову.

— Ложись, милый, спать. Не грусти. Ну, что же, что сегодня во всем мире Рождество.

— Я не грущу, Анна. У меня странные мысли. Если бы теперь был осьнадцатый год, я должно-быть ушел бы в коммунистическую революцию. Слушай, весь мир на крови. В мире есть две стихии, я еще не оформил, как их назвать, и где их границы. Но вспомни—был мир, когда люди жили только от земли, пахали, пили и ели. Тогда миром правил бог, тогда богу строились соборы, монастыри, церкви. Реальность—земля, и романтика—метафизика—бог. Или нет, не так. Помнишь, в XVI веке, в Европе, в Англии и Франции, были изобретены—ткацкий станок и паровая машина, и они перестроили мир, они сделали Европу гегемоном мира, они породили протестантизм—в религии, они народили капитализм—в хозяйстве, они породили буржуазию и пролетариат: пролетарий и машина пришли в мир с новой моралью и романтикой. Но слушай дальше. Мир строит человеческий труд, мир—на крови, и потому—бескровна романтика:—Сейчас, какие бы ни были в мире революции, две трети человечества и человеческого труда прикреплены к земле, чтобы хлебопашествовоть, чтобы нудно ковырять землю, чтобы прокормить остальную треть,—этот труд нищенский и убог—он дает только одну треть прибавочной ценности; но кроме того, под картошкой, просом и рожью занята вся плодородная земля мира, ржаные поля—сиротливые, скучные поля, невеселые. Но вот пришел ученый, почти алхимик, и он изобрел способ из неорганического мира—химическим путем—на фабричке делать углеводы, белки и жиры, картошку, мясо и масло; хлеб будут делать на фабрике, его будет делать пролетарий. Послушай,—две трети

человеческого труда освободятся от кабалы к земле, они пойдут в города, они пророют вдоль и поперек землю, они высушат моря, они создадут новую мораль, новую эстетику. Это будет невероятная революция. Это создадут—гений-ученый и пролетарий. Но освободится еще и земля от аржаной кабалы, вся земля превратится в сад, куры, овцы, козы, свиньи и коровы—будут только в зверинцах. Человеческий освобожденный труд перестроит мир. Ты понимаешь, Анна?—В мире есть две стихии,—и эта вторая: гений, труд и человек,—стихия, покоренная машиной,—машина и пролетарий, и—опять—человек. Ты понимаешь?

Анна молчит, прислонив щеку к щеке.

— Но тогда будут васильки?—спрашивает Анна.

— Да, будут.

— Но васильки растут во ржи, а рожь, ты говоришь, исчезнет?— Знаешь, монахини сегодня опять пели ночью. Я выходила на крыльцо и слышала, как вдалеке провыл волк, теперь идут волчьи свадьбы. А наверху опять кто-то приехал, опять блуд, там мать Ольга —

— Но ты заметила,—говорит Андрей,—в XVI веке, в XVII культура в России разносилась монастырями,—а в XIX и теперь ее разносят—заводы, заводы. Но машины, как и бог, бескровны,—что кровь машины? А монастыри,—что теперь монастыри?—и Андрей возбужденно встает от стола, разводя руками.

— Да, но тебе завтра надо итти на завод, Андрей, пора спать,— говорит Анна.

Ночь. Безмолвие. Кует и сковывает мороз. И видно с проселка от монастырских ворот, как гаснет внизу в гостином доме огонь. В лесу, за монастырем бежит волчья стая, гуськом, след в след, впереди вожак,—так стая избегала за ночь верст тридцать. Комиссар арт-кладбища Косарев, обалдевший от сна, выходит на монастырский двор, он слышит волчий вой, и этот вой Косареву —

— одиночество, тоска, сиротство, проклятие хлеба, проклятье дикой мужичьей жизни вперемежку с волками.

Глава вторая.

Завод возник лет тридцать назад, когда строили железную дорогу: понадобились кузница и механическая мастерская—для сборки мостов,— эта кузница и выросла в стале-литейный,—машиностроительный. Вокруг завода, по большаку, разметался заводский поселок, домики, как скворешники, за палисадами, в черной копоти, в буром от копоти снеге, у театра в тополях—в овраг катались на ледяшках мальчишки, у поворота выстроились в ряд—в домах со скворешнями мезонинов— трактир, парикмахерская, клуб союза металлистов, кинематограф, сельский совет,—все было из дерева: так деревянная Россия подперла

к железу и стали, к чугунному литью и к каменному заводскому забору. Красным кирпичем у переезда стала заводская контора, заводоуправление, завком, здесь стали коммунисты. На красном кирпиче конторы— в витрине:

„Берегись, товарищ, вора".
„Бей разруху—получишь хлеб".
„Дезертир труда—брат Врангеля".
„Смотри, товарищ, за вором".

И карандашем сбоку:

„Ванька Петушков сегодня запел песни".

А там, за заводской стеной, за завкомом,—

— дым, копоть, огонь,— шум, лязг, визг и скрип железа,—полумрак, электричество вместо солнца,—машина, допуски, колибры, вагранка, мартэны, кузницы, гидравлические прессы и прессы тяжестью в тонны,—горячие цеха,—и токарные станки, фрезеры, аяксы, где стружки из стали, как от фуганка—из дерева,—черное домино,—при машине, под машиной, за машиной рабочий,—машина в масле, машина неумолима—здесь знаемо— в дыме, копоти и лязге,—ты оторван от солнца, от полей, от цветов, от ржаных утех и песен ржаных, ты не пойдешь вправо или влево, потому что весь завод, как аякс и как гидравлический пресс, одна машина, где человек—лишь допуск,—машина в масле, как потен человек,—завод очень сорен, в кучах угля, железа, железного лома, стальных опилок, формовочной земли, —

— там, за заводской стеной, за завкомом, в турбинной, в рассвете, в безмолвии, в тишине, когда завод стоит, и сторожа лишь стучат сороками колотушек—человек, инженер— его никто не видит—поворачивает рычаг и:—(из каждого десятка новых рабочих—один—одного тянет, манит, заманивает в себя маховик, в смерть, в небытие—маховик в жутком своем вращении, вращении—в допусках—в смерть),—его никто не видит, он поворачивает рычаг и:

завод дрожит и живет, дымят трубы, визжит железо, по двору меж цехов мчат вагонетки, ползут сотне-тонные краны, пляшут аяксы. Его никто не видит, человека, повернувшего рычаг в турбинной, но завод—живет, дрожит и дышит копотью труб.—Идет рассвет, гудит гудок, и сотни черных людей идут к станкам, к печам, к горнам.— В стале-литейном, у мартэнов: все совершенно ясно; в стале-литейном полумрак; в стале-литейном—пыль; в стале-литейном горы стальных шкварков, уголь, камень, сталь; в стале-литейном пол—земля, и рабочие роются в земле, чтоб рыть в нее формы, куда польют жидкую сталь; сквозь крышу идет сюда кометой пыли луч солнца—и он случаен и ненужен здесь; у мартэнов все совершенно ясно: в мартэнах

расплавленная сталь, туда нельзя смотреть незащищенными глазами — когда подняты заслоны, оттуда бьет жарящий жар, туда смотрят сквозь синие очки, как на солнце в дни солнечных затмений,— и совершенно ясно, что там в печах,— в печи — в палящем жаре, в свете, на который нельзя смотреть,— там зажат кусочек солнца, и это солнце льют в бадьи.— А в кузнечном цехе — чужому, пришедшему впервые, страшно,— тоже в полумраке — в горнах раскаляют сталь до-бела и потом куют ее в прессах, как тесто, и молотами бьют, чтоб сыпать гейзеры искр; в кузнечном цехе полумрак и вой, и гром, и визг железа, которое куют,— в горнах — в горны, где сталь и уголь, рвется воздух, чтоб раздувать и глотки горн харкают огнем, пылают, палят, жгут,— горны стоят в ряд, к ним склонились грузоподъемные краны, чтоб вырывать от огня для прессов белую — огненно-белую — сталь,— и горны похожи на самых главных подземных чертей, они дышат, задыхаются, палят огнем и воют, ревут, барабанят,— кранами, прессами, молотами: здесь страшно непосвященному,— н-но у каждого горна висит объявление завкома:

„Строго воспрещается запекать картошку в горновых печах“ — —

Рабочие — черны. Машина — в масле. Здесь — огонь, сталь, машина. Где-то в турбинной — повернут рычаг.

Домино — это черные, с числами, кости, это числа, где число кладут к числу, чтобы получать новые числа. В домино играют в тавернах, где полумрак керосиновой лампы под потолком. В домино играют, чтоб выиграть или проиграть.—Машина.— Когда сложат в сборном цехе все костяшки стального домино,—костяшки, созданные по нормалям и допускам фрезерами и аяксами,— тогда возникает машина; но сама она — опять лишь костяшка нового стального, цементного и каменного домино, имя которому завод, которых так мало разбросано по России.

— Пусть мало, но на этом пути конца нет. Домино машин—бесконечно, чтоб заменить машину мира.—

„Строго воспрещается запекать картошку в горновых печах“, —

— хоть и не видно того, кто повернул рычаг в турбинной, чтобы завод дрожал и жил. Это так же, как прежде, когда —

— прежнее человечество—тысячами лет—жило богом, которого звали по разному от Ра и Астарты; еще от Ассирии и Египта остались храмы, где в святом святых хранился бог, уходя в вещь в себе, и при боге, на божьих дворах жили служки: эти служки стирали с божьих лиц пыль и плесень.— —

Но Андрей Волкович не пошел на завод ни завтра, ни послезавтра, ни через пять дней. Просыпаясь утрами, он возился у печки, помогал Анне, читал книги. Кругом была тишина, лишь иногда звенели сосны вершинами, как морской прибой в отдалении. Монастырь бе-

лыми стенами сросся со снегом. Изредка проходили прохожие, два раза приходили к монастырю божьи странники — по дороге от Каспия к Белому морю посмотреть, как погиб монастырь, разматывали портянки на сбитых ногах, говорили о великой порухе, прошедшей по Руси, слизнувшей с лица ее бога, монастыри и погосты. Один раз была метель: лес и земля выли, как ведьмы, должно быть,— тогда ветер звонил — звякал — колоколами на монастырской колокольне, и всюду мчал снег. Изредка — в морозе желтым светом, как сухие баранки, — светило солнце,—тогда свистели снегири.

Рождество пришло незаметно, незначуще, все той же картошкой. Красноармейцы ходили в село пить самогон и веселиться в трактире.

На четвертый день Рождества комиссар Косарев собрался съездить в город, сходить в кинематограф, побывать в зверинце,— Косарев пригласил с собой Анну. Андрей в этот день пошел на завод, наниматься.

В городе на базарной площади были карусели, играли гармонисты, толпились люди, мужики в тулупах, бабы в красных овчинах и зеленых юбках. Тут же на двух столбах была единственная — и вечная — афиша о зверинце:

„Проездом в городе остановился

— ЗВЕРИНЕЦ. —

Разные дикие звери под управлением Васильямса.

А также:

ВСЕМИРНЫЙ ОБТИЧЕСКИЙ

обман ЖЕНЬЩИНА-ПАУК“.—

На афише были нарисованы — голова тигра, женщина-паук, медведь, стреляющий из пистолета, акробат. Афишу мочили многие дожди. У карусели выли гармошки и бил барабан, овчины толпились, лужжа семечки и наслаждаясь, на конях, на каруселях ездили, задрав ноги, парни, девки плавали в лодках; в одном ларьке продавали оладьи, в другом — зеркала и свистульки. Площадь была велика, и шум от каруселей казался маленьким. Косарев поставил лошадь в трактире, направился в исполком, Анна его ждала, он пришел сумрачным,— в зверинец попали к сумеркам.

Зверинец поместился в доме гражданина Слезина, где когда-то был общественный клуб, выступали заезжие фокусники, бродячие актеры и местные любители.— На лестнице горело электричество, были развешаны картины зверей, толпились мальчишки,— в дверях сидел хозяин зверинца Васильямс, в матросской рубашке, никому не доверял получать деньги, мальчишек бил по загривкам, но иногда и прозевывал счастливца: лицо у него было доброе, с ним можно было торговаться о плате за вход.— Там, где раньше сидела публика, наблюдавшая за фокусниками, хлестнул по носам скипидарный запах зверей, звериного

пота. Здесь было целое сооружение, учиненное заново: по стенам стояли клетки, с попугаями, орущими неистово,—с безмолвными филинами, немигающими и такими, как чучелы,—с пингвинусом; серия ящиков занималась кроликами, очень похожими на тех, каких продают на базаре; в двух клетках сидели мартышки, в ящике, в сено прятались морские свинки; в клетке, разделенной на десяток отделений, чирикали—щеглята, синицы, зяблики, чаечки, трясогузки, чижи; в круглой клетке сидел орел, совсем полинявший. Электричество светило неярко; там, где была сцена, был устроен тир: на стойке, обтянутой красным коленкором, расставлены были—чайный сервиз, самовар, гармошка, галстух, пенснэ,—каждый мог испробовать счастье, стреляя булавочкой в вертящийся диск.—Женщины-паука не было,—ее показывали через каждые полтора часа на пять минут. Народу в зверинце было немного.—В той комнате, где бывало фойэ,—были большие клетки; в одной лежал кривой медведь,—кривой, усталый, облезший, в войлоке; в другой—метались два шакала; тигра, нарисованного на афише, не было; но в углу, в медной клетке, плохо освещенной—был волк; волк был невелик, но стар и убог; клетка была маленькая; волк бегал по клетке; волк изучил клетку,—он кружился в ней, след в след, шаг в шаг, движение в движение, не как живое существо, но как машина,—исчезая в тень клетки и возвращаясь в свет; потом он остановился, опустил голову, взглянул на людей понуро, устало, исподлобья—и тихо завыл, зевнул;—волк был беспомощен, страшный русский зверь. В зверинце было немного народу, и больше всего толпилось у клетки волка. Больше ничего не было в зверинце Васильямса.

И вот—о волке. Анна знала,—когда тает снег, после зимних вьюг и метелей (никто не докажет, что вёсны прекрасней метелей), из-под снега, в ручьях, в весне—возникают новые цветы, но вместе с ними—много на земле прошлогодних листьев. Если годы революции русской сравнить со снегами вьюг и метелей,—из-под них по Руси, по русским весям и селам небывалые размножились волки, побежали одиночками и стаями, драли и скот, и зверье, и людей, лазили по закутам, выли на поезда, разгоняли стада и ночные, страшили одиноких русских путников, возродили охоты облавами, сворами борзых, с поросенком,—что же новые цветы иль прошлогодние листья—? Волк страшен в полях, свиреп, хозяин лесов: Анне—волк—прекрасная романтика, русская, вьюжная, страшная, как бунт Стеньки Разина. Но—что же—прошлогодняя листва или новые цветы—этот Васильямс и его зверинец? Где и как он прожил метельные годы российские, как голодал, кем был национализован,—кто денационализовал его, отпустив, как шарманщиков, таскаться по селам и весям российским—прошлогодней листвой иль цветами—? И вот здесь, в клетке, ободранный, обобранный—волк, покоренная стихия: его братья бродят по лесам воют, живут, чтоб убивать, родить, умирать, его братья свободны, и они—русские, ибо правят они над русскими полями, лесами, ночами,—

а он, облезший, ободранный — маятником мается, след в след, движенье в движенье, здесь в клетке,— как он попал сюда, к Васильямсу, в компанию женщины-паука?— У волка здесь толпился народ,— здесь и у обезьян, должно быть, отыскивая созвучие.

Рядом с Анной, у волчьей клетки стоял комиссар Косарев, и он сказал:

— У, гадость. Смотрю на волка — и вся дикость наша, русская, т.-е. прет из него. Всех их мерзавцев в зверинцы надо.

Анна ответила:

— А я—я смотрю на него, и мне его жалко, мне сиротливо, товарищ. В волке вся романтика наша, вся революция, весь Разин. Мне жалко, что он заперт! Его надо выпустить, — на волю, — как осьнадцатый год.

— Ну, революцию я понимаю иначе. В осьнадцатом году как раз и понял, товарищ. К чертям всех Васильямсов с волками и т. д. —

Волк снова забегал по клетке. Прошли со звонком, прокричали, что сейчас покажут за особую плату женщину-паука. Красноармейцы, стрелявшие в тир, вынули из-под шинельных пол кошельки. Ни Анна, ни Косарев не пошли смотреть женщину-паука, — Косарев не желал, чтобы его надували. Вышли на мороз, на улицу. Уж совсем стемнело,— пошли в трактир выпить чаю, запрячь и ехать. На улицах было темно. Волк остался в помещении гражданина Слезина, в тусклом электрическом свете, в скипидарящем запахе звериного пота. — Карусели на площади перестали вертеться.—В трактире, на эстраде отплясывали— ряженые — хохол с хохлушкой, пели цыганские романсы. Косарев грустил, сердился на волка и на жизнь, выпил самогону.

За городом чуть-чуть мела поземка. Небо чернело. Вправо, вдалеке у железной дороги белым заревом светил завод. Лес принял шорохами и шумом вершин,—древний лес, сосны в два обхвата. Анна думала и ждала, что сейчас завоют волки, выйдут на дорогу. — И правда далеко в лесу—на санях его не слышали—в это время провыл волк, лизнул снег и побежал по взгорку, чтоб бегать так всю ночь, избегать верст сорок, ибо волка кормят ноги. — Монастырь был безмолвен. Косарев с санями въехал в монастырские ворота.— Семен Иванович, в валенках и шарфе, трудился у печки, растапливал, хотел сварить картошки. Печка дымила. В комнате было холодно, и не было света, кроме полуночного.

— Андрей не вернулся с вами?—спросил Семен Иванович.

— Нет, не вернулся. — Слушайте, Семен Иванович, я была в зверинце. Там есть волк. Осьнадцатый год не вернется, он прошел, навсегда. Какая была романтика, все рушилось, гремели грозы, люди шли, шли, шли. — — Где теперь мой муж, инженер? Мужичья Россия загорелась лучиной, запелись старые песни, замелась метелица, заскрипели обозы с солью, умирали города, заводы, железные дороги. Осьнадцатый год не вернется, он ушел навсегда. Наши коммуны погибли,

мы всех растеряли, мы живем на монастырском кладбище, и мы, анархисты, как волк в зверинце. — Когда мы ехали, поднималась поземка. Будет метель — —

Вошел, не постучавшись, комиссар Косарев. Он был уже в той степени опьянения, когда ему стало весело. Сел к столу. Сказал:

— Азияты. — Я сегодня у товарища был, в городе, у военного комиссара Липина. Мы с ним вместе на Сормовском заводе работали.— „Ты,—говорит,—азият, на монастырском кладбище живешь,—сифилистик ты",—говорит. Я спрашиваю его,—почему я сифилистик?—„А помнишь,— говорит,—у твоего дяди на Сормовском, у токаря по металлу, нос гайкой оторвало". — А-а,—я ему отвечаю, — в таком случае помнишь на Сормовском был директор — сифилистик, — так всем трубам пришлось 606 впрыскивать, чтобы не провалились от сифилиса.—„Врешь!"—говорит.— Не вру, отвечаю. Смотрит обалдело.—„Врешь,—говорит,—я в прошлом году был, видел, как рабочие сидят около труб, греются, — трубы стоят!"—Потому, говорю, и стоят, что им впрыснули 600 и 6,—обалдел парень!

Комиссар Косарев рассмеялся весело, помотал головой, встал и ушел.

На заводе —

— в стале-литейном, в мартэне — сталь и уголь, и они в мартэне, как кусок солнца—стихия, на нее, как на солнце, нельзя смотреть простыми глазами, она бурлит и жжет.

В зверинце —

— в клетке за решеткой — волк, стихия лесов, и он в клетке, как машина, след в след, мышца в мышцу, движенье в движенье, на волка сиротливо смотреть.

Что такое—машина? И кто такой пролетарий? — У машины, как у бога, нет крови,—и машина, конечно, больше бога побеждает трудом мир. В Ассирии, в Вавилоне, в Египте — были божьи дворы, у них были служки, бог — в святом святых — уходил в вещь в себе, от них затерялись в веках звездочеты, волхвы, алхимики, астрологи, маги, масоны, — они запутали столетья, они запутались в столетьях, они умирают—они вели мир. Конечно—божий двор—не машина, и служки при боге—не рабочие.—Завод черен, завод в саже, завод дымит небу. Ты отрезан от мира забором, ты оторван от цветов, от полей, от песен, от пахаря. Ночью завод горит сотнями электрических светов. Но вот инженер повернул рычаг у турбины, и завод дрожит, дышит и живет: одно, одна машина, одна воля: конечно, машина без крови, и кто такой пролетарий? — Не тот ли, кто, претворив в себе маховик, почуяв оторванность от цветов и полей, и от пахаря,—покорил машину, им же пущенную, — не тот ли, кто, уверовав в метафизику машины, в домино машины, „где нет конца", — принял мир, как машину и на заводе хочет строить хлеб? Но тогда на заводском дворе—пролетарий—

служка машины, как инженер—поп. Они перестроят мир. От божьих дворов—в семнадцатом веке—шла культура российская, а от заводов—

В лесу, над монастырем, замела метель. Холодно в гостином доме.

Андрей думает:

— Если бы теперь шел осьнадцатый год, я пошел бы в пролетарскую революцию.

И Андрей говорит Анне:

— Россия шла веками, перелесками, болотами, бежала от государственности, страшная страна, в песнях, в поверьях, в приметах, — Россия заложилась в бегстве от Киевской государственности, от удельщины и половченщины. Потом на Оку и Помосковье сели русские цари, монастырями, заставами, надолбами, собрали Русь. Припомни, Россия Московская была вся—как церковный притвор, как церковь, от кокошника женского, как купол церковный, до культуры российской из-за иконоспасского монастыря,—потом по России гуляли—Разин, Пугачев. В семнадцатом году вновь загулял по России — Степан Разин, враждебный городам, государственности, поездам, загромил Россию, запел старинные песни, встряхнул старинными поверьями, зажег лучину, поезда повалил под откосы, перехворал сыпным тифом, убежал с фронтов, кинул все—это большевик, мужик. Веселая над Россией и страшная прошлась метель, провыла, прометелила, прогоготала, все хотела разбить. Но—послушай,—и Андрей молчит минуту.—Послушай. В вихревую эту метель безгосударственную, кровяную, удалую — вмешалась, вплелась черная чья-то рука, жесткая, бескровная, стальная, государственная — пять судорожно сжатых пальцев, черных, в копоти, сжимающих все до судороги, — она взяла под микитки и Россию, и русскую метелицу и стала строить государственность русскую, новую,— она нормализовала, механизировала, ровняла, учитывала, она сменила солнце на электричество, она внесла в каждый дом быт заводской мастерской и рабочей казармы. Эта рука—рука пролетария, рабочего. Это пролетарий над Россией из метели поставил бескровную, черную, всесильную машину, рычаг которой в московском Кремле,—он построил Россию, как карту, как план машины, где люди были номерами — в карточках, в картах, плакатах, словах, мандатах, всяческих заградотрядах, в карточках на табак, желтых, как человечьи лица, хоть вся Россия правилась метелью и кровью. Пришли новые монахи, принесли новую веру — веру машины — пролетарии. Никто не понял в России романтики пролетария, служки машины, мастера машинного домино,— никто не понял, что он, пролетарий, первым делом должен был быть враждебным — врагом на смерть — церквам, монастырям, обителям, погостам и пустыням, — не только русским, но всего мира. —

— Ну, да. Но где же русский пейзаж, и Ока, и вёсны, и перелески, — и волки, — где же — мы, люди, русские? — Где лучинушка наша?

Задубасили в оконную раму, кто-то крикнул наруже, дрогнула лампа, посыпалась известь. Семен Иванович спал. Семен Иванович, страшный старик, с бородой, как у Маркса, многое видел на белом свете, ко многому приучился, Семен Иванович вскочил с постели, крикнул спросонья:

— Где маузер?

Без главы, заключение.

В тот год по России страшное было конокрадство. Мужики на ночь оставляли лошадей, стреножа им ноги замком и цепями.—Метели не было. В поле должно быть мела поземка,—лес шумел сиротливо, нехорошо,—шипел. Комиссар Косарев раза два выходил слушать лесной шум,—это ведь он когда-то—на околице—слушал о разгильдяевских волках—тогда он понял одиночество, тоску, проклятье хлеба, проклятье дикой мужичьей жизни вперемежку с волками.—Метели не было, лес шумел.

Монахиня Ольга в полночь была в бане, молилась неистово. Из бани она вышла уже далеко за полночь, к петухам. Калитка к скотине была открыта, на снегу четко отпечатались грязные коровьи следы,—монахиня Ольга пошла к коровнику, замок был сломан,—и на монахиню Ольгу напало неистовство; остервенела, закричала, завизжала, разбулила всех, задубасила в окна,—побежала к Косареву, схватила у него винтовку и горсть кассет. Косарев был пьян, он взял на себя командование, крикнул на Ольгу, чтоб молчала. Совещались на дворе. Семен Иванович в подштанниках и валенках, был без маузера,—маузера давно уже не было у него. Косарев и Ольга с винтовками пошли по следам коровы, чтоб проследить, на арт-кладбище закладывали лошадь. И корову скоро нашли—она была привязана неподалеку от дороги к дереву, в овражке, где была дамба, плотинящая озеро. Решили засесть здесь, чтоб выследить, когда придут за коровой. Засели за дерево, на взгорке, и очень скоро к лесному шуму примешался скрип саней. По пути к монастырю выехали санки с двоими, проехали дамбу. Ольга не выждала,—прицелившись с колена, выстрелила по саням и охнула. Лошадь остановилась. Тогда Ольга выстрелила еще. Косарев обругал по матерному Ольгу и выстрелил сам. Тогда сани, круто взметнув лошадь на дыбы, повернулись обратно, помчались карьером назад, с саней бестолково выстрелили из револьвера. Но на дамбе был поворот и раскат, сани занесло, сани, люди и лошадь, сорвало под отвес, лошадь побила ногами и упала на сани. Косарев и Ольга выстрелили и побежали, —от дамбы, бросив лошадь, тоже побежали, убегая, стрельнули два раза из револьвера. Началось преследование. Так бежали шагах в трехстах друг от друга—до опушки.—Случилось так, что в это время в лес собрался мужичок из соседней деревни, поворовать дров: бегущие впереди встретили мужика у опушки, мужика из

саней выкинули, лошадь повернули, помчали на ней—по полю. К Косареву и Ольге пристал мужик с топором, потерявший лошадь,—побежали втроем, стали отставать. В монастыре услыхали стрельбу, артскладская лошадь приехала на выстрелы. Косарев, Ольга и мужик погнали на лошади: по свежим следам на поземке узнавали путь убегающих.—Из Климовской волости ехал в уездный исполком—на легких санках, на полукровке—предволисполком Штукин: убегающие выкинули его из саней, кинули мужикову лошадь, помчали; предволисполком закурил, поразмышлял, сел на мужикову лошадь и поехал своей дорогой; сейчас же встретили его преследующие: озверевший мужик, узнавший свою лошадь, бросился на него с топором, тот едва спасся. От монастыря примчали двое верхами—один на той лошади, которая свалилась с дамбы. Перепрягли всех лошадей, погнали верхом—Ольга, Косарев, мужик и предволисполком. Гнали версты четыре до нового леса, и тут нашли брошенную полукровку: убегающие, должно быть, минуты три назад, бросили лошадь запаленную, и ушли в лес, без дороги. Погонщики побежали по следам. Лес был всего шагов в триста, там под обрывом протекала Клязьма, за Клязьмой было село. Двое—убегавших—были внизу, на льду. Они что-то кричали неистово. Ольга присела, выстрелила с колена, раз, два, три,—и один из бегущих упал, крик на льду смолк,—тогда завизжала, завопила—ура-а-а!—монахиня Ольга.

На льду, лицом к небу, лежал продовольственный инспектор Герц. Около него возились—его товарищ Громов, Косарев, мужик с топором. Выяснилось, что Герц и Громов ехали в монастырь к матери Ольге—провести весело ночь.—И как тогда ночью в гостином доме, Ольга—черной кошкой—здесь на льду—склонилась над Герцем.—

— Помнила ли она Герца тогда в первую метель, в 1917 году, в октябре, в Москве? Тогда там встречались несколько раз лицом к лицу, смерть в смерть—Ольга, рабочий Косарев и офицер Герц.—Здесь, в невеселый рассвет на Клязьме, они встретились, связанные звериным инстинктом преследовать и убивать,—там, в Москве в октябре люди шли умирать во имя человеческого—в человеке—инстинкта, инстинкта к правде и справедливости.

Утром, когда погоня за Герцем вернулась к монастырю, и хватились коровы,—коровы не нашли: в лесу, на березке моталась веревка, кругом валялись кости, лежал череп рогами вниз. Корову задрали волки.

Стеснение.

Мир стал уж тесен. И город нам скушен.
Так узки все страны. Ничтожны моря.
Тела опьяняющим ядом иссушены,
Вянут и мусором сыплются зря.

Мы чувствуем небо. Кровь пенится ало.
Могилу и ад будоражит экстаз.
Мы стонем в сырой штукатурке подвалов,
Чтоб грянул обвал и от гибели спас.

Что можем мы сделать? Мир стал уж тесен.
Полиции каждый клочек уж известен...
И вот прохромаем по всем городам:
Все девушки блеклы, зажаты клещами.
В кафе и в кино приютились мещане...
И Гете сияет из золота рам.

Будь проклята улиц убогая зализь.
Что тянется в даль, в бесконечность—оскалясь.
О, если б пожар осветил нас ясней.
Грозово шумит горизонт в желтизне.

Когда б на галерах потели мы быстрых,
И корчилось жалко весло под рукой.
Теперь же гнием на высоких пюпитрах.
В приемных трусливо пылимся мукой.

И трубные громы настойчиво лезут.
Хотим мы войны небывалой костров.
Бряцает оружие в уши железом.
Нам битвы и пушки сверкают пестро.

Скандальте! Скандальте! Мир стал уж тесен.
Орут бедняки пред дворцами не песни.
И в щепки ворота. И вдребезги окна.
И стены шатаются, пулей язвимы...
Любили мы горько—забудем любимых!
Нас вспомнят скорее, когда мы издохнем.

Тьма искрами сыплет. И вечер отвратен.
Кареты, прохожие тонут в грязи.
А дети вцепились в предвечную Матерь
И молят защиты от новой грозы.

Мы Бога не любим. У нас он похитил
Все силы. Лохмотьями нас раскидал.
Нас облаком гнева окутал Юпитер.
Больницами, голодом, смертью сглодал.

Напружены нервы! Мир стал уж тесен.
Пробьемся сквозь заросли, ямы и плесень!
Шагают солдаты по грязи и лужам.
Мир тесен. Дрожим мы и мерзнем устало.
В соборах, в сырых и загнивших кварталах...
Грозим и шумим, проклинаем и душим...

Иоганн Р. Бехер.

Перевод **Вл. Нейштадта.**

(Из книги: „Des neue Gedicht". Jnsel-Verlag, Leipzig 1919).

Песня девушки в тайге.

Медвежья шкура постлана
В моем углу; я жду...
Ты, дальним небом посланный
Спади, как плод в саду!

Весна цвела травинками,
Был желт в июле мед;
Гнут ветры над тропинками
Из алых бус намет.

Лежу, и груди посланы
Ловить слепую мглу...
Медвежья шкура постлана,
Тепла, в моем углу.

Таясь в тайге, с лосятами
Лосиху водит лось...
Мне ль с грудями не взятыми
Снег встретить довелось?

Весна цвела травинками.
Вот август. Зрелый груз
Гнут ветры над тропинками
Лесных рябин и груш.

Медвежья шкура постлана...
Ты, свыкший ветви гнуть,
Ты, ветер, небом посланный,
Сбрось грушу мне на грудь!

Валерий Брюсов.

Родное.

Березка любая в губернии
Горько сгорблена грузом веков,
Но не тех, что, в Беарне ли, в Берне ли,
Гнули спину иных мужиков.

Русский говор,—всеянный, вгрéбленный
В память,—бредит, одéбренный лес!
Чтó нам звоны латыни серебряной:
Плавим золото наших железа!

Путь широк по векам! Ничего ему,
Если всем—к тем же вехам, на пир,
И в Пушкинской глуби по-своему
Отражен, склон звездистый, Шекспир!

А кошмар, все, что мыкали, путь держа
С тьмы Батыя до первой зари,
Бьет буруном в мечтах (не до удержа!):
Мономахи, монахи, цари!

Пусть—не кровью здоровой из вен Земля:
То над ней алый стяг,—трезвый Труд!
Но с пристрастий извечного вéнзеля
Зовы воль, в день один, не сотрут.

Давних далей сбываньем тревожимы,
Все ж мы ждем у былых берегов,
В красоте наших нив над Поволжьями,
Нежных весен и синих снегов!

Валерий Брюсов.

В лесной жути.

Один—в лесную жуть, когда на муть речную
Луной наведены белесые глаза:
Качнуть извет ветвей, спугнуть мечту ночную
И тихо покатить колеса-голоса;

Ждать, как растя, крутясь, наполнит чуткий шорох
Все тропы тишины, меж кóрней, вдоль вершин:
Скок диких кóней, бег шотландских пони в шорах,
Скрип древних колесниц, всхлип лимузинных шин;

Следить, как там, в тени, где тонь трясинных топей,
Где брешь в орешнике, где млеет мох века,—
Плетясь, в туман всплывут сны пройденных утопий,
Под смех русалочий, под взвизг лесовика;

Гадать, что с выси есть мощь рук неудержимых,
Винт воль, скликающих со звезд свою родню,
Что в мировых тисках, в их неживых зажимах,
Глубь человечества мелеет день ко дню;

И вдруг—на луг, к луне, вкруг речки, скоро белой
В дожде зари, стряхнув слезу с листка ль, с лица ль,
Поняв, что кáмней шквал—то, в чаще оробелой,
Встал, меж гостей с планет, Германский Рюбецаль!

Валерий Брюсов

Юность питье солодовое,
Без опохмелки дурман:
Поле... калитка садовая...
Месяц да белый туман...

Годы—как воды с околицы,
Дни—как с горы полоза—
Щеки щетиною колются,
Лезет щетина в глаза...

Только узнаешь по-времени:
Горек и короток век—
Выпадет проседь по темени,
Вывалит по полю снег...

Высушат чарку до донушка
Стукнут по донушку раз—
И не покажет уж глаз
Месяц—цыганское солнышко.

Сергей Клычков.

Так ясно все и так несложно:
Трудись и все спеши домой,
И все тащи, как зверь берложный
Иль праотец лохматый мой.

Из края в край карежь, ворочай
И не считай часы и дни,
И только ночью, только ночью
Опомнись, вспомни и вздохни.

За день деньской, такой же мелкий,
Как все, устанешь, а не спишь
И видишь: вытянулись стрелки
Недвижно, усиками в тишь.

И жизнь вся кажется ошибкой:
Из мглы идешь, уходишь в мглу—
Не знаешь сам, когда же зыбку
Любовь подвесила в углу.

И все простишь, всему поверишь,
Найдешь разгадку и конец—
Сплелись три ветви и теперь уж
Ты—мать, а я... а я—отец...

И уж не больно и не жутко,
Что за плечами столько лет:
Что на висках ложится след,
Как бодрый снег по первопутку.

Сергей Клычков.

Два Петра.

Гром и электрические звоны
Затрудняют доступы туда.
Высоки и железобетонны
Райские врата.
Потому что рай
Это не сарай—
Кто захочет, тот и залезай.

Петр в перчатке, чтоб рука не дрогла,
Не с мечем, а с браунингом в руке
Наблюдает в Цейссовские стекла
Землю вдалеке.
Потому что бог
Непомерно строг—
Вышвырнет ленивца за порог.

Зорко Петр глядит на землю нашу:
Вот американские порты...
Вот Россия заварила кашу...
Ох, Россия, снова ты!
Так не первый год
Убиенным счет
Петр неукоснительно ведет.

И не первый год текут как реки
Павшие в решительных боях,
Те, кто в мире были человеки,
Ныне—прах.
Лезут напролом,
Ибо в царстве том
Им приуготован стол и дом.

Но не даром Петр стоит на страже,
Выкликая всех по именам;
Он внимателен до слез и даже
Раны проверяет сам.
Не проверишь—глянь:
За святую грань
Проберется не герой, а дрянь!

Но однажды Петр в средине ночи
Прочитал по списку: „Петр, кузнец,
Пропустить немедля раньше прочих
И пожаловать венец“.
Не кладя пера,
Петр позвал Петра,
Но никто не закричал ура.

И опять, и снова без ответа
Пригласив приявшего венец,
Петр воскликнул гневно: „Где же это
Вышеупомянутый кузнец?
Прятаться от благ
Может лишь дурак...“
И донесся голос: „Точно так!“

И дождавшись лунного восхода
И на землю Цейсс направив свой,
Видит Петр—у некоего входа
Замерзает часовой.
Полумертвый страж
Полковой гараж
Охраняет от возможных краж.

Петр воскликнул, голос напрягая:
„Тезка, ведь тебе уже капут!
Ты уже прошел по спискам рая—
Так иди, когда зовут.
Заживешь средь звезд...“
Но ответ был прост:
„Не могу оставить пост“.

„Как же это мыслимо, Петруша:
Мне донес архангел Гавриил,
Что, устава службы не нарушив,
Ты геройской смертью опочил...“
„Честно, не совру—
Петр сказал Петру—
Как дождуся смены, так помру“.

„Тут, хотя и ветер, и пороша,
Ну, а все ж со света не уйдешь,
И автомобиль хоть и не лошадь,
И его не подкуешь—
Но не даст кузнец,
Чтобы под конец
Спер мотор какой-нибудь подлец!“

И задвинув вновь засов железный
И рукою по засову—хлоп.—„Любезный,—
Петр вскричал:—Ступай к чертям,
Если ты подобный остолоп!"
И сквозь облака
Стал считать пока
Свежих мертвецов из В. Ч. К.

А когда же петухи запели,
Петр кузнец—как таковой—исчез...
И пошла душа его в шинели
По инстанциям небес.
Но везде в ответ
Говорили: „Нет,
Вы не в тот попали комитет..."

А теперь, читатель благосклонный,
Ежели ты спросишь—наконец,
Мол, достиг ли нынче райской зоны
Вышеупомянутый кузнец—
То тебя в ответ
Засмеет поэт,
Ибо рая не было и нет.

Вера Инбер.

Раса.

Метнула бы глаза назад
И руки простирала
За черною рудой, за Ад
Железного Урала,

Где на срединных тронах мглы,
На ледниках Памира
Поют Аттиловы орлы
Завоеванье мира.

Метнула бы глаза назад,—
Да музыка всей ратью
Лесами призрачных засад
Велела умирать ей.

И сквозь кайенский вкус руды,
Сквозь верфей гарь седую
Потомки вымершей орды
В костер истлевший дуют.

Стрельчатых арок и стропил
Обуглен черный остов.
Пиратов и апашей пир
Окончен на погостах.

И по хребтам электроволн
Плывущее вниманье—
Как ночь в бульварном, мировом,
Таинственном романе.

И только память древних орд,
Как снежный хмель нормана,
Как Нансеновский „Фрам“, как Норд,
Как радио с Мурмана.

Погребена под бурым льдом,
Обагрена гангреной,
Бледна как в ночь перед судом,
Не дышит болью бренной.

Застыла пышная постель
На ледниковых скалах—
В кресте рекордных скоростей,
В кольце блокад усталых.

П. Антокольский.

Курс лекций по историческому материализму.

Л. И. Аксельрод (Ортодокс).

ЛЕКЦИЯ 3.

Метологические основы социологии в их развитии.

В предыдущей лекции [1]) были изложены кратко и в самых общих чертах главные течения философско-исторической мысли до Гегеля включительно.

Сегодня я намерена коснуться основных начал социологии. Основы и развитие современной социологии с методологической точки зрения должны обязательно предшествовать изложению метода исторического материализма, в противном случае последний остается неясным в коренной основе, в его отличии от буржуазной социологии.

Но чтобы избежать недоразумений, возникающих так легко и так часто и, следовательно, без серьезных оснований, между слушателем и лектором, между читателем и писателем,—считаю необходимым сделать следующую оговорку. Следуя определенно поставленной задаче выявить сущность метода исторического материализма, я останавливаюсь и буду останавливаться на тех течениях философско-исторической или социологической мысли, которые, с моей точки зрения, необходимы для моей цели. Потому, само собой разумеется, что в этих вводных лекциях не могут быть изложены исчерпывающим образом современные социологические течения и история их развития. Как в предыдущей лекции я не претендовала на изложение истории философии истории, что, кстати сказать, может быть темой для весьма солидного произведения,—так и в этом очерке я не намереваюсь писать историю социологии. Так что, если кому-нибудь из читателей придет в голову подвергать критике эту работу за неполноту, то такую задачу он сможет выполнить с необычайной легкостью. Стоит только для этого открыть энциклопедический словарь. Цель, которую я себе ставлю в данном очерке,—это выявить основные методологические начала буржуазной социологии и развитие этих начал для того, чтобы обнаружить с

---

[1]) См. „Красная Новь“ № 6 (10), 1922 г.

возможной для меня ясностью метод исторического материализма. — Вот и все.

А теперь к делу.

Представители современной социологии весьма строго отделяют область социологии от философии истории. Философия истории,—заявляет М. Ковалевский,—не ставит себе вопроса о том, «что нужно, чтобы элементы, из которых слагается общество, находились в гармоническом между собою сочетании». Философия истории не может занять место социологии по той причине, что последняя ставит себе более широкие задачи. Философия истории ищет общего, всеоб'емлющего начала, обусловливающего весь исторический процесс. Эта отрасль идеологии уделяет, поэтому, недостаточно внимания социальному строению данного общества; она также не может быть источником для установления законов практического воздействия, что, главным образом, и ставит ей М. Ковалевский в упрек. Общая причина отвлеченного характера философии истории заключается, по мнению представителей социологии, в ее метафизическом происхождении. Философия истории, думают М. Ковалевский, Эвульд, Спенсер, Дюркгем и другие, имеет своей основой либо теологию, либо метафизику. Если она принадлежит к первой категории, то мы в ней всегда откроем ту же основную мысль, которая проникает собою «Всемирную историю» Боссюэта, а именно, что «человек волнуется, а всевышний им руководит». Человеческое общество и его развитие оказывается, таким образом, во власти божества, и изучение общественной структуры, и стремление к установлению общественных законов представляется, следовательно, совершенно бесполезным делом. Ничем существенным, с точки зрения М. Ковалевского и Эвульда, не отличаются от теологического религиозного построения философии истории философско-исторические воззрения, вытекающие из идеалистической метафизики. «Много ли,—спрашивает М. Ковалевский,—дает нам для понимания условий и хода прогресса, положим, известное учение о том, что история есть раскрытие всемирного духа? Она так же мало ценна, как и теологическая доктрина, гласящая, что «человек волнуется, а всевышний руководит». С точки зрения современной социологии эта область не должна связываться ни с одной обще-философской теорией. Как теологическая, так и идеалистическая философия истории лишены конкретного научного значения. Социология должна поэтому избегать связи с философией вообще, какого направления последняя ни была бы. Истинной теоретической основой социологии должна быть позитивистская теория.

Научная, подлинная социология появляется, таким образом, на свет вместе и в причинной связи с позитивизмом. То-есть, с тем мировоззрением, которое окончательно порвало как с идеалистической, так и с материалистической «метафизикой».

Основоположником позитивизма и социологии является Огюст Конт. Это утверждение, широко распространенное и встречающееся почти во всех социологических произведениях,—не совсем верно с троякой точки зрения. Во-первых, основоположником современного позитивизма был мыслитель

скептик Давид Юм, который оказал несомненное влияние на Ог. Конта; во-вторых, в системе Конта занимает видное место философия истории, проникнутая не только метафизическими началами, но и своеобразными теологическими элементами. В-третьих, социологические построения вне всякой связи с обще-философскими воззрениями существовали до Конта.

На развитии социологической мысли, предшествовавшей Ог. Конту, мы сейчас и остановимся.

Отдельные социологические об'яснения мы встречаем, начиная с Фукидида и Платона, почти что у всех крупных мыслителей. В эпоху Возрождения, когда феодальный порядок вступил на путь разложения и когда начало складываться новое гражданское государство, учение о происхождении, сущности и задачах государства занимает чрезвычайно важное место в революционной идеологии того бурного и богатого духовным содержанием исторического периода. В продолжение XVII и XVIII столетий господствует теория общественного договора. Согласно этой теории, общество и государство совпадают. Основой государства или общества является общественный договор, заключенный между властителями и подданными во имя блага, счастия и спокойствия всех членов общества.

Создается рационалистическая теория возникновения общества, соответственно которой общественное бытие определяется общественным сознанием. Проблема социологии была поставлена вполне ясно и сознательно всеми защитниками теории общественного договора—Гуго Гроцием, Гоббсом, Спинозой и др.

В XVIII столетии чрезвычайно большое внимание уделяют общественным вопросам французские просветители и материалисты. В предыдущей лекции было отмечено, что как французские просветители, так и материалисты мало что внесли в философию истории. Перед грозным судом разума просветителей и материалистов все историческое прошедшее казалось сплошной скандальной хроникой. Признание исторической закономерности имеет своей исходной точкой убеждение в том, что исторический ход вещей обусловлен строгой причинной необходимостью. Этого убеждения у французских материалистов не было. Характеризуя общее отношение к истории французских материалистов, Энгельс совершенно справедливо говорит: «Взгляд его (французского метариализма. *О Л. А.)* на историю—поскольку он имел такой взгляд—был существенно прагматическим: он судил об исторических событиях сообразно побуждениям деятелей, делил этих деятелей на честных и плутов и находил, что в большинстве случаев честные оказываются в дураках, а плуты торжествуют. Из этого обстоятельства для него вытекал лишь тот вывод, что в истории очень мало назидательного». Другими словами, по существу дела, французские материалисты не давали никакого об'яснения истории, и, поскольку указанный взгляд может считаться об'яснением, он сводился к суб'ективной оценке и всемогущей роли личностей при чем эта суб'ективная оценка не была результатом критического рассмотрения вопроса о возможности философии истории как таковой, а явля-

лась следствием пренебрежительного отношения к прошедшему, свойственного вообще революционным эпохам.

Страстная ненависть и суровое осуждение всего исторического прошлого необходимо, повидимому, для того, чтобы круто и решительно порвать с ним.

Но, с другой стороны, та же революционная эпоха толкала и требовала самым настойчивым образом постановки и решения социологических вопросов. Как и в каком смысле ставили и решали социальную проблему просветители и материалисты, превосходно изложено в книге Г. В. Плеханова «К развитию монистического взгляда на историю». С истинно логической виртуозностью и со свойственной Плеханову ясностью мысли, вскрыты в этой книге основные противоречия, в которых билась мысль энциклопедистов и материалистов, когда они пытались разрешить социальную проблему. Но каковы бы ни были эти противоречия и несмотря на отсутствие цельного и выдержанного социологического воззрения, проблема была поставлена. Это во-первых; во-вторых, — что особенно важно в данной связи—это тот несомненный факт, что французские материалисты, исходя из сенсуализма Локка и будучи материалистами, уже, конечно, не ставили в связь своих социологических взглядов ни с теологией, ни с идеалистической метафизикой. Как бы велики и существенны ни были противоречия, в которые неизбежно впадает нематериалистическая социология, у французских материалистов была некоторая равнодействующая. В последнем итоге их социология сводилась к *психологизму*, а психологизм, естественно, как всегда, дополнялся рационализмом. Общественная среда определяется психикой личностей, составляющих данную общественную среду, а психика личностей обусловливается воспитанием в широком смысле слова, в смысле влияния общественного мнения. Но нравственный уровень и духовная культура среды зависят в последнем счете от способа государственного управления. Гельвеций, который больше всех занимался разрешением социальной проблемы, так формулирует свой окончательный вывод: «Только тогда можно надеяться изменить взгляды народа, когда будут изменены законы, и реформу нравов следует начать с реформы законов».

Справедливое, благожелательное законодательство является, таким образом, главной основой и руководителем общественной жизни. «Моралисты должны были понимать и знать,—говорит Гельвеций в том же сочинении «Об уме»,—что подобно тому, как скульптор из ствола дерева может сделать бога или скамью, так и законодатель может по желанию образовать героев, гениев и доброжелательных людей. Укажу для примера москвитов, которых Петр Великий превратил в людей». И когда Гельвеций чувствует недочеты в таком решении социальной проблемы, он идет дальше и приходит к тому убеждению, что в основе общественной жизни лежат эгоистические интересы и потребности. Следовательно, опять та же психология. К тем же выводам приходили и Гольбах, и Дидро, когда касались социальной проблемы.

По этому же пути шли, как на то правильно указывает Плеханов, социалисты-утописты, которые с большей определенностью и большей ясностью ставили социологическую проблему. Социалисты, стремясь к коренному общественному преобразованию на основе экономического равенства, естественно, должны были столкнуться с социальным вопросом по его существу, в его коренной основе. Поэтому, независимо от того, как именно социалисты-утописты разрешали эту проблему, но она была поставлена ими с несравненно большей определенностью, нежели всеми их предшественниками буржуазного направления мысли. Наиболее ярким представителем социологической мысли и продолжателем общего направления французских материалистов был Сен-Симон. Сен-Симон ставит себе всеоб'емлющую задачу—обосновать социальную политику, т.-е. социологию на строго научной основе. Этой научной основой должна стать позитивная философия. Позитивная философия есть строгая наука, состоящая в обобщении в единое целое полученных выводов из всех отдельных научных дисциплин, т.-е. из области естествознания. Сен-Симон высказывает твердое убеждение в том, что состояние современного ему положительного знания дает полную возможность построить философию на указанных началах. «Философия,—заявляет категорически Сен-Симон,—станет позитивной наукой. Слабость человеческого ума заставила человека делить науки на общую и частные науки. Общая наука или философия рассматривает общие факты частных наук, как элементарные факты, иначе говоря, частные науки суть элементы общей науки. Эта нау́ка, которая никогда не могла иметь иного характера, чем ее элементы, была основана на догадках до тех пор, пока частные науки были таковыми. Она стала наполовину позитивной, когда некоторые частные науки сделались позитивными, а другие остались еще основанными на догадках. Таково настоящее положение вещей. Философия станет вполне позитивной, когда физиология в своей совокупности будет основана на наблюденных фактах, ибо не существует явления, которое не могло бы быть наблюдаемо или с точки зрения физики неорганических тел, или с точки зрения физики организованных тел, т.-е. физиологии». Очевидно, таким образом, для всякого, кто хоть сколько-нибудь знаком с историей философии, что позитивизм в духе Конта и контистов нашел свое полное определение в системе взглядов великого утописта. Научная социальная политика должна быть, во-первых, построена на основах позитивной философии; во-вторых,—руководствоваться тем же об'ективным методом, которым пользуется естествоиспытатель при исследовании явлений природы. Но спрашивается, что, собственно, означает об'ективное, научное исследование социальной политики, или, что одно и то же в системе Сен-Симона, социологии? Об'ективный метод в социологии, в отличие от суб'ективного, предполагает существование об'ективной основы общественного бытия и общественного развития. Но этой основы нет у Сен-Симона, как ее не было и у французских материалистов, и, поэтому, требование об'ективного метода остается по существу формальным принципом без всякого приложения к действительности. Определяя, каким образом должно быть осуществлено применение об'ективного метода, Сен-Симон гово-

рит: «Наука о человеке, основанная на физиологических знаниях, будет введена в программу народного образования, и те, которые получат эту научную пищу, достигнув зрелого возраста, будут пользоваться при рассмотрении политических вопросов методом, употребляемым в других отраслях». Применение об'ективного метода к социологии сводится, таким образом, к изучению индивидуальной психологии человека, которая в свою очередь определяется физиологией. Научный метод применяется, следовательно, к психологии, поскольку она сводится к физиологическим процессам, а что касается социологии, то такого предмета нет, так как отсутствует элемент, связывающий людей в общество.

Тщательное и напряженное искание об'ективной базы для социологии приводит мыслителя к биологии, которая должна дать возможность теоретического обоснования общества и, следовательно, его научного, об'ективного исследования. «Я докажу, — говорит Сен-Симон, — что природа человека ничем не отличается от природы других животных, что способность совершенствоваться присуща вообще всем животным, что, если до сих пор совершенствовался только человек, то это в силу того, что он остановил и даже заставил итти вспять ум животных, не так хорошо организованных, как он, что, если человек исчезнет с лица земли, животное, ближайшее к нему по степени своей организации, будет совершенствоваться». Как бы замечательна и интересна ни была высказанная здесь идея трансформизма, которую мы, кстати сказать, встречаем у Дидро и которая в эпоху С.-Симона нашла определенное выражение у Ламарка и у Гете, социальная политика не могла, конечно, на нее опереться. В конечном выводе все сводилось к тому самому по себе чрезвычайно плодотворному научному выводу, что человек не падший ангел, не гражданин двух миров, а часть природы и близкий родственник животных, а отсюда уже вытекало и то дальнейшее заключение, что человеческая психика определяется физиологическими функциями.

К этим именно выводам приходит С.-Симон, исходя из разных точек отправления, и научной основой социальной политики оказывалась все та же физиология человека.

Далее. Как социальный политик по своим основным задачам, С.-Симон обращает свой острый, проницательный взор на явления социальной жизни его эпохи. Развертывающийся капитализм и успехи техники, которые справедливо ставятся им во взаимную связь, открывают ему широкие перспективы и внушают ему серьезные и отрадные надежды. «Все через промышленность, все для нее»—становится его лозунгом.

В промышленности и техническом развитии С.-Симон видит новое направление в социальной жизни, являющееся без сомнения прогрессивным по отношению к предыдущему феодальному периоду. Но мало-по-малу ему становятся ясными неизгладимые противоречия между капиталом и трудом, между буржуазией и пролетариатом. Задачей революции прошлого века, справедливо думает знаменитый утопический социалист, была политическая свобода, а целью нашего столетия должна быть гуманность и истинное социаль-

ное равенство. Среднее сословие лишило поземельных собственников политической власти, но само заняло их положение. Его двигательной силой был голый эгоизм. Теперь же нужно построить общество на принципах действительного братства. Но из каких элементов, на какой основе и при помощи каких средств может быть построено новое общество? Проповедь, обращенная ко всем безразлично, вплоть до властителей, и религия. Старая христианская религия должна быть реформирована и приспособлена к новым условиям жизни и даже к выводам науки. Подвергая критике теологию в духе «Системы природы» Гольбаха, указывая на противоречивый характер старой веры в бога, указывая также на то, что старое христианство исчерпало все свое положительное содержание и превратилось в свою собственную противоположность,—С.-Симон приходит к заключению, что новое христианство должно исходить из «физиологического доказательства». Физиологическое доказательство состоит в том, что человеку врождено стремление к счастью, а счастье осуществимо только и исключительно в обществе, основанном на гуманности, социальном равенстве и братстве.

Общее религиозное завершение системы взглядов великого утописта представляет собою без сомнения реакцию против мировоззрения французских материалистов. Но это религиозное завершение вытекло с полной логической необходимостью из социалистических стремлений с одной стороны, а с другой—оно было следствием отсутствия как философского базиса, так и социологического. Как социалист, С.-Симон стремится к социальному равенству, но, не имея на это никаких реальных, социальных оснований, он хватается за религию, как за якорь спасения. Как позитивист, отвергающий общефилософские предпосылки, он открывает широко дверь религии.

Подведем теперь общий итог положительным началам социологических исканий Сен-Симона. Первая и главная заслуга его состоит в ясно и отчетливо формулированной мысли, что социальная жизнь имеет свои непреложные законы и что она может и должна, поэтому, стать областью строго научного наблюдения и исследования. Во-вторых, что политическая деятельность есть следствие социальных отношений и ими обусловливается. В-третьих, понимание роли и значения техники и промышленности. В-четвертых, стремление к монизму, т.-е. исканию общего, об'единяющего начала законов природы и истории человечества с точки зрения развития. Мы видим, таким образом, что Сен-Симоном были намечены и четко определены некоторые *формальные* принципы социологии.

Ко всему изложенному следует прибавить сделанное Сен-Симоном деление исторического процесса на критические и органические эпохи. Под первыми мыслитель понимал время разложения и периоды революции, под вторыми—эпохи спокойного развития. Это деление было, повидимому, продиктовано великой французской революцией, с одной стороны, и вступившей на путь развития промышленностью и техникой—с другой. Сен-Симоном была также намечена знаменитая триада, приписанная впоследствии исключительно О. Конту о трех стадиях духовного развития человечества—теологической, метафизической и позитивной.

Пойдем дальше.

Непосредственным учеником и продолжателем позитивистского построения и социологических взглядов Сен-Симона был О. Конт. Конт выделил с большей определенностью, нежели его учитель, область общественной жизни в отдельную самостоятельную науку, которую назвал социальной физикой или социологией. Самостоятельность социология получает на основании *определения областей всего научного знания*. Точное определение предмета и границ всех областей естествознания оставляет место для социальной жизни, которая должна стать предметом изучения и наблюдения, как все отрасли положительной науки.

Конт устанавливает известную классификацию наук, начиная с математики и кончая социологией (математика, астрономия, физика, химия, биология и, наконец, социология). Все эти отрасли знания располагаются в последовательном ряде, который строится по признаку увеличивающейся сложности и по убывающей общности. Социология, как последний член в классификации, отличается наибольшей степенью сложности. Ей непосредственно предшествует биология, с которой, согласно принципу классификации, она связана наибольшей общностью.

Область социологии Конт рассматривает с точки зрения статики и динамики. Под статикой он понимает данное состояние и взаимоотношение общественных сил и явлений. Социальная динамика рассматривает развитие или, вернее, прогресс человеческих обществ и всего человечества. В основу социальной динамики Конт кладет вышеупомянутый закон трех стадий. Умственное развитие человечества, как и отдельного человека в его различных возрастах, проходит последовательно через три общие состояния: в первом, теологическом, человек, вследствие преобладания воображения, представляет себе весь мир явлений на основании сравнения с своей собственной деятельностью; он олицетворяет предметы и явления природы, видит в них произвольные действия индивидуальных существ или богов. Это период теологический. Во втором периоде—*метафизическом*—преобладает отвлеченное мышление. Воображаемые и представляющиеся конкретно боги вытесняются понятием общих сущностей вещей, первопричин и конечных целей. Третий период, позитивное состояние ума, выражается в научном мышлении: здесь вымыслы теологии и отвлеченное мышление метафизики заменяется познанием действительных законов природы, т.-е. познанием постоянной фактической связи наблюдаемых явлений в их сосуществовании и последовательности. Конт иллюстрирует закон трех стадий историческим содержанием процесса умственного развития, стараясь показать необходимость завершения позитивизмом общего хода поступательного движения человечества. Последнее и главное достижение позитивной философии состоит в создании социологии, т.-е. в сообщении научного характера общественным и политическим воззрениям. Достижением этой главной цели заканчивается развитие всех отраслей человеческого знания, сообщается им необходимое единство и тем самым устраняется почва для создания теологических и метафизических систем. Ибо главным источником теологических вымыслов и метафизических

заблуждений является отсутствие об'ективно-научного взгляда на общественную жизнь. По существу новая наука социология должна стать главной руководительницей и источником, критерием необходимости или целесообразности всех остальных отраслей познания. Исходя из реальных интересов и стремлений человечества, социология имеет своей задачей препятствовать нашему чистому разуму возвращаться к старым метафизическим спекуляциям. «Так как,—рассуждает Конт, — позитивная философия, преимущественно, характеризуется преобладанием в ее миропонимании социальной точки зрения, то ее практическая пригодность естественным образом вытекает из ее собственного теоретического строения, которое, будучи хорошо понято, позволяет без затруднения систематизировать действительную жизнь, а не ограничивается доставлением нам удовлетворения чисто созерцательного свойства. С другой стороны, это естественное применение ее значительно укрепит ее истинный умозрительный характер, напоминая всегда о необходимости сосредоточить все научные силы на одной конечной цели, сдерживая, таким образом, по возможности, обычную склонность отвлеченных исследований вырождаться в праздные умствования». Социология должна, следовательно, всегда стоять на страже утилитарных и непосредственно утилитарных целей. Эта область знания, возглавляющая все другие научные дисциплины, являясь по существу наукой о жизни, задачах и целях человечества, должна контролировать все остальные области с точки зрения той пользы, которую они могут принести человечеству.

К социологии присоединяется на этой почве мораль, которую Конт добавляет во II-м томе «Системы позитивной политики» к своей классификации. В социологию вносится, таким образом, суб'ективный элемент, состоящий в требовании оценки того или другого явления, той или другой теории, исходя из общего понятия пользы и прогресса человечества. Таким элементом служит мораль и ее применение к социальным законам.

Итак, во-первых, существуют об'ективные законы, как в области социологии, так и в сфере морали. Эти об'ективные законы необходимо вскрыть, и мысль о существовании и значении таких об'ективных законов составляет, по мнению Конта, величайшее достижение XIX столетия: «Доказав существование непреложных законов также относительно этих двух классов явлений (социологии и морали. *Л. А.)* путем предварительной систематизации всего прошлого человечества, современный ум завершит свое трудное предприятие, поднявшись на единственную точку зрения, откуда можно все обнять взором, построить свой окончательный образ мыслей». Но, как сказано, сами об'ективные законы должны в последнем итоге оцениваться с точки зрения морали или идеалов, другими словами, к об'ективному методу присоединяется еще и суб'ективный метод, который и носит такое название в социологии знаменитого позитивиста.

Формулировкой и лозунгом об'ективного исследования законов социологии является: «знать, чтобы предвидеть, мыслить, чтобы действовать». Принципы, которыми руководствуется суб'ективный метод, суть: «любовь, как принцип, порядок, как основание, прогресс, как цель». Из этого крат-

кого и сжато систематизированного изложения можно заключить, что учение Конта представляет собою нечто единое, цельное, проникнутое общими началами, дающими возможность установить об'ективные законы, как в области положительного знания, так и в социологии, которая, по справедливому убеждению мыслителя, должна стать положительной наукой.

В действительности это далеко не так. В действительности система Конта лишена исходного пункта и тем самым источника закономерности, о которой так много говорится в «Курсе позитивной философии». Положительные науки расположены, как мы знаем, по признаку увеличивающей сложности и убывающей общности. Между всеми отраслями ряда должно существовать нечто общее и единое. Что же между ними общего? Общее между ними то, что все они имеют предметом изучения мировую действительность. Но что же такое, спрашивается, дальше эта действительность? Позитивизм отказывается от ответа на этот существенный вопрос, считая метафизическим какое бы то ни было его решение. И, отказываясь от метафизики, он тем самым отвергает как спиритуализм, так и «материализм». Спиритуализм, учит Конт, был сущностью, душой предшествовавшего позитивизму метафизического периода в общечеловеческом мировоззрении. Признать за основу действительности спиритуализм—значит итти назад и стать на реакционную точку зрения.

Материализм имеет некоторые заслуги. Он сыграл значительную роль в эпоху, предшествующую революции в области мысли, т.-е. он в некотором смысле был переходной и подготовительной ступенью на пути к позитивизму. Но в настоящее время, т.-е. в момент появления и разработки позитивизма, он должен смиренно склонить свою голову и подать в отставку. Материализм не может стать основой и методом познания, вследствие двух своих недостатков. Во-первых, «материализм приводит к анархии мышления; во-вторых, материализм всегда стремится унизить самые возвышенные суждения, уподобляя их самым примитивным». Позитивизм возвышается над обоими мировоззрениями, являясь чем-то вроде синтеза. Формулируя синтетический характер позитивизма, Конт говорит: «Удовлетворяя несравненно лучше, чем это раньше было возможно, всему тому, что есть законного в противоположных притязаниях материализма и спиритуализма, позитивизм безвозвратно изгоняет оба направления, одно — как анархическое, другое—как ретроградное».

В чем же спрашивается состоит позитивизм или, иначе говоря, что лежит в основе, так называемой, действительности, изучением которой занимаются все науки вообще и социология, в частности? Позитивизм, гласит гордый ответ, имеет дело с фактами, а факт—это явление. Но что же такое явление? Дело в том, что явление, как предмет опыта, рассматривается различными направлениями позитивизма совершенно различно.

Во-первых, под явлением разумеется то, что дано непосредственно в сознании познающего суб'екта. Согласно этому взгляду, что нашему познанию лишь доступны явления, предметом нашего изучения и познания могут быть только состояния нашего собственного сознания, в силу чего и весь

внешний мир должен быть признан фактом чисто суб'ективным, психическим. Эта точка зрения составляет основу всех видов и разновидностей суб'ективного идеализма. Конт не стоял на этой точке зрения. Он не исходит из внутренних процессов чистого суб'ективного сознания. Психология сводится в его учении к физиологии, т.-е. к биологическому началу. Явления или факты опыта должны, таким образом, составить противоположность метафизической сущности вещей. Но эта последняя опять-таки лишена всякого хотя бы более или менее отчетливого определения. То эти сущности рассматриваются, как пустые и бессодержательные отвлеченности, созданные исключительно нашим мышлением, то они являются причиной или субстратом явления, оставаясь по общему смыслу чем-то совершенно непознаваемым. Одним словом, определенного и ясного ответа на этот существенный, основной вопрос в системе Конта нет, а поскольку он есть, он совершенно неудовлетворителен. Если сущность вещей остается совершенно непознаваемой, тогда явление или, как Конт чаще его называет, факт опыта, сводится к суб'ективномт состоянию. Ясно, что позитивизм этого порядка в конечном счете ничем не отличается от прямого и откровенного суб'ективного идеализма. А общее и неоспоримое заключение отсюда—это, что все области положительного знания, о достоинстве и значении которых так много говорит Конт, лишены всякой реальной почвы, так как совершенно не определена действительность, изучением которой они должны заниматься. На вопрос, что общего между всеми отраслями знания, расположенными согласно определенным внутренним законам, ответа нет и при такой постановке и решения вопроса быть не может.

Не может быть естественно и речи об об'ективных законах социологии.

В самом деле, социология представляет собою завершение ряда положительных наук, с которыми она связана общей, необходимой, внутренней связью. Все положительные науки потому именно и науки, что они занимаются исследованием, установлением и формулировкой законов об'ективной действительности, между тем сама об'ективная действительность есть не более, как суб'ективный процесс или абсолютно неизвестная величина.

Эта беспочвенность дает себя чувствовать во всех взглядах Конта решительно на каждом шагу, и, благодаря этой общей беспочвенности, новая наука—социология—висит в воздухе.

Точно так, как всякая область науки предполагает и требует предмета изучения, так, ясное дело, социология нуждается в установлении *сущности* или *материи* общества.

Общество, как таковое, как предмет, который управляется определенными законами, не может быть случайным, механическим собранием человеческих индивидов. А поэтому возникает естественный вопрос, что связывает человеческие индивиды в общество и каковы законы этого связывающего элемента?

На этот существенный вопрос, от ответа на который зависит признание или непризнание социологии, как науки, Конт вначале отвечал, что

семья является *фундаментом*, ячейкой социальных отношений. Семья заключает уже в зародыше основные социальные отношения, обусловленные симпатическим инстинктом. Но даже при возникновении более широких общественных союзов, сверх этого, симпатического кровного инстинкта главное значение имеет сотрудничество, кооперация. Кооперация многих частных и различных сил для общей цели вызывает необходимость в едином правительстве. Возникшее правительство выполняет задачу воздействия всего целого на части общества, поддерживая солидарность общественного целого против пагубного в нем стремления к раздроблению и борьбе интересов, чувств и идей.

Главной основой социального целого является, таким образом, семья. Правительство есть нечто вроде надстройки. В наше время эта точка зрения совершенно отвергнута. К этому воззрению нам придется еще вернуться, но в данной связи, в связи с учением Конта, приходится констатировать, что и у самого мыслителя эта точка зрения постепенно исчезает.

На место семейной ячейки выступает чисто моральный момент, как главная основа общества: «Взаимная независимость,—говорит Конт,—различных существ, которые приходится связать в общество, ясно показывает, что первое условие их обычного сотрудничества состоит в их собственном расположении ко всеобщей любви. Нет таких личных расчетов, которые могли бы заменить собою сознательный инстинкт ни по внезапности и обширности внушений, ни по смелости и твердости решений». Мы видим таким образом, что любовь, социальный, альтруистический инстинкт, должен составить основу общественного целого.

К такому решению вопроса вынуждает Конта идея прогресса, которая занимает в его теории первостепенное место. Исходя из того положения, что семья является ячейкой общества, Конт сам чувствует, что на этой основе нет возможности выводить идею прогресса.

А прогресс должен найти свое обоснование во что бы то ни стало. В конечном результате идея прогресса, а тем самым и основа общества получает религиозный характер, выразившийся в учении о позитивной религии человечества.

Идея человечества, как цемент целого, составляет завершение позитивной философии Конта. Сначала в «Курсе позитивной философии» Конт дает этой идее осторожную формулировку, оставаясь на научной, опытной точке зрения. Человечество, как реальное единство, является идеалом будущего. Только в будущем, по мере осуществления идей братства и гуманизма, человечество все более и более сольется в единое общее. Но чем дальше, тем больше Конт вынуждается общей постановкой вопросов социологии признать отдельного человека пустой абстракцией, а полноту социологической реальности переносить на человечество, которое выступает в качестве организма. Логический ход мысли совершенно понятен. Стоя на социологической почве в формальном смысле, мыслитель рассматривает человеческий индивид, взятый вне общества, как отвлеченное существо, что совершенно справедливо; но, не имея в виду никаких об'ективных начал, которые поста-

вили бы абстрактные человеческие индивиды в конкретную взаимную связь, Конт превращает человечество, т.-е. собрание индивидов, в органическое целое, которое об'единяется и сливается единой душой. Поэтому в «Системе позитивной политики» человечество выступает в качестве божества, высшего начала, которое обладает и внешним, и внутренним единством. Внешнее, или об'ективное, единство проявляется в органической и бессознательной солидарности живущего на земле человечества, как в его статическом, так и в динамическом существовании, которое определяется общим порядком всех условий внешней мировой действительности. Признание этого порядка и этого внешнего единства, полное ему подчинение, составляет позитивную веру. Внутреннее суб'ективное единство или душа Великого Существа, т.-е. всего человечества, как такового, образуется посредством единения и любви с ним и между собою всех человеческих индивидов, вернее душ, прошедших, настоящих и будущих. Души и их единения в этом смысле являются элементами истинного общего человечества, так как они не случайное, эмпирическое проявление жизни человека, а представляют собою ту сторону нашего существования, которая была, есть и будет, а потому достойна и составляет часть Великого Существа, т. е. общего человечества в мироздании.

Беспочвенная социология, естественно, завершается религиозным построением, которое формулируется в стиле блаженного Августина: «Отныне,—гласит общая формула,—все наше существование—индивидуальное и собирательное—будет относиться к этому истинному Великому Существу, которого необходимые члены мы сами, на него должны быть обращены наши размышления, — чтобы познавать его, наши чувства, — чтобы любить его, наши действия, — чтобы служить ему». Таково молитвенное настроение.

Но одним молитвенным настроением не может завершаться ни одна религия. Религия требует культа, который раньше или позже всегда вытекает, как необходимое следствие, из религиозных предпосылок. Есть, как известно, культ и в позитивной религии Конта. Но вопрос о культе не входит в нашу задачу. Отметим лишь в этой связи принцип социальной политики, вытекающий из изложенного воззрения. Главный принцип заключается в следующем: так как связь и единство человечества обусловливается единением любви, вытекающей из неизменной стороны нашего духовного существа, то руководителями и наставителями должны быть особо призванные служить Высшему Существу, другими словами, духовенство. Должны, следовательно, существовать светская и духовная власть. «Социологический материализм», заявляет Конт, в настоящее время вредит социальному искусству, так как он склонен не признавать самого основного принципа последнего, именно, систематического разделения власти на духовную и светскую, разделения, которое теперь особенно важно сделать ненарушимым, создавая на лучших основаниях удивительное построение средних веков». «*Позитивизм,*—заключает мыслитель,—это важное рассуждение, — *глубоко противоположен материализму не только по своему философскому характеру, но и по своему политическому значению*» (курсив мой. *Л. А.*).

Связь между позитивизмом, религией, с одной стороны, и политикой, находящей свое конечное завершение в духовной власти и возвращении к «удивительному построению на лучших основаниях» средневековья, с другой, — признается, как видите, самим Контом.

Но тут же надобно сказать, что когда Конт выступил со своим курсом позитивной философии, этот вывод не был намечен. Напротив, в периоде совместной работы со своим великим учителем Сен-Симоном, Конт резко отклонял религиозные увлечения учителя. Поворот к религии не есть результат специфически-психического состояния, которым об'ясняли некоторые ученики Конта, не признававшие религиозных построений учителя. Нет, Конт был вполне последователен. Социология, эта новая наука была поставлена на вершину воздвигнутого здания. Ведь она, эта новая наука, является областью знания, охватывающей всю жизнь человечества и, стало быть, она имеет своей задачей об'яснять мотивы возникновения и судьбы всех остальных наук. А в то же время эта наука лишена об'ективного реального базиса. Как всегда в таких случаях, на выручку явилась готовая к услугам, уже и в то время обнищавшая и опустошенная религия только в ином облачении, несколько подрумяненная и назвавшая себя душой всего человечества или Великим Существом. Известно, что голь на выдумки хитра.

Мы видим таким образом, что «строго-научная философия», которая определяется в начале «Курса позитивной философии», как философия, выведенная на основании законов точных наук, приходит к одной из разновидностей религиозной веры. Во-вторых, прогресс, являющийся по общему замыслу контовой социологии главной пружиной всего построения, находит свое конечное завершение в несколько преобразованном, точнее, прикрашенном, средневековьи. В-третьих, провозглашенный *об'ективный метод, имеющий своей задачей определить отношения человека к внешнему миру на почве науки и позитивной философии и открыть законы человеческого общежития, уступает место суб'ективному методу, основа которого заложена в глубине человеческой души и который, по тому самому, ведет к установлению высших норм практического поведения, составляющих сущность позитивной религии и политики.*

Демократическая контр-революция.

И. Майский.

(Окончание).

16. На восток!

В ночь с 6-го на 7-е октября Самара была занята красными войсками. С падением «столицы Учредительного Собрания» демократической контр-революции Востока был нанесен смертельный удар. Правда, она еще не сразу испустила дух. Однако все то, что происходило после потери Самары, было уже только предсмертным трепыханием. «Демократия» походила на смертельно-раненую птицу, которая, собирая последние силы, делает судорожные скачки по земле, стараясь уйти от настигающей ее гибели. Но и умереть можно разно: с высоко поднятой головой и как мокрая курица. Поволжская «демократия» умерла, как мокрая курица.

Поезд Самарского правительства прибыл в Уфу 6-го октября вечером. На вокзале его встретили местные власти, и сразу же началось размещение беженцев по гостиницам, школам и казармам города. Поздно ночью все оказались на своих местах, а на следующий день суровые запросы действительности вступили в свои права. Члены правительства расположились в «Сибирской гостинице». Третий раз на протяжении месяца мы попадали в эти проклятые стены, и с каждым разом они становились нам все ненавистнее. Сейчас это чувство было особенно остро и болезненно. Стояла осень, улицы города утопали в грязи, в окна уныло смотрели пожелтелые деревья, а с запада неслись зловещие сообщения о проигранных битвах, о паническом бегстве «Народной Армии», о полном крушении того горделивого политического здания, которое мы строили в течение минувших четырех месяцев. Впервые, пока еще робко и неясно, в сознании начинал вставать вопрос о разумности нашей общей линии поведения. Впервые в душу закрадывалось сомнение в исторической правомерности вооруженной борьбы с большевизмом. А тут еще эти опостылевшие стены «Сибирской гостиницы», с которою было связано так много тяжелых и мучительных воспоминаний!

Уже 7-го октября, утром, состоялось заседание Совета Управляющих Ведомствами и перед нами во весь рост встал кардинальный вопрос момента: что же дальше?

Положение было, действительно, исключительно трудное.

Директории в Уфе мы уже не нашли: она уехала оттуда дня за три до нашего прибытия. История этого от'езда была настолько любопытна, что ей стоит посвятить несколько минут внимания. Я уже рассказывал о торжественном открытии с'езда членов Учредительного Собрания, происходившем 26-го сентября. На следующий день вечером члены Директории Авксентьев и Зензинов обратились к ЦК эс-эровской партии и к бюро с'езда членов Учредительного Собрания с просьбой устроить совместное совещание для решения вопроса о резиденции «Всероссийского Временного Правительства». Совещание состоялось, и на нем обнаружилось, что в среде Директории по этому вопросу борются два мнения. Правая часть Директории склонялась к тому, чтобы в качестве резиденции признать Омск. Левая часть Директории, т.-е. Авксентьев и Зензинов, отстаивали другую точку зрения. Зензинов был категорически против Омска, так как боялся, что там Директория превратится в игрушку в руках черносотенных генералов. Наоборот, Авксентьев в принципе допускал возможность переезда в Омск, заявляя, что борьба между Директорией и сибирскими реакционерами неизбежна, и что сломить шею Омскому правительству будет легче, находясь в самом Омске. Однако, принимая во внимание, что переселение Директории в Омск сейчас вызвало бы очень неблагоприятное впечатление в кругах поволжской «демократии», Авксентьев, в качестве тактического компромисса, соглашался на установление резиденции Директории в Екатеринбурге. Остальные присутствовавшие на совещании эс-эры самым решительным образом высказывались против Омска, мало сочувствовали переезду в Екатеринбург и настаивали на избрании резиденции либо в Самаре, либо в крайнем случае в Уфе. Ни к каким определенным заключениям данное совещание не пришло, а на следующий день стало известно, что Директория решила ехать в Екатеринбург.

Прошло два дня и вдруг разнесся слух, что Директория перерешила: она больше не едет в Екатеринбург, она остается в Уфе. Действительно, Директория признала за лучшее никуда не трогаться с места, а начать налаживать свой правительственный аппарат здесь же, на перепутьи между Волгой и Сибирью. Однако и это решение оказалось очень недолговечным.

Еще через два дня Авксентьев и Зензинов устроили новое совещание с бюро с'езда членов Учредительного Собрания, и на нем категорически поставили вопрос о необходимости ехать в Омск. Главным мотивом подобного шага Авксентьев выдвигал необходимость сокрушения Сибирского правительства, ибо только в этом случае Директория сможет стать действительной властью и получить от держав Антанты признание, деньги и оружие. Во время последовавших затем дебатов, во время которых многие члены совещания указывали на опасность переезда в Омск, Авксентьев упрямо твердил, что другого выхода нет, и что надо вооружиться лишь твердостью и решимостью для того, чтобы покончить с гнездом сибирской реакции. Участники совещания на этот раз оказались более сговорчивыми (многих видных эс-эров в тот момент не было в Уфе) и, в результате, Авксентьев и

Зензинов получили от своих партийных товарищей нечто вроде благословения на перенос «столицы» в Омск. Двумя днями позже Директория покинула Уфу, увозя в двух специальных поездах свою многочисленную свиту из членов Учредительного Собрания, генералов, офицеров и разных сомнительных прихлебателей всякого рода и звания.

Итак, Директория худо ли, хорошо ли определила свое местопребывание. Но где же должен был находиться с'езд членов Учредительного Собрания? На этот вопрос последний никак не мог найти удовлетворительного ответа. Среди членов с'езда намечались две группировки: одна, левая, с Вольским во главе, склонялась к мысли о том, что с'езд и Директория могут существовать в разных городах, — другая, правая, руководителем которой был Гендельман, считала, что с'езд и Директория непременно должны быть в одном месте. Поэтому левые думали об Уфе или Екатеринбурге, а правые настаивали на переезде в Омск. Хуже всего было то, что ни та, ни другая группа не имели вполне ясных и определенных решений. У обеих были только мнения, предположения, настроения. При том внутри каждой группы был также весьма пестрый разброд. В результате с'езд членов Учредительного Собрания больше двух недель топтался на месте, не зная, куда двинуться, не имея мужества так или иначе определить свою судьбу. Когда Самара пала и Совет Управляющих Ведомствами появился в Уфе, дальнейшие проволочки стали больше невозможными. Тогда с'езд членов, наконец, решил ехать в Омск, где уже находилась Директория. Однако, накануне предположенного дня от'езда из Омска, были получены тревожные телеграммы, и с'езд снова впал в состояние столь свойственной ему размагниченности. После нового продолжительного обсуждения было постановлено от'езда не откладывать, но в Уфе окончательного решения о резиденции с'езда не принимать, а отложить принятие этого решения до Челябинска, куда вызвать представителей из Омска и Екатеринбурга. 12-го октября верховный орган российской «демократии» выехал из Уфы на восток, не имея никакого представления о том, куда и зачем он едет. Просто его, как щепку, несла стихийная волна событий. Трудно было придумать более нелепое и позорное положение.

Таким образом, после бесконечных колебаний и проволочек с'езд членов Учредительного Собрания «тоже самоопределился» или, вернее, его «самоопределили» внешние обстоятельства. Оставалось решить судьбу третьего государственного органа, находившегося в Уфе—Совета Управляющих Ведомствами. Впрочем, с этим вопросом было покончено быстро и легко. Выше я уже упоминал, что еще в Самаре Совет признал за благо самоупраздниться и даже избрал на сей предмет ликвидационную комиссию. В Уфу Совет прибыл в сильно сокращенном составе, так как несколько членов его остались с армией, а другие были командированы в Екатеринбург и Омск. Почва из-под ног самарского правительства явно уходила, красные войска неудержимо теснили «Народную Армию», и отдельные большевистские отряды появлялись на расстоянии каких-нибудь ста верст от Уфы (в северном направлении). О каком-нибудь нормальном функционировании пра-

вительственного аппарата не могло быть и речи. Уфа все более превращалась в прифронтовую полосу, и это естественно вызывало потребность в введении в уфимском районе методов военного управления. Тем больше оснований было у Совета Управляющих Ведомствами ускорить свою ликвидацию. Он вновь поднял вопрос о назначении на его место чрезвычайного уполномоченного Директории, но, так как последняя была лишена возможности быстро осуществить пожелания Совета, а обстоятельства не допускали промедления, то Совет по соглашению с с'ездом членов Учредительного Собрания решил временно продолжить свое существование в качестве областной власти, подчиненной Директории. Ввиду того, однако, что подведомственная ему территория и об'ем работы сильно сократились, Совет счел излишним сохранять свой прежний, сравнительно многочисленный, состав. Вместо 16 «министров» теперь было оставлено всего 4, распределивших между собой все наличные «портфели». Эти четверо были: Филипповский (председатель Совета и управляющий ведомством торговли и промышленности), Веденяпин (иностранные дела, почта и телеграф), Климушкин (внутренние дела, земледелие, государственная охрана) и Нестеров (пути сообщения, труд, юстиция). Как показало дальнейшее, этот сокращенный Совет оказался наиболее стойким и долговечным из государственных учреждений поволжской «демократии».

Описанное решение Совета Управляющих известным образом определяло и мою личную судьбу. Еще в Самаре, 2-го октября, я получил из Уфы следующую телеграмму:

«Временное Всероссийское Правительство просит вас прибыть в город Екатеринбург, для переговоров по вопросу об организации Министерства Труда. Управляющий делами Временного Всероссийского Правительства Кругликов».

Конечно, ни в момент получения телеграммы, ни в последующие кошмарные дни падения Самары и эвакуации на восток, я не мог думать об исполнении просьбы «Всероссийского Правительства». В это время мне было не до того. Но теперь, когда решение Совета Управляющих Ведомствами освобождало меня от возложенных на меня обязанностей, я не видел оснований для отказа от переговоров с Директорией по вопросу об организации Министерства Труда. Разница состояла лишь в том, что ехать приходилось не в Екатеринбург, о котором мечтала Директория в момент отправки телеграммы, а в Омск, где Директория сейчас находилась. Вместе со мной поехали еще десятка два из моих ближайших сотрудников по Ведомству Труда, так как, в случае успеха предстоявших переговоров, мне сразу же понадобился бы основной кадр работников для формирования нового министерства. И я, и мои сотрудники присоединились к поезду с'езда членов Учредительного Собрания и вместе с последним 12-го октября вечером покинули Уфу.

Железнодорожное движение было сильно расстроено, и нам потребовалось целых три дня для того, чтобы преодолеть расстояние от Уфы до Челябинска. Все время стояла ясная осенняя погода, слегка холодило, но солнце

ярко освещало красивые Уральские горы, подернутые пожелтевшим бархатом умирающей листвы. «Поезд Учредительного Собрания» подолгу стоял на попутных станциях, но теперь вокруг него уже не кипела та жизнь, которую он вызывал всего лишь семь недель тому назад. Точно вместе с осенью увяла и притягательная сила Учредительного Собрания. В самом поезде тоже господствовали уныние и апатия. Не было почти никаких заседаний, старались избегать говорить о том, что висело угрозой над всеми. Играли в карты, любовались открывающимися панорамами и вообще пытались изображать из себя беспечных путешественников, живущих впечатлениями сегодняшнего дня. Чувствовалось, что все очень довольны затяжкой путешествия, так как это отсрочивает наступление того страшного момента, когда надо будет опять вернуться к политике, что-то решать, что-то делать, в чем-то проявлять свою волю.

Но всему бывает конец, и 15-го октября вечером «поезд Учредительного Собрания» медленно подкатил к челябинскому вокзалу. Здесь его уже ожидали приехавшие из Омска члены Учредительного Собрания Н. Я. Быховский и Н. В. Фомин, а также вызванный из Екатеринбурга член Учредительного Собрания И. М. Брушвит. Тотчас же в поезде было устроено экстренное совещание членов с'езда и других наиболее ответственных работников, на котором был вплотную поставлен вопрос: куда ехать?

Совещание носило весьма драматический характер, и я до сих пор помню его мельчайшие подробности. Несколько десятков человек сбилось в плотную кучу в тесном помещении вагона. Одна единственная свеча тускло освещала сжатое между полками и сидениями пространство. При каждом порыве ветра пламя колебалось, и тогда по стенам бегали какие-то призрачно-фантастические тени. Все лица были бледны, а глаза горели лихорадочным напряжением. В такой обстановке Н. Я. Быховский делал доклад о положении в Омске. Нервно подергивая всеми четырьмя конечностями, волнуясь и спеша, то и дело подымая голос до тончайшего фальцета, он рассказывал о том, что Омск превратился в гнездо самой черной и кровожадной реакции. Директория попала там во вражеский стан. Ее всячески теснит Сибирское правительство и на каждом шагу дает ей почувствовать, что *оно* является здесь хозяином, и что ему не нужны никакие претенденты на власть со стороны. Репрессии против «левых» в Омске с каждым днем усиливаются: закрыта эс-эровская газета, не допускаются рабочие митинги и собрания, каждый день арестуются неугодные лица по обвинению в «большевизме». Многочисленные отряды казачьих атаманов, расположенные в городе, совершенно терроризируют население. Буржуазия и интеллигенция в большинстве настроены крайне враждебно к самарской «демократии». И Сибирское правительство, и офицерство, и обыватели открыто похваляются, что не допустят существования в Омске «Учредительного Собрания». Имеются сведения, что среди военно-монархических элементов образованы террористические группы, готовящиеся убивать наиболее видных вождей «демократического лагеря», в частности Чернова, Вольского и др. Исходя из всех этих обстоятельств, Быховский заклинал членов Учредительного Собрания

не ехать в Омск, а поискать какого-нибудь другого места для своей резиденции. Фомин, в общем и целом подтверждал сказанное Быховским и при этом добавлял, что Директория также не рекомендует с'езду членов Учредительного Собрания переселяться в Омск.

Сообщения Быховского и Фомина создали среди эс-эров почти паническое настроение. Никаких возражений они не слушали. Вопрос об Омске сразу как-то сам собой отпал,—никто не хотел туда ехать. Но поскольку Омск выходил из игры, на выбор оставался только один Екатеринбург. Поэтому с'езд членов тут же принял решение избрать своим местопребыванием Екатеринбург, несмотря на то, что Брушвит и об Екатеринбурге не мог сообщить особенно утешительных сведений. Впрочем, по милости сибирских властей, «поезд Учредительного Собрания» был задержан в Челябинске на целых три дня и только 18-го октября, наконец, двинулся по направлению к столице Урала.

Впечатление, произведенное на меня и на нескольких других ехавших со мной меньшевиков ночным совещанием в вагоне, было самое отвратительное. Для нас стало окончательно ясно, что Самарский Комитет членов Учредительного Собрания теперь совершенно разложился и превратился в труп, который недостоин даже похорон по первому разряду. Поэтому непосредственно после описанного совещания мы тут же в поезде собрали свою группу и решили отныне совершенно отделить свою судьбу от судьбы эс-эров и Учредительного Собрания. Конечно, и мы в то время путались между трех сосен, и мы не умели тогда найти действительно правильной линии поведения, но те растерянность и бессилие, которые в Челябинске обнаружили эс-эры, даже и для нас были совершенно нестерпимы. Считая, что центр политической борьбы сейчас переносится в Омск, мы на том же заседании решили немедленно отправляться в сибирскую «столицу». Обстоятельства нам благоприятствовали: несколько часов спустя после нашего прибытия в Челябинск туда пришел поезд члена Учредительного Собрания Е. Ф. Роговского, ехавшего с отрядом особого назначения в Омск. Мы пересели в этот поезд и 16-го октября тронулись дальше на восток.

Переезд от Челябинска до Омска остался в моей памяти каким-то смутным и тяжелым пятном. Настроение у меня было весьма пониженное. Я не склонен был принимать за чистую монету все то, что в Челябинске рассказывал на-смерть перепуганный Быховский, но все-таки для меня не подлежало сомнению, что дела в Омске принимают скверный оборот. Силы «демократии» на моих глазах таяли и разлагались. Лучшим свидетельством тому было ночное совещание в Челябинске. Наоборот, силы черной реакции быстро возрастали и грозили в ближайшем будущем стать совершенно неодолимыми. Об'ективное положение делало неизбежной решительную борьбу за власть между правым и левым крылом контр-революционного фронта, но левое крыло все больше хирело на моих глазах. Невольно вставал грозный и мучительный вопрос: где же выход? Годом позднее я нашел ответ на этот вопрос, но тогда у меня ответа еще не было. И, следя в окно вагона за быстро мелькающей панорамой великой западно-сибирской равнины, я с тяжелым чу-

-ством должен был констатировать почти полную безнадежность дела «демократии». С глухой тревогой я под'езжал к Омску, наперекор рассудку, стремясь себя убедить, что не все еще потеряно. Однако первые же омские впечатления безжалостно уничтожили последние следы моей веры.

17. В Омске.

Когда утром 18-го октября я очутился на улицах Омска, меня охватило странное чувство. Я знал Омск очень хорошо. В Омске прошло мое детство и ранняя юность. Здесь в 1901 году я кончил гимназию, и отсюда началось мое жизненное плавание. В последний раз я был в Омске в 1903 году, и в моей памяти отчетливо сохранился образ того старого Омска, с которым я сроднился на первых ступенях моего сознательного бытия.

Омск времен моего детства и юности представлял собой далекое провинциальное захолустье, о котором в столицах говорили:

—Три года скачи,—не доскачешь.

Действительно, еще в начале 90-х годов прошлого столетия путешествие от Москвы до Омска занимало не меньше трех недель, и даже к началу XX века, когда прошла сибирская железная дорога, оно поглощало около недели. Сам Омск был город маленький и тихий. Одноэтажные деревянные дома, три-четыре белокаменных церкви, два убогих моста через Омь, остатки старинных укреплений на берегу Иртыша, несколько двух этажных каменных зданий под железной крышей, в которых помещались правительственные учреждения, длинные красные казармы по окраинам города и белое здание тюрьмы на выезде,—таков был Омск моих воспоминаний. Зимой город был завален громадными сугробами снега, летом задыхался в тучах песчаной пыли. Весной и осенью улицы превращались в непролазное болото, а на базарной площади лошади вязли в грязи по брюхо и для спасения погибающих животных собирались целые толпы народа. Фонарей не было, и ночью город тонул в непроглядной тьме. Население Омска, исчислявшееся в 35 тыс., носило какой-то случайный характер. У него не имелось никакой органической связи с местом, ибо в Омске того периода не было ни промышленности, ни серьезной торговли, ни тесной спаянности с окружающими сельскохозяйственными районами. «Искусственный город», — говорили о нем его обитатели. И в этой характеристике действительно было много верного. Ибо Омск представлял сначала крепость, а потом превратился в административную столицу Западной Сибири, населенную пришлым чиновничеством и, неизвестно откуда, выросшим мещанством. Генерал-губернатор был здесь бог и царь, а все остальное существовало между прочим, так себе.

Жизнь в этом городе была скучная и нудная, как в застоявшемся, покрытом плесенью болоте. Не жизнь даже была, а скорее просто существование. В центре мира стояла собственная утроба. Хлеба, мяса, рыбы и прочей снеди было много, и местное население делало из них поистине гомерическое употребление. Не ели, а жрали, не пили, а упивались. К чаю по

утрам всегда готовы были горячие, жирные «шаньги», за обедом с'едали целые миски пельменей. На масленице истребляли блины до получения заворота кишек, а на Пасхе христосовались до тех пор, пока не распухали губы. Подвыпившие купчики били стекла в единственном ресторане города и дико носились по улицам на тройках с колокольцами, опрокидывая и давя пешеходов.

Ни культурной, ни политической жизнью в городе и не пахло. Театра не было, лишь на пасхальные дни на базарной площади вырастали убогие балаганы, да местные любители из чиновничьей среды от времени до времени устраивали хромоногие спектакли. Печать была представлена маленькой газеткой «Степной Край», выходившей два или три раза в неделю и громившей местных «отцов города» за дурные свойства уличных тротуаров. Еще я помню в газетке много писалось о бродячих собаках, которые были столь нахальны, что кусали всех обывателей, не разбирая ни ранга, ни положения. Чиновничество—гражданское и военное—жило от двадцатого числа до двадцатого, занималось сплетнями и пересудами, вечера проводило в клубах за пулькой и пьянством. Офицеры упражнялись в сочинении «патриотических» песен для употребления в подчиненных им ротах и баталионах. С легкой руки одного бравого штабс-капитана весь омский гарнизон долго распевал следующее глубокомысленное четверостишие:

Орбельяни—генерал
И Свечинин тоже,
А Барятинский узнал,
Что они похожи.

Либеральная интеллигенция, вербовавшаяся, главным образом, из чиновников переселенческого управления, местных врачей и адвокатов, ходила по вечерам друг к другу в гости, читала «Крейцерову Сонату» Толстого и во всех вопросах внутренней и внешней политики ориентировалась по «Биржевке». Во время дела Дрейфуса у всех либералов на столах стояли портреты Эмиля Золя и Лабори [1]), а во время англо-бурской войны во всех либеральных домах распевали бурский национальный гимн. По летам все интеллигенты—либеральные и не-либеральные—выезжали на дачи: снимали у окрестных киргиз юрты, и ставили их группами в загородной роще или около «санитарной станции». Здесь все отдыхали, т.-е. спали по 16 часов в сутки, устраивали пикники с выпивкой и удили рыбу в Иртыше.

Молодое поколение было представлено гимназистами, кадетами и учениками так называемого уездного училища, в просторечии именовавшимися «уездниками». Гимназисты дразнили кадет словами: «Кадет на палочку надет»; в свою очередь кадеты называли гимназистов: «Ослиная голова» (так они расшифровывали стоявшие на бляхах гимназических поясов буквы

[1]) Дрейфус—французский офицер, неправильно осужденный военным судом, так как он был евреем. Эмиль Золя выступил обвинителем судей Дрейфуса и всего вообще французского милитаризма, Лабори — известный французский адвокат, защитник Дрейфуса.

«О. Г.», означавшие «Омская Гимназия»). Из-за обмена подобными любезностями между кадетами и гимназистами сплошь да рядом разыгрывались бои, происходившие, главным образом, в полузасыпанных рвах старой омской крепости. Исход сражения обыкновенно решали «уездники» в зависимости от того, к кому они присоединялись. Иногда в этих своеобразных мальчишечьих потехах принимало участие по нескольку десятков, а то и свыше сотни человек,—тогда весь город начинал говорить о великом «побоище», и в честь особенно отличившихся «героев» местными бардами слагались восторженные оды. В остальное время учащиеся зубрили свои уроки, усердно ухаживали за гимназистками и епархиалками, а кто был постарше, начинал тянуться к табаку и водке.

Таков был Омск на рубеже XX столетия. Таким он остался в моей памяти.

И вот теперь, полтора десятка лет спустя, я ходил по улицам Омска и испытывал какое-то странное ощущение. Я узнавал и вместе с тем как будто бы не узнавал столь хорошо знакомый мне город. За то время, что я его не видал, он сильно разросся. Трехверстное пространство, отделявшее раньше город от железнодорожной станции, было почти сплошь застроено. На севере знаменитая «загородная роща» была в большей части своей вырублена, и маленькие одноэтажные домики покрывали очистившуюся территорию. Появились громадные каменные дома, притом не имевшие никакого отношения к казенным учреждениям. Это были здания банков, контор, магазинов, ибо в XX веке Омск превратился в крупнейший торговый пункт Западной Сибири. В центре и на окраинах дымились высокие трубы фабрично-заводских предприятий. У самого устья Оми высилась исполинская мачта радио-станции. Через Омь был перекинут уже вполне современный железный мост, а на центральных улицах появились каменные мостовые. Густая сеть телефонных и телеграфных проводов изрезывала в различных направлениях городскую территорию, накладывая на Омск какой-то отпечаток европеизма.

Я и раньше знал, что население Омска ко времени мировой войны сильно увеличилось: мне называли цифры, колеблющиеся между 100—150 тысячами человек. Но то, что я увидал в октябрьские дни 1918 года, далеко превосходило все мои ожидания. В то время Омск стал центром, куда из Петрограда, Москвы, с Поволжья и Урала бежала теснимая революцией буржуазия. Омск также был пунктом притяжения для контр-революционных военных сил. Будучи резиденцией Сибирского правительства, которая прочнее других связалась с державами Антанты, он естественно являлся средоточием иностранцев. Здесь были французы, англичане, итальянцы, японцы, статские военные, спекулянты и дипломаты. По улицам то и дело маршировали чехи своими бело-красными значками, англичане в серо-зеленом хаки, французы в темно-синих плащах с широкими кепками на голове. Над лучшими зданиями в городе развевались разноцветные иностранные флаги. Тут помещались какие-то консульства, миссии, представительства «союзных» государств. Кафе и ресторанов было очень много, в них гремела музыка и они

всегда были переполнены пестрой толпой, швырявшей деньгами направо и налево. По улицам гудели автомобили и в роскошных колясках проезжали ярко-накрашенные кокотки. Я не знаю, каково было количество населения в Омске эпохи Директории—в то время говорили о полумиллионе,—но во всяком случае для самого невнимательного глаза было видно, что город переполнен до краев. Уплотнение достигло невероятной степени: жили по 6—7 человек в одной комнате. И, однако, все не могли разместиться. Поэтому в окрестностях города тысячи людей ютились просто в шалашах и в наскоро вырытых самодельных землянках.

В городе ярко билась политическая жизнь. Вместо прежнего «Степного Края» сейчас выходило несколько больших газет, представлявших всю гамму политических цветов от меньшевиков до монархистов. На фасадах домов то и дело попадались красноречивые вывески: «Омский Комитет Р. С.-Д. Р. П.», «Омский Комитет П. С.-Р.», «Восточный Отдел ЦК конституционно-демократической партии» и т. д. В залах кинематографов и театров, которых за минувшие 15 лет было выстроено довольно много, происходили митинги и собрания, на которых выступали лидеры различных партий. Над зданием, где когда-то жил генерал-губернатор и где в царские дни взвивался императорский штандарт, теперь веяло бело-зеленое знамя Сибирского правительства. На улицах, в учреждениях, в частных домах—везде можно было услышать только политические разговоры. Появились даже специальные политические салоны, в которых жены сибирских министров пытались копировать знаменитую мадам Ролан.

Да, Омск, который я видел теперь пред своими глазами, сильно отличался от того Омска, который сохранился в моих воспоминаниях. Это не было больше глухое провинциальное захолустье. Это была «столица», несомненная «столица», но только во всем ее облике было что-то неопрятное, блудливое, цыганское. Точно эта «столица» сама была поражена неожиданно свалившимся на нее счастьем, не верила в его долговечность и, потому, жила только сегодняшним днем. Со всех углов, ото всех людей цыганской «столицы» несло старым, столь когда-то прославленным возгласом:

— После нас хоть потоп!

Впрочем, обстоятельства не позволяли мне слишком долго отдаваться философическим размышлениям. В первый же день моего приезда я отправился к В. М. Зензинову. Директория помещалась в небольшом двух'этажном здании на самой окраине города, в двух шагах от вокзала городской ветки. Кажется, раньше в этом здании находилось реальное училище. Лучшего помещения для «Всероссийского Временного Правительства» в Омске не нашлось. И это было настоящим символом: так характеризовалось отношение сибирской власти к Директории, так расценивалась роль Директории в Сибири!

Помещение Директории было переполнено солдатами, офицерами, журналистами, политиками, среди которых я увидал много знакомых фигур и лиц. Все это были по-преимуществу осколки поволжского фронта. В приемной членов правительства была большая толкотня, и я не сразу попал к Зен-

зинову. Когда, наконец, я вошел к нему в кабинет, меня поразила господствовавшая здесь атмосфера безмятежности и спокойствия. В большой комнате, бывшей раньше классом, стоял письменный стол, справа и слева стояли еще несколько столов, шкап с книгами и еще какая-то мебель. Сбоку сидел секретарь и что-то мирно писал. Сам Зензинов просматривал какую-то рукопись и молча улыбался.

Я показал ему цитированную выше телеграмму Кругликова с приглашением вступить в переговоры об организации министерства труда и заявил, что готов выслушать его соображения по данному поводу. В ответ Зензинов стал жаловаться мне на тяжелое положение, в которое Директория попала в Омске. Правда, встреча ей была устроена торжественная—речи, парад, цветы и т. д.,—но все это была лишь одна внешность. В действительности Сибирское правительство смотрит на Директорию, как на незваного гостя, который, по известной пословице, хуже татарина. Ибо Директория является носительницей идеи всероссийской власти, а сибиряки почти все сплошь областники. Свое нерасположение к Директории они проявляют на каждом шагу, часто впадая в самую обывательскую мелочность. Так, например, Директория целую неделю должна была жить в вагонах, потому что Сибирское правительство яко-бы не могло отыскать для нее в городе подходящего помещения. Только после категорического требования генерала Болдырева ей отвели, наконец, эту жалкую «халупу». Когда члены Директории хотят говорить по прямому проводу с Екатеринбургом или Уфой, они, носители верховной «всероссийской» власти, должны каждый раз просить разрешения сибирского министра почт и телеграфа. Подобных случаев очень много, и они чрезвычайно нервируют настроение Директории.

— Вообще,—закончил Зензинов,—мы чувствуем себя здесь, точно во вражеском лагере. Вот поживете,—сами увидите.

Я спросил в каком положении находится дело с формированием делового кабинета министров. Зензинов ответил:

— Переговоры ведутся, но пока без особого результата. Ждем не сегодня-завтра приезда Вологодского с востока и тогда надеемся притти к каким-нибудь результатам. Хорошо также, что приехал Роговский со своим отрядом,—это несколько укрепит наше положение. Относительно вашей кандидатуры могу сказать одно: я и Авксентьев ее всецело поддерживаем, другие члены Директории возражать едва ли будут, но со стороны сибиряков весьма вероятны протесты. Все это должно выясниться в ближайшие дни. А пока приходится подождать.

Слова Зензинова по существу были очень зловещи, но произносились с таким безмятежным тоном, с таким детски-невинным, отрешенным от всего земного лицом, что невольно рождался вопрос: шутит он или говорит серьезно? Помню, передавая в тот день одному приятелю впечатление от свидания с Зензиновым, я употребил такое выражение:

— Это один из таких министров, который последним узнает о государственном перевороте.

И, как показали последствия, я не очень ошибся в своей характеристике.

Следующие дни я посвятил детальному ознакомлению с политическим положением в городе. Результаты моих изысканий были самые убийственные. Зензинов нисколько не преувеличивал, говоря, что Директория находится во вражеском стане. Действительно, сибирское правительство, с Иваном Михайловым во главе, открыто стало на путь самой черной реакции. Оно мобилизовало буржуазное общественное мнение против Директории, членов которой изображало в виде кроваво-красных революционеров. Под фирмой Сибирского правительства крепли и множились офицероко-казачьи банды, ярко отливавшие монархическими цветами. В ресторанах, клубах и кафе открыто распевали «Боже, царя храни». Скоро Сибирское правительство превратилось в простую игрушку в их руках. Банды на глазах у всех готовили государственный переворот: об этом шушукались по всем углам города, об этом все передавали на ухо друг другу. Указывали точно, где помещается штаб заговорщиков, называли и имена главных руководителей. Рассказывали об образовании боевых террористических организаций, которые должны были покончить с наиболее крупными социалистами. Какие-то подозрительные люди начали выслеживать членов Директории. Ряд видных эс-эров и меньшевиков получили угрожающие письма. Кое-кому из левых весьма прозрачно «советовали» лучше убраться по-добру, по-здорову из Омска. Настроение становилось все более тревожным и напряженным. Помню, как однажды Зензинов мне сказал:

— Когда поздно вечером после заседаний Директории я возвращаюсь домой и на крыльце ожидаю, пока мне отворят дверь, я стою с взведенным револьвером в руках и глазами стараюсь пронзить ночную темноту. Каждый момент я ожидаю выстрела или удара.

Помню также, как член эс-эровского Ц. К. Раков, встретив как-то меня в компании других самарцев, стал почти истерически кричать:

— Ну, что вы тут делаете? Зачем вы не уезжаете из Омска? Бегите возможно скорее из этого проклятого места! Здесь каждый миг вы можете быть убиты или зарезаны. К чему бесполезная растрата сил? Пусть в городе остаются только те, кому это абсолютно необходимо, а прочие должны себя поберечь для дальнейшей борьбы!

Эти опасения были далеко не безосновательны. В один прекрасный день неизвестно куда исчез старый эс-эровский боевик В. Н. Моисеенко. Он был секретарем с'езда членов Учредительного Собрания и имел с собой на руках около двух с половиной миллионов рублей денег (сумма по тому времени громадная). На ноги были подняты все милицейские и военные власти, однако розыски Моисеенко оказались тщетными. Спустя некоторое время стало известно, что Моисеенко был схвачен какой-то офицерской бандой и после жестоких пыток убит. Труп его бандиты бросили в Иртыш. Их привлекали, повидимому, деньги, находившиеся на руках у Моисеенко, однако расчеты убийц не оправдались. Денег при Моисеенко не оказалось, так как они хранились в одном из вагонов поезда Роговского, с которым вместе он

приехал. Это не помешало впоследствии, уже после воцарения Колчака, омской буржуазной прессе распространять «пикантные» слухи о том, будто бы Моисеенко вовсе не убит, а просто бежал, увезя с собой доверенные ему суммы.

Картина получалась таким образом грозная и зловещая. Если «демократия» в лице Директории хотела отстоять свое право на существование, необходимо было действовать быстро и решительно. Имелись ли, однако, на-лицо силы, на которые «демократия» могла бы опереться? Надо откровенно сказать, что русских сил для этого имелось очень немного. Омские рабочие относились к Директории более чем прохладно, не делая большой разницы между нею и Сибирским правительством (по существу они, конечно, были правы). Сибирское крестьянство событиями в городе особенно не интересовалось. Оставались лишь интеллигентско-партийные элементы из эс-эровского и меньшевистского лагеря плюс небольшой отряд Роговского, но этого было, конечно, мало. Зато Директория могла опереться на чехов. В Омске их было расквартировано в то время свыше 3.000, они были хорошо вооружены и крайне враждебно относились к Сибирскому правительству. В довольно прозрачной форме чешское командование дало понять эс-эрам, что стоит только кликнуть клич, и чехи «в два часа» расчистят омское болото. И, пожалуй, в тот момент это были не только слова.

Итак, надо было действовать быстро и решительно. Приблизительно через неделю после моего приезда я пришел к Авксентьеву и в упор поставил ему вопрос о том, что думает делать Директория для защиты своей жизни. Авксентьев отвечал:

— Мы все прекрасно сознаем, что живем на вулкане, но, к сожалению, мы ничего не можем поделать. У нас нет сейчас в руках никакой реальной силы, и нам поневоле приходится ждать.

Я стал горячо возражать.

— Как нет никакой реальной силы? Есть отряд Роговского, есть надежные части «Народной Армии», которые нетрудно подтянуть к Омску, есть, наконец,—и это особенно важно—чехо-словаки в Омске, которые готовы поддержать Директорию. Надо проявить лишь энергию, и черносотенные банды будут разбиты, потому что реальная сила их в сущности не так уж велика. Пассивно ждать хода событий—плохая политика. Это значит обрекать себя на неизбежную гибель.

— Я, пожалуй, готов с вами согласиться,—заметил Авксентьев,—что кое-какие реальные силы есть. Если опереться на чехов, то дело можно даже считать выигранным. Мы с Зензиновым пошли бы на такую комбинацию, но в Директории, ведь, не мы одни. Болдырев же категорически возражает против втягивания иностранцев в наши дела, а Виноградов предпочитает по этому вопросу отмалчиваться. О Вологодском я не говорю,—он просто шпион Сибирского правительства в Директории.

— Как?—невольно расхохотался я,—Болдырев против втягивания иностранцев в наши дела? Ну, а как же создался Комитет членов Учредительного Собрания? Как возникло Сибирское правительство? Как родилась Ди-

ректория? Ведь все это дело чехов, т.-е. иностранцев. Снявши голову, по волосам не плачут.

— Мы с Зензиновым говорим Болдыреву то же самое, — ответил Авксентьев,—но он с нами не соглашается. Что ж с ним поделаешь? А без Болдырева у нас нет большинства в Директории.

— Какой же выход вы усматриваете из нынешнего положения?

Авксентьев немного помолчал и затем ответил:

— Положение, конечно, очень трудное, но мы не теряем надежды. Болдырев ежедневно об'езжает казармы и знакомится с войсками. Его авторитет постепенно растет. Шаг за шагом он прибирает к рукам военный аппарат. Я думаю, через месяц сибирскую армию уже нельзя будет двинуть против Директории. Затем мы ожидаем признания со стороны союзников,—это должно укрепить наш авторитет. Наконец, я сильно рассчитываю на нашу тактику «обволакивания». Директория постепенно переварит Сибирское правительство, ассимилируя его более демократические элементы и пополняя их самарскими. Все это вместе взятое открывает перспективы, и я отнюдь не склонен падать духом.

— Ну, а если Сибирское правительство не даст вам достаточно времени для того, чтобы вы могли его переварить? Что тогда?—быстро спросил я.

Авксентьев неопределенно пожал плечами и заметил:

— Тогда будь, что будет... Во всяком случае я не возьму на свою совесть разнуздывание гражданской войны внутри анти-большевистского лагеря.

Так говорил не мальчик, не юноша, а «умудренный опытом» политический деятель, выдвинутый Уфимским Совещанием на пост главы всероссийской власти. Воистину плох был этот опыт, воистину безнадежен был этот политический деятель, которого опыт должен был воспитывать!

От Авксентьева я отправился к Зензинову. Я считал тогда последнего человеком более левого уклона и надеялся найти у него больше сочувствия моим планам, чем я нашел его у Авксентьева. Я изложил ему свои соображения и в заключение сказал:

— Если Директория действительно решится на подлинную борьбу с Сибирским правительством, если она открыто пойдет на разгром черносотенной военщины, я готов служить ей чем могу. В этом случае, я не только согласен, я буду настаивать на том, чтобы мне было предоставлено место в правительственном аппарате Директории, ибо я хочу принять самое активное участие в последней попытке демократии отстоять самое себя.

Увы!—и у Зензинова я не получил удовлетворительного ответа. Он, правда, в принципе соглашался со мной, но ссылался на те же несогласия внутри Директории и на категорический отказ Болдырева обращаться за помощью к чехо-словакам. Когда же я указал на то, что разогнать омских белогвардейцев можно, в конце концов, и без Болдырева, Зензинов пришел в сильное волнение, столь мало гармонировавшее с его обычной безмятежностью, и дрогнувшим голосом заявил:

— Я не считаю возможным нарушать то соглашение, которое с таким трудом было достигнуто в Уфе и которое мы клялись свято соблюдать. Если Директория распадется, Россия погибла.

Вот какого высокого мнения был Зензинов о Директории! Сейчас, пять лет спустя, все это кажется невероятно смешным, сейчас смеется над этим, вероятно, и сам г. Зензинов, но тогда... тогда было совсем иначе. Тогда Зензинов был убежден, что его устами глаголет самая подлинная политическая мудрость, и что во имя спасения России он должен уподобиться щедринскому барану, который терпеливо ожидает того момента, когда волк его задерет [1]).

Беседы с Авксентьевым и Зензиновым произвели на меня удручающее впечатление. Но я еще не терял окончательной надежды. Двумя днями позже я увидал Роговского и завел с ним разговор на ту же интересовавшую меня тему. Я никогда не мог понять, почему эс-эры выдвигали на видное место этого мелкого и ограниченного человека. В эпоху Керенского он пробыл три недели в роли петроградского градоначальника, и после этого приобрел в партийных кругах репутацию «сильного человека». В Самаре его сделали председателем Совета Управляющих Ведомствами, и дали заведывание государственной охраной. Председателем он оказался весьма посредственным,

---

[1]) Совсем недавно г. Зензинов пытался доказать (см. берлинские „Дни" № 86 от 10 февраля 1923 г.), что никаких переговоров со мной о занятии мной министерского поста у Директории не было. Было же, по словам Зензинова, вот что: Директория „при формировании кабинета министров в сентябре—октябре 1918 г., действительно, имела в виду И. Майского, бывшего до того управляющим ведомством труда при самарском Комитете членов Учредительного Собрания. Члены правительства Н. Д. Авксентьев и я предлагали его кандидатуру на пост министра труда или его товарища. Но остальные три члена правительства В. Г. Болдырев, В. А. Виноградов и П. В. Вологодский высказывались против, и кандидатура эта была отвергнута. Поэтому никаких переговоров с И. Майским о занятии им поста министра труда не было. В середине ноября приехавший в Омск И. Майский, действительно, имел со мной лично по этому поводу разговор, но в этом разговоре сам И. Майский энергично настаивал передо мною на предоставлении ему места в кабинете министров. На эту просьбу я вынужден был ответить ему отрицательно, посоветовав выждать время".

Я не знаю, какие разговоры обо мне вели Зензинов и Авксентьев со своими коллегами по Директории, но зато я очень хорошо знаю, какие разговоры они вели со мной. Со мной они говорили от имени Директории и притом не один раз, а несколько. То, что изложено в тексте, вполне соответствует действительности. Подтверждением этого может служить, между прочим, свидетельство одного из тогдашних министров Сибирского правительства, Г. Гинса, который в своей книге „Сибирь, союзники и Колчак" (т. I, стр. 274) сообщает, что в числе выставленных первоначально (т.-е. еще до моего отказа) Директорией кандидатур в члены кабинета значился и я. Зензинов либо сознательно извращает факты, либо не помнит того, что происходило в 1918 г. Он, например, пишет, что я приехал в Омск в середине ноября, какие же в это время могли итти разговоры о министерских портфелях? В середине ноября кабинет уже был сформирован, и сама Директория доживала свои последние дни. В действительности я приехал в Омск на месяц раньше, и все мои переговоры с Директорией относятся ко второй половине октября. Зензинов, видимо, был так сильно ушиблен Колчаком, что потерял не только голову, но и память,—и во всяком случае за это отвечать не могу.

а государственной охраны совсем не сумел организовать. Тем не менее, он продолжал сохранять свою славу и после образования Директории был тотчас же назначен «Главноуправляющим Ведомством Государственной Охраны». Это был первый «всероссийский министр», рожденный Директорией; получение столь высокого звания окончательно вскружило слабую голову Роговского. Не имея ничего, кроме бумажных прерогатив, он вообразил себя настоящим властителем и, идя по линии наименьшего сопротивления, весь ушел в создание соответственного «министерского» антуража: завел себе специальный поезд, окружил себя блестящей военной свитой и с нами, своими вчерашними товарищами по самарскому правительству, стал разговаривать не иначе, как в нос, и притом тщательно изучая во время разговора изящную округлость своих выхоленных ногтей. В пути он всегда был окружен тремя или четырьмя ад'ютантами в офицерской форме, которые ходили за ним буквально по пятам. Даже когда г. «всероссийский министр» отправлялся в уборную, перед дверью последней вытягивался один из ад'ютантов и подобострастно ожидал, когда г. министр снова появится, окончив свое дело. В Омск Роговский приехал с отрядом особого назначения человек в 150—200, про который он говорил, что может на него положиться, как на каменную гору. Этот отряд он мечтал развернуть в баталион и даже в несколько баталионов. А пока он с надменно-самоуверенным видом ходил по зданию Директории и каждому заявлял, что ему все известно, и что он готов ко всякой случайности.

На мои указания, что в воздухе пахнет государственным переворотом и что необходимо немедленно же принимать энергичные меры против заговорщиков, Роговский отвечал, что мои страхи преувеличены и что никакой непосредственной опасности нет. Он даже тонко намекнул, что, мол, уважающему себя политическому деятелю неприлично поддаваться обывательской панике. Тем не менее я продолжал настаивать на своем, тогда Роговский согласился еще раз проверить имеющиеся у него сведения. На следующий день, 27-го октября, я пришел к нему и получил категорическое заверение: никакого заговора нет, ничто Директории не угрожает. А три недели спустя члены Директории, вкупе с самим Роговским, были арестованы омскими казаками!

Ответ «Главноуправляющего Государственной Охраной» явился для меня последней каплей. Итак, Авксентьев и Зензинов видели опасность, но не считали возможным против нее выступать, а Роговский даже и опасности не видел. Это были три эс-эровских столпа Директории. Если они не позаботятся о защите «всероссийского правительства» от атаки со стороны белогвардейцев, то кто же?

Положение достаточно определилось. Я понял и почувствовал, что дальше с Директорией мне не по пути. Я готов был сделать последнюю отчаянную попытку спасти «демократию» от натиска черной сотни. Но я совсем не расположен был играть глупую и позорную роль щедринского барана. Я сообщил Зензинову, что при создавшихся условиях снимаю свою кандидатуру в министры труда, и считаю себя в дальнейшем свободным от

всяких обязательств по отношению к Директории. Кое-кто из омских меньшевиков, видимо, по поручению Директории пробовал переубедить меня и заставить взять назад свое решение, но эти попытки оказались тщетны. Я отошел в сторону, превратившись в простого гражданина, и с этого момента потерял непосредственную связь с правящими кругами.

18. Агония «демократии».

Между тем события продолжали итти своим фатально-неумолимым ходом. Последние дни октября окончательно решили судьбу Директории. Почти с самого момента появления «всероссийского правительства» в Омске между ним и Сибирским правительством начались переговоры о формировании «всероссийского» кабинета министров. Переговоры эти прошли несколько стадий, и к концу октября позиции сторон окончательно выяснились. Директория хотела составить свой кабинет министров с таким расчетом, чтобы в него вошли как представители самарского, так и представители сибирского лагеря. Наоборот, Сибирское правительство категорически настаивало на том, чтобы Директория признала своим кабинетом министров наличный состав совета министров Сибирского правительства. Не имеющая твердой опоры на Западе, раз'едаемая гамлетовскими настроениями Директория очень быстро стала уступать напору противников. В конце концов, она согласилась взять за основу своего кабинета совет министров Сибирского правительства, пытаясь только внести в него некоторые незначительные коррективы. В последней фазе переговоров борьба сконцентрировалась около имен Роговского и Ивана Михайлова. Директория категорически возражала против включения в кабинет министров Ивана Михайлова, которого Авксентьев в частных разговорах называл «прохвостом» и «убийцей», и не без основания считал душой сибирской реакции. Вместе с тем, Директория не менее категорически требовала, чтобы пост министра внутренних дел был предоставлен Роговскому, в котором Авксентьев и Зензинов усматривали какого-то Георгия Победоносца, могущего сокрушить главу черносотенного змия. В свою очередь, Сибирское правительство не менее решительно отстаивало назначение Ивана Михайлова министром внутренних дел, не желая видеть Роговского вообще в составе кабинета министров. В конечном счете Директория и на этот раз уступила: Иван Михайлов остался в кабинете, правда, не в роли министра внутренних дел, а в качестве министра финансов, Роговский же был назначен товарищем министра внутренних дел, ведающим государственной охраной, при министре внутренних дел, томском чиновнике Гаттенбергере. Достойно замечания, что назначение адмирала Колчака на должность военного и морского министра не вызвало никаких разногласий между сторонами: и Директория, и Сибирское правительство единодушно сошлись на этой кандидатуре.

5-го ноября произошло первое официальное заседание нового кабинета министров с участием Директории, и на нем Авксентьев и Зензинов имели случай наглядно убедиться, что в составе кабинета нет почти ни одного дей-

ствительного сторонника «демократии». Они были в стане врагов. Они вложили свою голову в пасть льва, и теперь являлось лишь вопросом времени, когда эта пасть закроется. Важнейшая из позиций, находившихся еще в руках Директории, была таким образом потеряна. Это было фатально неизбежно, раз Директория отказывалась от вооруженной борьбы с сибирскими генералами.

После сформирования кабинета министров Директория стремительным темпом покатилась к своему жалкому и бесславному концу. И, что всего характернее, она сама в каком-то странном ослеплении всемерно ускоряла свою гибель, делая один нелепый шаг за другим. Казалось, ее охватил какой-то дух самоуничтожения, и она с величайшим усердием стремилась уничтожить последние остатки тех сил, опираясь на которые она могла бы сопротивляться наступающей реакции.

Еще во время переговоров о создании кабинета министров встал вопрос о дальнейшем существовании Сибирской областной думы. Сибирское правительство категорически требовало, чтобы никаких представительных органов в столь острый момент в стране не существовало. Директория, как всегда, не могла твердо сказать ни да, ни нет. И, конечно, как всегда, победителями оказались сибирские реакционеры: Директория согласилась на ликвидацию Сибирской областной думы. Тем самым она выбивала у себя из-под ног одну из довольно крупных по тогдашнему масштабу «демократических» подпорок, что означало дальнейшее ослабление позиции самой Директории. В утешение себе и своим сторонникам Авксентьев и Зензинов указывали на полученную ими от сибиряков довольно своеобразную «компенсацию». Все дело было в том, что Сибирское правительство хотело попросту разогнать Думу, Директории же после огромных усилий удалось склонить последнее к замене разгона самороспуском. Дума должна была собраться на 2—3 дня и затем сама декларировать о прекращении своего существования. Победа была, воистину, колоссальная! Так как, однако, существовало опасение, что Дума не захочет добровольно умереть, сам Авксентьев отправился в Томск, и, пустив в ход весь свой авторитет и все чары своего красноречия, добился-таки (правда, незначительным большинством голосов) самоубийственного постановления Сибирской областной думы. Председатель «Всероссийского Правительства» в роли хлыста против «демократии» в руках Ивана Михайлова,—какая действительно душу возвышающая картина!

Этого мало. На западе, в Уфе, как уже упоминалось выше, продолжал существовать Совет Управляющих Ведомствами, являвшийся продолжением Комитета членов Учредительного Собрания. Совет довольно неожиданно обнаружил значительную жизнеспособность и начал формировать русско-чешские полки и батальоны Учредительного Собрания, стоявшие на платформе «демократии». Это сильно напугало Вологодского и К°. Уже ставши «всероссийским кабинетом министров», они нажали на Директорию и добились от нее постановления о ликвидации уфимской областной власти. Была создана даже специальная ликвидационная комиссия, которая должна был

принять дела упраздненного Совета. Однако названная комиссия в Уфу не поехала, а, остановившись в Челябинске, вызвала к себе Уфимский Совет Управляющих. Последний отказался ехать и вообще решил всеми возможными средствами саботировать постановление Директории о его ликвидации. Насколько помню, он, кажется, даже заявил открытый протест против постановления Директории. Чтобы смирить непокорных, генерал Болдырев особым указом запретил формирование каких бы то ни было добровольческих частей помимо санкции «всероссийского» военного министерства. А вслед затем и сам Болдырев выехал в Уфу для того, чтобы окончательно искоренить там всякую крамолу. Ирония судьбы хотела, чтобы Болдырев прибыл в Уфу как раз в тот день, когда в Омске Колчак совершил государственный переворот. Миссия Болдырева тем самым отпала. Но не подлежит сомнению, что борьба между Директорией и Уфимским Советом управляющих была еще одним ударом по «демократии», выбивавшем из-под ног Авксентьева и Зензинова еще одну подпорку.

В довершение всего, в рядах самой эс-эровской партии наметилось довольно крутое внутреннее расхождение. С'езд членов Учредительного Собрания, с грехом пополам обосновавшийся в Екатеринбурге и первоначально состоявший по преимуществу из эс-эров весьма правых устремлений, постепенно стал пополняться более левыми депутатами, в период эвакуации Самары занятыми либо на фронте, либо в Уфе. К концу октября в Екатеринбург прибыло несколько отсутствующих членов Ц. К. П. С.-Р. с В. М. Черновым во главе,—они дали окончательно перевес «левой» линии. В начале ноября Ц. К. была принята особая резолюция по текущему моменту, в которой он, подвергнув весьма резкой критике поведение эс-эровской фракции на Уфимском государственном совещании, и деятельность Директории в Омске, в заключение говорил:

«В предвидении возможностей политических кризисов, которые могут быть вызваны замыслами контр-революции, все силы партии в настоящий момент должны быть мобилизованы, обучены военному делу и вооружены, с тем, чтобы в любой момент быть готовыми выдержать удары контр-революционных организаторов гражданской войны в тылу против большевистского фронта.

«Работа по собиранию, сплачиванию, всестороннему политическому инструктированию и чисто военная мобилизация сил партии должна явиться основой деятельности центрального комитета, давая ему надежные точки опоры для его текущего, чисто-государственного влияния».

Конечно, эта резолюция была не больше, как столь свойственным эс-эровской партии революционным фразерством, но она вызвала в Омске немалый переполох, при чем Авксентьев, Зензинов и ряд иных членов партии, находившихся в Сибири, приняли резолюцию Ц. К. за кровную обиду. Начались трения между эс-эрами в Омске и эс-эрами в Екатеринбурге, возникла длительная переписка между обоими центрами, посыпались взаимные упреки и обвинения. Это, конечно, не могло способствовать укреплению позиций «демократии». Положение особенно обострилось, когда гене-

рал Болдырев, ссылаясь на резолюцию эс-эровского Ц. К., поднял в Директории вопрос о преследовании П. С.-Р. за бунт против верховной власти и в первую голову об аресте эс-эровского Ц. К. Неизвестно, как разрешился бы этот вопрос, если бы во-время не подоспел Колчак со своим государственным переворотом. Но для всякого с каждым днем становилось яснее, что так дольше продолжаться не может.

Дня за три до низвержения Директории, мне пришлось быть у Авксентьева и Зензинова. Я собирался уезжать из Омска в Иркутск, куда меня звали работать в начавшей там выходить с.-д. газете «Дело», и я зашел к ним проститься. Здание Директории уже не гудело, подобно улью, как в первые дни моего пребывания в Омске. Посетителей в приемных было мало, служащие уныло сидели на своих местах и считали осенних мух на окнах, немногочисленная охрана как-то робко ежилась в коридорах и на лестнице. Не чувствовалось биения пульса в этих четырехугольных каменных залах, на всем лежал какой-то тусклый предсмертный отпечаток. Секретарь Авксентьева был страшно встревожен и не скрываясь говорил, что положение Директории совсем критическое: не сегодня-завтра ее арестуют. Настроение Авксентьева и Зензинова также было крайне подавленное. Они уже больше не храбрились, не высказывали надежд на будущее, даже не пытались делать «хорошую мину в плохой игре». Авксентьев мне прямо заявил:

— Мы чувствуем себя точно на вулкане. Каждую ночь мы ожидаем ареста.

Я напомнил ему наш разговор, происходивший три недели назад, и спросил:

— Неужели вы и сейчас считаете свой образ действий правильным?

— Да,—отвечал Авксентьев,—мы иначе не могли поступить. Мы—мученики компромисса. Вы смеетесь? Бывают и такие мученики и, может быть, они особенно нужны России.

Я пожал плечами и вышел. Зензинов, прощаясь со мной, заметил:

— Можно позавидовать вам, что едете на свободную литературную работу. Хотел бы я быть сейчас в вашем положении.

— Кто же вам мешает последовать моему примеру? — полушутя бросил я.

— Нет, теперь уже поздно,—отвечал Зензинов,—мы с Авксентьевым обсуждали вопрос о выходе из Директории, но пришли к выводу, что сейчас это неудобно. Подумают, что струсили. Придется испить чашу до дна.

Я не выдержал и воскликнул:

— Неужели вы так-таки не сделаете попытки сопротивления?

Зензинов беспомощно развел руками и пониженным голосом добавил:

— А что же мы можем сделать?

Как-то давно в Зоологическом саду, в Лондоне, мне пришлось видеть, как в клетку удава был брошен кролик. Перепуганный зверек забился в дальний угол клетки, но удав направил на него неподвижный взгляд своих темно-зеленых глаз. Под этим тяжелым, сосущим взглядом несчастный кролик стал неожиданно быстро преображаться. Он как-то сразу весь обмяк и

опустился. Его тело трясла мелкая дрожь, он обливался потом от ужаса, но не мог отвести своих глаз от гипнотизирующего взгляда огромной змеи. Потом он медленно, постепенно, точно подчиняясь какой-то чуждой воле, стал приближаться к раскрытой пасти удава. Дикий страх смерти пронизывал все его существо, но он не мог противостоять влекущей силе грозного чудовища. Он сам подошел вплотную к его пасти и затем исчез в ее глубине. Более гнусного зрелища я никогда не видал.

И вот теперь, когда я разговаривал с Авксентьевым и Зензиновым, мне невольно вспомнилась когда-то виденная в Зоологическом саду картина. Авксентьев и Зензинов, как две капли воды, напоминали того кролика, который, трясясь от ужаса и обливаясь потом, сам шел навстречу своей верной гибели.

Выйдя на улицу из здания Директории, я даже невольно плюнул. А в голове отчетливо сформулировался вывод:

— Ну, они недолго протянут!

19. Государственный переворот.

17-го ноября вечером я пошел в гости к одному из своих старинных знакомых, жившему на краю города, около самой «загородной рощи». Погода была бурная, на улице свирепствовала метель, и я решил остаться переночевать под гостеприимным кровом моего бывшего гимназического товарища. Утром, 18-го, после обильного чая с неизменными сибирскими шаньгами, я тронулся в обратный путь и вскоре стал замечать, что в городе творится нечто не совсем обыкновенное. По улицам стремительно проносились казачьи патрули, на многих перекрестках стояли солдатские пикеты. Прохожие торопливо пробегали мимо, кое-где собирались маленькие кучки и о чем-то оживленно шушукались. Чем ближе подвигался я к центру, тем заметнее становилось возбуждение. Войск было больше, скопление людей значительнее. На базарной площади гарцовали многочисленные отряды конницы, а внизу на Любинском проспекте стояла довольно большая толпа, которую солдаты пытались разгонять, но без особенного успеха. Первый угловой дом по Любинскому проспекту был оцеплен военным кордоном, не пропускавшим в него никого из посторонних. Чрезвычайно удивленный всем происходящим и подозревая что-то недоброе, я обратился с вопросом к одному из толпившихся обывателей:

— Что случилось?

— Сегодня ночью министров арестовали,—отвечал он, — вон в энтом самом доме сидят.

И он указал на угловой дом, усиленно охраняемый солдатами.

— Каких министров арестовали?—невольно вырвалось у меня.

— Каких? Тех самых, каких надо... Зачем приезжали из России? Только мутить... Мы и без них сами управиться можем... Вот и арестовали.

Я начал догадываться о сути происшедших событий. Высмотрев физио-

номию поинтеллигентнее, я обратился к ней за более точными данными. Физиономия отвечала:

— Да, эту самую... как ее... Директорию, что ли, арестовали.

— Всю?

— Говорят, всю...

— А кто арестовал?

— Казаки.

Теперь картина становилась яснее, но многое все-таки оставалось непонятным. Как раз в этот момент к толпе подбежал мальчишка с кипой каких-то листочков и громко закричал:

— Вот новое сообщение!

Все бросились на крик и стали наперерыв рвать из рук разносчика еще полусырые, пахнувшие типографской краской беленькие листочки. Мне удалось также получить листок, и в нем я нашел разгадку событий минувшей ночи. Листок гласил:

«К населению России.

«18 ноября 1918 года Всероссийское Временное Правительство распалось.

«Совет Министров принял всю полноту власти и передал ее мне—адмиралу Русского Флота, Александру Колчак.

«Приняв Крест этой власти в исключительно трудных условиях гражданской войны и полного расстройства государственной жизни, — объявляю:

«Я не пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности. Главной своей целью ставлю создание боеспособной Армии, победу над большевизмом и установление законности и правопорядка, дабы народ мог беспрепятственно избрать себе образ правления, который он пожелает, и осуществить великие идеи свободы, ныне провозглашенные по всему миру.

«Призываю вас, граждане, к единению, к борьбе с большевизмом, труду и жертвам.

Верховный Правитель Адмирал *Колчак.*

18 ноября 1918 года.
Гор. Омск».

Итак, «демократии» был дан последний пинок. Пришла генеральская диктатура, которой все ожидали, которую все предчувствовали, но активно бороться против которой Директория упрямо отказывалась.

Очень скоро я узнал важнейшие подробности переворота. Вечером 17-го ноября в квартире Роговского, помещавшейся в здании Ведомства Государственной Охраны, собрались Авксентьев, Зензинов, Аргунов и трое членов-эс-эров только что прибывшей из Архангельска делегации Северного правительства—Я. Т. Дедусенко, С. С. Маслов и Н. А. Лихач. Обе стороны знакомили друг друга с положением дел в Сибири и в Архангельске, при чем

из взаимного осведомления с несомненностью вытекало, что и там дела «демократии» из рук вон плохи Около 12 часов ночи снаружи послышался какой-то шум, потом раздались громкие крики, тяжелый топот ног по лестнице, бряцание оружия и в комнату ввалились черносотенные заговорщики. То были казаки знаменитого в описываемое время в Омске отряда атамана Красильникова, под командой войскового старшины Волкова. В несколько минут все собрание было арестовано, посажено на извозчиков и под конвоем казаков отправлено в какое-то отдаленное здание в «Загородной роще», откуда рано утром оно было перевезено в то здание на Любинском проспекте, у которого я впервые услыхал о происшедшем перевороте. Самую жалкую роль в ту памятную ночь сыграл Роговский. Его квартира охранялась усиленными патрулями, но они позволили разоружить себя, даже не пикнув. Его пресловутый отряд, на который он предлагал полагаться, как на каменную гору, при первом известии о совершившемся, позорно разбежался. Этот Георгий Победоносец с министерскими замашками на поверку оказался пустым фанфароном, попавшим в сети противника, как кур во щи.

Рано утром, 18-го, был экстренно созван кабинет министров, на котором присутствовал также и единственный уцелевший член Директории, кадет Виноградов (Болдырев в это время находился в Уфе). На заседании кабинета был поставлен вопрос о том, что же делать? Никто не поднял голоса в пользу восстановления Директории (никто даже не настаивал на освобождении ее арестованных членов). Но зато подавляющее большинство высказалось за единоличную диктатуру. В качестве кандидатов в диктаторы были названы Болдырев и Колчак, однако при голосовании Болдырев получил всего лишь 1 голос. Колчак принял предложенное ему избрание, и тут же было установлено, что он будет именоваться «Верховным Правителем». Вслед затем было опубликовано приведенное выше обращение Колчака «К населению России».

Впоследствии Вологодский, Гинс [1]) и другие виднейшие деятели Сибирского правительства пытались доказать, что они не только не участвовали в перевороте 18-го ноября, но что он явился для них даже полной неожиданностью. Переворот, дескать, задумали и совершили крайне правые, монархические группы офицерства, и сибирским («Всероссийским» тож) министрам приходилось просто считаться с совершившимся фактом. Конечно, никто не поверит в эту благочестивую легенду и будет совершенно прав. История колчаковского переворота во многих пунктах еще не совсем ясна, но не подлежит во всяком случае никакому сомнению, что руководящие члены Сибирского правительства прямо или косвенно участвовали в низвержении Директории. Не подлежит никакому сомнению, что к этому делу приложили свою руку Иван Михайлов, Вологодский, Гинс, Пепеляев (впоследствии колчаковский министр) и некоторые другие. Не подлежит сомнению, что это дело санкционировали находившиеся тогда в Сибири английский генерал Нокс и французский генерал Жаннен. Не подлежит сомнению,

[1]) См. Г. Гинс, „Сибирь, союзники и Колчак", 1921, Харбин—Пекин.

наконец, что к этому делу был причастен и так называемый омский «Блок общественных организаций», об'единявший 14 групп (кооператоры, торгово-промышленники, казаки, Союз Возрождения, военно-промышленный комитет, кадеты, с.-д. группа «Единство», н.-с. и друг.) и вскоре получивший, поэтому, в просторечии наименование «14 болванов». Эти «четырнадцать болванов», вскоре после воцарения Колчака, официально принесли ему свои поздравления, и на протяжении последующих месяцев всегда являлись верным оплотом адмиральской власти.

Небольшой листок бумаги, поведавший мне о падении Директории, заставил меня сразу почувствовать себя на нелегальном положении. Я решил домой не ходить, опасаясь там какой-нибудь неприятной встречи (я оказался прав: на квартире у меня сидела засада), и бросился к знакомым меньшевикам и эс-эрам. Момент наступил критический и необходимо было определить линию своего поведения. Однако всюду, куда я ни приходил, господствовали полная растерянность и уныние. Никто ничего не знал, никто не имел никаких планов и, что самое скверное, ни в ком не чувствовалось воли к действию, к борьбе. Больше того, у многих на лицах я заметил, если не радость, то как-будто бы выражение облегчения. Точно прорвался, наконец, давно мучивший их нарыв. И это было понятно: игра, наконец, была доиграна до конца. Теперь каждый из недавних вершителей революции на вполне законном основании мог перестать думать, волноваться, заседать, писать резолюции, сочинять гнилые планы спасения отечества и, просто, по обывательски отдаться на волю событий...

К вечеру 18-го ноября для меня стало ясно, что со стороны партийных эс-эровских и меньшевистских группировок, переворот не встретит никакого действительного отпора. В лучшем случае все дело ограничится чисто словесными протестами. Широкая обывательская масса, конечно, ни о какой борьбе не думала, наоборот, она скорее сочувствовала Колчаку, от которого ожидала восстановления твердой власти. Город был спокоен, до странности спокоен. Кучки любопытных, толпившихся с утра около места заключения членов Директории и около некоторых правительственных зданий, постепенно растаяли и все вернулись к своим шаньгам и пельменям. Только по улицам продолжали носиться казачьи патрули, да на перекрестках по-прежнему стояли усиленные наряды солдат.

Меня интересовало настроение железнодорожного поселка (так называемого Атаманского Хутора), являвшегося пролетарской окраиной Омска. Когда уже стемнело, я проехал на вокзал и зашел там к одному знакомому рабочему. На мой вопрос, как встретили переворот железнодорожники, рабочий отвечал:

— А как? Никак! Работают.

— И никакого волнения, никакого возбуждения в мастерских нет?

— Нет,—отвечал он,—все спокойно.

В этот момент в комнату вошли еще двое рабочих, возвращавшихся домой после смены. Я засыпал их теми же самыми вопросами. Они ухмыльнулись, и один из пришедших досадливо махнул рукой:

— Что Директория, что Колчак,—один чорт. Станем мы себе из-за Авксентьева голову ломать?

И, обратившись к своему спутнику, он как ни в чем не бывало, прибавил:

— Мишка, бери ложку, пойдем обедать.

Это было достаточно красноречиво. Итак, и со стороны рабочих нельзя было ждать никакого сопротивления. Колчак нашел хорошо подготовленную почву, и эту почву ему подготовили мы, все те, кто с самого начала Октябрьской революции затрачивал свои лучшие силы и свою самую горячую энергию на борьбу с Советской властью.

Самое трудное было сделано, и дальше уже быстрым темпом пошла ликвидация последних остатков «демократии». Дня через три после воцарения Колчака, в Омске состоялась комедия суда над казачьими офицерами Волковым, Красильниковым и Катанаевым, так невежливо обошедшимися с членами «Всероссийского Правительства» Авксентьевым и Зензиновым. Суд оправдал всех виновных, признав, что, хотя они и нарушили нормы формального права, однако, действовали под влиянием глубоко патриотических побуждений. А еще через несколько дней Авксентьев, Зензинов, Аргунов и Роговский были посажены в вагон (почти «пломбированный вагон», так как им не позволялось из него выходить) и отправлены в Харбин, откуда они проехали в Пекин и дальше, через Америку, во Францию. Колчак был настолько любезен, что снабдил своих недавних «хозяев» необходимыми денежными средствами на дорогу.

Одновременно, в Екатеринбурге, происходила ликвидация с'езда членов Учредительного Собрания. О мытарствах с'езда в «столице Урала» я знаю только по рассказам (отчасти по литературе) [1]) и, потому, могу лишь вкратце передать голую схему событий.

С самого начала своего пребывания в Екатеринбурге с'езд попал в чрезвычайно тяжелое положение. В городе царило троевластие: там находился чешский «Национальный Совет», там были сибирские войска и там же существовало пресловутое Областное Правительство Урала, о котором мне приходилось не раз упоминать в предыдущем изложении. Впрочем, Областное Правительство никакой власти не имело и существовало только на бумаге. Зато чехи и сибиряки были вполне реальными величинами, располагавшими определенным количеством штыков, и с ними приходилось считаться серьезно. У с'езда, этого высшего «государственно-правового органа» России, не было ничего, кроме добрых намерений и кипы резолюций. В результате он оказался в Екатеринбурге в положении бедного родственника. Сибиряки относились к с'езду крайне враждебно, местная екатеринбургская буржуазия встретила его также в штыки. Только чехи, во главе которых здесь в это время стоял генерал Гайда, заверяли с'езд в своем доброжелательстве, впрочем довольно платонического свойства. В итоге с'езд, раздираемый не-

[1]) См. Н. Святицкий, К истории Всероссийского Учредительного Собрания, Москва 1921 г.

прекращающимися внутренними разногласиями между «правыми» и «левыми», прожил в Екатеринбурге на бивуаках около месяца, не зная что делать и на что решиться. Какое жалкое положение занимал с'езд, можно судить по тому, что ему так-таки и не удалось получить в Екатеринбурге хоть сколько-нибудь подходящего здания для своих занятий.

Когда днем, 18-го ноября в Екатеринбург пришли известия об омском перевороте, с'езд впал в состояние полной растерянности. Наоборот, черносотенное сибирское офицерство решило немедленно приступить к действиям. 19-го, вечером, несколько рот 25-го уральского драгунского (сибирского) полка окружили гостиницу «Пале-Рояль», в которой находились члены Учредительного Собрания, арестовали их и повели на расправу «в штаб». Вероятно, никто из арестованных не вышел бы живым из этого «штаба», если бы случайно навстречу процессии конвоируемых депутатов не попался один чешский генерал. Узнав о происшедшем, чехи вмешались в разыгрывавшиеся события, и добились освобождения членов Учредительного Собрания. В течение следующих 24 часов с'езд находился в «Пале-Рояле» под охраной, а может быть, и под арестом чехов, и затем поздно вечером 20-го ноября был посажен в теплушки и отправлен в Челябинск, где тогда находилась главная квартира чехо-словацких войск.

Настроение чехов в описываемый момент было смутное и колеблющееся. Для них, как и для многих других, было совершенно ясно, что дело «демократии» в Сибири проиграно, но открыто признать Колчака они тоже не хотели. Низы чешской армии и даже некоторая часть офицерства, враждебно относившиеся к сибирской реакции, были в нерешительности. Некоторые заявляли даже (по крайней мере, на словах), о своей готовности сурово расправиться с Колчаком. Дни были критические, и успех омского переворота висел на волоске. Но тут Колчака выручили представители Антанты. Английский генерал Нокс и чехо-словацкий военный министр Стефанек, не задолго перед тем прибывшие в Сибирь, приехали в главную квартиру чехо-словацких войск в Челябинск и устроили совещание с генералами: Сыровым, Гайдой, Дитерихсом и другими руководителями чешской армии и чешского «Национального Совета». Воздействие знатных иностранцев не осталось безрезультатным: верхи чешского войска решили принять ориентацию на Колчака. Однако низы были настроены совершенно иначе. В декабре 1918 года должен был происходить делегатский с'езд чехо-словацких войск, являвшийся высшим органом чехо-словацкой армии в России. Так как генералы боялись выступить на нем со своей новой политической программой, то они решили вообще отложить созыв этого с'езда. Результатом данного шага был бунт чешских солдат в Екатеринбурге и целый ряд внутренних столкновений в рядах чехо-словацких войск в других местах. Волей неволей приходилось искать компромисса. И компромисс был найден: чехо-словацкие войска были сняты со всех фронтов и отведены в тыл для охраны сибирской железной дороги. А затем, с конца 1919 года началась их постепенная эвакуация на Дальний Восток и оттуда в Европу...

С'езд членов Учредительного Собрания попал в Челябинск как раз в тот

момент, когда там находились Нокс и Стефанек. Чешские генералы первоначально не знали, как им быть. Сыровой предлагал, например, отправить с'езд в г. Шадринск, отрядивши для его охраны специальный чешский отряд Однако с'езд запротестовал против подобной «ссылки», и потребовал своей отправки в Уфу, где еще продолжал существовать Совет Управляющих Ведомствами. Чехи согласились, и 23-го ноября с'езд прибыл в тот единственный город, где еще сохранялись последние остатки власти «демократии».

Однако зловещая тень смерти уже витала над с'ездом членов Учредительного Собрания. В самом с'езде произошел окончательный раскол между «правыми» и «левыми». Из Омска в Уфу по железной дороге двигались сибирские части для окончательной ликвидации учредиловцев. Чешское командование, к этому времени успевшее уже окончательно переменить свою ориентацию, заняло нейтральную позицию. Чешские войска в Уфе, ранее энергично поддерживавшие Совет Управляющих Ведомствами, теперь решили воздержаться от каких-либо активных действий. При таких условиях конец «демократии» становился вопросом дней и притом немногих дней. Действительно, в Уфе скоро появились колчаковские части, и в ночь со 2-го на 3-е декабря здесь повторилась история омского переворота: большая часть членов Учредительного Собрания была арестована, Совет Управляющих Ведомствами разогнан; его канцелярия опечатана. Некоторым из более видных эс-эров удалось бежать. В числе скрывшихся был и В. М. Чернов.

История завершила свой круг. Эпоха демократической контр-революции кончилась. Наступила эпоха контр-революции генеральской.

20. Заключение.

События, описанные на предыдущих страницах, сыграли решающую роль в развитии моего миросозерцания и во всей моей дальнейшей судьбе. Они оказались жестоким уроком, который заставил меня пересмотреть все мое политическое прошлое и, в конце концов, привел меня в коммунистические ряды. Впрочем, совершилось это не сразу и не без глубокой внутренней борьбы. Легко воспринимать новые взгляды тому, чье сознание представляет чистую поверхность: на ней ничего не написано, и она как губка впитывает в себя горячие письмена жизни. Мое сознание совсем не походило на эту чистую плоскость. На нем не только был написан, на нем был глубоко врезан мой идеологический символ веры. Врезан годами, революционной борьбой, умственной работой, тюрьмой, ссылкой, эмиграцией. Перед тем я 17 лет участвовал в революционном движении и 14 лет из них примыкал к меньшевистскому крылу социал-демократии. Прошлое воспитало во мне очень твердые убеждения и отказываться от них было очень не легко. Точно кожу приходилось отдирать с кровью, а это чрезвычайно мучительная операция.

В первые месяцы после колчаковского переворота я был охвачен состоянием какой-то политической летаргии. Было такое ощущение, как-будто бы я об'елся политикой. Не хотелось ни думать, ни читать, ни гово-

рить о политике. Внутренно я уже чувствовал, что мое прежнее казавшееся столь стройным миросозерцание дало непоправимую трещину. По совести, необходимо было бы заняться тяжелой и кропотливой работой по пересмотру и переоценке всего моего идеологического багажа. Но не было еще силы, не было решимости и энергии вплотную приступить к этой задаче. И, потому, мысль инстинктивно бежала от наболевших вопросов и искала забвения в областях, совершенно чуждых политике. Я очень хорошо помню, как, скрываясь зимой 1918—1919 г.г. на заимках (хуторах) под Омском, я запоем читал романы Сенкевича, фантастические рассказы Эдгара По и бесконечные приключения Шерлока Холмса. У меня было какое-то смутное сознание, что нужно проветрить, продезинфицировать мои мозги, насыщенные ядовитыми парами ложных политических воззрений, ибо, только придя в нормальное состояние, они могли удовлетворительно оправиться с предстоявшей им работой. В роле дезинфицирующего средства выступали Сенкевич, По и Конан-Дойль.

Только весной 1919 года ко мне вернулась способность думать и говорить о вопросах политики. Однако и теперь я менее всего способен был к каким-либо политическим действиям. Как раз в этот момент я приступал к переоценке идеологического наследства прошлого и ощущал острую потребность в известном уединении, где нетревожимый пестрыми и крикливыми голосами жизни мог бы легче разобраться в осаждавших меня недоуменных вопросах. Судьба улыбнулась мне: иркутское отделение Центросоюза предложило мне встать во главе экспедиции по экономическому обследованию Монголии, и 15 мая 1919 года я пересек под Кяхтой русско-монгольскую границу. И вот здесь-то, в полупервобытной обстановке Центральной Азии, среди пустынных гор и широких степей, всегда верхом на коне, я додумал до конца те мысли, первый толчок к которым дало Уфимское Государственное Совещание.

Ход моих мыслей был, приблизительно, таков.

Отправляясь в конце июля 1918 года в Самару, я ставил своей целью по мере моих сил помочь рождению демократической России. Ибо в то время я глубоко верил, что по своим об'ективным условиям наша страна дозрела только до хорошей демократии, и всякие попытки искусственно форсировать ход событий могут лишь отбросить нас далеко назад. Иными словами, в 1918 г. в обстановке русской революции я был сторонником капитализма, политическим выражением которого является демократия, и противником социализма, политическим выражением которого у нас была и остается Советская власть.

Я не скрывал от себя, что в борьбе с большевиками мне придется действовать совместно с реакционными элементами, но я был убежден, что в конечном счете не реакция с'ест демократию, а, наоборот, демократия с'ест реакцию, и таким образом силы реакции против собственной воли послужат благому делу укрепления народовластия. Моя вера во всемогущество демократии покоилась на убеждении, что Россия дозрела только до демократии и не больше. Ведь что это означало в переводе на язык политической

борьбы? Это означало, что выкинутое однажды знамя демократии стихийно должно собрать вокруг себя подавляющие массы населения, с помощью которых легко было бы не только сокрушить большевиков, но и держать в узде черносотенных генералов.

Жизнь жестоко посмеялась над этими теоретическими построениями. После нескольких месяцев борьбы, реакция без остатка с'ела демократию, выдвинув против «коммунистической диктатуры»—диктатуру генеральскую. И это, несмотря на то, что в Самаре «демократия» была представлена своими лучшими, наиболее революционными силами, что она выступала здесь одна, не отягчаемая мертвым грузом коалиционной крупной буржуазии. Как могло это случиться?

Данный вопрос неотступно стоял перед моим сознанием и требовал удовлетворяющего меня ответа. Я много думал над ним, десятки раз проверял и анализировал ход событий, свидетелем и участником которых я был, и, в конце концов, должен был признать, что моя оценка демократии была совершенно ошибочна.

Жизненность теоретических концепций проверяется исторической практикой. Идея демократии в условиях русской революции была поставлена на проверку и при этом оказалась битой самым жалким образом. Она не сумела собрать необходимых сил для своего утверждения в действительности. Но, если идея демократии не сумела собрать необходимых сил, ведь это значит, что она не жизненна. А если она не жизненна, то это, в свою очередь, означает, что по общему характеру своих об'ективных условий Россия подготовлена для восприятия каких-то иных форм политического и экономического бытия. Каких же именно?

После разгрома самарской «демократии» борьба шла между двумя крайними флангами: Советской властью, с одной стороны,—буржуазно-помещичьей монархией—с другой. Никакой стоящей посредине «третьей силы» не было. Когда еще в Москве я неоднократно слышал из уст большевиков злые насмешки над этой «третьей силой», я не верил им и убеждал себя, что «демократия» должна спасти Россию. Теперь приходилось сознаваться, что большевики были правы. Друг против друга стояли: Ленин и Колчак, между ними приходилось выбирать. Могла ли быть хоть минута сомнения в выборе для каждого искреннего революционера? Еще не будучи убежден рассудком в рациональности большевистской программы, я чувством уже склонился на сторону «коммунистической диктатуры», когда предо мной предстал этот выбор.

Но дальнейшее размышление привело меня к приятию и большевистской программы. Я уже убедился на горьком опыте, что «демократия» в России не имеет будущего. Было ли это будущее за монархической идеей, которую защищали Колчак и Деникин? Об этом, конечно, не могло быть и речи. Но тогда становилось ясно, что будущее принадлежит третьему из борющихся факторов—советской идее, которая олицетворяет собой диктатуру пролетариата. Очевидно, Россия оказывалась уже перезревшей для демократии и созревшей для перехода от капитализма к социализму.

Действительный ход событий вполне подтверждал это теоретическое допущение. Что было у большевиков летом 1918 года и позднее? Какой-нибудь десяток центральных губерний, без хлеба, без топлива, без железа, без выхода к морю. Государственного аппарата еще не существовало. Армии в подлинном смысле слова еще не было. В стране царили голод и холод, а внутренняя контр-революция каждодневно грозила ударом с тылу.

Что было в это время у противников большевиков? Силы их казались, поистине, неизмеримыми. За ними стояли рессурсы трех четвертей России. У них были хлеб, уголь, железо, морские пути сообщения. На них работали вековые традиции прошлого. На их стороне был весь капиталистический мир со всем могуществом своих материальных, военных и идеологических рессурсов.

Сопоставление этих двух величин могло казаться почти кощунственным: так ничтожны были силы большевиков и так необ'ятно громадны силы контр-революции! Настоящий поединок между Давидом и Голиафом, с той, однакой, разницей, что шансы большевистского Давида в несколько десятков раз были меньше, чем шансы Давида в библийской легенде. Кто мог при таких условиях сомневаться, что контр-революция одержит полную и безостаточную победу над Советской властью? Кто мог сомневаться, что белый генерал в'едет в Москву при колокольном звоне Кремлевских церквей? Так в начале 1919 г. казалось и мне.

А между тем жизнь еще раз жестоко посмеялась над моими (да и не только моими) кабинетными расчетами. В тот момент, когда я прорезывал со своей экспедицией пустынные пространства Монголии, гражданская война еще далеко не закончилась. Однако уже и тогда было видно, что диктатура Колчака клонится к быстрому упадку, а Красная армия неудержимо вливается в Сибирь. Правда, одновременно на юге Деникин и на северо-западе Юденич, как будто бы, одерживали крупные успехи, но после того, что совершилось на востоке России, как-то плохо верилось в устойчивость их победы. Во всяком случае ясно было одно: Советская Россия, несмотря на свое отчаянное внутреннее и внешнее положение, находила в себе колоссальный источник сил для борьбы не только с русской, но и с международной контрреволюцией. Советская Россия расправляла крылья и невольно рождался вопрос: откуда эти силы?

Я много думал над этим вопросом и в результате должен был прийти к выводу: очевидно, большевикам удалось нащупать в народной толще какую-то могучую жизненную струю, которая давала им столь поразительные крепость и упорство. Очевидно, та социалистическая революция, которую осуществляла «коммунистическая диктатура», имеет под собой какую-то реальную почву, она отвечает каким-то очень важным и серьезным интересам трудящихся, несмотря ни на холод, ни на голод, ни на кровь, ни на все разорение и весь ужас гражданской войны. Иного удовлетворительного об'яснения необычайного могущества большевиков я, как марксист, не мог найти. Но, если социалистическая революция оказывалась, таким образом не бессмысленной утопией, а исторически правомерным актом, тогда о чем же был спор?

С ранней юности я был социал-демократом, я отдал свои силы на служение революционному делу и всегда горячо стремился к уничтожению капитализма и к установлению на его развалинах социалистического хозяйства. Если в 1917—1918 г.г. я являлся противником большевиков, то это об'яснялось лишь моим убеждением в том, что немедленный переход к социализму в России наших дней об'ективно невозможен и что преждевременные попытки осуществления социализма не только не ускорят, а, наоборот, в сильнейшей степени затормозят наше движение к конечному идеалу. Теперь жизнь и коммунисты наглядно доказывали мне, что в моих соображениях крылась серьезная ошибка. Я видел эту ошибку, я не мог ее не признавать. Переход к социализму или, по крайней мере, начало перехода к социализму оказывалось возможным уже сейчас,—чего же лучше? Это было приятным и неожиданным сюрпризом, подаренным нам историей. Ему можно было только радоваться. И я действительно радовался. Но тем самым рушились основы, на которых стоял мой меньшевизм, и я идейно оказывался в одном лагере с большевиками.

Именно к этим выводам я пришел в конце 1919 года, с какового момента я и считаю начало моего перехода на новые идеологические рельсы. И как только окончательно совершился духовный перелом, так сразу во мне снова воскрес вкус к политике, снова загорелась жажда жизни и борьбы. Но я находился в то время в глубине Центральной Азии, за тысячи верст от Советской России, отрезанный от всего культурного мира безграничными пространствами гор, степей и пустынь. И мне не сразу удалось удовлетворить свою потребность к действию. Только осенью 1920 года я попал, наконец, в Иркутск и здесь смог уже официально выявить происшедшую во мне перемену. В начале октября я отправил в редакцию «Правды» следующее письмо (напечатано в № от 31 октября 1920 года):

«Уважаемый товарищ редактор!

«Позвольте на страницах вашей газеты сделать нижеследующее заявление:

«Принадлежа с 1903 года к меньшевистскому крылу социал-демократии, я в первый период нынешней революции разделял и поддерживал ту политическую линию, которую проводила меньшевистская партия. Вместе с партией я рассматривал революцию, как переворот буржуазно-демократического характера, вместе с партией я отстаивал идею коалиции и даже принимал участие в коалиционном правительстве в качестве одного из руководителей тогдашнего Министерства Труда, вместе с партией я видел предел достижения революции в Учредительном Собрании, долженствующем превратить Россию в демократическую республику социально-реформаторского типа. После октябрьского переворота я, опять-таки, вместе с партией, вступил на путь борьбы против Советской власти, и осенью 1918 года участвовал в качестве министра труда в правительстве Комитета Членов Всероссийского Учредительного Собрания.

«Разгром этого комитета и воцарение колчаковской реакции в Сибири,

совпавшие с концом 1918 года, нанесли тяжелый удар тем взглядам, в непогрешимости которых я так долго и непоколебимо был уверен, и с этого именно момента в моем политическом мировоззрении начался коренной и глубокий переворот. Находясь в течение последних двух лет вне политики и даже большей частью вне пределов России (17 месяцев я провел в Монголии во главе экспедиции Центросоюза по экономическому обследованию этой страны), я имел возможность более об'ективно, как бы со стороны, взглянуть на те грандиозные события, ареной которых в течение этого времени являлись Россия и Европа, и вместе с тем спокойно и беспристрастно оценить ту политическую линию, которую до того я защищал и отстаивал. Выводы, к которым я пришел в результате этой работы мысли, могут быть в основных чертах формулированы следующим образом:

«С начала мировой войны все культурное человечество вступило в полосу активного перехода от капитализма к социализму. В силу этого центральной идеей XX столетия является социальная идея, пришедшая на смену национальной, господствовавшей в эпоху великой французской революции и в течение большей части XIX века. При таких условиях каждая революция, совершающаяся в наши дни, естественно, должна принимать социалистический характер, даже в том случае, если не имеется полностью на-лицо всех необходимых предпосылок для успешного завершения социалистического переворота. Вот почему и российская революция в процессе своего развития неизбежно должна была поставить и действительно поставила перед собой социалистические задачи и с беспримерной в истории смелостью и решительностью сделала попытку осуществить эти задачи на практике в обстановке отчаянной борьбы против наступающей на нее со всех сторон международной буржуазно-империалистической реакции. Пусть строгий критик даже найдет в формах осуществления этой общей линии не мало ошибок, увлечений и неправильностей,—ни один здравомыслящий социалист не может, не должен все-таки отрицать полной исторической законности самой попытки обобществления народного хозяйства России. Только в процессе реализации подобной попытки постепенно может быть нащупана та грань, которая в условиях наших дней отделяет здесь область реально возможного от области утопии.

«Но постановка на очередь социалистических задач не может не иметь определенных политических последствий. Практическое осуществление этих задач, очевидно, возможно только в том случае, если государственная власть будет находиться в руках элементов, сочувствующих подобного рода начинаниям. Отсюда неизбежный вывод: как предпосылка обобществления народного хозяйства нужна политическая диктатура пролетариата и вообще трудящихся. В какой форме будет осуществлена эта диктатура, вопрос сравнительно менее важный. Есть много оснований полагать, однако, что «советская форма» диктатуры является далеко не худшей. Она во многих отношениях превосходит, например, диктатуру якобинских клубов эпохи великой французской революции.

«С указанной точки зрения становится совершенно ясным, что вся поли-

тическая линия меньшевиков, начиная с февраля 1917 года, была в корне ошибочна. Потому-то меньшевистская партия в ходе революции потерпела такое полное и безостаточное крушение. Наоборот, с той же самой точки зрения является совершенно бесспорным, что общая политическая линия большевиков была правильна,—оттого-то коммунистическая партия, несмотря на отдельные промахи и ошибки, в ходе революции превратилась в огромную силу, стала носительницей и воплощением самой революции.

«Прийдя к таким выводам, я, конечно, больше не мог оставаться тем, чем я до того был. Меньшевизм, его политические воззрения, его тактические построения, его психологические навыки стали мне глубоко чужды. Я понял и почувствовал, что, каков бы ни был конечный исход революции, долг каждого искреннего социалиста связать свою судьбу с судьбой той великой, поистине, всемирно-исторической попытки осуществления социализма, которая делается сейчас в России. Его долг—быть в рядах масс, ведущих героическую борьбу за установление царства истинного равенства и свободы, делить с массами все выпадающие на их долю радости и печали, вместе с массами, в ходе их неудержимого движения вперед, изживать их вольные и невольные ошибки и увлечения.

«Пока я находился в Центральной Азии, я не имел возможности дать практического выражения тем новым чувствам и стремлениям, которые зародились в моей душе в результате пережитой мной идейно-политической эволюции. Теперь, с возвращением в пределы России, я считаю своим долгом отдать свои силы и энергию работе на пользу и укрепление Советской республики.

Г. Иркутск, 12 октября 1920 г.».

С тех пор, как писались эти строки, прошло два с половиной года, и сейчас я внес бы в них некоторые изменения: я уточнил бы отдельные понятия, я заострил бы некоторые построения. Но в общем и целом я не имею оснований отказываться от моего тогдашнего письма. Оно правильно ставило вопрос и правильно характеризовало пережитую мной внутреннюю эволюцию. В моем личном развитии так же завершился определенный круг. И было уже естественным выводом из происшедшей перемены то обстоятельство, что, вскоре после опубликования вышеприведенного письма, я формально вступил в ряды Российской Коммунистической Партии.

Когда сейчас я окидываю одним общим взглядом историю минувшего пятилетия, и в частности тот эпизод, которому посвящены предыдущие страницы, я никак не могу понять тех из бывших моих единомышленников, которые до сих пор остаются на старых позициях 1918 года. Логика фактов на протяжении этого времени была так строго-неумолима, голос жизни так громко-определенен, что перед ними не могли бы устоять даже очень твердокаменные головы. То, что в 1918 г. было смутно и неясно, теперь не может возбуждать ни малейших сомнений. Тогда социалист во многом мог честно ошибаться, сейчас для таких честных ошибок больше места нет. И, кто в наши дни в России продолжает лепетать о восстановлении капитализма и

о прелестях «демократии», тот либо глупец, который ничему не научился у величайшей из революций, либо сознательный враг рабочего класса. Пусть каждый из тех, к кому относятся мои слова, по желанию, выбирает любую из двух альтернатив (третьей не может быть). И пусть не жалуется при этом, если пролетариат, защищая с таким трудом завоеванные позиции, иной раз грубо наступит ему на мозоль. Ни глупость, ни тем более преступление не могут пред'являть претензий на безнаказанность.

Деревня и бюджет.

Ю. Ларин.

Одним из центральных вопросов русской жизни является и долго еще будет являться вопрос о степени участия крестьянства в несении тягот государственного и местного хозяйства. Необычайно небрежное обращение со статистическими данными не раз вело в этой области к самым превратным представлениям. Иногда спокойно сравнивается нынешняя продукция сельского хозяйства с довоенной, при полном забвении, что до революции до 15% валового производства приходилось на капиталистические предприятия в сельском хозяйстве, а не на крестьянские. Иногда сумма нынешних государственных и местных доходов сравнивается только со старым государственным бюджетом при полном забвении о доходах волостных, городских и земских. Иногда при сравнениях совершенно упускаются из виду *промысловые* доходы крестьянства, и падающая на крестьян часть общего бремени сравнивается только с сельско-хозяйственной частью их доходов. Иногда к бремени, падавшему до войны на крестьянское хозяйство, совершенно забывают присчитывать уплату аренды за землю помещичью, удельную, казенную и монастырскую, а также платежи в крестьянский банк, и по прочим покупкам права на землю. Иногда забывают понизить цену нынешней продукции, соответственно нынешнему падению цен на деревенские продукты. Иногда сравнивают подсчеты, произведенные по разным индексам, отличающимся друг от друга на 15 и 20% и более. Иногда падение хлебных цен упрощенно распространяют на всю крестьянскую продукцию. Иногда определяют бюджет крестьянского хозяйства, как будто бы оно сплошь на все 100% было товарным и продавало на рынке решительно все свои продукты. Иногда соединяют вместе целый ряд таких методологических ошибок и присоединяют к ним еще некоторые дополнительные.

Между тем, в этой области, раньше, чем судить вкривь и вкось, необходимо уяснить себе действительную картину, а не те ее извращения и искажения, какие получаются в результате указанных выше неграмотных и небрежных операций. В этом прежде всего и состоит сейчас наша задача. Пользуемся мы исключительно официальными материалами, при чем всюду, где имеет место пересчет в довоенные рубли—мы заимствуем его у Наркомфина,

произведшего этот пересчет по всероссийскому индексу Кон'юнктурного института НКФина.

Продукция сельского хозяйства складывается из земледелия, животноводства, огородничества, садоводства. Перед войной, в нынешних пределах Советского Союза годовая цена этой продукции составляла около 6 миллиардов довоенных рублей. На этой величине сходятся, как подсчеты прежних правительств, так и нашего ЦСУ. Например, известная работа министра Временного Правительства Прокоповича о национальном доходе 50 губ. Европ. России дает около 5½ миллиардов для этого района, что за пропорциональным вычетом временно отошедших территорий (Бессарабия, Латвия и пр.) и с прибавлением Азии и Кавказа, приведет к величине немногим свыше 6 миллиардов. Наше ЦСУ определяет цену продукции сельского хозяйства в 1912 г. в тогдашних золотых рублях в нынешних пределах Советского Союза в 6.117 милл. руб. (ст. т. Попова в сборнике комиссии СТО «На новых путях», стр. 193, вып. 3). Из этой оценки можно, следовательно, исходить с достаточным приближением к истине.

Цену годовой продукции сельского хозяйства нельзя смешивать с годовым доходом крестьянского хозяйства. Чтобы получить крестьянский доход, надо из цены сельско-хозяйственной продукции вычесть ту часть, какая приходится на некрестьянское (помещичье, капиталистическое) производство, а затем надо прибавить к ней не-сельско-хозяйственные, т.-е. промысловы доходы крестьянства.

Не следует смешивать капиталистического *производства* в сельском хо зяйстве с помещичьей *собственностью*. Площадь помещичьих полей была го раздо больше того посева, какой помещики засевали при помощи *наемны рабочих*. Ибо бо̀льшую часть своих полей помещики сдавали в аренду кр стьянам и арендованные таким образом земли, обычно являлись частью кр стьянского хозяйства (и орудием обложения его в пользу помещиков путе взимания арендной платы за право пользования землею). По всероссийско сельско-хозяйственной переписи 1916 г. на настоящий *капиталистически посев* приходилось всего лишь около 10% всего посева страны, хотя площад *крупного землевладения* занимала гораздо большую долю всех удобных (т.-е пригодных для сельского хозяйства) земель. На основании многочисленны исследований земской статистики в разных частях России известно, что ка питалистические хозяйства более чем на половину превышали хозяйства кре стьянского типа по величине урожая с одной десятины и т. д. Потому из все годовой цены довоенной продукции сельского хозяйства приходится окол 15% на продукцию капиталистического, некрестьянского хозяйства. Следо вательно, из всех 6 миллиардов, на продукцию сельского хозяйства крестья приходилось до войны около 5,1 миллиарда рублей.

Строгий подсчет дал бы для крестьянского хозяйства, пожалуй, еще меньшую долю. Ибо, во-первых, к довоенному хозяйству крестьянского тип отнесены все владения менее ста десятин в каждом. Между тем, несомненно

часть их, особенно в области огородничества и садоводства (или, например, табачные плантации), были капиталистическими хозяйствами с десятками наемных рабочих. Во-вторых, при этих подсчетах, условно считались некапиталистическим хозяйством все крестьянские надельные владения (т.-е. полученные при освобождении от крепостного права, или вообще наделенные государственной властью, например, отведенные казакам, переселенцам, колонистам и пр.). Между тем, хотя и немного, но все же были и на этих землях (особенно среди казаков и колонистов) капиталистические хозяйства со сравнительно значительным количеством наемных рабочих. По обеим этим причинам приведенный расчет надо считать преувеличенным в пользу крестьянского хозяйства «нормального типа». Действительный размер продукции среднего крестьянского некапиталистического хозяйства был меньше, действительное положение крестьян до войны было несколько хуже, чем мы это здесь принимаем.

Что касается доходов крестьян от промыслов, то сюда входят как доходы от кустарной промышленности, так и от работы по найму в помещичьих экономиях, в отхожих промыслах (извозный, строительный промысел, лесные работы, услужение и т. д.), присылки от отпущенных на фабрики членов семьи и пр. Совокупность этих промысловых доходов крестьянства составляла перед войной около 1.300 милл. руб. в год (подробную сводку имеющихся данных читатель найдет в выходящей скоро книге т. Л. Крицмана «Пути русской революции», посвященной в значительной части дореволюционной экономике). При этом мы не принимаем, конечно, во внимание работы по найму внутри самого крестьянства. Поскольку одни крестьяне нанимали других, происходило лишь соответственное распределение итогов продукции между хозяевами и рабочими, при чем обе части входят уже в 5 миллиардов рублей, составляющих годовую цену продукции сельского хозяйства крестьян до войны. Наоборот, поступления от работы в помещичьем сельском хозяйстве должны быть засчитаны, как являющиеся дополнением к собственной продукции крестьянского хозяйства, а не простым ее распределением.

Конечно, если бы выделить специально крестьянина *середняка, кулака и беднейшего,* то пришлось бы учитывать и внутрикрестьянские отношения найма. Тем, что мы этого не делаем, мы опять-таки получаем для дореволюционного времени приукрашенную картину положения середняка и беднейшего. Но мы не делаем этого, во-первых, по недостатку охватывающих всю Россию достаточно полных данных, а во-вторых,—из желания скорее прикрасить положение среднего крестьянина до войны, чем принять его мрачнее действительного. Такое желание об'ясняется стремлением никоим образом не преувеличивать тяжесть обложения, лежавшего на крестьянстве до войны (в интересах беспристрастного сравнения с нынешней тяжестью).

Таким образом, в итоге, валовая сумма годового крестьянского дохода до войны в нынешних пределах Советского Союза составляла около 6.400 милл. довоенных рублей, по несколько преувеличенному расчету. Между тем, в нынешних пределах Советского Союза на 1 января 1914 г. на крестьянское на-

селение приходилось около 110 милл. человек (согласно данным ЦСУ в вып. I тома VIII его «Трудов»). Это дает в среднем 58 рублей довоенных валового дохода в год на одну душу крестьянского населения. Часть этого дохода поступала в денежной форме, от промыслов и от продажи части сел.-хоз. продуктов, а часть потреблялась в натуральной форме внутри самого хозяйства в виде известной доли производимого им хлеба, масла, и т. д. В общем, на это натуральное потребление приходилось около 50% всего среднего крестьянского бюджета. На другую свою половину крестьянское хозяйство было вовлечено в денежно-товарное хозяйство уже до войны.

Из 58 руб. на душу в среднем, которыми в общем,—в натуре и в деньгах—обладал крестьянин в год до войны, он должен был выплачивать царско-помещичьему государству весьма значительную часть в разных видах:

а) по государственному бюджету;

б) по земскому и волостному бюджету;

в) по платежам за право пользования ненадельной землей в виде арендной платы;

г) по платежам за право пользования ненадельной землей в виде процентов в «Крестьянский банк» и за покупные обществами и товариществами земли;

д) по страхованию.

Все эти платежи установлены весьма точно, ибо соответственные данные публиковались при царизме весьма аккуратно, так что спора о размерах падавших тогда фактически на крестьянское хозяйство платежей не было раньше и не существует теперь. Мы исключаем из сравнения платежи по страхованию по трем причинам: 1) в общей сумме они играли незначительную роль, 2) в настоящее время крестьянство обложено на страхования (от огня и так далее) еще меньше, чем до войны, 3) нет под рукой полных данных о страховании. Этот незначительный пропуск может изменить общую картину лишь ничтожно, притом в сторону сравнительного преуменьшения довоенного обложения крестьян, а не сравнительного преувеличения (ибо до войны тяжесть страхования была больше нынешней). Таким образом, мы и тут несколько приукрашиваем довоенное положение крестьян, в действительности оно было хуже.

Поступление *государственных* доходов за 1913 год, составило в тогдашней Российской империи 3.321 милл. руб. довоенных. Для надобностей сравнения работники НКФ исключили отсюда ту часть доходов, какая собрана на территориях, не входящих ныне в Советский Союз (Латвия, Эстония и т. д.). Тогда для нынешних пределов Советского Союза остается 2.712 м. р. довоенных (стр. 69 вып. 3 за 1923 г. «Эк. Сборн.», изд. «Эк. Ж.»). Но из этого нужно исключить оборотные расходы, т.-е. расходы по эксплоатации железных дорог, казенных заводов, почтово-телеграфной связи, по заготовке водки и т. д., покрывавшиеся доходами от них. Ибо эта оборотная часть расходов и дохо-

дов не являлась обложением населения, а представляла собой реальную цену действительно доставляемых населению продуктов или услуг. Общая сумма этих оборотных поступлений по всей Российской империи за 1913 г. составила около 1 миллиарда руб., а для нынешних пределов Советского Союза около 800 милл. руб. Чистое обложение по государственному бюджету составило таким образом по всей империи около 2.300 милл. руб., а в нынешних пределах около 1.900 милл. руб. Если бы тяжесть обложения распределена была поровну между всеми жителями (в соответствии с их числом, а не с их доходом), то на душу это дало бы в среднем около 14 руб. довоенных в год. Но доход крестьян был настолько ниже среднего дохода прочих частей населения, что путем государственного бюджета даже царское правительство, как показывает детальное рассмотрение статей дохода, брало с крестьян только по 10 руб. в год в среднем с души. В то время, как на остальных жителей приходилось в среднем почти по 30 руб. на душу.

Совокупность фактических поступлений по *местным* бюджетам за 1913 г. составила в бывшей Российской империи около 700 милл. руб., *не считая Польши и Финляндии.* Но из этой суммы около 300 милл. руб. приходится на городские самоуправления (точнее 297 милл. руб. согласно стр. 117 вып. 1 сборника комиссии СТО «На новых путях»). Эта часть при определении крестьянского обложения вовсе не принимается во внимание (хотя некоторые сборы поражали и посещавших базары крестьян и т. д.). Затем около 100 милл. руб. приходилось на волостные и сельские сборы, что можно считать почти полностью падающим на крестьян. Наконец, что касается земств, то по 40 губ. Европ. России, где введено было земское самоуправление—земские доходы составили 273 милл. руб. за 1913 г. (стр. 117 вып. 1 сборника комиссии СТО «На новых путях»). В отошедших от нас Латвии, Эстонии, Литве и Карсской области земств не было. Надо выключить Бессарабию и части отошедших к Польше губерний Волынской и Минской, после чего останется около 260 милл. руб. Сверх того земские сборы, хотя в значительно меньших размерах, собирались и в остальных нескольких десятках губерний и казачьих областей, где земств не было, в общем около 40 милл. Таким образом все земское обложение в нынешних пределах Советского Союза составляло перед войной около 300 милл. руб. в год.

По приводимым в сборнике комиссии СТО сведениям (стр. 117 там же) из всех доходов земств приходилось на сборы с земель, лесов и прочих недвижимых имуществ 64%, т.-е. около 200 милл. руб. Отбрасывая сборы с промышленных и прочих некрестьянских имуществ, получаем, что на крестьян падала почти половина всего земского бюджета или свыше 140 милл. руб. довоенных в год.

Всего по местному бюджету (волостной и земский) крестьянское обложение составляло таким образом перед войной в среднем 2 рубля довоенных в год с души. Государственное и местное обложение вместе во всех их видах и формах, прямых и косвенных, достигало в деревне, следовательно, всего около 12 руб. в год с человека. Но этой ценой крестьянин покупал себе право рабо-

тать только на той земле, которая была отведена ему государством в надел. А мы знаем, что крестьяне наделены были землей недостаточно,—с таким расчетом, что они обязательно должны были приарендовывать и прикупать у помещиков землю сверх надельной. Значительная часть крестьянского хозяйства велась на такой приарендованной и прикупленной земле. И за право пользоваться ею деревня облагалась в пользу господствовавшего класса уже не в форме государственного местного прямого и косвенного обложения, а в форме прямой уплаты помещикам непосредственно (при аренде) или через крестьянский банк (при покупках).

Размеры аренды и арендной платы многократно, но не одновременно, по всей России обследовались земскими статистическими бюро. Известно, что в последнее время перед войной арендная цена с десятины за пользование землей значительно возросла. Она сильно колебалась по районам, но в каждом районе установлен крупный рост. К сожалению, нет общей сводки за 1913—1914 хозяйственный год, последний перед войной. У нас есть несколько более устарелая и несомненно преуменьшенная, хотя признаваемая всеми авторитетной сводка С. Маслова, оценивающая аренду в 450 милл. руб. для Европ. России без Кавказа, Польши и Финляндии с крестьянским населением около 90 милл. чел. В среднем это дает 5 руб. на душу в год на уплату аренды, и мы принимаем во избежание всяких споров эту величину, хотя и считаем ее преуменьшенной по ряду соображений и данных, которые приводить сейчас не место (действительная величина должна быть не менее 6 руб. с души).

Наконец, что касается ежегодных уплат в пользу помещиков за прикупленные к надельным земли, то здесь надо принять во внимание среднюю ежегодную площадь прикупок за последнее десятилетие перед войной, продажную цену, величину процентов в иронически названный царским правительством «крестьянским» банк и вносимую сразу при сделке часть. В итоге оказывается, что все это ложилось в среднем на душу крестьянского населения в размере всего 1 рубля довоенного в год.

Общая тяжесть государственного и местного обложения, включая аренду и ипотечные платежи, достигала таким образом перед войной в среднем 18 руб. в год с крестьянской души при среднем годовом крестьянском доходе в 58 руб. на душу. Крестьянину оставалось, следовательно, для себя и для своего хозяйства по 40 руб. в год на человека (частью натурой и частью деньгами). Посмотрим теперь, как обстоит дело в настоящее время, в 1922—1923 хозяйственном году.

Продукция сельского хозяйства в 1922—1923 хоз. году по подсчету ЦСУ составляет 70% от продукции сельского хозяйства до войны (см. «Кризис сбыта» т. Попова в № 3 «Эконом. Обозр.», стр. 10: «Сельскохозяйственное производство сократилось по сравнению с довоенным временем на 30%»). В интересах легкости сравнения абсолютных размеров нынешней продукции сельского хозяйства с довоенной, мы будем проводить пока сравнение *в до-*

военных ценах, как будто бы реальные цены на продукты сельского хозяйства не понизились сравнительно с довоенным временем. А поправку на понижение цен до нынешнего уровня введем тогда, когда дойдем до продажи деревней части своей продукции (для уплаты налогов и для удовлетворения непродовольственных потребностей).

Таким образом, если нынешняя продукция сельского хозяйства составляет 70% довоенной, то довоенная цена нынешней продукции равна 4,2 млрд. руб. довоенных (вместо 6 миллиардов). Действительная величина скорее несколько выше, ибо, если взять прямой подсчет данных ЦСУ, то тов. Попов получает 4 млрд. рублей без Закавказья, Туркестана и Дальневосточья (см. ст. т. Попова «К вопросу о политике цен» в № 47 «Экон. Жизнь» за 1923 г.), а на эти три окраины вместе придется, конечно, более чем на 200 милл. руб. продукции сельского хозяйства. Так что мы можем считать оценку в 4,2 милл. руб. для всей совокупности продукции земледелия, животноводства, садоводства и огородничества Советского Союза скорее преуменьшенной, чем преувеличенной. Почти вся эта продукция приходится теперь на крестьянское хозяйство, ибо роль *совхозов* все еще столь невелика, что целиком уложится в то преуменьшение, на какое отстает от действительности цифра 4,2 млрд. руб. Вряд ли вся продукция совхозов превышает значительно 100 милл. руб. по довоенным ценам.

Стоит отметить, что если вся нынешняя продукция сельского хозяйства по отношению к довоенному времени сократилась на 30% и составляет лишь 70% прежнего, то в том числе *крестьянская* продукция, продукция крестьянского сельского хозяйства сократилась менее чем на 20% (с 5,1 млрд. руб. до 4,2 млрд. руб.) и составляет теперь свыше 80% довоенного. Сокращение сельского хозяйства, как и естественно при данных условиях, в значительной мере имело у нас место за счет исчезновения не крестьянского, а помещичьего *капиталистического* сельского хозяйства. Притом мы имеем здесь дело с годом, следовавшим непосредственно за годом исключительно тяжелым по неурожаю в длинном ряде губерний, почему в этих губерниях нельзя было полностью засеять полей и т. д. Теперь перед нами кампания 1923 г., которая следует за удовлетворительным в общем урожаем 1922 г., и потому размах крестьянского хозяйства чувствительно усиливается. По данным ЦСУ площадь озимых посевов оказалась на 18% больше предшествующей, а по сообщению члена коллегии НКЗема т. Митрофанова («Эк. Ж.» от 1-го апреля) можно ожидать увеличения и яровой площади. Таким образом, если в 1923 г. промышленность подымается до 30% своей довоенной продукции, считая по довоенным ценам [1]) (за 1922 г. в среднем, согласно подсчету Госплана она

---

[1]) Счет по довоенным ценам дает возможность сравнить размеры производства в их натуре: больше или меньше произведено ситца или хлеба. Но для сравнения реальной цены нынешней продукции в настоящее время надо вспомнить, что реальные промышленные цены в среднем поднялись на треть, а реальные сел.-хоз. цены в среднем понизились на четверть. Так что по цене, а не по количеству предметов соотношение таково: для промышленности 40%, а для крестьянского сельского хозяйства меньше 70% довоенной цены их продукции.

достигла 24%), то крестьянское сельское хозяйство достигнет уже не менее 90% своей довоенной продукции, тоже считая по довоенным ценам.

Если по размерам производства крестьянское сельское хозяйство уже в 1922—1923 хоз. году отставало от своей довоенной величины менее, чем на одну пятую (а по современной своей цене менее чем на одну треть), то гораздо значительнее оказывается сокращение *промысловых* доходов крестьянина. Осталась сильно сжавшаяся кустарная промышленность (оценивавшаяся ЦСУ для 1922 г. несколько выше 100 милл. руб. по довоенным ценам—если взять 1922—1923 хоз. год, то оценку эту придется повысить), затем довольно значительные лесные работы, очень слабый платный извоз, незначительные занятия в совхозах, торфяные работы и т. д. Присылки из города можно считать прекратились. В целом доход крестьянства от промыслов сократился, примерно, в пять раз против довоенного и составляет лишь около 250 милл. руб. довоенных в год.

Общая сумма крестьянского дохода составляет, таким образом, в 1922—1923 хоз. году всего около 4.450 милл. руб. по довоенным ценам, при чем составные части этого дохода изменились таким образом:

	до войны	теперь
От сельского хозяйства	80%	95%
» промыслов	20%	5%

Крестьянский бюджет, как и следовало ожидать при данных условиях, стал в гораздо большей степени сельско-хозяйственным, чем раньше. Что же касается размеров его на душу, то он достигает лишь немногим больше 40 руб. на душу в год по довоенным ценам, в том числе 38 руб. от сельского хозяйства и 2 рубля от промыслов. А до войны он равнялся 58 руб. в том числе 46 руб. от сельского хозяйства и 12 руб. от промыслов, при чем за вычетом всех видов обложения крестьянству оставалось 40 руб. для себя и своего хозяйства. Теперь же из 40 руб. приходится еще платить налоги, да отчасти еще терять на цене при продаже поступающей на вольный рынок части своей продукции. Перейдем к установлению обеих этих величин.

Подсчет падающего на крестьян обложения значительно облегчается в настоящее время тем, что нет аренды, нет ипотечных платежей, надо только определить крестьянскую долю во всей совокупности государственных и местных доходов. Для этого мы пользуемся ориентировочным государственным и местным бюджетом на 1922—1923 хоз. год, составленным Наркомфином в довоенных золотых рублях по всероссийскому индексу Кон'юнктурного института НКФ и опубликованным в течение марта (государственный бюджет— тов. Сокольниковым в «Торг.-Пром. Газ.» от 1-го марта и местный—в «Экономической Жизни» от 27 марта).

Вся сумма государственного бюджета, составляет согласно этому 1.211 милл. довоенных руб. золотом. Чтобы получить товарные рубли Гос-

плана надо все цифры бюджета НКФина увеличивать на 10%, т. ч. общая сумма бюджета по Госплану будет 1.333 милл. руб. товарных. Но в интересах сравнения и во избежание лишних пересчетов мы будем везде дальше считать не в товарных рублях Госплана, а так, как считал Наркомфин, в золотых довоенных рублях по всероссийскому индексу Кон. инст.

Из государственного бюджета необходимо исключить оборотные поступления, не являющиеся обложением населения, а лишь платой (притом обычно уменьшенной ниже себестоимости) за фактически оказываемые хозяйственные услуги. Сюда относятся транспорт и Наркомпочтель, что вместе составляет 295 милл. руб. Остальные оборотные поступления в бюджете незначительны, на них можно считать около 6 милл., так что без этой оборотной эксплоатационной части, весь государственный бюджет составляет на текущий хозяйственный год 910 мил. руб., которые и должны быть собраны с населения в различных видах (продналог, эмиссия, денежные налоги, займы и пр.).

Что касается местного бюджета, то все поступления по нему ожидаются в размерах 315 милл. руб. Из этого нужно исключить, во-первых, выдачу из средств государственного бюджета (денежные и натуральные дотации и ссуды), как уже засчитанные по государственному бюджету, что составляет 75 милл. руб. Во-вторых, надо исключить оборотные эксплоатационные расходы по коммунальным и прочим предприятиям (48 милл.) и имуществам (2 милл.), а всего 50 милл. Таким образом, та часть местного бюджета, которая в разных видах и формах является обложением населения (напр., в виде значительного чистого дохода от предприятий и имуществ в размере 70 милл. руб.), эта часть составляет лишь 190 милл. руб. в год.

Вся сумма предполагаемого извлечения средств из населения всеми приемами и во всех формах по государственному и местному бюджету вместе составляет, таким образом, всего 1.100 милл. руб. Можно, конечно, сомневаться, будет ли бюджет во всех решительно частях выполнен в 100%. Действительность не приучила нас к этому, а так как из бюджетного года половина уже прошла, то не найдется никого, кто решился бы признать преувеличением предположение, что в общем бюджет будет за год недовыполнен на 10%. Если бы удалось достичь, что бюджет на деле будет недовыполнен за год только на 10% и составит реально 1.000 м. руб., вместо предположенных 1.100 милл. руб.—все были бы довольны таким результатом. Но мы все-таки будем вести подсчет, как будто бы все предположения обязательно будут выполнены в 100% и только в конце подсчета уменьшим результат на 10%, чтобы не слишком преувеличивать тяжесть обложения против реально существующей.

Надо подсчитать, какая часть всех 1.100 милл. руб. падает на крестьянство. Сначала приведем основные черты нашего подсчета, а затем для сравнения сообщим результаты, к каким пришли по этому поводу работники Наркомфина, в лице сообщившего их в «Правде» тов. Владимирова.

По государственному бюджету с крестьян поступает, во-первых, натурналог в размере 250 милл. руб. Из остальных 60 милл. прямых налогов (про-

мысловый, денежная часть гужналога и т. д.) с крестьян поступает около 17 милл. руб. Затем, из 145 милл. руб. косвенных налогов и пошлин на крестьян, как показывает детальный разбор, приходится не свыше 40%, что дает 58 милл. руб. Из эмиссии, определяемой бюджетом в 311 милл. руб., надо считать на долю крестьян теперь треть, что дает 104 миллиона руб. Правда, работники Наркомфина в полемике против меня не раз утверждали, что эмиссия теперь почти целиком поражает именно промышленность и рабочих. Но полагаю, что было бы преуменьшением крестьянского обложения, если бы действительно, почти ничего не считать из эмиссии на долю крестьян. Треть взята мною по той причине, что почти вся эмиссия через НКФ или Госбанк раньше всего попадает для выдачи заработной платы рабочим и служащим, как состоящим на бюджете, так и хозрасчетным. При их численности и при нынешнем среднем заработке легко видеть, что этого достаточно для помещения всей эмиссии и требуется еще даже добавка, выдаваемая обычно транспорту и прочим натуральными отпусками в счет ассигновок (из продналога) и добавлением дензнаков из денежных поступлений. Между тем бюджет рабочих и служащих показывает, что на продовольствие сельско-хозяйственного происхождения они тратят в настоящее время в среднем лишь одну треть своего бюджета. Не выше трети эмиссии идет, таким образом, на извлечение продуктов от крестьян (скорее меньше, ибо часть этой трети остается у городских посредников).

Что касается 72 милл. руб., ожидаемых от займов, то поскольку речь идет о хлебном займе, то он погашается так быстро, что не может быть речи об обложении, об извлечении этим путем из деревни средств надолго—это, действительно, краткосрочная кредитная операция, завершающая весь свой круг менее чем в один год. Поскольку же речь идет о выигрышном займе, он размещается преимущественно в городах (попадающая в деревню часть более чем уравновешивается размещаемой в городе частью хлебного займа).

Остальные денежные поступления необоротного характера по государственному бюджету составляют 71 милл. руб., и по характеру этих поступлений, даже при несколько преувеличенном подсчете, нельзя считать падающими на крестьян свыше 30 милл.

Наконец, что касается местного бюджета, то из 190 милл. прежде всего, как было уже указано, на чистый доход от предприятий и имуществ приходится 70 милл. Из остальных 120 милл. на долю крестьянского обложения приходится менее 52 милл. руб., и это еще весьма хороший процент в сравнении с тем, что было в предшествовавшем бюджетном году (1922)—увеличение в несколько раз.

Таким образом, в общей совокупности на крестьян падает не свыше 511 милл. руб. из общей суммы (1.100 милл. руб.) по всем видам извлечения рессурсов по государственному и местному бюджетам вместе, в том числе половина приходится на натурналоги, одна пятая на эмиссию и остальное на денежное обложение (около 30%). Выше мы указали, что полученный результат для его реальности надо уменьшить не менее чем на 10%. Собственно, мы делали подсчет с такими преувеличивающими долю крестьян допущениями.

что можно было бы без риска допустить уменьшение и более чем на 10%. Но, ограничиваясь даже только этими 10%, получаем, что вся падающая на крестьян тяжесть обложения во всех его видах составляет реально только 460 милл. руб. довоенных на 1922—1923 хоз. год, считая все.

Это по нашему подсчету, а по оценке замнаркомфина тов. Владимирова, опубликованной им в «Правде» (ст. «Жить по средствам») вся тяжесть крестьянского обложения достигнет в 1922—1923 г. лишь 450 милл. руб. Следовательно, в данном случае почти точно сходятся результаты подсчетов и моих, и наркомфинских. Я не очень склонен поздравлять себя с таким результатом, ибо преувеличенность оценки НКФина, вряд ли может вызывать сомнения—у меня же преувеличенность преднамеренная, вытекающая из толкования всех сомнительных случаев в сторону переоценки наличной тяжести крестьянского обложения, чтобы не впасть в ее недооценку.

Во всяком случае, раз и критики и апологеты сходятся на одном, то можно считать с уверенностью всю годовую тяжесть крестьянского обложения никак уж не превышающей 450 милл. руб. А так как, согласно данным нашего ЦСУ, на сельское население у нас приходится теперь 110 милл. чел. (как и перед войной в наших пределах), то все обложение составляет теперь 4 рубля довоенных в год на душу, если считать в современных ценах, в которых составлен бюджет. Если бы все обложение крестьяне покрывали исключительно хлебом (чего в действительности нет), то, для выражения этой величины в довоенных цифрах, ее надо было бы увеличить на треть (ибо довоенные хлебные цены выше нынешних) и тогда мы получили бы 5 р. 30 к. Это значит: если бы весь налог уплачивался хлебом, то надо было бы продать столько хлеба, сколько до войны стоило 5 р. 30 к. Наконец, если не предполагать реальный бюджет на 10% ниже предложенного НКФином ориентировочного, а ожидать выполнение его в 100%, то полученную величину надо соответственно увеличить. Тогда получим размер совокупности крестьянского обложения (при оценке продукции в довоенных ценах) почти в 6 руб. на душу. Это, кстати сказать, и есть та величина, которую приводит член коллегии НКФина, т. Преображенский.

До войны вся совокупность обложения составляла на душу, как мы знаем, 18 руб. в довоенных ценах. Абсолютная тяжесть обложения деревни уменьшилась.

Для невнимательного или для неосведомленного наблюдателя это маскируется тем, что *прямое* обложение стало больше (благодаря продналогу). Прямое обложение теперь выше, чем при царизме, даже если взять все население Советского Союза, а не только одних крестьян. В 1913 г. все прямые государственные налоги в нынешних пределах Советского Союза дали только 210 милл. руб. (стр. 69 «Эк. Обозр.» за март 1923 г.), а по ориентировочному бюджету НКФина на 1922—1923 хоз. год, они должны дать 310 милл. руб., не считая еще местных надбавок к государственным налогам (напр., к промысловому). Но косвенные налоги, составлявшие раньше основную массу доходов (водка, акцизы, пошлины), сократились во столько раз по сравнению с довоенным, что это сокращение более чем покрывает рост прямых налогов.

Однако, крестьянину, который помнит, сколько он платил до войны *прямых* налогов и совершенно не знает, сколько с него собиралось *косвенных* (и совершенно не причитывает к обложению *аренду)*, крестьянину кажется, что с него берут больше прежнего. Прежний режим брал гораздо больше нашего, таким косвенным скрытным путем, что крестьянин замечал меньше, чем когда мы берем в общем мало, но прямо. Ведь у нас косвенным путем берется почти лишь одна эмиссия, да неполучившие особо крупного значения акцизы и т. п.

Совершенно ясно, однако, что для благосостояния крестьянства решающее значение имеет не форма, а размер взимания. Чтобы оценить относительную тяжесть установленного обложения для нынешнего крестьянского дохода, надо учесть процент товарности нынешнего крестьянского хозяйства, сделать поправку на понижение сельско-хозяйственных цен для соответственной части продукции и т. д., к чему теперь и переходим.

Мы видели, что в довоенных ценах нынешний средний годовой доход деревни составляет 40 руб. на душу, из них 2 руб. от промыслов и 38 руб. от сельского хозяйства. Из этого дохода отчуждается на сторону: 1) натуральный налог, 2) продается часть для уплаты денежных налогов, 3) продается часть с целью закупок для себя. Сверх того, сумма рыночных отношений крестьянина должна вести к извлечению из его хозяйства части, соответствующей падающей на него доле эмиссии. Иначе на его долю не приходилось бы вообще вовсе покрытие эмиссии в какой бы то ни было доле.

Мы видели выше, что если предположить выполнение государственного и местного бюджета в 100%, то на долю деревни пришлось бы 511 милл. руб. обложения во всех его явных и скрытых формах, считая в современных ценах. На душу это дает около 4 руб. 60 коп. (что при уплате только выручкой от продажи хлеба потребовало бы продажи такого его количества, какое до войны стоило бы около 6 руб.). Из этих 4 руб. 60 коп. приходится, как мы знаем, на натурналоги около 2 р. 30 коп., на эмиссию около 1 руб. и на денежное обложение около 1 руб. 30 коп. на душу в год, считая по современным ценам в довоенных золотых рублях по индексу НКФ.

За покрытие натурой внутри-хозяйственных потребностей (пища людей, корм скота, семена и пр.) и за исключением внутрикрестьянских сделок, у деревни остается на продажу для 1922—1923 г. по подсчету ЦСУ не более чем на 500 милл. руб. зол. по современным ценам (см. ст. т. Попова «Кризис сбыта» в «Эк. Обозр.» за март 1923 г., стр. 9). Покупки крестьянами друг у друга продуктов полеводства и скотоводства совершенно правильно не включены нашим ЦСУ в эту величину, ибо являются лишь внутренней передвижкой, не существенной для определения взаимоотношения деревни с внешним для нее миром (напр., уплата налогов государству, покупка продуктов промышленности). Наоборот, эти внутренние передвижки и отношения между различными частями деревенского населения весьма важны для учета, в какой доле

падает проводимое ныне обложение на беднейшего крестьянина, в какой на середняка и в какой на зажиточного. Выяснение действительного классового распределения нынешнего деревенского обложения между различными частями населения деревни является для нас одним из важнейших вопросов. Но сейчас мы занимаемся здесь не им, а вопросом о совокупности деревенского обложения и товарной связи деревни с городом, как целого. Для такого рассмотрения вполне правильно произведенное ЦСУ исключение внутрикрестьянских сделок из учета рессурсов для оборота вообще и никем не оспаривалось.

Итак, из всей своей промысловой и сельскохозяйственной продукции крестьяне имеют на продажу в текущем сельскохозяйственном году на сумму до 500 милл. руб. золотом, что дает на душу около 4 руб. 50 коп. в год. Из этого нужно заплатить 1 р. 30 коп. с души денежных налогов и сборов, а 3 р. 20 к. в современных ценах остаются для всяких закупок для себя предметов ремесленной и фабричной промышленности, для оплаты поездок по железной дороге и пользования почтой, для хотя бы льготной уплаты за получаемый лес и т. д. Вместе с тем при производстве этих закупок и уплат на 3 р. 20 к. современных, из крестьянина должен быть извлечен падающий на него 1 р. в год по современным ценам на душу, составляющий его долю в эмиссии. Ибо другого случая для извлечения из него этой доли эмиссии нет: остальную часть своего дохода он или потребляет натурой в своем хозяйстве, или сдает государству тоже натурой.

В действительности дело происходит даже еще сложнее: ведь из 1 р. 30 к. денежного обложения с души, крестьянин вносит в форме *прямых* государственных и местных денежных налогов, примерно лишь треть, т.-е. 45 коп. А остальные 90 коп. с души с него взимаются различными видами *косвенного* обложения. Так что если он всего продает на 4 р. 50 коп. с души по современным ценам, то из них он в виде прямых налогов внесет государству и местным исполкомам лишь 45 коп., а остальные свыше 4 руб. потратит как бы для удовлетворения своих нужд. Но в действительности при закупках и уплатах за оказываемые услуги из этих 4 руб. он внесет 90 коп. государству и местам, путями косвенного обложения. И кроме этого, производя эту продажу своей продукции на 4 руб. и затем удовлетворяя свои потребности на эту выручку—он должен еще при этой операции потерять продуктов бесплатно на 1 рубль на душу, чтобы покрыть приходящееся на его долю извлечение продуктов путем эмиссии.

Откуда берутся те 4 руб. 50 коп. на душу по современным ценам, на какие крестьянин продает свою продукцию? Отчасти из промыслового дохода, отчасти из продукции сельского хозяйства. Кустарные изделия главным образом обслуживают самоё деревню (самодельные ткани, колеса и т. д.). Промысловые заработки употребляются преимущественно на внутрикрестьянские закупки продовольствия, ибо прирабатывают на стороне обычно члены тех семейств, где не хватает своего продовольствия. Потому для закупок в городе и т. п. из промысловых доходов можно считать лишь небольшую часть, примерно 30 к. на душу по современным ценам (весь промысловый доход, как мы помним, 2 руб. в год на душу и так как он, несомненно, в подавляющей ча-

сти получает указанное выше назначение, то ошибка здесь вообще не может быть велика).

Остальные 4 р. 20 коп. на душу по современным ценам надо получить, продав соответственную часть своей сельскохозяйственной продукции. По оптовым индексам Госплана средний уровень цен для хлебных продуктов составляет теперь 72% довоенных цен, а средний уровень цен продуктов животноводства до 84%. В среднем сельскохозяйственные цены составляют, таким образом, около трех четвертей довоенных. Поэтому, чтобы выручить по современным ценам 4 руб. 20 коп. золотом, надо продать на одну треть больше сельскохозяйственных продуктов, чем пришлось бы для этого продать до войны. К 75% надо прибавить 25% для получения 100%, так и выходит, что при падении цены на четверть приходится продавать товаров больше на треть для получения требуемого количества рублей золотом. Таким образом, для получения 4 руб. 20 коп. по современным ценам, надо продать такое количество сельскохозяйственных продуктов, какое до войны стоило 5 руб. 60 коп.

Выше мы видели, что в виде натурналога в среднем вносится по 2 руб. 30 коп. на душу по современным ценам. Натурналог почти сплошь вносится хлебом, так как роль натуральной части трудгужналога в общей массе натурального обложения сравнительно невелика. Цены хлеба по оптовому индексу Госплана пала на 28% против довоенной и уже длительно стоит на этом уровне. Потому натурналог на 2 руб. 30 коп золотом на душу по современным ценам соответствует такому количеству хлеба, какое по довоенным ценам стоило 3 руб. 10 коп. Мы знаем, что вся крестьянская продукция сельского хозяйства составляет теперь почти 38 руб. на душу по довоенным ценам,—значит натурналог по отношению к ней составляет в среднем 8%.

У нас часто сравнивают размер натурналога не со всей продукцией сельского хозяйства, а только с продукцией хлеба (включая картофель), и понятно получают неправильно преувеличенный результат. Ведь цена хлеба и картофеля составляет только менее половины цены всей продукции сельского хозяйства, а остальное приходится на продукты животноводства (масло, кожи, мясо, молоко и т. д., считая, конечно, и собственное крестьянское потреблеоление), на продукты садоводства и огородничества, на технические растения (лен, хлопок, табак и т. д.) и на все остальные продукты полеводства кроме хлеба и картофеля (напр., свекла, сено с лугов и пр.) [1]). Если бы

[1]) По обследованию ЦСУ („Стат. Ежегодник", изд. 1923 г., стр. 326—327) валовая продукция крестьянского хозяйства, в процентах к общей, составляет по районам потребляющему и производящему (в 1921—1922 г.):

	Потребл.	Производ.		Потреб.	Производ.
Хлеб	22%	22,8%	Садоводство	1,8%	11,9%
Картофель	6,9%	7,4%	Луговодство	19,4%	6,2%
Солома	7,3%	6,1%	Животноводство	27,5%	26,0%
Масличные	1,9%	2,2%	Лес	4,9%	2,2%
Проч. полев.	0,4%	3,4%	Птица	0,8%	2,1%
Огород	3,8%	4,6%	Промысла	2,3%	4,0%
Пчелы	0,9%	1,1%			

натуральный налог с сельского хозяйства неправильно рассчитывать не на всю продукцию сельского хозяйства, а только на хлеб с картофелем, то должно было бы получиться не 8%, а свыше 16%. И действительно, по произведенному тов. Поповым в ЦСУ подсчету (см. «Эк. Обозр.» за март 1923 г. стр. 12) оказывается, что «продналог и другие поступления в натуре по отношению к валовой продукции зерновых культур и картофеля составляет в 1922—1923 году по РСФСР 14%, по Украине—11%, а в среднем по Союзу Советских республик—13%».

Теперь можно подвести некоторые итоги «товарности» крестьянского хозяйства и относительной тяжести обложения.

До войны, как упоминалось, крестьянское хозяйство было денежно-товарным свыше чем на 50% своего бюджета. Остальная часть потреблялась натурой. Теперь крестьянское хозяйство является денежно-товарным примерно только на 25% и натуральным на 75% своего бюджета. Весь бюджет, если считать по довоенным ценам, составляет 40 руб. на душу, из них:

а) Промысловые доходы 2 руб. (из них небольшая часть на уплату налогов и т. д.).

б) Натурналог на 3 руб. 10 коп.

в) Продается сельскохозяйственной продукции на 5 руб. 60 коп. (для оплаты налогов и приобретаемых некрестьянских товаров и услуг).

Остается для натурального потребления внутри собственного хозяйства свыше чем на 29 руб. по довоенным ценам. А до войны оставалось для этого также не более чем на 29 руб. (т.-е. 50% от 58 руб. всего дохода на душу), тоже считая по довоенным ценам. Иначе сказать, уровень натурального потребления крестьянином и его хозяйством не понизился сравнительно с довоенным временем даже и абсолютно. Крестьянство полностью сохранило эту важную позицию. На этой части своего бюджета, кстати сказать, оно ничего не теряет и от падения сельскохозяйственных цен, ибо потребляет ее натурой (а она составляет почти три четверти всего бюджета).

На понижении цен крестьянство теряет только при продаже той части продукции, какую вообще продает—истина неоспоримая. А продает оно сельскохозяйственных продуктов всего на 5 руб. 60 коп. на душу в год по довоенным ценам из всей своей сельскохозяйственной продукции в 38 руб. на душу в год по довоенным ценам. Следовательно, продает оно всего только немногим *более 14% своей сельскохозяйственной продукции*, одну седьмую часть [1]). Понятно, потеря на ценах не может иметь решающего значения для хозяйства при такой роли продажи, даже если эта потеря составляет как теперь в среднем 25% сравнительно с довоенными ценами. Ибо это сводится к потере лишь около 3% всей продукции в год.

---

[1]) По прямому обследованию ЦСУ („Стат. Ежегодник", изд. 1923 г., стр., 322—323) с 1921—1922 г. из всего валового доходного бюджета крестьянина (натурального и денежного вместе) на поступления от продаж и обмена приходится в производящем районе 14,9% и в потребляющем районе только 5,3%.

Продавая сельскохозяйственных продуктов на 5 р. 60 к. зол. в год на душу по довоенным ценам, деревня получает за это в действительности лишь 4 р. 20 к. зол. Следовательно, потеря равна *излишней отдаче* такого количества хлеба, какое до войны стоило 1 руб. 40 коп. ***В этом и заключается секрет покрытия крестьянами той доли эмиссии, какая на них теперь падает.*** Механизм заключается в том, что город дает деревне известное количество бумажных денег и в обмен за него получает столько сельскохозяйственных продуктов, сколько до войны стоило 5 руб. 60 коп. довоенных. А затем, когда крестьянин сейчас же то же самое количество бумажных денег пред'являет для оплаты налогов или для оплаты железнодорожных услуг или для закупки городских изделий и т. д., это самое количество бумажных денег считается способным оплатить лишь 4 руб. 20 коп. довоенных по современным ценам. В результате, государство (и снабжаемый им эмиссией город) извлекает из деревни хлеба и других сельскохозяйственных продуктов на 1 руб. 40 коп. по довоенным ценам, не давая ничего реального взамен кроме «эмиссионных» бумажек, тут же принимаемых обратно по пониженной расценке, раз речь идет уже не о закупке на них продукции сельского хозяйства.

В итоге, на руках у государства и вообще города, оказывается извлечен ной этим путем продукции сельского хозяйства на 1 руб. 40 коп. по довоенным ценам с каждой души крестьянского населения в среднем в год. По современным ценам это составляет около 1 руб. золотом, ибо, как мы знаем, современная реальная цена сельскохозяйственных продуктов в среднем на 25% ниже их довоенной цены. ***Так и извлекается тот один рубль золотом путем эмиссии с каждой крестьянской души, какой падает на нее, как мы видели, по государственному бюджету.*** Другого пути для такого извлечения из крестьянства эмиссионного дохода при нынешних условиях нет, ибо в остальных частях своего бюджета, крестьянское хозяйство или натурально, или сдает государству налог натурой же и т. д. (см. выше).

Понятны поэтому ребячество и неэкономичность такого подхода к делу, когда кто-нибудь пожелал бы сразу и сохранить в государственном бюджете доход от эмиссии,—этак миллионов на триста золотом, в год в том числе не меньше чем на сто миллионов с деревни,—да при этом еще одновременно уравнять нынешние реальные сельскохозяйственные цены с довоенными, поднять их с 75% до 100%. *При нынешнем положении понижение уровня сельскохозяйственных цен против довоенного является основным методом извлечения эмиссионного дохода из деревни.* Вычеркнуть же эмиссионный доход из своего бюджета, вычеркнуть этот *скрытый вид обложения* Советский Союз имеет возможность лишь путем увеличения на равную сумму ***явных видов обложения.***

Эмиссионный доход не падает с неба и не рождается каким-нибудь чудесным образом. В условиях каждого типа хозяйственных взаимоотношений действует *соответственный* механизм его извлечения. При военном коммунизме свой, при господстве рыночных методов свой. Ныне, в условиях применения товарно-рыночных методов—эмиссионный доход, поскольку он падает

отчасти на деревню, может извлекаться путем только более низкого уровня сельскохозяйственных цен сравнительно со средним уровнем цен в стране. Выше мы видели, что для деревни это означает потерю лишь около 3% продукции, т.-е. величину сравнительно незначительную для уничтожения «стимула» (достаточного побуждения, достаточной заинтересованности) к дальнейшему ведению хозяйства. Эта величина и является скрытым налогом на деревню в форме эмиссии.

Государство заинтересовано в замене этого скрытого налога явным по целому ряду всем известных соображений, о которых можно здесь не распространяться, хотя бы потому, напр., что главной массой своей тяжесть эмиссии падает теперь как раз на пролетариат. Так как пролетариат выступает на рынке не продавцом вещественных товаров, а продавцом рабочей силы, то здесь механизм извлечения эмиссионного дохода несколько иной, но тоже лежащий, разумеется, в области *рыночных отношений*—другого пути для извлечения эмиссионного дохода нет. Только здесь он извлекается не обесценением товаров, а обесценением рабочей силы, выступающей на рынке в качестве потребителя после получения заработной платы. В самом деле, у нас имеется около 5 миллионов рабочих и служащих.

Средний заработок около 12 руб. товарных в месяц, что дает около 60 милл. руб. в месяц на всех. Между тем на пролетариат падает около 200 милл. руб. эмиссии в год, т.-е. около 18 милл. руб. в месяц. Значит, для возможности этого заработок должен обесцениваться в среднем на 30% в месяц.

Механизм этого обесценения очень прост. Допустим: рабочие по окончании месяца работы точно, сполна и аккуратно получают на 12 товарных рублей советские бумажные деньги по курсу дня. Для обесценения, соответствующего величине падающей на них доли эмиссии, они должны потерять примерно 30% из этих 12 руб., ибо на общий месячный заработок в 60 милл. руб. падает извлечение эмиссией в 18 милл. руб. Это и происходит путем постепенного роста примерно на 30% дороговизны в тот месяц, в который рабочие фактически расходуют полученный ими заработок, т.-е. в месяц, следующий за его получением. Таким образом, реально всяких продуктов и услуг рабочий получит в конце концов значительно меньше, чем те 12 руб., какие он получил 30 апреля за работу в течение апреля месяца. Это означает, что разница, т.-е. соответственная часть его рабочей силы, вошедшая в цену изготовленных на фабрике или заводе изделий,—разница получена фактически фабрикой бесплатно, т.-е. за ту часть бумажных денег, за какую потом, в течение последующего месяца своей жизни, рабочий ничего не получил на рынке, вследствие постепенного обесценения бумажных денег в течение этого месяца.

С тех пор, как у нас установились сравнительно устойчивые рыночные отношения, как изжиты были последствия голода и т. д.—примерно с ноября 1922 г.—у нас и происходит среднее обесценение советского рубля примерно на 30% в месяц. Конечно, каждый тип отношений имеет свои особенности и

нельзя ожидать сохранения наличных рыночных отношений неизменными на ряд лет под-ряд. Они были иными весной 1922 г. и будут, вероятно, иными весной 1924 г.—будут меняться пропорции, численные выражения эмиссионного дохода и постепенно он вообще сойдет на-нет, замененный переложением обложения главным образом на другие классы. Точно так же нельзя некритически распространять представление о роли указанного механизма извлечения эмиссионного дохода, напр., на период военного коммунизма, когда денежная часть заработной платы вообще была сравнительно весьма малой и т. д.

Вся тяжесть обложения деревни, если считать, что будут на 100% выполнены и государственный и местный ориентировочные бюджеты НКФ, как мы видели, составляет 4 руб. 60 коп. зол. в современных ценах на душу в год, в том числе 2 р. 30 коп. натурналога. 1 р. 30 коп. денежных поступлений и 1 руб. от эмиссии. При исчислении тяжести обложения правильно оставить в стороне доход от эмиссии, самая возможность реализации которого является следствием нынешнего соотношения уровня *рыночных* цен, а не следствием принудительного взыскания государством, каким является поступление натуральных и денежных налогов. Ибо уровень цень на вольном рынке не устанавливался у нас государством, а государство должно было с ним считаться как с наличной величиной, и затем уже пытаться повлиять на него в желательную сторону. Пока такие попытки были невелики по размаху и не имели в общем масштабе особо крупного значения по результатам. Более низкий уровень сельскохозяйственных цен сложился у нас не в результате злонамеренных козней государства, а в силу того соотношения сил на рынке, какое является совершенно естественным при нынешним соотношении размеров сельскохозяйственной и промышленной продукции в Советском Союзе и прочих наличных экономических условиях.

Это означает, что если бы даже никакой эмисоии не было, то уровень хлебных цен все же был бы ниже уровня цен текстильных товаров. *Не потому хлебные цены низки, что есть эмиссия, а потому возможно извлечение эмиссионного дохода от крестьянства, что хлебные цены низки.* Если бы при низких хлебных ценах не было бы *этой* (крестьянской) части эмиссии, то разница в ценах все же оставалась бы, и крестьянин ничего на этом не выиграл бы—только разница была бы не эмиссионным доходом, а доходом торгового посредника и городского покупателя крестьянских продуктов. Таким образом, при наличности низких хлебных цен эмиссия не является средством *усиления* обложения крестьянского хозяйства, средством *увеличения* извлечения из него реальных ценностей без реального их возмещения. Она является лишь средством *использования* в интересах государства и без того, и независимо от того существующей потери в крестьянском бюджете, средством *распределения* этой потери между разными, выигрывающими на ней элементами.

Устраните эмиссию, и при данном уровне хлебных цен крестьянину не станет от этого легче (от устранения эмиссии, однако, много выиграет пролетариат). Устраните налоги—и при тех же самых ценах крестьянин выиграет на этом весьма реально. Вот в чем заключается разница. Падающая теперь на крестьянство часть эмиссии, благодаря нынешнему соотношению цен, не отягчает положения деревни сравнительно с тем, какое было бы, если бы этой части эмиссии вовсе не было. Вот почему для установления именно *относительной тяжести крестьянского обложения* нет необходимости теперь включать в него и эмиссию, составляющую 1 руб. золотом с души в современных ценах в год.

Без эмиссии обложение составляет 2 руб. 30 коп. натурой и 1 р. 30 коп. деньгами на душу в год в современных ценах, если все ориентировочные предположения НКФ будут выполнены в 100%. При переводе на довоенные цены это составит 3 руб. 10 коп. натурой и 1 руб. 70 коп. деньгами (см. выше), а всего 4 руб. 85 коп. по довоенным ценам.

Весь крестьянский доход составляет в 1922—1923 хозяйственном году, как мы знаем, 40 руб. на душу в год по довоенным ценам. Но из этого надо вычесть ту часть, которую крестьянин теряет при продаже благодаря тому, что современные сельскохозяйственные цены ниже довоенных. Тем самым мы учтем между прочим и извлечение из крестьянского хозяйства эмиссионного дохода. Выше мы видели, что при продаже сельскохозяйственной продукции крестьянин, благодаря этой разнице цен, теряет 1 руб. 40 коп. по довоенным ценам (продавая на 5 руб. 60 коп. по довоенным ценам, выручает на деле лишь 4 руб. 20 коп. зол. руб.). Учитывая это обстоятельство, получаем крестьянский доход уже не в 40 руб., а только в 38 руб. 60 коп. на душу по довоенным ценам. А так как обложение равно 4 руб. 85 коп. по довоенным же ценам, то оно составляет в настоящее время всего 12,6%. Это в том случае если все ожидания НКФ сбудутся на 100%. Достаточно быть им выполненным на 95%, чтобы тяжесть крестьянского обложения не превышала в настоящем хозяйственном году 12% по отношению к совокупности сельскохозяйственной и промысловой продукции крестьянства. Легко понять, что если перевести обратно все обложение и всю продукцию на современные цены (все элементы для чего выше даны), то от этого величина процента не изменится. Если же пожелать присчитать и эмиссию, то надо присчитать и ту потерю в 1 руб. 40 коп. на душу на сельскохозяйственных ценах, которая эту эмиссию покрывает.

До войны совокупность обложения составляла, как мы знаем, 18 руб. на душу по довоенным ценам при совокупности сельскохозяйственной и промысловой продукции крестьянства в 58 руб. на душу в среднем в год по довоенным ценам. Следовательно, относительная тяжесть крестьянского обложения составляла тогда около 31% всего крестьянского бюджета, а теперь лишь около 12%.

Но мало установить, что *абсолютная* тяжесть всей совокупности крестьянского обложения (с арендой, с эмиссией и т. д.) теперь в три раза

меньше довоенного и что *относительная тяжесть налагаемого Советской властью* на крестьян бремени теперь тоже в два с половиной раза меньше довоенного. Важно еще отметить, что же у крестьян после этого остается, насколько ухудшился, понизился их фактический уровень сравнительно с довоенным в результате общего обнищания и разорения всей страны в итоге войн последнего десятилетия.

До войны за вычетом всех видов обложения у крестьян оставалось по 40 руб. на душу в год по довоенным ценам. Теперь весь валовой сельскохозяйственный и промысловый доход крестьян составляет только 40 руб. на душу в год по довоенным ценам, после вычета отсюда потери в 1 руб. 40 коп. на уровне хлебных цен (покрывающей и эмиссию) и после вычета 4 руб. 85 к. обложения, а если, что вернее считать недовыполнение предположений НКФ хотя бы на 5%, то после вычета на обложение 4 руб. 60 коп. по довоенным ценам—остается у крестьян только 34 руб. на душу в год. Значит, хотя обложение сократилось и абсолютно и относительно и хотя влияние низких хлебных цен, как мы видели, в общем невелико, все же реальный уровень крестьянского остатка сократился в среднем по России на 15%, а именно с 40 р. до 34 руб. (при расчете на современные цены меняются только абсолютные цифры, но не проценты, ибо разница в цифрах учтена и по обложению и по рыночным сделкам, как указывалось выше в соответственных местах).

Следует со всей силой подчеркнуть, что мы имеем здесь дело с *общерусской средней, не исключающей перенесших голод* 1921—1922 г. районов. Если не принимать их во внимание, то средний уровень остальных крестьянских масс уже теперь надо признать *не ниже 100% их довоенного уровня.* Между тем никто, конечно, не сомневается, что переживающие и изживающие последствия голода районы нуждаются в различных налоговых послаблениях. Вопрос о размерах крестьянского обложения интересует нас, разумеется, не в применении к этим лишь оправляющимся после голода районам, а в применении к основной массе крестьянства. Здесь должен быть учтен также факт, что продолжающаяся «мирная передышка» приводит к непрерывному дальнейшему чувствительному поднятию уровня крестьянского хозяйства. Теперь предстоит подготовлять и разрабатывать размеры крестьянского обложения на 1923—1924 хоз. год. Между тем озимые посевы по данным ЦСУ оказались уже на 18% больше прошлогодних, а согласно Наркомзему можно ожидать чувствительного увеличения и яровых. Даже бывшие голодные районы начинают уже заметно оправляться. При таких условиях можно ожидать с уверенностью, что «крестьянская средняя» в хозяйственному году, начинающемся через несколько месяцев с осени 1923 г., окажется даже выше 100% довоенных и по отношению ко всему Советскому Союзу в целом, а не только к непострадавшим от неурожая 1921 г. районам.

Между тем продукция государственной промышленности за 1922 календарный год составила по известному подсчету Госплана 24% довоенной продукции, а в течение 1923 года должна подняться примерно лишь до 30% довоенной. Заработная плата рабочих в начале 1923 г. составляла в среднем

лишь около 50% довоенной по известным данным ВЦСПС, подтвержденным всеми соответственными органами, и хорошо будет, если к началу 1924 г. подымется в среднем по Советскому Союзу хотя бы до 75% довоенного уровня.

При таких условиях вполне понятно, почему всецело стоя на почве сохранения союза рабочих и крестьян и, именно, в силу правильного учета основных интересов этого союза — Последний Всероссийский С'езд Советов на самом рубеже 1923 г. единогласно постановил:

«1. Основной задачей финансовой политики Советской власти является такое *перераспределение рессурсов между сельским хозяйством и промышленностью,* торговлей и транспортом, которое в наибольшей степени способствует развитию производительных сил всего народного хозяйства. Такое перераспределние совершенно необходимо не только для индустрии, но и для земледелия, которое без восстановления транспорта, портов, элеваторов, производства искусственных удобрений, сельскохозяйственного машиностроения и всех связанных с ним отраслей промышленности не может с выгодой реализовать на внутреннем и внешнем рынках свою возрастающую продукцию».

Популяризация и обоснование этого постановления должны составлять одну из существеннейших частей агитационно-пропагандистской деятельности нашей партии. Тем более, что пока соответственная кампания, к сожалению, не успела еще достаточно развернуться. Пробудить к ней внимание, вооружить партийные силы соответственными материалами и необходимо и своевременно, чтобы вопросы налогового обложения деревни не стали отравленным оружием в руках наших врагов для убеждения деревни, что с нее требуется несоразмерно много и без надобности для нее. Предстоящий 12-й партийный с'езд должен поэтому с особой силой подчеркнуть возможность и необходимость полного соответствия обложения с действительной платежеспособностью деревни.

Новый поход против Дарвина.

Проф. Н. А. Иванцов.

«Происхождение видов путем естественного отбора» Ч. Дарвина вышло в 1858 году. С тех пор накопилась громадная литература как дарвинистического, так и антидарвинистического направления. В русской литературе против Дарвина выступали в 80-х годах прошлого столетия Н. Я. Данилевский (1885 г.) с его двухтомным критическим исследованием дарвинизма и философ Н. Н. Страхов с журнальными статьями памфлетного пошиба в «Русском Вестнике» (1887 г.) с вызывающими заглавиями вроде: «Всегдашняя ошибка дарвинистов», или «Полное опровержение дарвинизма». Н. Я. Данилевский и его бирюч Н. Н. Страхов вызвали резкий отпор со стороны проф. К. А. Тимирязева. Более поздние выпады против Дарвина со стороны проф. зоологии Московского университета А. А. Тихомирова, более с катехизической, чем научной точки зрения, прошли незамеченными, да и не заслуживали серьезного к себе отношения. В настоящее время против Дарвина выступает Л. С. Берг— солидный ученый, завоевавший себе видное место в русской науке особенно своими обширными исследованиями в области ихтиологии, и его критика дарвинизма заслуживает внимательного к себе отношения, хотя бы в силу того величайшего уважения к личности и трудам Дарвина, которые Л. С. Берг сам отмечает. Но глубочайшее уважение к имени ученого не исключает критического отношения к его теориям. Так и должно быть. Современная научная философия возникла тогда, когда в ее основу на место веры в авторитеты, каковы бы они ни были, было положено принципиальное сомнение во всем, в чем только можно усумниться и стремление всегда отдавать себе ясный отчет в том, что̀ есть научно удостоверенный факт, и что̀ остается только предположением, гипотезой, догадкой весьма полезной в науке, ибо научное исследование всегда направлялось путем предварительных догадок, но все же лишь догадкой, которая должна быть отброшена всегда, как только не будет оправдываться фактами, от кого бы такая догадка ни исходила. Два межевых столба стоят в самом начале развития современной научно-философской мысли. На одном написано декартовское «de omnibus dubitandum», на другом Бэконовский призыв отрешиться от всех «идолов», стоящих на пути к научному исследованию природы. «Нет ни одного учения, не исключая законов Ньютона, забронированного от критики»,—справедливо замечает Л. С. Берг.

Все в мире развивается. Было бы странно и ни с чем не сообразно, если бы теория эволюции, данная Дарвином более 60 лет тому назад, однажды навсегда застыла в окоченелых формах. Закон эволюции применим и к самой теории эволюции. В процессе эволюции все или приспособляется к изменившимся условиям, или гибнет. Таков неизбежный закон, установленный Дарвином. Та же судьба предстоит и для теории Дарвина—приспособиться к новым открытиям в области биологии, сделавшей колоссальные шаги вперед за последние десятилетия, или, если это для нее окажется невозможным, как для теории, употребляя палеонтологический термин, установленный В. Ковалевским, «неадаптивной», отойти в область прошлого, уступив место номогенезу Л. С. Берга или другой теории, которая явится на смену теории Дарвина и лучше естественного отбора поладит с новыми биологическими проблемами—механикой развития, изменчивостью и наследственностью и т. д.

Те возражения, однако, которые до сих пор делались против теории Дарвина, ее скорее укрепляли, нежели расшатывали, ибо в большинстве случаев были основаны на неправильном и неточном понимании сущности дарвинизма.

Последней по времени теорией эволюции антидарвиновского направления является «*номогенез*» Л. С. Берга, о котором и будет речь в настоящей статье (*Л. С. Берг*. Номогенез или эволюция на основе закономерностей. Труды Географического института. Том. I. Петербург. Гос. Издат. 1922. *Его же*. Теории эволюции. Петербург 1922).

* * *

Теория *Дарвина* настолько всем известна, что нет надобности излагать ее сколько-нибудь подробно. Л. С. Берг дает следующую ее краткую формулировку.

1. Все организмы стремятся размножиться в таком количестве, что вся поверхность земли не могла бы вместить потомства одной пары.

2. Результатом этого явления является вечная борьба за существование: сильнейший в конце концов берет верх, слабейший терпит поражение.

3. Все организмы хотя бы в слабой степени изменчивы, благодаря ли переменам в окружающих условиях или по другим причинам.

4. В течение длинного ряда веков могут случайно возникать уклонения наследуемые. Случайно же может оказаться, что эти наследственные уклонения будут чем-либо выгодны для их обладателя.

5. Если эти случайности могут наблюдаться, то те изменения, которые благоприятны (как бы незначительны они ни были), сохранятся, а неблагоприятные—будут уничтожены. Громадное большинство особей погибнет в борьбе за существование, шансы же выжить будут лишь у тех немногих счастливцев, у кого обнаружится уклонение в полезную для организма сторону. В силу наследственности пережившие особи будут передавать потомству свою более совершенную организацию.

6. Это сохранение, в борьбе за жизнь, тех разновидностей, которые обла-

дают каким-либо преимуществом в строении, физиологических свойствах или инстинкте, Дарвин назвал ***естественным отбором***, а Спенсер—***переживанием наиболее приспособленного.***

* * *

Теория естественного отбора, данная Дарвином, об'яснила нам естественную целесообразность организмов — их удивительное приспособление к условиям среды, не прибегая к каким бы то ни было сверх'естественным силам. Она показала, каким образом чисто механическим путем борьба за существование уничтожает все менее приспособленное, сохраняя возможно лучшее применительно к данным условиям. Теория отбора устранила надобность в ***«конечных целях»*** в об'яснении биологических явлений приспособления и через то поставила теорию эволюции на чисто научную почву об'яснения жизненных явлений путем действующих причин.

Теория естественного отбора об'яснила, далее ***происхождение видов***, т.-е. более или менее ясно обособленных друг от друга таксономических групп при медленном и постепенном переходе органических форм в эволюционном процессе друг в друга. Следствием отбора в борьбе за существование является *расхождение признаков.* Чем более потомки какого-либо вида будут различаться между собою строением, общим складом и привычками,— тем легче они будут в состоянии завладеть более многочисленными и более разнообразными местами в экономии природы, а следовательно, тем легче они будут размножаться. Через вымирание родоначальных и промежуточных форм, как менее приспособленных, возникают *виды,* а по мере дальнейшего расхождения роды, семейства и т. д. животных и растений, более или менее резко обособленные друг от друга. Закону расхождения признаков Дарвин придавал особенно важное значение, в связи с чем, может быть, и главное свое произведение назвал «Происхождение видов», а не просто теорией органической эволюции.

Что касается до причин появления новых признаков или изменчивости, то, согласно с Ламарком, Дарвин видел таковые в прямом воздействии измененных жизненных условий, заключающихся в климатических или других изменениях окружающей среды, или в приобретении новых привычек и в понижении или повышении от того употребления отдельных частей и органов, а также в явлениях соотносительного развития. Законы изменчивости, равно как и наследственности, Дарвину известны не были—исследование их составляет задачу биологии новейшего времени, но она к ним только что приступила, особенно в отношении исследования причин изменчивости, этого основного факта эволюции. Дарвин с факторами изменчивости и наследственности считался, но сам их не исследовал.

* * *

Л. С. Берг имеет целью показать, что эволюция организмов есть результат некоторых закономерных процессов, в них протекающих. Он

есть—*номогенез*, развитие по твердым законам, в отличие от эволюции путем случайностей, предполагаемой Дарвином. Влияние борьбы за существование и естественного отбора в этом процессе имеет, согласно Л. С. Бергу, совершенно второстепенное значение, и во всяком случае прогресс в организации ни в малейшей степени не зависит от борьбы за существование.

«Естественный отбор не имеет, по нашему мнению, значения в процессе эволюции, т.-е. в процессе образования новых форм»; «в выработке признаков борьба за существование и естественный отбор, очевидно, не при чем»; «естественному отбору в деле образования новых форм нет места». Подобного рода фразами переполнена вся книга Л. С. Берга и к ним по существу сводится вся критика теории отбора.

Но приведенные места и им подобные указывают лишь на полное непонимание или нежелание понять с предвзятой точки зрения значение естественного отбора в деле образования новых форм.

Ни борьба за существование, ни естественный отбор, как результат борьбы за существование, сами по себе не могут произвести никаких новых признаков, они только отбирают полезное, устраняя вредное. Фактором появления новых признаков, их увеличения и нарастания или уменьшения и исчезновения, является изменчивость—этот основной фактор эволюции, на почве которой разыгрывается борьба за существование и естественный отбор.

Мысль Дарвина в этом отношении так часто извращалась как его противниками, так и не в меру усердными последователями, что он сам нашел нужным совершенно ясно и определенно высказаться по этому поводу в последующих изданиях «Происхождения видов». «Некоторые писатели,—говорит он,—или превратно поняли естественный отбор, или прямо возражали против него. *Иные даже вообразили, что естественный отбор вызывает изменчивость*, между тем как он определяет только сохранение таких изменений, которые возникают и оказываются полезными при данных жизненных условиях существам, обладающим ими».

Естественный отбор сам не создает и не в силах создать никакого нового признака, он только уничтожает вредное, сохраняя полезное, независимо от того, как появляется то и другое. Естественный отбор не фабрика форм, а только их сортировка. Естественный отбор не является фактором изменчивости: он есть фактор образования *видов*, т.-е. систематических групп, более или менее резко обособленных друг от друга через вымирание промежуточных звеньев, а вместе с тем фактор, определяющий, почему в данное время и в данном месте фауна и флора таковы, каковы они есть. Естественный отбор не производит, но уничтожает—все то, что, появившись на свет вследствие мало известных нам причин изменчивости, оказывается вредным для организмов при данных условиях; он есть фактор вымирания.

Эту, единственно присущую ему, роль фактора вымирания менее приспособленного признает, однако, за естественным отбором и Л. С. Берг. Конечно, все то, что вымерло,—пишет он,—было в том или ином отношении

несоответственно. Так, вымерли трилобиты, аммониты, птеродактили, динозавры и множество других групп. И, разумеется, ничего нельзя возразить против мнения, что они уничтожены естественным отбором (ибо, конечно, вымирание их происходило не от сверх'естественных причин)». «Те виды, которые не в состоянии приспособиться, должны переселиться в другой геологический ландшафт или вымереть»; но это и будет ни чем иным, как вымиранием вследствие естественного отбора в борьбе за существование.

* * *

Л. С. Берг отвергает далее естественный отбор, поскольку он оперирует со случайными изменениями. «Если эволюция есть номогенез, то случайность и естественный отбор в деле образования новых органических форм, очевидно, не играют никакой роли», «раз элемент случайности отпадает, отпадает и роль естественного отбора».

В отличие от дарвиновской теории эволюции путем случайностей, Л. С. Берг утверждает, что происхождение одних форм от других подчинено законности и протекает в определенном направлении, а не находится в зависимости от игры случайностей, почему и называет свою теорию «*номогенезом* или эволюцией на основе закономерностей».

Но Дарвин называл явления изменчивости случайными только в том смысле, что мы не знаем их ближайших причин, как и все в природе, они подчинены общему закону причины и следствия. Сам Л. С. Берг неоднократно цитирует следующее место из «Происхождения видов»: «До сих пор,—говорит Дарвин,—я выражался таким образом, как будто изменения,—столь обыкновенные и разнообразные у домашних существ и более редкие в естественном состоянии,—как будто эти изменения были делом случайности. Это выражение, конечно, совершенно неверно, но оно ясно обнаруживает наше незнание причин этих изменений в каждом частном случае».

Каковы эти причины в каждом отдельном случае, Л. С. Берг знает это так же мало, как и Дарвин. Какая причина заставляет организм изменяться в определенном направлении, это пока для нас скрыто... Единственно, что мы в состоянии сделать—это проследить способы появления новых признаков; ближайшие же причины остаются для нас скрытыми».

Таким образом теория Дарвина с таким же правом может называться номогенезом, как и теория Л. С. Берга.

Но под закономерностями Л. С. Берг понимает нечто совершенно иное, чем что понимается под этим словом в физической науке—зависимость явления от определенных причин или условий.

Номогенез или развитие на основе закономерностей в берговском понимании этого слова сводится к *принципу конечных целей*.

Основным, далее неразложимым свойством всего живого является, согласно Л. С. Бергу, *изначальная целесообразность*, ему присущая. Она-то и определяет в основе ход эволюции.

Этим об'ясняется та краткость критики естественного отбора в его применении к различным проблемам биологии, с которой мы встречаемся у Л. С. Берга. Если эволюция имеет в своей основе телеологический принцип, если она изначально целесообразна, если по закону конечных целей «сразу получается то, что нужно», как утверждает Л. С. Берг, то, конечно, естественный отбор не имеет места, так как он с телеологией не считается, а исходит из того, что среди появляющихся изменений одни лучше соответствуют наличным условиям, другие хуже, третьи оказываются даже вредными для организма.

Различие между дарвинизмом и Л. С. Бергом не в частностях, но в самом корне, в основном принципе. «Теория Дарвина, — пишет он,—задается целью об'яснить механически происхождение целесообразностей в организме. Мы же считаем эту способность к целесообразным реакциям за основное свойство организма»; следовательно, целесообразность организмов, их приспособления к внешним условиям их существования, нечего и об'яснять ни естественным отбором, ни какими-либо другими механическими причинами.

Л. С. Берг озаглавил свое сочинение «Номогенез или эволюция на основе закономерностей», но такое название не соответствует действительности и легко может ввести в заблуждение, заставляя предполагать под закономерностями то, что обыкновенно понимается под этим словом в науке—закономерности причинного порядка. То, что проповедует Л. С. Берг, не номогенез в этом смысле, но *телеогенез* или развитие на основе конечных целей, на основе изначальной целесообразности всего живого.

* * *

Хотя целесообразность и составляет по Л. С. Бергу основное, изначальное свойство всего живого, однако он не находит возможным допустить, чтобы живое вещество реагировало всегда целесообразно. «Если бы это было так, это значило бы, что организмы достигли наибольшего мыслимого совершенства». Но «хотя большинство органов у животных и растений устроены так, что идеально приспособлены для выполнения своих функций», однако «есть случаи, когда признаки образуются в определенном направлении независимо от пользы, какую они могли бы принести, а иногда даже во вред организму».

Тем самым, казалось бы, открывается простор естественному отбору более приспособленных в борьбе за существование. Но этого-то и не хочет Л. С. Берг, и вся его работа представляет собою бесплодную и заранее обреченную на неудачу вследствие внутреннего противоречия, попытку примирить совершенно непримиримое: признавая несовершенство номогенеза в смысле целесообразности и борьбу за существование, против которой, по его словам, «спорить не приходится», устранить их естественное следствие—переживание более совершенного, т.-е. естественный отбор.

Чтобы естественный отбор не оказывал своего действия, необходимо одно непременное условие—чтобы не из чего было выбирать. Это имело бы

место только в том случае, если бы действие телеологического принципа было абсолютно, все возникающие изменения были одинаково совершенны, при чем исходная форма уничтожалась бы сама собою, помимо конкуренции с новым изменением. Действительность, отрицать которой не решается Л. С. Берг, противоречит абсолютному характеру принципа изначальной целесообразности, каковой он должен был бы иметь в качестве принципа метафизического, и результатом является то, что в одном месте книги говорится одно, в другом другое; с одной стороны, естественный отбор отрицается, как противоречащий основному телеологическому принципу, с другой—он признается, так как того требуют факты. Такова судьба всякой натурфилософии, то-есть вмешательства метафизики в положительное знание.

Утверждение, что громадное большинство органов животных и растений идеально приспособлены для выполнения своих функций, идет в полный разрез с теорией естественного отбора, который никогда не достигает идеального совершенства, но дает лишь преимущество более приспособленному перед менее приспособленным, имея, таким образом, лишь относительное значение. Но оно идет вразрез и с фактами, которые бесспорно говорят в пользу Дарвина, а не Л. С. Берга. Даже в человеческом организме органы далеко нельзя назвать абсолютно совершенными. Это известно каждому анатому и физиологу. Относительно столь совершенного по своему строению органа, как человеческий глаз, Гельмгольц заметил, что если бы мастер принес ему подобный оптический инструмент, он бы его не принял. Если бы громадное большинство органов животных и растений были идеально приспособлены к условиям их существования, то одни разновидности пшеницы или душистого горошка в смешанном посеве не вытесняли бы других, пасюк не вытеснял бы черную крысу, прусак черного таракана, европейская муха не вытеснила бы местную муху в Новой Зеландии, оказавшись лучше приспособленной к условиям этой чуждой ей области, чем местная форма, европейская жалоносная пчела не вытесняла бы австралийскую туземную пчелу без жала и были бы непонятны другие подобные случаи, в изобилии приводимые Дарвином, Уоллесом и их последователями. Представление об идеальной приспособленности огромного большинства (почему не всех?) органов есть необходимый вывод, дедукция, из основного принципа изначальной целесообразности организмов, но оно находится в полном противоречии с фактами.

* * *

Таким образом номогенез Л. С. Берга есть развитие, определяемое законом конечных целей, в противоположность его механическому пониманию как развития, определяемого законами причинной зависимости.

По существу вопрос идет об отношении между телеологией и кавзальностью, между причинами и целями.

Согласно Л. С. Бергу, одно не исключает другого. Если мироздание и имеет какую-либо цель, она осуществляется механическими средствами. Но

цель мироздания есть принцип трансцендентный, не подлежащий нашему эмпирическому познанию, это дело метафизики; исследование причин—дело науки. Примыкая к Зигварту и Канту в его «Критике способности суждения» Л. С. Берг указывает, что противоположность между механическим и телеологическим об'яснением природы коренится лишь в свойствах познавательной способности человека. «В сверхчувственном принципе природы вполне может открываться соединимость обоих видов представления возможности природы».

Против таких рассуждений по существу возражать не приходится. В нашем чувственном опыте, в котором единственно вращается положительная наука, мы не знаем ни причин, ни целей в качестве действующих «сил». Нам дана единственно последовательность во времени, которое идет от прошедшего к настоящему. Те явления, которые в нашем опыте неизменно предшествуют данному, мы называем его причиной, а самое явление следствием или действием данных причин. Будущее, в котором могут быть скрыты цели явлений, в нашем чувственном опыте нам не дано. Мы можем об'яснять явления, т.-е. устанавливать единообразия их связи друг с другом, только идя от пережитого в нашем чувственном опыте, а не того, чего мы еще не пережили, что еще не было об'ектом нашего чувственного опыта. Мы можем производить явления только через их причины, т.-е. создавая ряд условий, при которых данное явление обычно происходило, но никак не через их цели, если таковые и есть. И причина, и цель—понятия антропоморфные, заимствованные нами из нашего суб'ективного опыта: цель—намерение нашего действия, сила или причина—ощущение употребляемого нами усилия при преодолении препятствий к осуществлению нашего намерения или желания. Перенесение этих суб'ективных понятий в мир об'ективных явлений по существу незаконно, но перенесение в явлении внешнего опыта, составляющего предмет ведения положительной науки, понятия причины, в указанном относительном его понимании находит для себя более оправданий, чем понятие цели, и слово «причина» до сих пор пользуется правом гражданства в положительной науке, наравне со словом «сила» в его кавзальном понимании, между тем как со всякими целями и силами телеологического или субстанциального характера положительная наука давно покончила. Понятие причины оправдывается в положительной науке в смысле совокупности явлений, обычно предшествующих в нашем опыте данному явлению, которые могут быть нам известны, и обнаружение которых составляет задачу эмпирического исследования. Цели мы знаем только как свои собственные цели или намерения, желания, и в науке, занимающейся изучением об'ективных явлений, вне сферы наших желаний или намерений с ними делать нечего. Исследование их здесь, по выражению Фр. Бэкона, бесплодно, как девственница, посвященная богу.

О том, что противоположность между механическим и телеологическим об'яснением природы коренится лишь в свойствах познавательной способности человека, а не в сверхчувственном принципе природы, рассуждать можно, так же как мы рассуждаем о четырехмерном пространстве и других предме-

тах подобного рода, но наша познавательная способность является вполне определенной в своей относительности, точно так же как наше пространство есть пространство трехмерное, а не какое-либо другое. Рассуждать о целях мироздания вообще или органического мира не дело науки; знать вещи для нас, по роду *нашей* познавательной способности, можно только из причин—и это дело науки. Великая заслуга Дарвина в том и состоит, что, доказав, насколько это вообще доступно научному доказательству, что эволюция в органическом мире имеет место, он поставил исследование явлений эволюции на путь исследования их обусловливающих причин, отказавшись от всякого рода об'яснений телеологического характера.

Л. С. Берг возвращается к старому пути телеологии, по которому до него шли Ламарк, фон-Бер и другие, но он сам сознает, что вместе с тем мы путь научного исследования оставляем, вступая на путь метафизики. «Теория Дарвина,—пишет он,—задается целью об'яснить механически происхождение целесообразностей в организмах. Мы же считаем способность к целесообразным реакциям за основное свойство организма. Выяснять происхождение целесообразностей приходится не эволюционному учению, а той дисциплине, которая возьмется рассуждать о происхождении живого. Вопрос этот, по нашему убеждению, *метафизический*». «Мы имеем здесь пред собою *проблему метафизическую*». «Рассмотрение вопроса, почему живое отличается свойством реагировать целесообразно на раздражение и как такое свойство получило начало, выходит *за пределы естествознания* и относится к области философии природы». Но в таком случае этот вопрос и следовало бы предоставить метафизикам, об'яснять же целесообразность организмов тем, что целесообразность составляет изначальное метафизическое свойство всего живого, значит не давать явлениям приспособления никакого научного об'яснения.

* * *

Но и метафизика, если уже вступать на ее путь, пред'являет при разработке своих проблем те же требования логики, что и наука — требования ясности, определенности, последовательности и отсутствия противоречий, чего мы и не находим у Л. С. Берга в разработке самого основного вопроса—о целесообразности в явлениях эволюции,—который он себе ставит и на котором держится все остальное его построение.

Если конечные цели составляют общий закон природы, то неорганическая природа так же должна быть изначально целесообразной, как и живые организмы. Так думает и Л. С. Берг. Но если метафизический принцип конечных целей изгоняется из наук о неорганической природе—физики и химии, то он должен быть устранен и из биологии, явления биологические должны об'ясняться так же, как явления физико-химические, для об'яснения которых ни один физик или химик к телеологическим принципам не прибегает, не спрашивает, например, с какою высшею целью два атома водорода, соединяясь с одним атомом кислорода, дают воду, астроном не спрашивает,

зачем земля вращается вокруг солнца, совершая полный оборот в 365 с четвертью дней. Если же телеологический принцип из физико-химических наук устраняется, а в биологии остается и им пользуются для об'яснения определенных явлений, он получает значение особого фактора, не действующего в неорганической природе, то-есть становится ни чем иным, как особой *жизненной силой*, и телеогенез становится вместе с тем *витализмом*.

Л. С. Берг с таким заключением несогласен. «Некоторые,—говорит он,—быть может, будут склонны называть развиваемый здесь взгляд витализмом, но, по моему мнению,—неправильно». Жизненная сила виталистов есть сила, действующая в организмах на-ряду с физическими силами, особая, так сказать добавочная сила, сила живого мира, действующая через физико-химические силы и направляющая их к определенной цели. Такой силы, утверждает Л. С. Берг, он не признает. «Никаких других сил, кроме известных физике и химии,—говорит он,—никогда в организмах не наблюдалось и, можно думать, не будет наблюдаться». «Мы признаем морфологические и физиологические признаки организмов за результат химического состояния их клеток или, лучше сказать, за следствие химического строения их белков».

Но целесообразность, присущая по Л. С. Бергу, всему живому в отличие от неорганической природы, никоим образом не может быть об'яснена, как результат химического строения их белков, ибо, повторяем, химия никакой целесообразности не знает. «Живое, по сравнению Л. С. Берга, это как бы часы с необычайно длинным, может быть, вечным заводом; будучи раз заведены, на заре истории жизни, эти часы продолжают сохранять запас энергии, передавая его от поколения к поколению». Вместе с тем в построении часов, как и всякой другой машины, всегда есть определенная цель, почему, согласно Л. С. Бергу, кроме естественных машин или организмов машина есть всегда произведение организма, и именно самой высшей ступени организмов, т.-е. человека,—в неорганической природе нет машин в берговском понимании этого слова, ибо в неорганических предметах нет этого *внутреннего начала*, этого целесообразного завода, который определяет ход органической жизни в отличие от явлений неорганической природы. Но что же это такое, как не жизненная сила в ее обычном понимании?

Целесообразность машины есть целесообразность внешняя—здесь цель построения машины сознательно определяется человеком, который эту машину строит. Целесообразность организмов есть по Л. С. Бергу начало внутреннее, организмам имманентное, это собственная цель организма. Отсюда приходится заключить, что целесообразность организмов *сознательна*, ибо понятие цели есть, в конце концов, понятие психического или суб'ективного порядка. И действительно, Л. С. Берг приписывает организмам, безразлично как животным, так и растительным, *«уменье»* целесообразно использовать данный орган, и полагает, что разрешение метафизической проблемы целесообразности всего живого позволительно искать и в том направлении, по которому пошел Вундт, развивший под именем *волюнтаризма анимистическое* воззрение, имеющее своим источником психологию Аристотеля, со-

гласно которому целесообразность есть результат присущей всем организмам способности действовать, имея в виду определенные цели, при чем осуществляющие целесообразность силы лежат не вне организма, но они не проявляются также и в форме бессознательных двигателей: они проистекают из *работы воли.*

Если, таким образом, теория Л. С. Берга не есть витализм, как он ее называть не хочет, то только потому, что она есть *волюнтаризм* или *анимизм,* ничего общего с положительной наукой не имеющий.

* * *

Если изначальная целесообразность есть основное свойство живого, отличающее его от явлений неорганической природы, то, очевидно, не может быть и речи о происхождении живого из неорганической природы—абиогенезе или первичном зарождении. «Понять механически жизнь,—говорит Л. С. Берг,—мы в состоянии были бы лишь в таком случае, если бы могли мыслить возможность построения «живой машины» силами неорганической природы. Но такое предположение столь же невероятно, как надежда найти в природе часы или паровик или том «Войны и мира», сложенные путем слепой игры атомов, вне участия человеческого разума. Пока имеет полную силу принцип: «omne vivum ex vivo».

Как для построения паровика или написания «Войны и мира» требуется человеческий разум и воля, так для построеиня живого организма потребовалось, очевидно, вмешательство какой-то иной разумной силы. Это необходимое следствие телеологического понимания живого.

* * *

Дальнейшие построения Л. С. Берга представляют собою следствия его основного телеологического принципа. В настоящей журнальной статье мы не будем на них подробно останавливаться, отсылая читателя к нашему критическому разбору теорий Л. С. Берга, подготовленному к печати (Проф. *В. А. Иванцов.* Телеогенез или эволюция на основе изначальной целесообразности. Л. С. Берг против Дарвина).

Если *номогенез* Л. С. Берга есть таким образом, по существу, телеогенез—эволюция, определяемая целью, — то и направление эволюции должно быть определенным—к положенной цели. Номогенез, в смысле телеогенеза, является вместе с тем *ортогенезом:* «происхождение одних форм от других подчинено законностям (т.-е. изначальной целесообразности) и протекает в определенном направлении».

Если Дарвин полагал, что изменчивость признаков идет по всем направлениям, подобно лучам света, исходящего от солнца, по сравнению Л. С. Берга, то согласно Л. С. Бергу изменение признаков стеснено известными границами и идет по определенному руслу, подобно электрическому току, распространяющемуся вдоль проволоки.

Теория ортогенеза сама по себе не противоречит основам учения Дарвина, и Л. С. Берг указывает, что и сам Дарвин признавал значение развития в определенном направлении, а равным образом и другие авторы, в том числе видные дарвинисты, высказывались в пользу развития по определенному направлению в известных случаях.

Но Л. С. Берг полагает, что вся эволюция идет по типу ортогенеза, с чем, за неимением фактических данных, согласиться трудно. Можно привести массу примеров, когда эволюция не только не имеет определенного направления, но нет вообще никакой эволюции,—организмы как бы застывают в своем состоянии, и телеологический принцип, управляющий эволюцией и ортогенезом, по каким-то неведомым причинам прекращает свое действие. Таковы все простейшие организмы, дошедшие до нас с незапамятных времен, если не допускать повторного абиогенеза, почти без всякого изменения, таковы из многоклетных организмов некоторые формы моллюсков, остановившиеся в своем развитии с древнейших геологических эпох и т. д. Нельзя же думать, что они достигли идеального совершенства и им более стремиться некуда?

Хотя ортогенез в настоящее время и находит значительное число сторонников, в том числе и среди дарвинистов, и примеров ортогенетического развития накапливается все более и более, в развитии многих других групп до сих пор не удается установить никакого определенного единого или немногих направлений, но как бы бросание в разные стороны, пока не будут найдены надлежащие пути, которые окажутся более устойчивыми до поры до времени в борьбе за существование и не закрепятся естественным отбором. Как данные эмбриологии и сравнительной анатомии, так и данные палеонтологии говорят скорее за то, что определенные пути развития организмов намечаются по разным направлениям—нет одного общего пути для всех организмов, то-есть одного общего пути эволюции в целом, как нет и одного определенного направления развития в каждом отдельном случае, как того хочет Л. С. Берг.

* * *

Изменения организмов имеют, согласно Л. С. Бергу, *массовый* или *эпидемический* характер—при возникновении новых форм образованием новых признаков захватывается сразу громадная масса особей, обитающих в определенной географической области. В виде примеров Л. С. Берг приводит изменения в числе чешуй на горле у пескаря на юге России, в Крыму, на Кавказе и в Туркестане, а также на севере Италии, и на потемнение окраски у многих южно-европейских форм. Нужно сказать, что примеры выбраны весьма неудачно. Ибо, хотя согласно Л. С. Бергу, «организм обладает способностью активно приспособляться к среде» и «изначальная целесообразность» составляет основу всей его теории эволюции,—как раз из приведенных примеров совершенно не видно, какую пользу могут иметь изменения в числе горловых чешуй у пескаря или более темная окраска бабочек на юге.

Впрочем, подобно закону целесообразности, закон массового, эпидеми-

ческого изменения также не имеет, согласно Л. С. Бергу, абсолютного значения. Нередко бывает и так, что новый признак обнаруживается у значительного числа особей, а у других из той же местности он может отсутствовать. Бывает и так, что изменению подвергаются лишь единичные особи. Чем об'ясняются эти исключения из общего закона, остается у Л. С. Берга совершенно необ'ясненным. Очевидно, здесь нет той «фатальной необходимости», как для реакций в химии или явлений в физике, с какой, по словам Л. С. Берга, проявляются вариации.

В своих представлениях об образовании новых видов Л. С. Берг до некоторой степени сходится с де-Фризом.

Согласно последнему, обычные индивидуальные изменения, или флюктуации, не имеют значения в образовании новых видов, так как не передаются по наследству. Но время от времени, в определенные периоды, проявляются более или менее резкие изменения, обладающие наследственностью—*мутации*. Так возникают новые виды—внезапно и без перерывов. Долгие промежутки времени, продолжавшиеся средним числом по нескольку тысяч лет, чередуются с короткими периодами мутаций. Таким образом, прогресс в мире живых существ, в общем и в целом, происходил толчками или скачками. Согласно де-Фризу мутации проявляются каждая в ограниченном количестве экземпляров и не имеют определенного направления, нося характер как бы взрывов в разные стороны. Борьба за существование вступает в свои права между проявившимися мутациями и естественный отбор устраняет мутации вредные, сохраняя те, которые окажутся лучше приспособленными к существующим условиям.

Дарвин не отрицал возможности появления даже резко выраженных изменений, но не придавал им значения в образовании новых видов в естественных условиях, так как трудно предположить, не прибегая к теологии, чтобы резкое внезапное изменение оказалось как раз наиболее соответственным условиям данной среды, и следовательно могло сохраниться в борьбе за существование. Последующие наблюдения как самого де-Фриза, так и других исследователей, показали, что мутации, подразумевая под этим словом вообще наследственные изменения, могут иметь самый разнообразный размах—от самых незначительных до более или менее резких—и проявляются без всякой определенной правильности, как допускал это и Дарвин, для изменений, способных передаваться по наследству.

Согласно Л. С. Бергу, и в этом его основное различие с де-Фризом, мутации имеют, как было сказано, массовый «эпидемический» характер,—процессу видообразования подвергается сразу громадное количество особей, если не все особи, населяющие данную местность, и мутации в каждом случае идут в определенном направлении—более молодой вид *замещает* собой материнский. Вместе с тем мутационное образование форм совершается периодически, скачками. Есть периоды, когда «творческая сила природы» проявляется в образовании неистового калейдоскопа органических форм, и есть времена, когда эта сила работает по будничному или как бы дремлет.

Что же это за «творческая сила природы» то дремлющая, то пробуждающаяся? Таковой не могут быть те силы, которые известны физике и химии. Это может быть только та же жизненная сила, хотя бы и сознательная, от которой открещивается Л. С. Берг, но которая невидимо скрывается в образе «изначальной целесообразности», которая на каждом шагу теряет свой трансцендентный характер и вмешивается в качестве действующей силы в ход явлений. Почему все это так происходит, как описывает Л. С. Берг, об'яснений этому мы находим у него так же мало, как и у де-Фриза. Чередование периодов покоя с мутационными взрывами не вытекает из основного берговского принципа изначальной целесообразности, не является понятным следствием действующих в организмах физико-химических сил и не может быть подтверждено фактическими данными.

* * *

Изложенной теорией, полагает Л. С. Берг, об'ясняется целый ряд явлений, ранее загадочных, а именно:

Внезапное появление видов и отсутствие переходов между ними. Так как мутации, согласно Л. С. Бергу, всегда знаменуют собою скачок, перерыв, то понятно, почему виды являются резко разграниченными один от другого.

Полифилетизм как мелких, так и крупных групп. Согласно Л. С. Бергу сходства в организации двух форм могут представлять собою нечто вторичное, благоприобретенное, новое, различия же—нечто первичное, унаследованное, старое. Этот *закон*, указывает Л. С. Берг, является антиподом дарвиновского закона *дивергенции*, или расхождения признаков. Л. С. Берг не хочет отрицать последнего, но согласно ему, на-ряду с ним и даже господствуя над ним, стоит *закон конвергенции*.

Общее направление эволюционного процесса основано согласно Л. С. Бергу на конвергенции, которая захватывает не одни внешние, а самые существенные для организма признаки и органы, и ведет к сходству между весьма далеко стоящими друг от друга группами, до такой степени, что путем конвергенции, например, из двух разных родов получаются формы, относимые нами к одному роду—различные таксономические группы сходятся в одну.

Нетрудно видеть, что берговское учение о полифилетизме также является логическим следствием его учения об изначальной целесообразности всего живого. Изначальной целесообразностью, телеогенезом, обусловливается развитие по определенному направлению (ортогенез) и конвергенция признаков—соединение путей, ведущих к одной цели. Но мир жиовтных и растений представлен миллионами различных форм. Как совместить то и другое? Очевидно, только предположив, что это «различия изначальные», т.-е. что органический мир полифилетичен по своему происхождению, как в целом, так и в отдельных группах.

Если это так, то, очевидно, эволюцию органического мира никак нельзя представлять себе в виде большого ветвистого дерева, как рисовал ее Дарвин. Такое развитие могло бы быть только следствием расхождения признаков на

основании появления их по разным направлениям, в результате чего вступал бы в действие естественный отбор. Согласно Л. С. Бергу формы животных и растений изменяются последовательно, на основах закономерностей телеологического порядка, не давая побочных ветвей или только в сравнительно редких случаях.

Что справедливо по отношению к общему ходу эволюции органического мира, будет справедливо, очевидно, и по отношению ко всякой крупной таксономической группе. Птицы и млекопитающие, например, не могут происходить от одной или немногих близких родоначальных форм.

Процесс эволюции следует представлять себе по Л. С. Бергу таким образом:

Поддерживать взгляд, что животные произошли от 4—5 родоначальников. немыслимо: число первородичей должно исчисляться тысячами или даже десятками тысяч—непонятно, почему не миллионами.

Значительное количество, десятки тысяч, первичных организмов развивались параллельно, испытывая конвергентно приблизительно одинаковые превращения и совершая (почему-то) этот процесс одни быстрее, другие медленнее. Эти десятки тысяч первичных организмов должны были, очевидно, обладать «изначальными различиями», и притом весьма значительными, ибо, если бы они были сходны, то нечему было бы и конвергировать. Изначальные различия выражались, надо полагать, в различном строении белков протоплазмы, которые постепенно сглаживались по мере дальнейшей конвергенции и в некоторых случаях сблизились до более или менее полного сходства, результатом чего было и сходство морфологическое, так что группы различного генетического происхождения сливались в одну.

Таким образом близкие морфологически формы вовсе не стоят в генетическом родстве друг с другом. «Близкие формы проходили через похожие ступени развития. Так через стадию рыб прошли и разные группы высших рыб, и амфибии, и рептилии, и птицы, и млекопитающие. Каждому из названных классов дала начало своя группа рыб. В свою очередь и эти рыбы-родоначальники получили начало полифилетически (т.-е. из разных корней) от разных других предков». Каждый класс полифилетичен по своему происхождению. «Так млекопитающие состоят из очень многих ветвей, каждая из коих проходила самостоятельно через (предполагаемые) стадии: червеобразную, рыбообразную, амфибиеобразную, рептилиеобразную и т. д.».

«Эмблемой нашей эволюционной теории,—говорит Л. С. Берг,—является не родословное дерево, берущее начало из единого корня, а, скажем, ржаное поле. где из множества семян закономерно и конвергентно получается масса форм».

Такую картину представляла бы эволюция органического мира в том случае. если бы развитие отдельных групп шло параллельно друг другу. Но по Л. С. Бергу оно идет конвергентно, так что отдельные группы сливаются друг с другом, и закон конвергенции преобладает над дивергенцией. Таким образом правильнее было бы сравнить берговскую теорию эволюции не с ржа-

ным полем, а с тем же деревом, лишь поставленным вверх ногами—согласно ему органический мир начинается громадным количеством самостоятельных побегов, которые по мере дальнейшего хода эволюции в силу закона конвергенции сближаются и соединяются друг с другом.

* * *

Теория Л. С. Берга, не говоря о ее телеологическом характере, ставит вверх ногами все наши настоящие филогенетические представления, не в частностях, в которых всегда могут быть ошибки, неточности и неопределенности, подлежащие исследованию и исправлению по мере дальнейшего развития положительной науки, но в их целом—наше общее представление о ходе эволюции, основанное на данных эмбриологии, сравнительной анатомии и физиологии, систематике животных и растений, на их географическом распространении и палеонтологии. Если теория Л. С. Берга верна, придется перестроить все эти дисциплины. Но несомненно одно—если биологические науки перестроятся, то это будет сделано на основании фактов и причинного об'яснения явлений жизни, а не на основании метафизического принципа изначальной целесообразности или конечных целей, заставляющих подбирать факты.

Современная биология выдвигает новые проблемы, с которыми не мог считаться во всей их полноте Дарвин. Теория эволюции, данная Дарвином, подлежит дальнейшему развитию, может быть, существенной перестройке в отдельных своих частях. Но можно быть твердо уверенным, что в разрешении биологических проблем, выдвинутых новейшим временем, наука пойдет тем же путем, каким пошел Дарвин, в отличие от своих предшественников Ламарка и фон-Бера, подобно Л. С. Бергу выставлявшего телеологический принцип в эволюции,—путем опыта и наблюдения и строго научной индукции на основах механического об'яснения явлений природы, а не метафизических фикций, ибо это единственный путь для положительной науки, единственный путь нашего человеческого, весьма ограниченного и несовершенного, *научного знания*.

Для науки «целесообразность» имеет значение только «приспособления» под действием механических причин, ибо иных наука не знает. Это прежде всего потому, что понятие цели имеет суб'ективное и анимистическое значение, заимствованное нами из нашего внутреннего опыта и совершенно неуместное в исследовании об'ективных явлений, обнаруживаемых опытом внешним. Во внешнем мире, подлежащем ведению экспериментальной науки, мы целей не знаем, ибо никаким экспериментом их открыть невозможно, и введение их в круг положительного знания ведет не к его дальнейшему прогрессу, а является для него тормозом, обманывая призрачным об'яснением того, что еще требует дальнейшего исследования, заставляя остановиться, когда нужно итти дальше. Цель научного знания—«rerum cognoscere causas», предоставив открытие их «изначальных целесообразностей» тем, кто полагает, что оно для них доступно.

Великая историческая проверка.

А. Мартынов.

Часть II.

Наши разногласия в эпоху первой революции (1901—1910).

ГЛАВА IV.

В школе первой революции.

В этой школе большевики обучались искусству сочетания немецкой соц.-демократической методы с французской якобинской, или, что то же самое, искусству применения на практике нефальсифицированного учения «немецких коммунистов»—Маркса и Энгельса.

Германские соц.-демократы хорошо усвоили только одну сторону этого учения; они, следуя завету Маркса и Энгельса, учитывали «все промежуточные этапы и компромиссы, созданные не ими, а историческим развитием»; но у них при прохождении через эти этапы не хватало якобинской непримиримости и решительности Маркса и Энгельса. У большевиков, более верных духу Маркса, метода германской соц.-демократии играла поэтому всегда роль подчиненную, подготовительную, а якобинская метода — руководящую, решающую. При этом, как я уже говорил, в нашей партии в эпоху первой революции наблюдалось известное разделение труда: инициатива применения «немецкой методы» исходила почти всегда от меньшевиков; у большевиков, которые в то время были еще слишком прямолинейны, эта инициатива вначале сплошь и рядом наталкивалась на недоверие или сопротивление. Но, в конце концов, и большевики усваивали там, где это необходимо, «немецкую методу» и не только усваивали, но на арене ее применения побивали самих инициаторов—меньшевиков, потому что они, в отличие от последних, шли только на *неизбежные* компромиссы и через эти компромиссы яснее провидели и решительнее преследовали конечную цель, не останавливаясь на полдороге.

Я не пишу истории нашей партии, но для иллюстрации выставленного мною положения я остановлюсь на главнейших моментах развития ее тактики в эпоху первой революции.

В период старой «Искры» (1900—1903 г.г.) революционный марксизм нашел себе *полное и законченное* выражение лишь *в теоретической* работе нашей партии, которая была увенчана програмой Р. С.-Д. Р. П., принятой на Лондонском с'езде 1903 г. В этой програме, первоначально набросанной Лениным и затем значительно переработанной и утонченной Плехановым, мы видим ясно сочетание двух указанных выше сторон революционного марксизма. Мы видим в ней, с одной стороны, экономическое обоснование для *неизбежных* этапов и компромиссов в движении. Мы видим в ней весьма гибкую формулировку законов капиталистического развития (теории кризисов, теории обнищания и теории вытеснения мелкого хозяйства крупным или подчинения первого последнему), формулировку, охватывающую все разнообразные формы проявления этих законов; мы видим в ней, далее, конкретную характеристику той особенной национальной обстановки, в которой развивался русский капитализм (царское самодержавие и другие остатки и последствия крепостничества), и вытекающую отсюда особенность нашей политической задачи на ближайшем этапе. Это все с одной стороны. С другой стороны, мы видим в той же програме наиболее резкую, наиболее непримиримую формулировку методов классовой борьбы пролетариата и ее конечной цели: из *всех* соц.-демократических програм II-го Интернационала наша была *единственной*, где определенно говорилось, что «диктатура пролетариата» составляет «необходимое условие социальной революции».

Старые «искровцы» держали знамя революционного марксизма так высоко, как ни одна партия II-го Интернационала, и это выражалось прежде всего в том, что они самым тесным образом связывали наше прохождение через ближайший этап — низвержение царского самодержавия — с непримиримой идейной борьбой против всех разновидностей буржуазной идеологии во имя конечной цели, во имя социалистической революции. Так обстояло дело у старых «искровцев» в *области теории*, в области теоретической пропаганды и теоретической борьбы. Но *повседневная практика* старых «искровцев», особенно до начала оформления либерального движения под знаменем «Освобождения», *благодаря условиям момента* была гораздо более бедна социалистическим, пролетарско-классовым содержанием и производила впечатление чисто демократического якобинизма. Строя строго дисциплинированную и централизованную партию из «профессиональных революционеров», вербовавшихся из интеллигенции и группировавшихся вокруг газеты «Искра», старые «искровцы» *первоначально* так формулировали устами Ленина задачи этой партии: об'единить «в один общий натиск все и всяческие проявления политической оппозиции», «быть впереди всех в постановке, обострении и разрешении всякого обще-демократического вопроса», «итти во все классы населения и в качестве теоретиков, и в качестве пропагандистов, и в качестве агитаторов, и в качестве организаторов», «диктовать для них положительную программу действий», «руководить активной деятельностью разных оппозиционных слоев» [1]. Такая «организация, складываю-

[1]) См. Ленин, «Что делать», стр. 61—62, 68, 75.

щаяся сама собой вокруг газеты...,—говорил Ленин,—будет именно готова на все, начиная от спасения престижа и преемственности партии в момент наибольшего революционного «угнетения» и кончая подготовкой, назначением и проведением всенародного вооруженного восстания» [1]). Этот односторонний политический радикализм старых «искровцев» и их *первоначальная* надежда на то, что они смогут руководить оппозиционным и революционным движением *всех* классов и слоев населения (включая даже оппозиционных предводителей дворянства!) вытекали, как я уже говорил, из исключительных условий момента. Это была, во-первых, реакция против «экономизма» соц.-демократов предыдущего периода, принижавших революционную борьбу рабочего класса до борьбы за «копейку на рубль», это было, во-вторых, следствием того, что соц.-демократия во время возникновения «Искры» была еще *единственной* оформленной политической партией в нашей стране, придавленной полицейским сапогом и пребывавшей в состоянии полной политической распыленности, вследствие чего ей приходилось политически «встряхивать» всех («все классы») и работать одной за всех.

Чем же старые «искровцы», ведшие обще-демократическую революционную агитацию, рассчитывали оберечь классовую самостоятельность нашего пролетариата? Чем они рассчитывали оберечь пролетариат от растворения в обще-демократической стихии и от его превращения в орудие буржуазной демократии? Во-первых, тем, что рабочим движением будет руководить наша партия, которая в то время была хотя еще интеллигентская по своему составу, но зато прошла строгую марксистскую теоретическую школу; во-вторых, тем, что старые «искровцы» в преследовании обще-демократических задач проявляли такие последовательность и решительность, на которые способна была только партия, опирающаяся на пролетариат, и на которые неспособна была бы ни одна партия или организация, непосредственно связанные с буржуазными слоями населения; наконец, тем, что старые «искровцы» вели непримиримую борьбу против тактики с.-р-ов, ведшей к замене революционного движения пролетарских *масс* террористическими подвигами «героев» *одиночек*. Этого, как показал опыт трехлетия 1901—1903 г.г., было в *тех условиях* достаточно не только для того, чтобы предохранить пролетариат от превращения в орудие буржуазной демократии, но и для того, чтобы наша соц.-демократическая партия, связанная с передовыми слоями пролетариата, превратилась в вождя обще-демократического движения: если в начале искровского периода яркие студенческие движения 1901 г., а затем столь же яркие террористические акты Карповича, Лаговского, Балмашева и друг. грозили отодвинуть пролетариат на второй план, то постепенно разворачивавшееся политическое движение рабочих при самом активном содействии старых «искровцев» и близких им по духу соц.-демократов («Обуховская оборона», многочисленные уличные демонстрации передовых рабочих, Ростовская стачка, закончившаяся колоссальным пролетарским митингом на Темернике и, наконец, июльская всеобщая забастовка на Юге) привело уже

[1]) Ibid., стр. 136.

в 1903 г. к тому, что соц.-демократия стала центром притяжения и симпатий для самых широких кругов демократической интеллигенции и одно время даже для либеральных буржуа.

Применение исключительно «французской методы», т.-е. одной лишь боевой тактики, вполне удовлетворяло задачам рабочего класса в условиях 1900—1903 г.г., когда жестокий полицейский режим не открывал еще никаких возможностей для открытой организации широких слоев рабочих масс, с одной стороны, для организации оппозиционных слоев буржуазии, с другой. Это положение изменилось, когда во время японской войны, после убийства Плеве, Святополк-Мирский открыл эру «доверия» правительства к обществу. Эта либеральная «весна» сделала возможным и целесообразным применение на-ряду с «французской методой» также и «немецкой», хотя и в своеобразной форме,—и меньшевики это сразу учли.

Уже в 1903 г., сейчас после партийного раскола Плеханов, перешедший на сторону меньшевиков, в меньшевистской «Искре» указал на то, что старые «искровцы» в борьбе с «экономистами» перегибали лук, что соц.-демократы не должны ни при каких условиях относиться пренебрежительно к экономической борьбе рабочих с предпринимателями за улучшение условий труда. Осенью 1904 г., когда наступила либеральная «весна», рабочие обнаружили стремление к организации открытых культурно-просветительных и профессиональных обществ, и либералы непрочь были подчинить это зарождающееся движение своему влиянию. Новая меньшевистская «Искра» по этому поводу забила тревогу и подняла вопрос о партийном содействии организации пролетарских профсоюзов [1]), и весной 1905 г. на обще-русской меньшевистской конференции этот вопрос был решен в положительном смысле. Большевики, у которых не угасло еще воспоминание о борьбе с «экономизмом» и которые опасались, что организация профсоюзов отвлечет партию от ее главных боевых задач, высказывались тогда за несвоевременность работы партии в этой области, и на III с'езде партии они не внесли даже этого вопроса в порядок дня. Однако, когда обнаружилась сильная тяга рабочих масс к организации профсоюзов, большевики после некоторых колебаний изменили свою позицию в этом вопросе и это разногласие было ликвидировано.

Гораздо более острые и принципиальные разногласия возникли осенью 1904 года между меньшевиками и большевиками по другому поводу применения «немецкой методы», по поводу предпринятой меньшевиками так наз. «земской кампании». В ответ на возвещенное министром Святополк-Мирским «доверие» к «обществу» ноябрьский земский с'езд формулировал в 11 пунктах свои конституционные пожелания, после чего началась эра либеральных банкетов. Меньшевистская «Искра», вдохновленная П. Б. Аксельродом, предложила использовать эти первые проблески конституционной жизни в России для того, чтобы вовлечь в банкетное движение и рабочих, для того, чтобы обогатить тактику нашей партии методами западно-европейского парламентаризма, чтобы на банкетах столкнуть лицом к лицу либеральных буржуа

[1]) См. Л. Мартов, «На очереди» «Искра», «За два года», стр. 180—184.

не дооценивали). Но «педагогика» есть только предверие к «политике», а последнее слово политики есть применение силы—«критика оружия». В аксельродовском же плане земской кампании участие рабочих в либеральных банкетах и их воздействие на либералов противопоставлялось политическим забастовкам, уличным демонстрациям и т. п. непосредственным выступлениям против царского правительства, как «высший тип мобилизации»! До какой степени близорука была эта точка зрения, как близка она была к «парламентскому кретинизму», обнаружилось очень скоро, уже через два месяца: когда петербургские рабочие массы 9-го января пошли к Зимнему Дворцу, они были еще проникнуты наивной патриархальной верой в царя. Несмотря на это, самый факт непосредственного столкновения двухсот тысяч рабочих с царскими войсками, представлявшего по терминологии меньшевиков «низший тип мобилизации», имел такое колоссальное значение для всего дальнейшего развития революции, что даже сами либералы, даже буржуазия всего мира датировала начало революции 1905 г. не с земского с'езда и не с либеральных банкетов, а с 9-го января.

Мы видим, что уже в 1904 г., в пору либеральной «весны», в полной мере выявилось то соотношение между меньшевистской и большевистской тактиками, на которое я указывал не раз: инициатива применения «немецкой методы» исходила от меньшевиков, а истинно революционное содержание в нее вкладывали большевики, подчинив ее «методе французской». То же наблюдалось в следующий период — нарастания революции, от 9-го января до октябрьской забастовки. Большевики еще весной 1905 г. начертали перспективу революции: вооруженное восстание—временное правительство—учредительное собрание. Намечая эту перспективу, большевики на III-ем с'езде выдвигали в числе неотложных задач партии—«принятие самых энергичных мер к вооружению пролетариата, а также к выработке плана вооруженного восстания», и в своем органе «Вперед» писали, что всенародное восстание и «ломка политической надстройки» «очень и очень могут совершиться с одного удара»; при чем им этот удар рисовался в виде массовой политической забастовки, которая непосредственно превратится в вооруженное восстание. Что касается временного правительства, выросшего из восстания, то они на III-ем с'езде считали возможным, хотя отнюдь не достоверным, что оно сразу обратится в орган диктатуры пролетариата и крестьян. Соответственно с этой перспективой низвержения царизма «с одного удара» большевики в первую половину 1905 г. старались удерживать массы от частичных активных выступлений во избежание преждевременной растраты сил. Они сдерживали, например, стачечное движение в Москве, Одессе, Баку, Орехово-Зуеве; они во время восстания броненосца «Потемкина», например, высказывались, что одесские рабочие сделали бы лучше, если бы не начинали восстания до осени, когда весь флот будет подготовлен к восстанию.

Меньшевики, отличавшиеся меньшей *дальнозоркостью*, чем большевики, и именно поэтому часто лучше разглядывавшие предметы на *близком расстоянии*, уловили, что наша революция при необ'ятности страны, при малой

взаимной связанности разных областей, при рассеянности очагов пролетарского движения, будет вероятнее всего раскачиваться постепенно, что она пойдет зигзагами, вспыхивая то там, то тут, постепенно нарастая. Соответственно с этим они дали лозунг, противоположный большевистскому — «развязывать революцию», поощрять частичные стачки и восстания везде где можно, пользоваться «захватным правом», закреплять частичные победы на местах организацией революционного самоуправления, организацией революционных «коммун» и так далее. Революция в 1905 г. вначале именно по этому пути и шла, и большевики, учившиеся в школе революции, в данном спорном вопросе скоро приблизились к точке зрения меньшевиков. Вот что они писали, например, в передовице 7 № «Пролетария»:

> «Дело таких отрядов... создать опорные пункты всенародной борьбы, перебросить восстание в соседние местности, обеспечить сначала хотя бы небольшой части территории государства полную политическую свободу, начать революционную перестройку прогнившего самодержавного строя, развернуть во всю ширь революционное творчество народных низов, которые мало участвуют в этом творчестве в мирные времена, но которые выступают на первый план в эпохи революции» и так далее [1]).

Меньшевистский лозунг «развязывания революции» соответствовал стихийному развитию событий в *первую половину* 1905 г., и в духе этого лозунга летом 1905 г. довольно солидарно работали обе фракции, между которыми и в центре и на местах стали складываться весьма тесные федеративные отношения, при чем «федеративные комитеты» все чаще руководили общими выступлениями. Ясно было, однако, что так дело долго продолжаться не может, что задача, поставленная большевиками (нанесение решительного удара) была отсрочена, но не устранена, что «развязываемая» и «развязанная» революция, чтобы не истощить понапрасну революционной энергии народа и чтобы победить, должна была, наконец, перейти в общую атаку и дать генеральное сражение царизму. Кто же мог дать ему это сражение?

Революция в 1905 г. перекинулась и в деревню, вылившись в форме бледно политических, но остро-аграрных волнений; она перекинулась отчасти в армию и особенно во флот; и демократическая интеллигенция, наше «новое третье сословие», переживала тогда пору лихорадочного профессионально-политического, «союзного» строительства. Однако для всех ясно и очевидно было, что движущей силой революции был всюду и везде только пролетариат. Мало того. После 9-го января практическим инициатором и организатором или, *по меньшей мере*, политическим руководителем всех ярких революционных выступлений были наши партийные организации. Так в Польше 1-го мая грандиозные манифестации были организованы польскими соц.-демократами; июньской всеобщей забастовкой в Лодзи, сопровождавшейся постройкой баррикад, руководили польские соц.-демократы; восстанием в Латвии руко-

[1]) См. Мартынов, «Передовые и отсталые», изд. «Искры», Женева 1905 г., стр. 4—

водили латышские соц.-демократы; восстанием в Гурии руководили кавказские соц.-демократы; они же в Тифлисе, став во главе всех общественных сил, прекратили татаро-армянскую резню. Во главе одесского широкого стачечного движения сразу почти стали соц.-демократы, пытавшиеся вовлечь в движение войска и превратить стачку в восстание; во главе восставшего броненосца «Потемкина» стояли соц.-демократы Кирилл и Фельдман. Восстание в Черноморском флоте организовывали моряки, входившие в состав «Крымского соц.-дем. союза»; грандиозная политическая манифестация в Иваново-Вознесенске и непрерывные массовые политические митинги в Нижнем-Новгороде и в Сормове были организованы соц.-демократами [1]). Все эти факты были общеизвестны и бесспорны, и меньшевики, игравшие во многих из этих революционных выступлений не только активную, но и руководящую роль, конечно, не думали их отрицать.

Какой же отсюда вытекал вывод? Очевидно тот, что соц.-демократия, которая, стоя во главе пролетариата, организовывала все *частичные* революционные выступления в 1905 г., должна была, под конец, взять на себя роль инициатора и организатора также и генеральной атаки против царизма в форме всеобщей забастовки и вооруженного восстания. Большевики к этому и стремились с самого начала. Но меньшевики этого логического вывода из создавшегося положения *ни за что не хотели делать,* боясь, как бы наша партия в результате этого шага не очутилась у власти в нашей «буржуазной» революции. И весьма любопытно, что Мартов в той самой книге, где он группирует только что цитированные мною факты нашего партийного руководства всеми яркими *частичными* выступлениями 1905 г., подтверждает, что меньшевики *сознательно* отказывались взять на себя инициативу *общей атаки* против правительства, и вполне одобряет это мудрое воздержание. Вот что мы по этому поводу читаем в его «Истории российской соц.-демократии»:

> «В основе этого и аналогичных рассуждений (меньшевиков. *А. М.)* лежит признание того, что непосредственное практическое руководство выступающими в событиях массами не может и не должно быть обязательной задачей партии и притом партии, втиснутой в рамки нелегальной организации, что партия должна сохранять за собой лишь возможность политического влияния на массы *и политического* (курсив автора. *А. М.*) руководства их выступлениями. Эта тенденция «Искры» (меньшевистской. *А. М.)* покоится на убеждении в том, что в наступающих событиях суб'ектом действия явится отнюдь не один лишь, проникнутый соц.-демократизмом, пролетариат, но широкие демократические массы, не могущие быть об'единенными одним партийным знаменем. Необходимость для соц.-демократии отказаться от официального руководства общенародным движением подсказывалась интересами самого движения, как такового, об'ективно-историческое содержание которого носит не

[1]) См. Л. Мартов, «История российской соц.-демократии», 1922 г., стр. 122–124

пролетарски-классовый, не социалистический, а только буржуазно-демократический характер»[1]).

Мартов в своей «Истории росс. соц.-демократии» идет еще дальше. Он откровенно признает, что под меньшевистской тактикой «развязывания революции» все время скрывался «сознательный отказ от задачи организационного об'единения народных движений» и что эта тактика меньшевиков вызывала сомнения (не только у большевиков, но и у Троцкого и Парвуса) относительно того расточения народных сил в частных движениях, которое в их представлениях должно было парализоваться процессом организации «самочинного» самоуправления, на практике, однако, сильно отстававшего от процесса разрушения старых общественных устоев». Мартов, таким образом, понимал опасность бесконечного «развязывания революции» без перехода к генеральной атаке. Но он утешал себя тем, что так приходилось, дескать, действовать неизбежно, пока не появится какой-либо «об'единяющий государственный центр политической борьбы»[2]).

«Об'единяющий государственный центр политической борьбы»! Это значило—какой-нибудь суррогат парламента, какая-нибудь, хотя бы куцая, Государственная Дума! Эти рассуждения Мартова, которые совершенно точно выражают взгляды *всех* меньшевиков во время революции 1905 г., вполне об'ясняют, почему меньшевики в то время так тосковали по Гос. Думе, проект которой стряпался в бюрократической канцелярии согласно царского указа от 18 февраля. Не смея возложить на нашу партию задачу подготовки и организации всенародного восстания, или, что то же самое, задачу «организационного об'единения народных движений», боясь, как бы это не вынесло нашу партию к власти в условиях буржуазной революции, меньшевики ждали, чтоб правительство созвало какую-нибудь Думу, чтоб переложить на этот «общенациональный государственный центр» задачу об'единения народного движения, превратив эту Думу путем «давления снизу» из органа контр-революции в орган революции.

То, чего меньшевики с таким нетерпением ждали, они, наконец, дождались в августе 1905 г., когда издан был указ о Булыгинской законосовещательной Думе. Превратить эту жалкую полицейскую карикатуру в парламент *непосредственно* в «об'единяющий государственный центр политической борьбы»,—об этом, конечно, не могло быть и речи, тем более, что проект булыгинской Думы предусмотрительно лишал избирательных прав весь пролетариат, все неимущие классы. Тем не менее меньшевики ухватились за Булыгинскую Думу, как за «зацепку», чтобы осуществить свою заветную мечту. П. Б. Аксельрод, как только стало известно, что решено созвать булыгинскую Думу, разработал хитроумный план кампании, одобренный редакцией меньшевистской «Искры», который являлся вторым испорченным изданием пресловутого «плана земской кампании». Вот что писал, между прочим, по этому поводу Аксельрод:

---

[1]) См. ibid., стр. 110, 111.

[2]) См. ibid., стр. 113.

«Если газетные слухи оправдаются и наш коронованный недоросль действительно издаст манифест о созыве Булыгинской Государственной Думы, то этому мы должны противопоставить лозунг: немедленный приступ к организации повсеместно свободных выборов в другую «Народную Думу», на обязанности которой будет лежать: во-первых, пред'явить Государственной Думе требование сознательных слоев народа о созыве Учредительного Собрания, избранного всеобщей, равной, прямой и тайной подачей голосов, и об'явления себя некомпетентной, не имеющей права функционировать, как представительное учреждение, решающее за народ общегосударственные вопросы; во-вторых, служить центром и выразителем воли всех демократических слоев населения и организатором оборонительных и наступательных действий этих слоев против правительства и его союзников. Вы уже знаете, что, по моему мнению, существо дела и характер проектируемого здесь собрания, как представительства не классового, а общенародного, требует соглашения, сговора и совместного действия нашей партии с центральными организациями либеральной демократии» [1]).

В дополнение к этому Аксельрод предлагал созвать одновременно рабочий с'езд, который должен будет «давить» на «Народную Думу», которая в свою очередь будет «давить» на Государственную Думу, и соц.-демократические элементы которого совместно с «жизнеспособными» элементами нашей партии должны будут заложить основу для новой реформированной соц.-демократической партии. Едва ли нужно теперь доказывать, что хитроумный план, придуманный П. Аксельродом и одобренный меньшевистской «Искрой», был безжизненный, мертворожденный. Как можно было мечтать провести повсеместные (да еще свободные!) выборы в «Народную Думу», открыто об'являемую «организатором оборонительных и наступательных действий против правительства», без боя, когда правительство еще не было сломлено и даже не было поставлено на колени!? Ведь речь тут шла не о Гурии и не о другой какой-либо губернии или уезде, а о всей России! Далее, если б это чудо удалось совершить, если б эта «Народная Дума» собралась, то зачем ей нужно было еще требовать у *цензовой* (полукадетской, получерносотенной) Государственной Думы, чтобы та созвала Учредительное Собрание? Почему бы самой Народной Думе, призванной к жизни «повсеместными свободными» выборами, не об'явить себя Учредительным Собранием? Не потому ли, что булыгинская Государственная Дума будет иметь *легальную* санкцию царской власти, а Народная Дума всего лишь *нелегальную* санкцию народной воли?! Смягчающим обстоятельством для Аксельрода и его единомышленников могло служить лишь одно,—что они сами серьезно не верили в возможность созвать «Народную Думу» при тогдашних условиях. Они придерживались «тактики-процесса»; для них важно было организующее влияние самого

---

[1]) П. Б. Аксельрод, «Народная Дума и рабочий с'езд», изд. «Искры», Женева 1905 г

процесса выборов. Но, к сожалению для Аксельрода, в то горячее революционное время ни у кого (и даже у большинства практиков-меньшевиков на местах) не было охоты заниматься игрой в парламентские бирюльки, которая могла иметь только один результат — отвлечь внимание от задач действительной революционной борьбы. Неудивительно поэтому, что голос Аксельрода и редакции меньшевистской «Искры» остался гласом вопиющего в пустыне. Все без исключения революционные организации (кроме части меньшевиков) и даже Союз Союзов стали на позицию активного бойкота булыгинской Думы, а пролетарские массы стали на еще более определенную позицию—они вступили в открытый бой с правительством; последнее из писем Аксельрода по вопросу о Булыгинской Думе написано было 10 сентября; а уже 20 сентября, одновременно с забастовкой и революционными уличными выступлениями московских печатников, в Петербурге открылся всероссийский с'езд союза железнодорожников, который под давлением своих пролетарских избирателей стал принимать резкие политические резолюции, и в «защиту» которого 7-го октября самочинно забастовала Моск.-Казанская жел. дорога, в то время, как сам союз, состоявший в большинстве из служащих, еще колебался, собираясь об'явить всеобщую железнодорожную забастовку в день открытия Думы. Это было началом великой октябрьской забастовки, впервые надломившей царскую власть. Мы видим таким образом, что и в период от января до октября революция от меньшевистской методы (частичных выступлений) перешла к большевистской методе (единовременной общей атаки с пролетариатом во главе). И тут, под конец, большевизм вышиб из седла меньшевиков, завязших в болоте парламентаризма.

Та же картина, только в другом варианте, повторилась в «дни свободы» (октябрь—декабрь). Центральную роль в революции в этот период играл Петербургский Совет Рабочих Депутатов. Инициатором созыва этого первого в России Совета Рабочих Депутатов были меньшевики—«Петербургская соц.-демократическая группа». Первым председателем Совета был меньшевик Л. Зборовский («Афанасий»); следующий председатель—беспартийный, Хрусталев-Носарь, вступил в конце этого периода в меньшевистскую фракцию. Фактическим политическим руководителем Совета был Л. Д. Троцкий, который в то время *формально* принадлежал к меньшевистской фракции, и в Исполнительном Комитете П. С. Р. Д. было много влиятельных рабочих-меньшевиков во главе с П. А. Злыдневым. Большевики, в противоположность меньшевикам, первоначально относились весьма недоверчиво и опасливо к этой беспартийной пролетарской организации. Быстрый рост влияния Совета внушал им опасения, что он затмит и оттеснит на второй план партию. Поэтому они настаивали, чтобы Совету Раб. Д. был пред'явлен ультиматум — либо принять партийную программу, либо превратиться в простое профессиональное общество, и им даже удалось первоначально провести это решение в расширенном партийном Федеративном Совете, в котором участвовали представители центральных органов обеих фракций. Только тогда, когда Ленин приехал в Петербург, отношение большевиков к Совету резко изменилось. Ленин, побывав

на заседании Совета, сразу оценил громадное революционное значение Совета, как зачаточного органа революционной диктатуры: «Пусть сюда примкнут еще депутаты от крестьян» (а в Сибири выбирались уже депутаты от солдат),—говорил он,—«то будет Совет рабочих и крестьянских депутатов, орган диктатуры пролетариата и крестьян» [1]). Это были вещие слова!

Чем же об'яснялось различное в начале отношение большевиков и меньшевиков к Пет. Сов. Раб. Деп.? Чтоб ответить на этот вопрос, нам нужно вернуться назад к 1903 г., к источнику нашего партийного раскола. Раскол возник первоначально, как известно, на почве организационной. Большевики стояли за сохранение строгой партийной дисциплины и требовали, чтобы всякий член партии непременно входил в организацию. Меньшевики, наоборот, говорили, что в русских условиях партия должна быть шире, чем партийная организация. Меньшевики протестовали против установившегося в партии «осадного положения», против царившего в ней режима диктатуры. П. Аксельрод, доискиваясь корней этой диктатуры, открыл их в интеллигентском характере нашей партии, которая, дескать, стала якобинской организацией буржуазных интеллигентов, пользующихся под флагом марксизма пролетариатом, как боевой силой, для низвержения царизма и для совершения буржуазной революции [2]). Сравните, говорил он, нашу партию с германской соц.-демократией: почему там нет раскольничьего духа? Почему в ней царит дух терпимости? Потому, что германская соц.-демократическая партия была с самого начала по своему составу пролетарская, потому, что истинно-пролетарская партия не имеет основания бояться, что она свернет с пролетарского пути. Почему наша партия, напротив, сектантская, нетерпимая? Потому, что в интеллигентской партии единственной гарантией соблюдения пролетарской линии есть строжайший подбор членов партии и железная дисциплина. Из этой оценки якобинизма старых «искровцев» вытекало тяготение Аксельрода к широким беспартийным, открытым рабочим организациям; из нее вытекала его пресловутая «идея рабочего с'езда».

Когда в нашей партии выросли разногласия по тактическим вопросам, Аксельрод рассчитывал на основании германского опыта, что, если наша партия выйдет из «душного интеллигентского подполья» на широкую дорогу открытого рабочего движения, если она впитает в себя большое количество рабочих, которые до того были беспартийными и лишь смутно сочувствовали соц.-демократии, то наша партия сразу усвоит меньшевистскую политическую тактику. Ставши истинно рабочей,—думал он,—наша партия не будет бояться заключать коалиции с либеральной буржуазией, которые он считал безусловно необходимыми для низвержения царского самодержавия и для политического воспитания самого пролетариата. Вот что, например, П. Аксельрод говорит на Лондонском с'езде 1907 г. в своем докладе о рабочем с'езде:

---

[1]) См. Б. Горев, «За кулисами первой революции»—«Историко-революционный бюллетень» № 1, 1922, стр. 14—15.

[2]) См. П. Аксельрод, «Об'единение Российской соц-демократии и ее задачи» — «Искра» №№ 55, 57.

«Тактические задачи, непосильные для с.-д. организации, в которой руководящим, а следовательно, и ответственным элементом является интеллигенция..., сравнительно легко могли бы быть решены политической организацией самих рабочих масс. Тот психологический момент, который заставляет нашу партию в теперешнем *фазисе* нашего развития безусловно отрицательно относиться к политическим соглашениям, договорам и коалициям с буржуазно-демократическими фракциями против реакции — сам собой устранился бы такой организацией, которая органически выросла в недрах самого пролетариата» [1]). П. Аксельрод и другие меньшевики, основываясь на истории возникновения германской соц.-демократии, потому так тяготели к открытым беспартийным рабочим организациям, что видели в тесной связи с последними залог осуществления меньшевистской соглашательской тактики. Но именно поэтому большевики относились очень недоверчиво к беспартийным рабочим организациям. Помня недавнюю историю русского «экономизма» 90-х г.г., большевики опасались, что связь с широкими, недостаточно оформленными и вышколенными рабочими организациями совлечет нашу партию с революционного пути. Опасения большевиков были так же неосновательны, как и надежды меньшевиков. Наша партия в то время не учитывала, что настроение широких слоев германских соц.-демократических рабочих, равно как и русских рабочих масс 90-х г.г., исключительно об'яснялось неблагоприятной для революции экономической и политической кон'юнктурой; наша партия в то время не учитывала, что в революционные эпохи рабочие массы сами стихийно стремятся к обострению классовых противоречий, сами проявляют инстинктивное недоверие к буржуазии, какими бы фразами она ни прикрывалась, сами стихийно действуют «по-большевистски». Это блестяще подтвердил опыт Пет. Сов. Раб. Депутатов.

Этот Совет призвали к жизни меньшевики, а как он действовал? Искал ли он коалиции с бессильными либералами, или, хотя бы, с лево-интеллигентским Союзом Союзов? Удерживался ли он от таких шагов, которые могли запугать буржуазию? Сидел ли он у моря и ждал погоды? Другими словами: откладывал ли он решительные действия до того неопределенного времени, когда у нас в лице Государственной Думы возникнет «об'единяющий государственный центр политической борьбы»? Явился ли он, наконец, образчиком меньшевистской, мягкой, расхлябанной организации? Нет, нет, нет и нет!

Петербургский Совет Рабочих Депутатов с первого дня своего существования добровольно наложил на себя узы железной пролетарской дисциплины. В ответ на наступление контр-революции, руководимой Треповым, он с самого начала взял твердый курс на вооруженное восстание. Идя к этой цели, он стал организовывать пролетарскую самооборону против погромщиков. Идя к этой цели, он самым решительным образом поддерживал требования угнетенных пролетарских и полупролетарских масс, угнетенных национальностей и недовольных элементов армии и флота, не смущаясь тем, что он своими действиями толкал нашу буржуазию в об'ятия контр-революции. Так он под-

[1]) См. Лондонский с'езд Р. С.-Д. Р. П., полный текст протоколов, 1909 г., стр. 377.

держал требования рабочих о самочинном введении 8-часового рабочего дня, поддержал забастовку почтово-телеграфных служащих, ответил всеобщей забастовкой на об'явление осадного положения в Польше и на готовившиеся расстрелы в Кронштадте. Рожденный великой октябрьской забастовкой, Пет. Совет Раб. Деп. всей своей деятельностью подготовил декабрьское московское вооруженное восстание.

Эта первая решительная схватка между пролетариатом и соединенными силами контр-революции кончилась поражением пролетариата: первый серьезный удар ему нанес петербургский стотысячный локаут, второй — семеновцы и Дубасов в Москве. Пролетариат потерпел поражение в декабре, потому, что он был изолирован, но не потому, что он изолировал себя от буржуазии (это было при всех условиях неизбежно), а потому, что он не успел связаться с крестьянством и с крестьянской солдатской массой. Если б последние поспели к нему на подмогу, ему не страшен был бы локаут капиталистов, и самый локаут был бы невозможен. Но революционный пролетариат, зная про нарастание аграрного движения в деревне в 1905 г. и видя начало разложения в армии, не мог заранее разгадать, поспеют ли ему на помощь союзники, созрели ли они уже политически для этого или нет—это мог показать только опыт—и оттягивать развязку он не имел возможности, ибо контрреволюция, окрыляемая надеждой на получение французских миллиардов, наступала с каждым днем все решительнее и ставила пролетариат перед выбором — капитулировать или принять бой. Ввиду такого положения пролетариат в декабре стихийно принял бой—и революционный инстинкт подсказал ему единственно правильное решение: декабрьское восстание, правда, кончилось поражением, но зато оно было исторически необходимой репетицией для будущего победоносного восстания в феврале 1917 г. Можно с уверенностью сказать, что не будь декабря 1905 г., не было бы и февраля 1917 года!

Петербургский Совет Рабочих Депутатов так единодушно, так сплоченно и так мужественно вел борьбу с наступающей контр-революцией, что он увлек за собой всех меньшевиков в России: в знаменитые «дни свободы» между большевиками и меньшевиками в России не было никаких серьезных разногласий. (Только Плеханов, сидя в Женеве, из прекрасного далека критиковал «бестактность» соц.-демократии в «дни свободы».) Фракционные разногласия воскресли у нас с новой силой лишь после декабрьского поражения. Лишь тогда меньшевики испытали «похмелье» от «революционного угара», похмелье, нашедшее себе яркое выражение в покаянной книге меньшевика Череванина, которую Троцкий подверг в то время заслуженной уничтожающей критике [1]).

Какую же эволюцию проделали большевики и меньшевики в «дни свободы» в своем отношении к Пет. Совету Раб. Депутатов? Большевики, относившиеся вначале очень недоверчиво к этой беспартийной, политически неоформленной классовой организации пролетариата, вскоре на опыте убеди-

[1]) См. Л. Троцкий, «1905»— Пролетариат и русская революция» и «Наши разногласия», стр. 259—282.

лись, что Сов. Раб. Деп. имеет огромное революционное значение и, в лице Ленина, охарактеризовали его, как зародыш будущей пролетарской власти, как прообраз будущего органа диктатуры пролетариата и крестьянства. Таким образом, Ленин, уже тогда извлекая урок из деятельности Петр. Сов. Раб. Деп., выяснил себе, что Советы предназначены играть роль необходимой и ничем не заменимой смычки, передаточного аппарата, между партией и революционными классами в обстановке революционной диктатуры, и этот вывод из опыта 1905 г. он с успехом применил на практике впоследствии, в 1917 г., когда он выдвинул лозунг—«Вся власть Советам!».

Меньшевики в своем отношении к Совету проделали противоположную эволюцию. Призвав к жизни Пет. Сов. Раб. Деп. в расчете, что эта беспартийная, политически неоформленная классовая организация пролетариата поможет нашей интеллигентской партии излечиться от якобинизма, меньшевики под конец разочаровались в этом типе организации. Они под конец пришли к заключению, что наш пролетариат в «дни свободы» наделал множество роковых «ошибок» именно потому, что им руководил Сов. Раб. Депутатов, который по самому строю своей организации пригоден был лишь для проведения якобинской тактики, ибо Совет был, дескать, диктаторским органом, непосредственно опиравшимся на слишком широкие, слишком несознательные, слишком стихийно настроенные пролетарские массы. Во время деятельности Петербургского Совета это обвинение против него решилась выдвинуть только небольшая группа анти-интеллигентски и анти-революционно настроенных соц.-демократов печатников (в том числе будущий весьма влиятельный меньшевик Дементьев), издававших «Рабочий Голос», и примыкавшие к ним бывшие «рабочедельцы» Акимов и Семен (Пескин) [1]. После декабрьского поражения недовольство якобинизмом Совета задним числом стало высказывать большинство руководящих элементов меньшевизма. Так меньшевики в «дни свободы», начав за здравие, кончили за упокой.

Те же «начала и концы» мы наблюдаем и в парламентской деятельности наших соц.-демократических фракций в период первой и второй Гос. Думы. Непосредственно после декабрьского восстания правительственный террор исключал возможность участия соц.-демократии в выборах. Вначале почти всем соц.-демократам казалось, что Дума будет черносотенная; во многих местах рабочих насильно гнали на выборные собрания под угрозой расчета. Пролетариат в массе был настроен враждебно к Думе. Отражая это настроение или, во всяком случае, считаясь с ним, наш об'единенный Ц. К. предложил организациям на местах либо бойкотировать выборы с начала до конца, либо участвовать в первых стадиях выборов, не выставляя кандидатур в самое Думу, и огромное большинство наших партийных организаций (в том числе и меньшевистских) пошло по первому пути и бойкотировало выборы. Разногласия относительно Думы между нашими фракциями возникли лишь тогда, когда выяснились результаты первых выборов, когда выяснилось, что демократические резервы, не участвовавшие в революционных выступлениях в

[1]) См. Л. Мартов, «История росс. соц.-демократии», стр. 158—159.

«дни свободы»—левые крестьяне в лице «трудовиков», городская буржуазная демократия и даже часть рабочих—вслед за кадетами пошли в Думу и тем предрешили ее оппозиционный характер.

С этого момента меньшевики высказались за участие в дополнительных выборах во всех стадиях и за образование самостоятельной соц.-демократической фракции в Думе, между тем, как большевики продолжали настаивать на бойкоте Думы. Большевики ставили участие в выборах в такой лжепарламент, как Виттевская Гос. Дума, в зависимость от того, «переживаем ли мы 1847 год или 1849 г.», в зависимость от того, ожидает ли нас еще впереди решительный бой или он уже остался позади нас и революция уже потерпела окончательное поражение. Так у нас имеет место первый случай, говорили они, то мы должны бойкотировать Думу, чтобы рассеять конституционные иллюзии и чтоб направить внимание рабочих и крестьян на вооруженное восстание; лишь во втором случае было бы допустимо итти в Думу и заниматься там парламентской работой. Большевики, таким образом, в то время еще полагали, что «французская метода» не совместима с «немецкой». Это была прямолинейная, неправильная позиция, от которой большевики впоследствии, после Стокгольмского с'езда, отказались под влиянием уроков политической жизни. Бойкот Думы был бы целесообразен лишь в том случае, если б можно было ожидать в ближайшие же месяцы, ко времени открытия Думы, *победоносного* вооруженного восстания; но после разгрома Советов Раб. Деп., изолированных от деревни, и после кровавого подавления декабрьского восстания на такую *близкую* победу и сами большевики не рассчитывали, хотя обе фракции в то время были убеждены, что декабрьское поражение было только временным поражением и что революция еще возродится с новой силой. При таких условиях, именно ради осуществления большевистской платформы, т.-е. диктатуры пролетариата и крестьян, нужно было итти в Думу, как нужно было в 1921 г. перейти от военного коммунизма к «нэпу» для укрепления союза с крестьянством.

Крестьянское аграрное движение разлилось в 1905 г. широкой волной и приняло насильственные формы под непосредственным влиянием рабочего движения в городах. Это выразилось, между прочим, в том, что крестьяне даже такие акты, как разгром помещичьего имения или самовольная порубка леса, называли часто пролетарским термином—«забастовка». Но это аграрное движение лишено было осмысленного политического содержания, кроме тех сравнительно немногих местностей, как, например, Гурия или Аткарский уезд, где эс-эры или соц.-демократы вели усиленную революционную агитацию в деревне. Если петербургские рабочие еще в январе 1905 г. обнаружили наивные монархические иллюзии, то тем более, конечно, этими иллюзиями была пропитана широкая крестьянская масса, которая бунтовала лишь против помещиков и против урядников, но еще отнюдь не против царя. И сочувствие крестьян к революционному пролетариату, поскольку оно имело место, было в то время еще весьма политически непродуманным и непрочным. Октябрьская забастовка, например, надолго расстроившая товаро-

обмен города с деревней, настолько раздражала крестьян, что забастовщикам-железнодорожникам местами в то время приходилось вместе с семьями бежать подальше от деревни во избежание крестьянской мести [1]). Этим об'ясняется в конечном счете декабрьское поражение. Крестьяне в «дни свободы» еще не понимали значения революционной борьбы пролетариата и потому не поддержали его. Соответственно с этим крестьяне, когда об'явлено было о созыве Думы, очень серьезно отнеслись к выборам, надеясь, что Дума, созванная царем, даст им землю и волю, если их депутаты-ходоки будут в Думе стойко отстаивать крестьянские интересы. Газеты, напр., рассказывали про такие крестьянские наказы депутатам: «Ты идешь в Думу, умри же там за наше дело, а если изменишь нам, то не возвращайся домой, мы тебя здесь убьем» [2]). При таком серьезном отношении к Думе крестьян, зараженных монархическими и конституционными иллюзиями, соц.-демократы обязаны были призывать рабочих к участию в выборах, чтобы в Думе, беспощадно разоблачая поведение представителей власти и буржуазных партий, рассеять наивные крестьянские иллюзии и показать им, что один лишь пролетариат искренне хочет и способен будет им дать «землю» и «волю», если они поддержат его революционную борьбу. При такой тактике выборы в Думу и участие в ней были бы лучшей политической подготовкой к народному восстанию. Бойкот же выборов в первую Думу революционными партиями имел лишь то последствие, что часть крестьян прямо голосовала за кадетов, а «трудовики», избранные левыми крестьянами, плелись в Думе в хвосте за кадетами, в результате чего кадеты во время первой Думы были окружены совершенно незаслуженным ореолом, делая под давлением своих союзников красивые революционные жесты, ни в какой мере не соответствовавшие их заячьей психологии. Наш бойкот первой Думы таким образом не разрушал в деревне, а питал в ней конституционные иллюзии.

Неправильная бойкотистская позиция большевиков дала возможность меньшевикам одержать над ними сравнительно легкую победу на с'езде в Стокгольме. Но меньшевики, по обыкновению, не использовали эту мимолетную победу и не могли ее использовать, потому что их основная политическая линия была ложная. П. Б. Аксельрод на Стокгольмском с'езде во всей полноте развернул меньшевистскую платформу в связи с выборами в Думу. Он в своей четырехчасовой речи, дал правильное, можно сказать, классическое обоснование парламентаризма, как школы для развития классового самосознания пролетариата. Но этот парламентаризм он крайне оппортунистически противопоставлял большевистскому повстанчеству, как якобы антисоц.-демократической тенденции. П. Б. Аксельрод говорил:

«Мы отнюдь не исходили из предположения о мирной ликвидации старого режима и очень *серьезно считались* с народным восстанием или,

---

[1]) См. Д. Сверчков, «На заре революци», стр. 114.

[2]) См. Протоколы Об'единит. С'езда Р. С.-Д. Р. П., состоявшегося в Стокгольме в 1906 г., речь Плеханова, стр. 247.

скорее, с рядом широких восстаний, как неизбежными этапами в окончательной решительной войне с этим режимом. Но мы полагали и полагаем, что партия, как таковая в целом, как политическая коллективность, может готовиться и подготовлять рабочие массы к этой решительной битве не военно-техническими средствами, заговорщическим путем, а средствами политическими; именно: с одной стороны, революционизируя эти массы во имя их классовых интересов на почве и путем *развития их социально-политической самодеятельности,* а с другой стороны,— *неуклонно толкая либеральные элементы на путь систематического и планомерного воздействия на средние и высшие военные сферы, для привлечения их на сторону революции.* Противники же наши с «Вперед»ом» во главе стремились к тому, чтобы партия сосредоточила все свои силы на военно-технической подготовке вооруженного восстания. На почве этого стремления развилось и упрочилось у нас то течение, которое я характеризую, как *бунтарско-заговорщическое,* которое я считаю по существу, по его социально-политическим тенденциям, *анти-соц.-демократическим».* (Курсив везде мой. *А. М.)* [1]).

Эти слова, дающие нам ключ к пониманию всей меньшевистской тактики по отношению к Думе, если отвлечься от правильного указания, что не следует преувеличивать значения *технических,* заговорщических методов подготовки народного восстания, представляют собой полное искажение всей перспективы нашей революции и полный отказ от гегемонии пролетариата и соц.-демократии в этой революции.

Меньшевики были принципиально против того, чтобы соц.-демократия стала во главе народного восстания пролетариата и крестьян. Вместо этого они предлагали соц.-демократии в течение всей революционной эпохи сохранить положение партии крайней оппозиции, которая должна, опираясь на ряд *частичных* восстаний, *косвенно* вызванных конфликтами в Думе, сначала помочь в этой Думе либералам победить реакционное правительство, а потом в той же Думе помочь радикальной буржуазной демократии города в союзе с крестьянами победить умеренных либералов. Поддерживая «общенациональную» борьбу против царского самодержавия, меньшевики, или, по крайней мере, их наиболее яркие представители Плеханов и Аксельрод, рассчитывали таким образом привлечь на сторону революции *офицерство,* что, по их мнению, должно было решить судьбу революции. Меньшевики не делали принципиального различия в своем отношении к либеральной буржуазии, с одной стороны, и к крестьянству, с другой. Можно даже сказать, что они приписывали большее революционное значение либералам, чем крестьянам, ибо либералы, по их мнению, были выразителями противоречия между прогрессивными интересами капиталистического развития России и азиатским варварством царизма, между тем как крестьяне и их идеологи народники проникнуты экономически-реакционным социальным утопизмом. Поэтому они в первой стадии

[1]) См. ibid., стр. 222, 223.

революции склонны были главные усилия направить на поддержку либералов в их конфликте с царской бюрократией, а во второй—на поддержку в первую голову *городской* буржуазной демократии в ее борьбе с либералами, хотя эта городская буржуазная демократия была у нас в значительной мере мифической или во всяком случае ничтожной по своему экономическому удельному весу. Этим перспективам революции соответствовала та тактика, которой вожди меньшевизма предлагали нашей партии придерживаться и в выборной кампании, и в самой Думе. Исходя из этих взглядов, вожди меньшевистской фракции предлагали на выборах поддерживать кадетов там, где есть черносотенная опасность, а там, где ее нет, выставлять свою самостоятельную кандидатуру, стремясь в общем не вступать в блок с левыми народническими партиями против кадетов. Исходя из этих взглядов, вожди меньшевизма предлагали в Думе поддерживать кадетский лозунг «ответственного министерства» и кадетскую формулу «принудительного отчуждения земли», без упоминания своего специального требования «без выкупа», дабы не разбить единства оппозиции и не ослабить впечатления общего натиска Думы против правительства. Исходя из этих взглядов, они, в противоположность большевикам, стремились делать центром народного внимания и предметом народных симпатий всю Думу в целом в ее борьбе с царским правительством, а не левую часть Думы в ее борьбе с правительством вкупе с либеральными соглашателями.

После того, что я говорил в прошлой главе [1]), мне остается сказать только несколько слов для выяснения всей ложности этой меньшевистской политической линии. Кадеты, бесспорно, в первой Думе и даже во второй еще не заключили сделки с царским самодержавием и еще сохранили оппозиционное отношение к нему; тем не менее они, благодаря своему полному бессилию, с одной стороны, благодаря своему страху перед углублением революции, с другой, об'ективно играли контр-революционную роль, ибо они, будучи сами неспособны к борьбе и стараясь лишь *использовать* для себя борьбу двух реальных сил—правительства и пролетариата, во всякий момент готовы были заключить сделку с правительством, тем самым внося разложение в ряды нестойких элементов революционной демократии, включая сюда и самих меньшевиков. Далее, крестьянство и левые народники бесспорно страдали социальным утопизмом, но действительное осуществление идеалов крестьян требовало огромного размаха революции, а такая революция в *конечном счете* и при экономически непрогрессивной «социализации земли» не задержала бы экономического развития страны, а дала бы, наоборот, ему сильнейший импульс. Далее, расчеты Плеханова и Аксельрода на привлечение на сторону революции офицерства при помощи поддержки Думы в целом и «общенационального» движения против царизма обнаруживали полное непонимание социального характера нашей революции и полную оторванность от современной российской действительности: когда в конце семидесятых годов прошлого

[1]) См. «Кр. Новь» 1923 г., книга 2-я, А. Мартынов, «Великая историческая проверка», гл. 3.

века с царским самодержавием боролась революционная *интеллигенция* в лице «Народной Воли», на сторону революции действительно переходили многие офицеры. Когда же в начале XX века во главе революции стал *пролетариат*, на сторону ее стали уже переходить не офицеры, а солдаты и матросы, при чем первым шагом их приобщения к революции было сплошь и рядом их восстание *против* офицеров. Наконец, в корне ложно было отношение меньшевиков к думским конфликтам между кадетами и царским правительством. Эти конфликты безусловно нужно было использовать, но не так, чтобы пролетариат стал на сторону либералов в их борьбе с властью (например, в их борьбе за «ответственное министерство»), а так, чтобы, пользуясь замешательством в рядах своих классовых врагов, пользуясь их взаимными спорами, выступить со своими самостоятельными требованиями. Что это была единственно целесообразная тактика, свидетельствуют два крупнейших факта из истории наших революций. Когда во время Святополка-Мирского наступила «либеральная весна», когда возник первый конфликт между либеральными земцами и правительством, петербургский пролетариат реагировал на это не тем, что поддержал «пока-что» требование земского с'езда, а тем, что он 9-го января сделал самостоятельное грандиозное выступление—с требованием созыва Учредительного Собрания; когда в конце 1916 и в начале 1917 г.г. начали обостряться отношения между думским «прогрессивным блоком» и царской бюрократией, петербургские рабочие ответили на это не поддержкой «прогрессивного блока», а февральской революцией под республиканским знаменем.

Главные теоретические вдохновители меньшевизма во время выборных кампаний в Думы и во время самой работы первой и второй Дум, благодаря своему меньшевистскому безжизненному доктринерству, тормозили нашу партию в ее революционной борьбе и шли против революционного течения. Результат получался тот, что меньшевики на практике сами на каждом шагу вынуждены были отступать от своей доктрины. Л. Троцкий уже отметил на Лондонском с'езде нашей партии, что, вопреки директивам меньшевистского Ц. К., наши партийные организации в огромном большинстве при выборной кампании во вторую Думу действовали по-большевистски:

> «К счастью, этого не случилось (не случилось то, чего Ц. К. хотел. *А. М.)*,—говорил он,—ибо тактика меньшевиков не прошла. Так называемый левый блок сыграл во время выборов несравненно большую роль, чем соглашения с кадетами. Под знаменем «левого блока», в котором соц.-демократия играла руководящую роль, совершался процесс высвобождения радикальной демократии из-под политической гегемонии кадетского либерализма» [1]).

Точно также Алексинский на Лондонском с'езде с цифрами в руках доказал, что наша думская фракция, в которой меньшевики имели значительное большинство, вынуждена была в значительном большинстве случаев голосовать во второй Думе «по-большевистски»:

[1]) См. Лондонский с'езд. Полный текст протоколов, стр. 198.

«Из этих цифр видно, что по важнейшим вопросам у нас почти не было общих голосований с к.-д. Большей частью голосования дают картину революционной концентрации, или, как принято выражаться, «левого блока» из с.-д., с.-р., н.-с. и трудовиков, против которого голосуют кадеты и черная сотня» [1]).

И сами лидеры меньшевиков в Думе—Церетели и Джапаридзе—с огорчением констатировали в печати невыдержанность своей меньшевистской линии, констатировали, что они «по неопытности» часто сбивались на большевистскую позицию [2]). Неудивительно поэтому, что большевистский Лондонский с'езд «в общем и целом» одобрил поведение нашей думской соц.-демократической фракции!

Мы видим, таким образом, что и в думский период, так же, как и в «дни свободы», меньшевики, начавши за здравие, кончали за упокой, а большевики, наоборот, сначала не приспособившиеся к использованию «немецкой» парламентской методы, потом ее усвоили и не только усвоили, но и выбили из седла меньшевиков, благодаря правильности своей основной революционной линии.

Большевики в школе первой революции учились и научились *комбинированию*, сочетанию боевой тактики с парламентарной. В той же школе они научились искусству *маневрировать*, искусству быстро менять тактику при перемене политической ситуации, что для них оказалось возможным только благодаря дисциплинированности их фракции, благодаря наличности у них крепко сплоченного боевого центра. Я уже говорил, как Ленин в 1905 г. при возникновении аграрного движения крестьян быстро и решительно перестроил большевистскую политическую платформу и политическую тактику применительно к *наступлению* [3]). Гораздо труднее большевикам в то время давалось искусство быстрого *отступления* в боевом порядке, а как важно овладеть этим искусством для опасения революции в трудные времена, мы могли убедиться в последние годы, в эпоху октябрьской революции, при заключении Брестского мира, а затем, после Кронштадтского восстания, при переходе к новой экономической политике.

Перед задачей отступления наша партия стала в 1906 г. после разгрома декабрьского восстания. В то время ни большевики, ни меньшевики не думали еще, что революция перевалила через высшую точку под'ема и идет на убыль. Когда, однако, разгон первой Думы и Выборгское воззвание не нашли себе почти никакого отклика, имелось уже на-лицо об'ективное доказательство известной усталости в массах. Тем не менее, большевики, у которых слишком еще живы были воспоминания героического периода революции, никак не хотели мириться с фактами и делали попытки искусственными способами (организация боевых «троек» и «пятков») воскресить повстанческое движение. Хотя «партизанские выступления» при отсутствии массового дви-

[1]) См. ibid., стр. 173.

[2]) См. сборник, «Тернии без роз».

[3]) См. Мартынов, «Великая историческая проверка».—«Кр. Новь» 1923 г., книга 2-я, стр. 258.

жения и при наличности небывалого правительственного террора явно принимали уродливые формы, большевики все-таки не теряли надежды, что это поможет раскачаться вооруженному восстанию. Несмотря на то, что еще Стокгольмский с'езд весной 1906 г. отверг резолюцию большевиков о допустимости нападения на казенные учреждения с целью конфискации казенных денег, несмотря на то, что этот с'езд на-ряду с резолюцией о *политической* подготовке вооруженного восстания принял резолюцию против «партизанских действий», большевики продолжали стоять на своем. И даже через год, в 1907 г., большевики на Лондонском с'езде еще воздержались при голосовании резолюции о роспуске боевых дружин. О том, как могло отразиться на судьбе партии это упорство большевиков, их тогдашнее неуменье отступать, мы можем судить по беспристрастному рассказу большевика М. Ольминского:

> «Вооруженный захват казенных и банковских денег,—пишет он,—стихийно получил широкое развитие,—особенно со стороны соц.-революционеров, анархистов, польских социалистов и проч. Не встречая достаточного идейного противодействия сверху, начали практиковать нападения (по тогдашнему выражению—«экспроприации» или—сокращению—«эксы») и большевистские боевые организации. В эти организации шла преимущественно горячая, преданная делу, самоотверженная рабочая молодежь,—еще малосознательная и в партийном отношении плохо дисциплинированная. Несколько удачных «эксов» на сотни тысяч рублей вскружили головы этой молодежи. И она бросилась в «эксы», мало считаясь с указаниями партийных комитетов (а кое-где и с согласия этих комитетов). Захваченные деньги иногда передавались в комитеты полностью, иногда частично, а иногда и вовсе не передавались... Крупные «эксы» стали вырождаться в мелочные нападения на фабрично-заводских служащих, везущих жалованье для раздачи рабочим, а позже—даже и на кондукторов трамвая для захвата сумки с дневной выручкой. Временами люди рисковали головой из одного только молодечества... Позже, *когда началось возрождение революционного рабочего движения, это возрождение всего медленнее шло в тех городах, где было больше всего увлечения «эксами»...*». (Курсив мой. *А. М.)* [1]).

В результате этого упорства в поощрении партизанских выступлений при явном отсутствии благоприятных условий для массового восстания влияние авантюристических элементов в большевистской фракции стало принимать угрожающие размеры, и это ко времени созыва январского пленума Ц. К. в 1910 г. вызвало тягчайший кризис большевизма.

На меньшевиков поражение революции и наступление столыпинской реакции оказали прямо противоположное влияние. Они чужды были революционного романтизма. Они еще задолго до 3-июньского переворота были размагничены и ощущали тяжелое «похмелье» от «революционного угара». Поэтому они с большим чувством облегчения набросились на легальную ра-

[1]) См. «Из эпохи „Звезды“ и „Правды“» (1911—1914), Госизд. 1921, стр. 17—18.

боту, цепляясь за те крошечные «легальные возможности», которые открывал соц.-демократии столыпинский режим. Они стали издавать легальные органы с урезанной программой, оказывали содействие думской социал-демократической фракции, работали в чахлых профсоюзах, которые не смели руководить стачками, в рабочих клубах, в просветительных обществах, страховых кассах, выступали на буржуазных с'ездах и т. д. То, что меньшевики делали в эти годы тяжелой реакции на арене открытого, легального рабочего движения, было безусловно необходимо и полезно для пролетариата, и за крохоборческий характер своей легальной работы они не были ответственны, ибо они были сдавлены тисками полицейского режима. Но они были весьма и весьма ответственны за то, что, занявшись легальной работой, совершенно забросили работу нелегальную, что порвали с революционными традициями соц.-демократии, что с презрением стали отзываться о нелегальной партии, как о «трупе», что возрождение этой нелегальной партии считали «реакционной утопией». Именно за это большевики их совершенно справедливо обвиняли в «ликвидаторстве» партии, в том, что они стали «проводниками буржуазного влияния» на рабочее движение. Факт «ликвидаторства» меньшевиков, живших в России, признали даже заграничные меньшевики, работавшие в нелегальной газете «Голос Соц.-Демократа». Даже Мартов, бравший их под свою защиту, осторожно, но многозначительно писал о них в своей яростно-полемической и весьма «склочной» брошюре, направленной против большевиков:

«Поглощенные кропотливой будничной работой, ведя упорную борьбу за самое существование новых рабочих организаций, *они как бы отодвигали в даль неопределенного будущего практическую постановку вопроса о форме, в которую должна вылиться политическая организация русского рабочего класса*» (курсив мой. *А. М.)* [1]).

Что другое означают подчеркнутые слова, как не полный разрыв с нашей соц.-демократической рабочей партией в частности и соц.-демократией вообще?!

Заграничная организация меньшевиков, издававшая «Голос Соц.-Демократа» (бывшая редакция меньшевистской «Искры»), *формально* не стояла на «ликвидаторской» позиции, *формально* признавала преемственную связь с партией и говорила о необходимости сочетания легального движения с нелегальным. Но *фактически* она покровительствовала «ликвидаторам» в России и защищала их еще в большей мере, чем «Рабочее Дело», некогда защищало «экономистов». Мало того, после того, как Аксельродовская «идея рабочего с'езда» была отвергнута Лондонским с'ездом, редакция «Голоса Соц.-Демократа» связывала с работой «ликвидаторов» на легальной арене все свои надежды на возрождение партии. Мартов в упомянутой брошюре писал, что «в сферу этого движения» (нелегального) должен быть перенесен «центр тя-

[1]) См. Л. Мартов, «Спасители или упразднители», Париж 1911 г., стр. 6.

жести возрождающейся партии» [1]), что «мы не считали возможным разорвать окончательно связь с партийными учреждениями, захваченными ленинским кружком, ибо мы сознавали, что то живое, что представляли собой сплочения соц.-демократов в русских открытых организациях, было еще в слишком *зародышевом* состоянии..., чтобы тогда же взять на себя миссию образовать новую партийную организацию» [2]). Когда же Мартов убедился, что этот «зародыш» в 1911 г. уже достаточно созрел и окреп, он решил порвать со старой партией и для этой именно цели он выпустил цитируемую брошюру, которая, по расчету автора, должна была нанести старой партии удар в сердце. Сравнивая «ликвидаторов» с этой партией, обреченной им на смерть, Мартов писал в своей брошюре:

> «Я могу сказать, что те, кого окрестили «ликвидаторами», спасли честь русской соц-демократии в самые мрачные дни развала... (это-те-то спасли честь, которые, по его же словам, «отодвинули в даль неопределенного будущего» задачу «политической организации русского рабочего класса»!! *А. М.)*. Говоря это, мы не хотели выразить пренебрежение... к попыткам русских большевиков... восстановить хотя бы маленькие нелегальные организации... Все эти попытки, на три четверти разбившиеся о неблагоприятные условия, свою долю пользы, конечно, приносили..., но они не могли до сих пор создать ничего прочного, в то время, как работа «ликвидаторов», как это видят теперь и их противники, помогла созданию сплоченных кадров соц.-демократических рабочих, которые одни только смогут вести организованную политическую борьбу» [3]).

В то время, как Мартов, таким образом, в Париже пел славу восходящему солнцу русского ликвидаторства, Ф. Дан, переехавший в Петербург, в том же 1911 г. в № 6 «Нашей Зари» об'явил войну не на живот, а на смерть анти-ликвидаторам (т.-е. большевикам и плехановцам):

> «Анти-ликвидаторство предстало перед ним (рабочим движением) лицом к лицу, как непримиримый противник, которого надо победить в открытом бою. Крупные политические задачи делают неизбежною беспощадную борьбу с анти-ликвидаторством... Анти-ликвидаторство есть вечный тормоз, вечная дезорганизация... надо всеми силами стараться убить ее теперь же» [4]).

Что же делали большевики в то время, когда Мартов и Дан собирались их уже похоронить «теперь же»? Разделавшись хотя и с большим запозданием, но зато решительно с «боевизмом» и с «отзовизмом» (т.-е. с группой большевиков, требовавшей отзыва соц.-дем. депутатов из Думы) и устремившись, вслед за меньшевиками, на арену открытого рабочего движения, поставив

---

[1]) См. ibid., стр. 8.

[2]) См. ibid., стр. 10.

[3]) См. ibid., стр. 7.

[4]) См. «Из эпохи „Звезды“ и „Правды“», стр. 23.

в Петербурге легальную газету «Звезда», а затем легальную же рабочую газету «Правда», начав энергично работать в профсоюзах, больничных кассах и т. д.,—большевики в то же время, в отличие от меньшевиков, сохранили свой боевой центр, свой нелегальный заграничный орган и свой нелегальный партийный аппарат. Приспособляясь к работе на открытой легальной арене, большевики в то же время в своем заграничном органе открыто, а в своих легальных петербургских газетах прикрыто, при каждом случае напоминали рабочим про старые революционные лозунги, про то, что ликвидаторы в насмешку называли «тремя китами» (республика, восьмичасовой рабочий день, конфискация помещичьей земли). Одновременно с этим они вели беспощадную борьбу с ликвидаторами, которые, сжившись со своей крохоборческой легальной работой и предовольные ею, заменили старые революционные лозунги лозунгами частичными (свобода коалиций, свобода стачек и т. п.) и на долгое время махнули рукой на революцию. Таким способом, подковываясь на все ноги, большевики готовились к тому времени, когда благоприятный поворот событий позволит им вновь связаться с массами. Этот момент наступил скоро, в 1912 г., после Ленских событий, давших толчок бурному стачечному движению, и большевики немедленно этим воспользовались, оказывая самую энергичную поддержку стачечникам, в то время как меньшевики-ликвидаторы вопили против «стачечного азарта». В результате всего этого большевики в условиях нового под'ема движения быстро стали завоевывать симпатии рабочих масс: при выборах в Государственную Думу большевики завоевали все шесть мест в рабочей курии, ни один меньшевик не прошел по рабочей курии. На призыв «Правды» устроить сборы в пользу газеты отозвались 504 рабочих группы; на такой же призыв ликвидаторов откликнулись всего лишь 15 групп [1]). Наконец, профсоюзы и больничные кассы—эти главные бастионы ликвидаторов—были у них отбиты большевиками. Так большевики учились и научились маневрировать, т.-е. при нужде быстро отступать, сохраняя боевую готовность.

Я долго останавливался на политической платформе и на политической тактике большевиков и меньшевиков в эпоху первой русской революции. На какую же социальную базу, на какие социальные слои опирались эти фракции? Для нас, марксистов, этот вопрос имеет большое значение. Большевики и меньшевики были *фактически* две различные партии, несмотря на общность программ, а мы всегда размещаем партии по определенным классовым полочкам, ибо это является для нас лучшей характеристикой и лучшей проверкой для партии. Чтоб ответить безошибочно на этот вопрос, нужно, однако, не упустить из виду одной истины, которая часто забывается. Данный общественный класс или общественный слой *не всегда сразу* связывает свою судьбу с той партией, которая лучше всего обслуживает его интересы, и, наоборот, данная политическая партия *не всегда сразу* находит себе подходящую классовую полочку. Полное соответствие между партией и классом устанавливается только в *конечном счете*, часто после долгих взаимных прощупываний.

[1]) См. ibid., стр. 42.

Английский пролетариат, например, долго поддерживал буржуазную либеральную партию, а марксистская Соц.-Демократическая Федерация, наоборот, до конца не могла найти себе отклика в сердцах английских рабочих. В частности, поскольку речь идет о большевиках и меньшевиках, нужно иметь в виду, что наша партия была в течение довольно долгого времени интеллигентской по своему составу, что большевики и меньшевики были в течение долгого времени двумя группами марксистской интеллигенции, борющимися за влияние на пролетариат. Даже на Лондонском с'езде 1907 г., которому предшествовали уже годы революции, всколыхнувшие широчайшие рабочие массы и приобщившие их к политической жизни, рабочих физического труда было всего 34,5%, т.-е. немного больше одной трети [1]). Нужно далее иметь в виду, что наши фракции первоначально расходились лишь по организационному вопросу: большевики были «твердые» искровцы, стоявшие за строгую дисциплину в партии, а меньшевики были «мягкие» искровцы, более индивидуалистически настроенные и отстаивавшие большую свободу мнений в партии и более расплывчатую, более близкую к анархической партийную организацию. Можно поэтому с полным основанием предположить, что естественный подбор членов каждой из двух фракций зависел *первоначально* не от настроения *пролетариата*, а от того, какой слой нашей разночинной революционной *интеллигенции* больше сочувствовал твердой дисциплине, какой—сочувствовал более полуанархической, индивидуалистической свободе. И вот, если мы это примем во внимание, и если мы сопоставим фракционное деление в нашей соц.-демократической интеллигенции, начиная с 1903 г., с двумя течениями нашей революционной разночинной интеллигенции 70-х г.г., то нам бросится в глаза показательная аналогия, поразительное сходство, которое едва ли является случайным совпадением. В среде революционной интеллигенции 70-х г.г. недисциплинированные, индивидуалистически настроенные бунтари и террористы были южане, украинцы. Террор в стройную и потому грозную, действительно устрашающую систему возвели северяне, великороссы, построившие строго дисциплинированную и крайне централистическую организацию, сначала «Земли и Воли», а потом «Народной Воли». То же самое распределение по географическим районам мы наблюдаем у наших соц.-демократических фракций. Большевики, которые по своим централистическим организационным тенденциям и по своей строгой дисциплинированности являются прямыми наследниками землевольцев и народовольцев, в 1905 г. господствовали в Великороссии — в центральном промышленном районе, на Урале и вообще на всем востоке России и в центральном черноземном районе. Меньшевики, которые по своему отвращению к строгой дисциплине и по своему ясно выраженному индивидуализму являются прямыми наследниками наших анархистов и бунтарей 70-х г.г., в 1905 г. господствовали на юге,—в Украине и в других окраинах России—на северо-западе, на Кавказе, в Сибири [2]). В 1906 г. большевистские и меньшевистские организации, пославшие своих делегатов на Сток-

---

[1]) См. Лондонский с'езд. Полный текст протоколов, стр. 446.

[2]) См. Л. Мартов, «История российской соц.-демократии», стр. 138—140.

гольмский с'езд, были расположены в тех же районах. Протоколы Лондонского с'езда 1907 г. дают нам цифровые данные не относительно географического распределения фракционных организаций, а относительно национальной принадлежности фракционных делегатов. Но стоит заглянуть в эту статистику, чтобы убедиться, что там имела место та же картина, что и на предыдущем с'езде: из 105 большевиков там было 82 великоросса, 12 евреев, 3 грузина, 1 украинец и т. д. Из 97 меньшевиков всего—33 великоросса, затем 22 еврея. (из которых большинство были, конечно, жители окраин), 28 грузин, 6 украинцев и так далее [1]). Я знаю, что были попытки другого истолкования нашей фракционной географии. Указывалось на то, что в промышленных пролетарских районах (центральный район и Урал) преобладали большевики, а в районах с мелко-буржуазным населением — меньшевики, но тогда непонятно, почему на Волге и в центральной черноземной полосе преобладали большевистские, а в Донецкой области—меньшевистские организации; а главное, это не об'ясняет нам отношения между силой фракций в Петербурге: в этом крупнейшем промышленном центре России большевики в эпоху первой революции не имели прочного преобладания над меньшевиками. В начале 1905 г. и в начале 1906 г. (во время Стокгольмского с'езда) петербургская меньшевистская группа была многочисленнее, чем большевистский комитет. Наоборот, в 1907 г. во время Лондонского с'езда перевес здесь взяли большевики. Эти колебания очевидно об'яснялись тем, что Петербург был центром, куда стекалась интеллигенция со всех районов—и с великорусских, и с южных и вообще окраинных.

Повторяю. *в первые годы* нашего раскола, когда наша партия была еще интеллигентская и когда на ее фракционный состав влияло преимущественно то, что фракции еще недавно расходились исключительно по организационным вопросам, принадлежность к той или другой фракции зависела от того, в каком районе расположена организация и какой отпечаток совокупность условий жизни этого района накладывает на местную интеллигенцию. По мере того, однако, как разногласия углублялись, постепенно охватывая всю область тактических и программных вопросов, по мере того, с другой стороны, как рабочие стали лучше разбираться в значении этих разногласий, под большевизм и под меньшевизм стали уже подводиться постепенно различные не этнографические, а социальные базы: на рабочих профессионалистах до 1912 г. большее влияние оказывали меньшевики, на рабочих массовиков—большевики. В первой Гос. Думе, в думской рабочей группе еще преобладали сочувствующие меньшевикам; во второй Гос. Думе в меньшевистской части фракции депутаты, прошедшие от рабочей курии, составляли лишь треть, среди большевиков они составляли уже две трети. Наконец, в 3-й Думе *все* депутаты, прошедшие по рабочей курии, были уже большевики. Это показывает, что под большевиками все больше укреплялась пролетарская основа, в то время как меньшевики все больше стали пользоваться сочувствием мещан-

[1]) См. Лондонский с'езд Р. С.-Д. Р. П. Полный текст протоколов. 445.

ства. Этот процесс начался уже в конце первой революции и особенно накануне войны 1914 г. В октябрьскую революцию этот процесс закончился. В начале 1918 г. я присутствовал в Петербурге на железнодорожном с'езде. В зале были три одинаковых сектора. Один сектор—левый—занимали сплошь рабочие; два других сектора—сплошь служащие. И вот, когда начались голосования, я увидал картину, которой я никогда не забуду: за большевистские предложения голосовал весь пролетарский сектор как один человек; за предложения меньшевиков и эс-эров голосовали почти все без исключения служащие, сидевшие в среднем и правом секторах. Эти голосования означали: нет больше пролетарской меньшевистской партии, а есть только меньшевистская мещанская партия!

(Продолжение следует.)

Литературные края.

Заметки о культуре и некультурности.

Вяч. Полонский.

I.

В первой книге «Красной Нови» за нынешний год была помещена статья т. Мих. Левидова под интригующим заглавием «Организованное упрощение культуры». Речь в этой статье идет о том, что хорошего принесла русской культуре русская революция. На поставленный вопрос автор не колеблясь отвечает: революция (и особенно русская революция) принесла культуре (и особенно русской культуре) организованное упрощение. «Революция есть организованное упрощение культуры». И это упрощение, добавляет он, «есть величайшее завоевание, подлинный прогресс, уверенный и настойчивый знак плюса».

Если кто вздумает упрекнуть Мих. Левидова в бесталанности его статьи,—он может ответить: «пусть статья бесталанна,—моя тема талантлива». И будет прав: вопрос, им задетый, важности первостепенной. Это обстоятельство и заставляет нас привлечь к статье Мих. Левидова внимание читателей. В самом ли деле революция есть упрощение культуры, да еще организованное? И что вообще мыслит Мих. Левидов под этим, далеко не ясным выводом? Каковы, наконец, его доводы—ибо голый тезис, не одетый в крепкие одежды аргументации,—подобен погремушке: ею можно забавляться, но убедить погремушкой никого ни в чем не возможно. Другими словами—сумел *ли* т. Мих. Левидов *доказать* нам, что его утверждение имеет под собой какие-нибудь логические основания?

Займемся этими вопросами.

II.

Начнем с апологии, которую наш автор, не скрывающий удовольствия по поводу своего открытия, воздает приведенному выше тезису. Революция упростила культуру—и прекрасно, заявляет он. «Прекрасно, что исчезнет, наконец, с лица земли это безобразное зрелище: мужик, на которого кто-то, когда-то и почему-то напялил шелковый цилиндр».

Таково «образное» определение старой буржуазной культуры. По сравнению с новой, по-революционной, старая культура—такова мысль нашего

автора—является более сложной, и, конечно, развитой более высоко. Итак, усложненную старую культуру революция упростила. Как произошло это упрощение и в чем собственно оно заключалось? Не удовлетворяясь бедным языком публициста, т. Левидов дает «образные» определения. Извлекаем следующее описание воздействия революции на культуру: революция, по Мих. Левидову, относительно культуры реализовалась «грубыми и резкими явлениями: насильственного сбрасывания шелкового цилиндра с мужицкой головы ударом опорками по цилиндру». Таким образом картина получается следующая: существовала высокой марки буржуазная культура, которая в виде шелкового цилиндра сидела на голове вшивого мужика. Пришла революция и вдохновила «носителя» культуры, который поднял ногу, обутую в опорок, и этим опорком сбросил с своей головы шелковый цилиндр, т.-е. старую, сложную, высокую буржуазную культуру. Произошло явное упрощение культуры. Так говорит Мих. Левидов.

Это похоже на пародию,—но авторские права закреплены за Мих. Левидовым. Все это черным по белому написал он в своей статье. Чтобы не дать повода для обвинений в легкомысленном отношении к «силлогизмам» тов. Левидова, попытаемся углубить наше знакомство с его замечательным открытием.

III.

Мих. Левидов прекрасно понимает, что, прежде чем заняться каким-нибудь явлением, надо это явление изучить и определить его существенное содержание. Поэтому мы не без удовольствия прочли справедливое замечание нашего автора, что «терминология должна быть отчеканенной и недвусмысленной». Его, очевидно, тревожили эти две опасности. К сожалению, он не подозревал третьей: терминология может быть отчеканенной, она может не иметь двух смыслов—но она может вообще не иметь никакого смысла, или иметь смысл неверный, ложный, неправильный. К несчастью—он попал в лапы той именно опасности, которой не подозревал. Пообещав нам «отчеканенную» и «недвусмысленную» терминологию—он в статье своей оперирует понятием «культура»—и из приведенных выше положений читатель может заключить, что́ это за «понятие».

Решив доказать нам свой «тезис» — он начинает манипулировать с «шелковым цилиндром» в качестве «отчеканенного» и «недвусмысленного» понятия культуры. Далее, в качестве дополняющего определения, присоединяется еще «гобелен». Удачна ли эта «о́бразная» терминология? Вряд ли могут быть два мнения на этот счет. Она никуда не годится. Причина этой неудачи заключается в том, что к культуре наш автор подходит с точек зрения этической и эстетической. Это обстоятельство и отвлекает его внимание от самой культуры, о которой он хочет говорит, к тому контрасту, какой представляло сосуществование роскоши и нищеты, утонченных достижений цивилизации рядом с вшивой избой. Этот контраст является характерной чертой культуры капиталистического общества, *но это еще не есть культура капи-*

талистического общества. А на место понятия «культура» Мих. Левидов подставляет понятие указанного контраста и, не замечая этого происшествия, бьет по медному тазу, воображая, что занимается логическим процессом. Увлекаемый самыми добрыми побуждениями, он приводит следующие доводы в пользу своего тезиса: «Эта изба была уродством—читаем мы—непозволительным, оскорбляющим, как все противоестественное, уродством. В музее было место этому уродству, и в музее, в банке со спиртом, было место российской культуре—культуре небывалого уродства и извращения. Подлинным извращением было, что неумытая и безграмотная, чеховская и бунинская Русь позволила себе роскошь иметь Чехова и Бунина и, более того, Скрябина, Врубеля и Блока».

В одном анекдоте рассказывается о поваре, который, обещая соорудить кушанье, предупреждал: «за вкус не ручаюсь, но горячо будет». Да простит нам тов. Левидов—но, читая приведенную тираду, мы вспомнили веселого кулинара. Рассуждения нашего автора, можно сказать, обжигают, но вкуса—никакого. О чем идет речь? О культуре, т.-е. о той сумме всяческих благ, которыми располагает определенное общество в известный период своего развития. В капиталистическом обществе культура творится с помощью сил и средств порабощенного большинства, поступают же культурные блага в распоряжение господствующего класса, класса-поработителя. Это—*закон капиталистического общества.* И то обстоятельство, что трудящееся большинство, творящее культуру, является ограбленным, от этой культуры отстраненным, вызывает к жизни развитие другого закона, *закона борьбы* ограбленного большинства за овладение этой культурой. Этическое и эстетическое негодование при созерцании социальных контрастов естественно, похвально, благородно и так далее, и так далее—ведь это же банальщина, о которой не стоит говорить, но откуда является «благородная» мысль о музее, о банке со спиртом, куда надо «сдать» культуру, о противоестественном «уродстве» именно русской культуры. Где, в какой капиталистической стране Мих. Левидов видел что-нибудь менее «противоестественное»? Все это очень благородно, но совсем не логично. А. т. Левидов обеими ногами стоит именно на этом своем открытии: все блага культуры были противоестественно напялены на голову мужика, и мужик, восстав, первым делом—опорком по культуре. Это даже не Иловайский. Или, если позволите, Иловайский, пришедший в забвение чувств—вероятно от избытка благородства.

Но прежде всего внесем несколько фактических поправок.

IV.

Приведя свое «образное» определение воздействия революции на культуру,—наш автор восклицает: «И это прекрасно». И это неправда—с сокрушением должны мы охладить его благородный пыл. Мы не хотим сейчас спорить о том, прекрасно или непрекрасно восстание народа против культуры вообще—эстетическая оценка несуществовавших событий является занятием по меньшей мере бесплодным. Потому-то нас удивляет не имеющий никаких

оснований восторг Мих. Левидова. Внимая его патетическим тирадам, мы пожимаем плечами и спрашиваем с недоумением: «Что произошло с этим джентльменом? Ведь того обстоятельства, которое столь его восхитило, в природе не существовало. Восстание невежественного народа против Пушкина и Белинского, против театра и книгохранилищ—в нашей революции места не имело. Это—пустое измышление, мыльный пузырь, который не играет даже цветами радуги. И тов. Левидов не докажет нам обратного. Это, по его выражению, «твердый, брутальный факт», перед которым—хочет он того или не хочет—ему придется снять шляпу.

А тов. Левидов не в шутку убежден, что для первого знакомства наша революция «скинула» с себя культуру. Это, так сказать, революционная интродукция к симфонии «организованного упрощения», разыгрываемой нашим автором с тонким искусством барабанщика, насилующего скрипку. Что мы не приписываем т. Левидову утверждений, им не высказанных, можно видеть из прочих его рассуждений.

Перечислив имена Чехова, Бунина и других,—мы выше привели эту фразу,—т. Левидов заявляет, что только Блок «дожил до последней радости»—*восстания подлинной России против гобеленов, цилиндров и против него, Блока* (Курсив мой. *Вяч. П.).* Можно было бы, конечно, попытаться защитить т. Левидова от него самого. Можно предположить, что мысль его заключалась в том, что Россия восстала против несправедливого соотношения—автор, ведь, до «глубины души» возмущен противоестественным существованием культуры для немногих рядом с невежеством большинства. Но целесообразно ли брать на себя непрошенную защиту, тем более, что наш автор—не новичок в литературе, а, как он себя называет, «спец», — предупредил нас насчет «отчеканенности и недвусмысленности» своей терминологии. Нет, как хотите, читатель, а обижать т. Левидова я не берусь. Тем более, что он в других местах еще более «отчеканивает» свою мысль.

Дальше он иллюстрирует ее следующим образом: один из «ткачей гобеленов» (так Мих. Левидов обзывает Белинского) выразился: «На великое явление Петра народ через полтораста лет ответил не менее великим явлением Пушкина». К этому изречению «ткача гобеленов» Мих. Левидов, разумеется, относится неуважительно. Еще бы: ведь, Белинский—это именно то самое, что скинуто опорком с мужицкой головы. И изречению посрамленного Белинского еще не посрамленный Мих. Левидов противопоставляет свое, Левидовское, изречение: «На великое явление Пушкина, т.-е. пышной культуры на гнилых стенах избы—народ ответил через сотню лет еще более великим явлением военного коммунизма. Военный коммунизм был протестом, закономерным, социально необходимым, а потому и радостно-прогрессивным, против явления Пушкина в стране с 90% неграмотных». *Военный коммунизм—протест против Пушкина!*—вот до чего может договориться человек, страдающий избытком «благородных чувств» и недостатком логики... А логика—ревнивая дама; она жестоко мстит, когда ей изменяют.

V.

На этих страницах мы не будем сейчас заниматься анализом понятия «культура». Но для ясности наметим, все-таки, его общие контуры. От каждодневного языка, языка неточного, полного ложных формулировок («солнце восходит и заходит»—хотя ничего подобного солнце не делает—и так далее), мы не можем, конечно, требовать точности выражений. Но когда мы сталкиваемся с автором, который берется сообщить нам нечто оригинальное, который при этом предуведомляет нас насчет «отчеканенности» и «недвусмысленности» его терминологии,—мы вправе требовать ясности определений. Всякий спор в конце концов сводится к спору о понятиях. Взявшись открыть нам глаза на взаимодействие между культурой и революцией, он не потрудился—потому ли, что не захотел, или потому, что не сумел—дать «отчеканенную» и «недвусмысленную» формулировку этого понятия. А не дав такой формулировки, он, разумеется, не мог вообще ничему нас поучать. Как можешь ты прояснить мозги ближнего твоего, когда в голове у тебя сумбур? Тов. Левидов оперирует понятиями «культура материальная» и «культура духовная»—и этим обнаруживает свое некритическое отношение к словесному материалу, который ни в какой мере нельзя почитать «отчеканенным». Ходячая терминология, делящая культуру на материальную и духовную, никуда не годится, когда ею пытаются пользоваться в работе, претендующей на логическую обязательность. Мы не станем здесь подробно обосновывать наше положение, что культура есть понятие, включающее в себя *вообще* всевозможные достижения науки, искусства и техники. Всякое явление культуры, которое на обывательском языке называется «материальным», может быть с полным правом отнесено к явлениям культуры, называемым «духовными», и наоборот: любое явление «духовной» культуры есть вместе с тем и явление культуры «материальной». Попробуйте решить: к «материальной» или «духовной» культуре следует отнести изобретения Эдиссона, радио-музыку или деятельность химика, изобретающего взрывчатую смесь.

Нам понятно, откуда возникло такое разделение культуры. Это—пережиток старого дуалистического воззрения на мир и на человека. «Бог» и «человек», «душа» и «тело», «материя» и «дух». Отсюда и вкоренилось: культура материальная (очевидно, собрание «вещей») и культура духовная (некие сверхматериальные ценности). И так как обыватель, особенно если он еще не освободился от страха божия, «дух» ставит выше грубой и пошлой «материи» («царство небесное» и «царство земное»),—то он, а вслед за ним и т. Левидов (да и не один Левидов, заметим в скобках) ценности так называемой «духовной культуры» считает более «высокими», чем ценности низкой, плотской, «материальной» культуры. Наш автор обеими ногами стоит на почве дуалистического мировоззрения и пользуется обветшалыми, неточными, мертвыми приемами называния вещей. Но если даже мы согласимся на минуту, что есть культура материальная («низкие ценности»—Эдиссон) и культура духовная («высокие ценности»—Белинский) и что вшивый мужик,

освобожденный революцией, прежде всего разделался с «высокими» ценностями, скинув их с своей головы,—то, ведь, фактическая история «восстания лодлинной России» еще не исчезла из нашей памяти. Совершив революцию, вшивый мужик прежде всего позаботился о «цилиндре»: не опорками скинул его с головы, но заботливо поставил в безопасное место и страшную внимательность проявил к этому самому цилиндру. Отдельные случаи, когда «дырявился» Серов или крестьяне раскулачивали помещичью усадьбу—в счет не идут—мы, ведь, знаем, в чем здесь было дело. Именно в эпоху военного коммунизма, когда, по слову тов. Троцкого, во имя спасения трудящихся от порабощения, вся страна была «ограблена», чтобы одеть, накормить и вооружить Красную армию (вот что представляла из себя эпоха военного коммунизма, т. Левидов!)—в это самое время заботливо оберегались и пополнялись Эрмитаж и библиотеки, субсидировались театры и консерватории и создавались всяческие благоприятные условия для популяризации тех именно «высоких» ценностей, которые Мих. Левидов именует «духовными». После октябрьской революции в интересах массового распространения был национализован Пушкин, а вместе с ним и Белинский и прочие «ткачи гобеленов»—это факт, который могут отрицать лишь люди, не только щеголяющие без «цилиндра», но не имеющие, к несчастью, и основания, на которое можно «цилиндр» надеть. Другой вопрос: стоило ли популяризовать Пушкина. Допустим, что не стоило. Но, ведь, он, все-таки, *был популяризован.* А сейчас нас интересует установление именно этого обстоятельства. По терминологии Мих. Левидова, электричество—тоже «гобелен». Ведь в то самое время, когда во «вшивой» избе чадила лучина,—буржуазные дворцы освещались электрическими солнцами. И только революция поставила себе задачу электрифицировать деревню, т.-е. (будем говорить языком нашего автора) каждого мужика обрядить в «цилиндр»—культуру тож. Пусть нам укажет Мих. Левидов какую-нибудь область культуры, за исключением областей культурного декаданса, в которой революция не поставила бы своей целью сделать доступными народным массам все культурные достижения нашего времени. Революция делала совершенно обратное тому, что утверждает Мих. Левидов.

VI.

Но дело, конечно, не в эмпирических неточностях, которые допускает наш автор. Эти неточности явились следствием некоторых органических пороков его идеологического подхода к вопросу—а в этом все дело.

Тов. Левидов с запозданием, примерно, на целых два поколения почувствовал вдруг эстетическое несоответствие между культурным существованием «немногих» и некультурным существованием большинства. Это ощущение само по себе похвальное—но беда т. Левидова в том, что этическая и эстетическая точки зрения являются его методологическим исходным пунктом. А это значит, что вся его методология никуда не годится. В истории нашей интеллигенции этические и эстетические резиньяции сыграли в свое

время большую и полезную роль. Такие резиньяции были постоянным элементом в интеллигентских идеологиях, рожденных по преимуществу дворянской средой. Выходцы же из народных низов не воспринимали социальных контрастов «этически» или «эстетически». Они воспринимали их *революционно*. «Все блага культуры добыты *нашим*, рабочим, потом и кровью—рассуждал, примерно, передовой рабочий.—Великолепное здание культуры построено на *наших* плечах. Но это здание захвачено нашими врагами, экспроприаторами нашего труда. Мы должны его завоевать, сделать нашим» (но ни в коем случае не «опоркам» по этому зданию: оно слишком дорого стоило «вшивым» мужикам). А вот какой-нибудь кающийся дворянин, помещичий сын или сантиментальный интеллигент—эти обязательно декламировали: «как неэстетично! о, как это безнравственно!». К таким резиньяциям в отдельных случаях присоединялись и более основательные мотивы, явившиеся результатом не наблюдения *поверхности* явлений, а глубокого изучения самого *механизма* их создания и исторически-закономерного их развития в сторону овладения трудящимся большинством всех благ культуры. Такие дворяне и разночинцы делались революционерами и боролись против социального контраста, но никогда не боролись против культуры вообще, за всеобщее так сказать поравнение в невежестве и нищете, а всегда за всеобщность, за демократизацию культуры. Именно здесь, в этом стремлении разрушить не самую культуру, а лишь привилегию немногих на ее обладание—и заложен пафос революции.

Лишь однажды в произведении одного парадоксального и беспутного русского писателя прозвучала нота, которая ныне запоздало вибрирует в размышлениях т. Левидова. Читатель помнит, конечно, заключительные аккорды рассказа Леонида Андреева «Тьма»:

«Зрячие,—возглашает «революционер» Леонида Андреева:—выколем себе глаза, ибо стыдно—он стукнул кулаком по столику,—ибо стыдно зрячим смотреть на слепых от рождения. Если нашими фонариками не можем осветить всю тьму, так погасим же огни и все полезем в тьму. Если нет рая для всех, то и для меня его не надо—это уже не рай девицы, а просто-на-просто свинство. Выпьем за то девицы, чтоб все огни погасли. Пей, темнота».

О, разумеется, т. Левидов не произнесет такого ужасного тоста. Но это потому, что у интеллигента из рассказа «Тьма» были последовательность и мужество, а у автора разбираемой статьи ни того, ни другого не имеется. Но отсутствие логики характерно для них обоих.

«Оскорбительно социально и эстетически, — декламирует Мих. Левидов,—для народа быть удобрением, в котором так нуждаются пышные цветы культуры для немногих. Оскорбительно быть аморфным моллюском, дающим жизнь жемчужине. Быть опытным полем для художественно эстетических опытов и достижений, материалом для оранжереи. Парником».—То есть просто удивительно, до чего все это великолепно! В полном смысле слова губит человека его благородство. Вы подумайте только, о чем здесь речь: *«Оскорбительно быть парником»*. Кому оскорбительно?—Левидову или парнику? Если

оскорбительно Левидову, то нам на совсем понятна его щепетильность. Если же наш автор говорит с точки зрения *парника,* и не ему, Левидову, а парнику *оскорбительно быть парником,* то и в последнем случае мы разведем руками от недоумения: вот до каких «столпов» может довести езда на этическом Россинанте! Ведь если бы т. Левидов продолжил ряд примеров, он с одинаковым успехом мог бы скандировать: о, как оскорбительно быть ржаным полем и производить хлеб! о, как оскорбительно социально и эстетически быть курицей и нести яйца!—и многое множество подобных остроумных вещей мог бы наговорить нам т. Левидов, если бы он умел быть последовательным.

Правда, до «парника» договорился он начав с «народа», которому «оскорбительно» быть удобрением для культуры [1]). Но м мы уже заметили выше, в чем ошибочность такого подхода к положению народа, эксплоатируемого господствующими классами. Этическая и эстетическая точки зрения здесь бесплодны и ненужны. Вот эти именно «точки зрения» восстание подлинной России и сдало в архив, выкинуло из головы. И, восстав, Россия не уподобилась Андреевскому герою, как то хочет показать тов. Левидов. После своего замечательного «парника» он продолжает: «Полтораста лет после Петра—один Пушкин. И 90% безграмотных. Еще сто лет—Врубель, Скрябин и Блок и 70% безграмотных. Нет, довольно! Противоестественное уродство надо прекратить! Вопиющему уродству не должно быть более места! Банку музейную, где в поту, слезах и крови,—как лебедь, горделивая и белоснежная,—плавала безмятежно культура—нужно разбить».

Невероятно, читатель? Удостоверьтесь. Чем не Леонид Андреев? И вслед за этим робким переложением (не можем предоставить т. Левидову патента на оригинальность) наш автор с самодовольством, которому нельзя не позавидовать, заявляет:

«Так обосновывается эстетически наш лозунг: да здравствует уничтожение уродства, да здравствует революция, как организованное упрощение культуры».

Нечего сказать: хорошее обоснование!

VII.

Спешим, впрочем, успокоить читателя: культура в безопасности. Столь победоносно «обосновав» свой тезис, Мих. Левидов начинает в спешном беспорядке отступление по всей линии.

Оказывается: «в области духовного быта упрощающее воздействие революции выявляется в первую голову в подлинном уничтожении»...—культуры?—ничего подобного: «...в подлинном уничтожении некоторых, подчеркнуто тепличных отраслей культуры». Только-то?! А как же насчет парника, которому оскорбительно? А на счет «цилиндров» и «гобеленов»? Двух

[1]) Здесь мы отметим лишний логический грех т. Левидова: народ-парник-моллюск.—

страниц было достаточно нашему автору, чтобы перезабыть все, что говорил он ранее. Нисколько не меняя своего «вразумительного» тона, он продолжает: «Это не значит, конечно, удар по Блоку и по гобеленам. Это значит только удар по той среде, тем группам, которые производили и потребляли Блоков и гобелены». Таковы выводы, которые делает Мих. Левидов из своих собственных посылок. Если *это* логика, я не знаю, что такое абракадабра...

Длинной речи краткий смысл заключается в следующем: «организованное упрощение—это означает, во-первых, отведение минимального места в комплексе ценностей духовного быта — ценностям *высшей* курсив мой. *Вяч. П.)* расценки—литературе, поэзии, театру, живописи, музыке, т.-е. в совокупности своей—искусству, и, во-вторых, максимальное удешевление этих ценностей».

Вот из-за этого самого и городил огород (парники! моллюски! лебеди!) Мих. Левидов. Мысль, как видим, действительно «элементарная». Но элементарность мысли нисколько не гарантирует ее доброкачественности. И в своем упрощенном и элементарном виде она неверна насквозь.

Прежде всего: начав разговаривать о «культуре» вообще, Мих. Левидов свел разговор на одну отрасль — искусство. «Тезис» его изменяется таким образом: революция есть организованное упрощение искусства. Происходит это потому, что революция отводит *минимальное* место ценностям *высшей* расценки. Но откуда Мих. Левидов взял, что революция отводит ценностям искусства *минимальное* место, это, во-первых, а во-вторых, как возникло его утверждение, будто поэзия, театр, живопись являются в культурном обиходе ценностями *высшей* расценки? Тот факт, что наша комнатная, эстетствовавшая интеллигенция, оторванная от подлинного творчества жизни, жила в ограниченном мире этих ценностей, не дает ей никаких оснований почитать эти ценности *самыми высокими*. Мих. Левидов оказался в плену интеллигентского эстетства. Если вообще говорить об относительном весе культурных ценностей, то можно взвешивать, скажем, Пушкина и Пастернака, как ценности одного порядка и решать: кто выше — Пушкин или Пастернак. Но «сравнивать» Пушкина и Рамзая, Врубеля и Дарвина нельзя—ибо это ценности несоизмеримые, но одинаково «высокие» в общем творчестве культуры.

Это наше первое замечание. Вторым будет следующее: Мих. Левидов повторяет в иной форме те стоны, которые несутся из среды нашей старой, сходящей со сцены интеллигенции. Эта интеллигенция, чуждая и враждебная революции, с отчаянием взирает на то, что происходит сейчас в России. Все, чем она жила, все, что почитала она высочайшими ценностями—ныне потеряло в глазах новой России всякий приоритет. Это не значит, что ценностям этим грозит гибель. Это не значит также, будто этим ценностям отводится минимальное место. Это значит только, что они теряют свое право первородства, что наше *общество освобождается от навязанного ему интеллигенцией фетишизма по отношению к продуктам творчества этой профессиональной группы*. Эти ценности попросту находят свое подлинное место в новом культурном обиходе, не ниже, но и не выше других. И психологически

понятно, что, видя свои ценности разжалованными в ряды ценностей необходимых, но рядовых эта старая интеллигенция, не забывшая еще своих претензий на руководство, учительство и т. п., обвиняет новую Россию в разрушении культуры. Мих. Левидов в этом вопросе не с нами, людьми сегодняшнего дня, а с ними, с людьми дня вчерашнего. Он пользуется их оценками, формулу, выдвинутую ими, он об'являет «об'ективно правдивой» (но «суб'ективно ложной»,—предупреждает он—нам не совсем ясно, в чем здесь дело), хотя и отличается от них веселостью нрава: они плачут, он радуется. Но если отставить этот эмоциональный элемент и попытаться разобрать вопрос по существу, то нам станет ясно, что «уходящие» интеллигенты и прогуливающийся Мих. Левидов—одного поля ягода.

Вот как *практически* «обосновывает» Мих. Левидов свой тезис. «Не Белинского и Гоголя должен мужик с базара понести, а популярное руководство по травосеянию. Не стихосложению надо обучать рабфаковца, вне обычного его курса, а стенографии. Не театральные студии надо открывать в деревнях, а студии скотоводства». На первый взгляд это кажется резонным. В самом деле: нужна ли свердловцу студия по стихосложению, когда страна стонет от недостатка скота? Для чего мужику тащить с базара «Белинского», когда он не знаком с усовершенствованными способами травосеяния? И выходит так: «долой Белинского, да здравствует скотоводство». А как докажешь т. Левидову, что по сравнению с скотоводством литература и искусство—ценности не высшего порядка. Скотоводство вытесняет творчество искусства! Ясное дело: зарубежные плакальщики правы кругом.

Но в том-то и дело, что, рассуждая столь здраво, т. Левидов грешит против здравого смысла. Он самый вопрос ставит именно так, как могут ставить люди из-за рубежа: *или Белинский, или скотоводство*. Пусть он нам докажет, что так именно вопрос стоит у нас, что так именно его ставить надо,—мы сложим оружие. Но доказать нам этого он не сумеет, ибо вопрос так не стоит, и стоять не может.

Если бы, скажем, в Госплане, мы обсуждали очередной бюджет государства, то мог возникнуть такой вопрос: в состоянии ли государство на текущий год ассигновать средства на содержание театральных и прочих студий в размере, превышающем размеры ассигнований на развитие сельского хозяйства? И вопрос, вероятно, решен был бы (при протесте Наркомпроса) в том смысле, чтобы кредиты на искусство урезать, а на скотоводство увеличить. Но если бы даже Госплан состоял из одних скотоводов, которые, в силу профессионального, так сказать, патриотизма, скотоводство, в пику т. Левидову, об'явили бы «высшей» ценностью, то, и в таком случае, исключительно скотоводческий Госплан не вычеркнул бы начисто кредитов на студии по изучению искусства. Ему это не позволили бы сделать, потому что такая точка зрения чужда пролетарской революции. А т. Левидов так именно вопрос и ставит: Белинского не заменить руководством по травосеянию, ибо мужику Белинский не нужен, а сено ему необходимо. В свердловском университете *взамен поэтики* обучать стенографии. Другими словами: если бы

т. Левидову поручили организовать бюджет нашего государства, он стал бы выполнять ту программу «организованного упрощения» культуры, которую навязывают нам белогвардейские печальники культуры и которую ни в каком случае не намеревались выполнять мы, коммунисты.

Если бы переутонченному, до краев переполненному всякими «высокими» ценностями интеллигенту задали вопрос:

— Вы какую студию предпочитаете: театральную или по скотоводству? —

насквозь протеатрализованный интеллигент, который без репетиций может сыграть Хлестакова и с закрытыми глазами отшлепать фокс-тротт—без запинки ответит:

— конечно, по скотоводству, —

ибо это будет как раз то, чего ему не хватает.

Но если тот же вопрос мы зададим рабочему или крестьянину,—ответ получим, примерно, следующий:

— Оно, конечно, студия по скотоводству нам очень полезна, но нельзя ли так, чтобы и по театру?

И последняя постановка вопроса будет «нашей», правильной, именно той постановкой, какой не хочет видеть Мих. Левидов. А при такой постановке не может быть и речи о замене Белинского руководством по травосеянию. Это так элементарно, что не хочется даже и говорить более подробно.

VIII.

В «тезисе» Левидова явно слышен запах презрительного отношения буржуазного сноба к так называемой «мужицкой» способности творить культуру. Какая там культура, когда «творец» ничего в этом деле не понимает. Зачем ему, лохматому, Пушкин! Он в Пушкине ни уха ни рыла не смыслит. Дать ему в зубы учебник, как разводить свиней—хватит с него! От такого сноба Левидов отличается разве тем, что ему это даже нравится:—свиноводству, так свиноводство!—он с легким сердцем может повернуться задом к «Белинскому». Но это говорит лишь о том, что очень неглубокие корни в его сознании пустили те «высокие» ценности, которые «образно» определил он в виде «тончайших гобеленов». Что ему Гекуба? И он махнул на нее рукой, всерьез поверив, будто в Р. С. Ф. С. Р. культурное творчество предположено ограничить постройкой просторных конюшен.

Отметим еще один штрих в рассуждениях нашего автора. Он отводит литературе и искусству в культурном обиходе будущего (правда, только лет на пятьдесят. Почему?) место «развлечения». Разве «нэп» дочиста проглотит нас без остатка и кроме нэпа ничего в мире не останется? Ведь «развлечение»—это истинно-нэповская точка зрения. Это именно то, чего жаждет упитанный обыватель. Это именно та черта, которая характеризует буржуазное, наслажденское, гурманское отношение «покупателей» к «высоким» ценностям «духовной» культуры. Место ли пустого развлечения предназначаем мы

искусству в культурном обиходе будущего? Мы хотим весь мир превратить в произведение искусства, а т. Левидов полагает, что это будет мюзик-холл. И столь неосторожно обнажив корни своих умозаключений, Мих. Левидов с укоризной бросает в сторону «серапионов»: «подлинные дети нэпа». Над кем смеетесь?

Беда Левидова в том, что он не сумел охватить всей сложности вопроса, о котором взялся нас поучать. Не сумел же сделать этого потому, что оказался в крепком плену буржуазных воззрений на культуру, как на собрание вещей разной ценности, при чем более «высокими» оказались те самые, из которых буржуазия извлекала «эстетические» наслаждения. Но культура—не собрание вещей, не эрмитаж и не библиотека, не поэзия и не беллетристика, это—многосторонний творческий процесс с возникающими и разрешающимися внутри него противоречиями, процесс, непрерывно идущий вперед. Этот процесс можно правильно понять только в его движении, в диалектическом столкновении и примирении его противоречий. В отсутствии такого подхода к пониманию культуры коренятся все ошибки и промахи Мих. Левидова. Временное он принимает за постоянное, видимую грань предмета почитает за самый предмет. Потому-то среди отдельных отраслей культуры он оказался в положении пошехонца, не сумевшего связать концов с концами. На одной странице он прокламировал революцию восстанием против культуры вообще, на следующей об'явил, что никакого восстания не было; дальше оказалось, что дело идет не о культуре, а лишь об искусстве, при чем на поверку выяснилось, что и против искусства никто не восставал, но что полезно завести студии по скотоводству, бросить в печку Белинского и заняться случкой.

Отрицание старой культуры он понимает не как «преодоление» ее, а как уничтожение вчерашнего дня, совершенно не подозревая, что в культурном синтезе завтрашнего дня будет «примерено» сегодняшнее отрицание культуры посредством возведения ее на более высокую ступень совершенства, т.-е. в сторону организованного усложнения, обогащения, расширения и углубления. «Отрицание» коммунистами старой буржуазной культуры он понял превратно, и, как это частенько бывает с неофитами, перепрыгнул через лошадь, желая сесть на нее верхом. Буржуазный до кончиков ногтей, он предстал нам в великолепной позе ликвидатора «высоких» ценностей буржуазной культуры, провозгласив: «скотоводство выше Белинского и да здравствует скотоводство», как высшую ценность новой, коммунистической, революционной культуры. Будущая культура представляется ему в упрощенном, элементаризованном, приспособленном «для бедных» виде—куда уж нам мечтать о достижениях, подобных «высочайшим» достижением великолепного прошлого!

Будет ли «будущая» культура, ныне творимая в советской России, по сравнению с старой культурной буржуазией—более простой, менее красочной, менее богатой теми ценностями, которые Мих. Левидов именует «высокими»?

Процесс культурного развития движется двумя путями: путем расширения, путем вовлечения в поле своего влияния все более широких масс—это путь, так оказать, экстенсификации культуры. Рядом с ним, следом за ним,

вместе с ним происходит углубление культурной работы, интенсификация ее. Когда один из этих путей закрывается—развитие культуры приостанавливается, она становится обреченной. Это именно и произошло с культурой буржуазии, которая в силу положения охранителя классового своего господства не могла не препятствовать экстенсификации культуры, ибо культура—могучее орудие борьбы и защиты. Вся работа буржуазии ушла в «углубление», превратившееся в «переутонченность», «рафинированность», «снобизм», культурное вырождение. Из явления всечеловеческого, каким культура должна быть, она превратилась в достояние господствующего класса, в частную собственность, в собрание вещей, пользование которыми оказалось ограниченным. И революция, разгромив класс, присвоивший себе монополию на творчество и пользование культурными благами, прежде всего разрушает обособленность культуры, из монополии немногих превращая ее в достояние всех. Это первый шаг, который сделала революция: она разлила культуру по широчайшим пространствам нашей республики—и это было величайшей победой, величайшим завоеванием мирового прогресса, ибо было основным условием, обеспечивающим дальнейший рост культуры в глубину и высоту.

Мих. Левидов презрительно «фыркает» на Гершензона. Но пусть он внимательно перечитает те «письма», которые из своего «угла» посылал Вячеславу Иванову этот старый идеалист—он встретит в них много такого, что в форме, далекой от совершенства, обретается на его собственных страницах. Левидов, как и Гершензон, «отказывается» от старой культуры. Но Гершензон знает, что сделать это «просто»—нельзя. Он мечтает «окунуться» в Лету, чтобы выйти из нее молодым, освеженным, наивным варваром. Тов. Левидову купаться в холодных струях не улыбается, ибо он полагает, что варваром «обернуться» очень не трудно, стоит лишь захотеть. Что ж! Не станем спорить. Тов. Левидову такое предприятие удалось без особого труда, с той лишь оговоркой, что он остался прежним буржуазным интеллигентом, только без «шелкового цилиндра» культуры.

Заграничные литературные новинки.

П. С. Коган.

I.

Могут обмануть политические расчеты, ошибочны могут быть построения социологов. Но чутье художника не обманывает. И эта новая серия романов, пьес, стихов говорит ясно о том, что совершается в сознании европейского общества.

Страшное лицо войны смотрит отовсюду из этих разноцветных томиков. Война! Ее кровавые следы везде. Воображение взволновано. Мысль неустанно работает, стремится осознать великую трагедию, осмыслить небывалое безумие, еще недавно владевшее мозгом десятков миллионов людей. Разрушенные города, опустевшие деревни, тысячи трупов, сирот и калек требуют ответа от человеческой мысли.

Передо мною произведения светлых умов и совестливых сердец. Анатоль Франс, Барбюс, Ромен Роллан, Синклер, Мартине, Бартель, Толлер, Эйнштейн, Зонненшейн и ряд других [1]). Продолжительное зрелище чудовищной бойни просветляет мысль тех, кто способен мыслить. Под стенами Лувена, на полях Марны, на снежных вершинах Карпатов, везде, где в неистовой злобе незнакомые люди убивали друг друга, там расстреливали веру человечества в идеалы демократии и гуманного либерализма, там вместе с дымом орудий рассеивался туман, скрывавший истину от глаз эксплоатируемых, там рушились идолы патриотизма, религии, всеобщего избирательного права, шипели, как потухшие ракеты, и исчезали в небытие «священные» слова: отечество, культура, христианство, свобода. Среди мрака, веками туманившего сознание человечества, появились первые лучи света. Кажется, будто мир был погружен во тьму, и что теперь где-то светает.

Нужны были эти обильные потоки крови для того, чтобы человеческая мысль вскрыла сложную, хитро и обдуманно слаженную систему лжи, в сетях которой господствующие классы держали порабощенные массы. Какое из верований недавнего прошлого осталось непоколебленным? В ком не зародилось смутное или ясное сознание, что все эти «священные» слова, эти фетиши от свободы печати до всеобщего, равного и т. д. права,—ложь, цинич-

---

[1]) Все упомянутые здесь произведения выходят в серии Госиздата под моей редакцией: „Современная иностранная литература“.

ная, подлая ложь, придуманная обладателями капитала и их учеными наймитами для оправдания тунеядцев и эксплоататоров.

Война! Она сыграла роль очищающей бури. С нее начинается пробуждение человечества. Кто выдумал, что Октябрьская революция, растоптавшая идеалы и верованья европейской демократии, есть изобретенье горячих голов, фанатических умов? Тезисы этой революции начали внедряться в сознание европейских масс вместе с разрывными пулями и удушливыми газами, вместе с болтовней дипломатов, повторявших свои дискредитированные навсегда приемы, продолжавших твердить слова о всеобщем мире, о независимости народов и прочих прелестях, которые явятся следствием вновь сооружаемых дредноутов, новых миллиардных военных кредитов. Октябрьская революция только выявила лицо старого мира отчетливо и во всех его отвратительных деталях. Революция стала у тех вершин, к которым тянется и рано или поздно подойдет сознание человечества, родившегося в грохоте подлейшей из войн.

Эти мысли навевают лежащие передо мной новинки. Отбрасываю то, что пишется для отупевшего мещанства в стиле Бурже, и выбираю только те произведения, в которых клокочет глухой гнев обманутого общества, слышится рев революционной трубы.

II.

Книга Барбюса (Henri Barbusse. Paroles d'un combattant. Articles et Discours. 1917—1920). Искренний, честный, пламенный энтузиаст, противник войны, он пошел на войну добровольцем, потому что весь мир стал сумасшедшим и, кроме нескольких зрячих, все остальные ослепли и повторяли безумную мысль, будто победа над Германией положит раз-на-всегда конец войне. Он начал почти патриотом. Он кончил большевизмом. В окопах, среди вшей, среди разлагающихся заживо людей, среди сырости, голода и нечеловеческих страданий, он выносил свою правду, он отыскал те потрясающие слова, которые сделали его книгу «Огонь» самой правдивой книгой о войне.

Вот отрывок из его первого письма к редактору «Humanité», написанного через несколько дней после об'явления войны: «Я иду добровольцем на войну, простым пехотинцем. Я иду не потому, что отказался от идей, которые всегда защищал бескорыстно. Нет, я думаю послужить им, взявшись за оружие. Это война социальная. Она, может быть, решающий шаг по пути к осуществлению нашего общего дела. Она направлена против наших исконных врагов: милитаризма, империализма, сабли, рапиры и короны. Нашей победой будет уничтожение центрального оплота цезарей, кронпринцев, господ и солдатчины, которые заперли в тюрьму один народ и хотели бы это сделать и с другими. Мир может освободить себя только борьбою против них. Если я принес в жертву свою жизнь и с радостью иду на войну, то не столько в качестве француза, сколько в качестве человека».

Скоро минет десять лет с тех пор, как написаны эти строки. Что же принесла миру победа над Германией? Только перемену ролей. Увы, вместо

вильгельмовской империи французская буржуазия «заперла в тюрьму один народ и хотела бы сделать это и с другими». Оплот «господ и солдатчины» утвердился в том самом Париже, откуда в 1914 году так самоотверженно, под звуки военного марша, шел солдат-Барбюс освобождать человечество от военщины. Дело мало изменилось от того, что вместо цезарей и кронпринцев солдатчиной распоряжаются Пуанкаре и Ллойд-Джордж. Барбюс не продумал, а выстрадал свои идеи. Его «Paroles d'un combattant» — это тот путь мысли, через который неизбежно пройдут все, чтобы притти к тому, к чему пришли мы здесь в России.

Вот его письмо уже в разгаре войны: «Оценивай события лишь на основании их конечных результатов. Опасайся непосредственных выгод, таящих в себе грядущий ущерб. Отбрось традиции, бойся личностей. Сосредоточившись и вооружившись здравым смыслом, ты выполнишь беспощадно работу размышления над фактами, аргументами, тезисами, системами».

В апреле 1920 года в Женеве происходил международный конгресс бывших воюющих (Congrès International des Anciens Combattants), в котором приняли участие делегаты ассоциаций—французской, германской, австрийской, эльзас-лотарингской, английской, итальянской, представлявших миллион граждан. И Барбюс теперь «бывший воин». Он уже больше не верит, что война народа против другого народа вызывается идеальными побуждениями. Пять лет резни прошли не даром. Вот что говорил он на конгрессе: «Брататься нужно не во время войны, а до нее. Мы сошлись для того, чтобы соединиться в братстве прочно и навсегда перед войнами, которые вновь угрожают вспыхнуть... Истинная причина войн — причина экономическая. Война—это вопрос коммерческих и покровительственных договоров, рынков, конкуренции, личного обогащения. Война — это вопрос наживы. Мы были работниками войны, мы хотим быть работниками мира. Мы последние отпрыски поколений мучеников. Мы хотим перестроить действительность до основания, не хотим полумер».

Когда, наконец, на востоке засияли первые лучи света, и капиталистический мир обрушился на революционную Россию, Барбюс почувствовал, с кем ему предстоит итти рука об руку в борьбе за освобождение человечества. 12 октября 1919 года он опубликовал в «Humanité» свое нашумевшее «Nous accusons» — «Мы обвиняем международную реакцию, которая во имя возмутительных соображений корысти и классовых интересов, во имя своих варварских привилегий, уничтожает великую русскую республику, виновную только в том, что она осуществила свою мечту об освобождении. Мы обвиняем правителей Франции, Англии и Америки...»

Путь, пройденный Барбюсом, — это путь, которым идут в настоящее время лучшие умы Европы и Америки.

III.

Роман Мартине «Тыл», автора «Ночи», это — мрачное шествие войны через тысячи маленьких людей, живущих своими будничными заботами. Бар-

бюсу лик войны явился на фронте, Мартине—в тылу. Там—обреченные на смерть. Здесь — покинутые обреченными. Там — истребление веками накопленных богатств. Здесь—жертвы этого опустошения. Мартине не обобщает. Он видит под крышами домов живых людей. Он заходит в каморку швейцара, в мансарду поэта, в квартиру обывателя. Он любовно изображает семейный уют, радости матери, лепет ребенка, ласки влюбленных, дружбу мужчин, заботы хозяек, творческое вдохновение художника. «Война! Война! В город, который спит и поет, в огромный мирный город, у его ног она скоро войдет не спеша, неотразимая, с фатальностью бессмысленной машины, гигантского зверя с выколотыми глазами. А там, на бретонской земле с лесами, хижинами, с плотью и сердцем человеческим? А везде на просторе беспредельного мира!» Так мечтает один из героев «Тыла», стоя ночью на балконе, накануне об'явления войны, слушая стук удаляющегося фиакра, доносящиеся из флигеля песни и смех и отдаленные тягучие звуки гармоники, напомнившие ему его бедную бретонскую музыку. Он видит ее, войну, как она поднимается, зловещая, во всей реальности всеобщего разрушения. Ее безумие так ясно в эту ночь тихую и теплую. «Но ведь люди не сумасшедшие. Еще не поздно. Они откажутся». Увы, оказалось, что они сумасшедшие. Страшное слово «мобилизация» носилось в воздухе, его выкрикивали газетчики при свете дня, его с ужасом повторяли мужчины, женщины, старики. Вид бульвара внезапно изменился. Всеобщая тревога и тяжелое молчание. Люди бегали, встречались, везде стояли группы.

Это ложь, будто на войну идут с музыкой в душе, с энтузиазмом. Эту музыку наняли те, кому выгодна война, этот энтузиазм сочинили поэты, наемные слуги тех, кому выгодна война. Никто не хотел итти туда на войну; никто не хотел уйти отсюда, отец не хотел покинуть ребенка, муж—жену. Все шли к вокзалам, откуда отправлялись поезда с людьми, посланными для смерти и убийства. Там сильнее всего билось сердце народа, которое билось так сильно в каждом доме, в каждом этаже, в каждой квартире. Туда привел Анри свою Гену. Завтра его очередь. Он хотел, чтобы она подошла ближе к этим чудовищам, к вокзалам, чтобы она присмотрелась, привыкла к ним. «Эти вокзалы притягивали, выкачивали всю жизнь. Не знали, почему туда шли, но туда шли, туда надо было итти, потому что только там жизнь еще имела смысл. Трагический и элементарный смысл душу раздирающей животности в современной декорации Анри чувствовал потребность пойти сейчас, связаться с теми, которые уезжали первыми. Скорбное братство во плоти призывало его».

Сила Мартине—в изображении мелочей. Он видит квартиры, укрывающие жизнь каждого человека, каждой небольшой человеческой группы, сосредоточенной у очага, видит, как пустеют очаги и квартиры, как растаптываются маленькие радости человека. Литература прошлого не знала такого изображения войны. Война—больше не поэзия. Это омерзительная грязь, если ее делают обманутые слепцы.

Благодаря этой мозаичной работе очевидным становится отсутствие какой бы то ни было внутренней связи между бесконечно пестрой и слож-

ной жизнью, с одной стороны, и тем, что зовется войной—с другой. Войну делают не народы. Она им чужда. Она является им как абстракция, как сила, пришедшая извне, враждебная, ворвавшаяся неизвестно зачем в то, что для каждого дорого и важно. Усталый, измученный тяжелым трудом, приходит рабочий домой и засыпает. «И этого спящего, в ум которого несколько элементарных учебников и случайная пресса заронили щепотку словесных идей, этого спящего, придавленного работой ради хлеба насущного, схватила только что анонимная сила, абстракция в жандармской кепке и сказала ему: иди! поезжай! И широковещательные, повелительные, возбуждающие слова носятся над этой сбившейся в кучу толпой: нация зовет тебя; она тебя знает по имени, ты ей нужен; отечество в опасности!» Правда — в этих маленьких радостях и горестях живых людей, ложь—в тех, кто образует эту анонимную силу, заставляющую живых людей кричать: «в Берлин, в Берлин!» и итти на убийство. Министры, дипломаты, генералы, попы и банкиры! Чувствовалось, как крадутся в сумраке канцелярий дипломаты, угадывались их грязные комбинации, детский маккиавелизм шахматистов.

IV.

Немцы—проклятый народ. Они — виновники войны. Это — священная война республики против империи, свободы против насилия, мира против войны. Это—последняя война, после которой наступит царство мира. Последнее усилие, последняя кровавая чаша—и человечество вступит в царство мира и счастья. Этой дикой схемой, противоречащей всякой логике, схемой, против которой вопиет сама очевидность, этими софизмами одурманивали умы, ослепляли миллионы людей. Это тот же путь Барбюса. То же начало и тот же конец. Рабочие и голодные одинаково теряют и от победы и от поражения. Заключительная глава романа—просветление. Враг не в Берлине. Он здесь, в Париже. Или, вернее, он и там и здесь, и везде, где праздные и ликующие бросают в кровавые об'ятия друг к другу эксплоатируемых и работающих.

Вот что осталось беднякам от высоких лозунгов, под которыми шла война: «В мастерской волновались. Зарабатывали по десяти су в час. А в это время картошка дорожала. Следовало бы по двенадцати су. И подруги сказали Луизе: вы здесь уже шесть месяцев. Вы умеете говорить и писать. Вы должны составить заявление, пустить его по мастерским и подать заведующему».

Так и поступила молодая женщина, у которой война отняла возлюбленного и которая непосильным трудом содержала своего малютку. Когда она пришла снова, ее жетона не было на месте. Черненький привратник сообщил ей, что она уволена. Она стояла у решетки. Последние запоздавшие работницы, незнакомые ей, торопливо проходили мимо нее. Она была теперь за решеткой, совершенно одна. Было темно. Фабрика поднималась за ней темной громадой. Париж перед ней расстилался во мраке. Она возвратилась бегом, как сумасшедшая, прижимая руки к груди: «О, мой малютка! мой ма-

лютка!». Таковы радости, которыми заплатила французская буржуазия беднякам, отдавшим жизнь за ее интересы.

Роман Ромена Роллана называется «Клерамбо. Повесть независимого ума во время войны» (Romain Rolland. Clerambault. Histoire d'une Conscience libre pendant la Guerre). Клерамбо — писатель, чувствительный и нежный человек, честный ум, вдумчивый и совестливый. Он вышел на улицу в тот день, когда декрет о всеобщей мобилизации был только что вывешен у дверей мерии. Париж набирался сил и готовил кулаки. Дома опустели, по улицам текла человеческая река и каждая капля стремилась к слиянию. Клерамбо попал в ее волны и был поглощен. Он взвинчивал себя, был опьянен вместе с другими: «в первый девственный час войны миллионы сердец пламенели важным святым восторгом», к этому примешивалось «чувство неправды», учиняемой над французским народом, «справедливая уверенность в своей силе». Безумие достигло таких пределов, что он, Клерамбо, писатель-гуманист, закричал не своим голосом: «бей его», когда увидал толпу, преследующую кого-то, быть может, даже и не шпиона. «Великая лгунья» печать изрыгала на народы алкоголь воображаемых побед, дома «с ног до головы» облеклись в трехцветные флаги. Он старался обойти себя, узаконить ненависть доводами, противными ему самому. Словом, он старался оправдать то, чему нет оправдания, — оправдать войну. Нет ничего недостижимого для ума. Клерамбо старался «сколотить себе нелепейший идеал», в котором согласовались бы непримиримые противоречия. Лозунгом его стало: война против войны, война за мир, за вечный мир.

Роман Роллана дополняет серию романов, в совокупности рисующих картину постепенного отрезвления умов от тумана национализма и империализма. Роллан переносит действие в круг избранных, в среду аристократов духа, людей утонченной духовной организации. Сын Клерамбо вместе с французской молодежью переживает приступ патриотического воодушевления, и это дает поддержку отцу в его колебаниях. А по ту сторону Рейна — такая же молодежь. «И там, как здесь, их конвоировали боги: Отечество, Свобода, Прогресс, Право, Справедливость. Райские сны обновленного человечества». И Клерамбо приходилось делать усилия, чтобы задушить в себе уважение к Канту, чтобы поверить интеллигентам своей страны, растаптывавшим искусство, науку, культуру, разум и душу соседней страны, отнимавшим у врага всякий гений, усматривавшим в его главнейших памятниках пятно современного бесчестия. Как велика была сила безумия, овладевшего человечеством, если она помрачила даже самые светлые умы, если чистой творческой мысли пришлось призвать на помощь изворотливость казуистики, закрыть глаза на факты, попрать свои собственные законы,—лишь бы свести концы с концами и обличие правды придать лжи, окутавшей мир!

V.

Клерамбо проходит этот путь. Сколько мудрого опыта вложил Роллан в беседы и споры Клерамбо с его другом Перротеном, ученым, которым гордилась французская наука, одним из тех великих гуманистов, острая, ши-

рокая любознательность которых спокойно собирает себе гербарий в саду веков. Сколько трагизма в фразе сына, уже постигшего смысл войны, вернувшегося на побывку и слушающего идеалистические мечты отца: «Бедные, вы жертвы идей, а мы ваши жертвы». И когда этот сын погиб на войне, Клерамбо, выпустивший книгу воинственных патриотических, пропагандировавший своим словом дело войны, почувствовал себя виновным: «я закрыл ему глаза, он открыл мне их». Клерамбо понял свои заблуждения. Он хотел мира, а прославлял войну. Он стремился к любви, а сеял ненависть. Он стал пораженцем. От него все отвернулись. Он видел, что люди становятся слепыми и глухими, когда не хотят видеть и слышать. В самом деле, ведь во всех странах многие люди знали, что ответственность за войну падает не на одну, а на все воюющие страны. Им была известна зловредная роль, сыгранная их политическими вождями. Но они сознательно обманывали себя, притворялись, будто ничего не знают, и им удавалось уверить себя в том.

Клерамбо стал писать по-иному. Правда, он не договорился до конца. Ведь, перед нами повесть о жизни «свободной личности». Он понял, что в войне виноваты не народы. Но настоящего виновника он еще не видит. Он обвиняет себя, всех. Но он близко подошел к правде: «Разве ради нас ведутся эти войны между государствами, это всемирное грабительство? В чем мы нуждаемся? Первейшая из радостей, первейший из законов не радость ли и закон человека, который, подобно дереву, растет вверх... На что нам честолюбие, соперничество, жадность? На что нам эти болезни духа, святотатственно прикрытые именем родины? Родина—это вы, отцы. Родина—это наши сыновья».

Эти «независимые умы», подходящие к событиям без обязательств, умы, не примкнувшие ни к одной партии,—они максималистичнее русской революции. Они ее естественные союзники, независимо от того, вступили ли они в ряды коммунистической партии, как Барбюс, или оставляют за собою свободу действий. Они—естественные и, может быть, самые сильные союзники, потому что обрушиваются на старый мир в качестве художников, проникают в те стороны этого мира, которые недоступны взору политического деятеля и социолога. Они видят все сложное огромное здание, построенное на лжи и грязи, во всех его отвратительных деталях. Если бы революционная буря, уже начавшая свой очищающий бег по Европе, не вызвала к жизни эти художественные творения, это значило бы, что мы приняли легкий ветерок за грозный вихрь.

Они радикальнее Октябрьской революции. Она считается с реальными силами и условиями. Они видят уже ту правду, которая светит из конечного пункта нашего тернистого пути. Им нужно исчезновение нашей варварской культуры всей без остатка. Мечтатель и поэт не должен сковывать себя ограничениями. Радостные надежды овладели французами, усталыми, отчаявшимися, когда немецкая армия, наконец, дрогнула, когда дошли первые слухи, на этот раз не лишенные основания, слухи о том, что в этой страшной военной машине что-то треснуло, что-то тайно разлагалось. Борец надорвался. Говорили о заражении революционными настроениями, занесен-

ными из России немецкими войсками восточного фронта. Все верили, что страсти утихнут и люди вернутся к здравому смыслу, и идеи Клерамбо восторжествуют.

Но Клерамбо знал, какая нужна борьба для того, чтобы выжечь все больные места, все язвы, заражающие гниением человечество.

«Подобно лесажевскому Хромому Чорту, я вижу ночь, первую ночь после перемирия. Я вижу в домах, ставни которых замкнуты от ликующих возгласов улицы, бесчисленные сердца, преданные печали и трауру. Они годами жили в напряжении одной жестокой мысли о победе, которая могла, по их мнению, дать смысл их несчастью, т.-е. ложную видимость смысла: теперь они могут отдохнуть, разбиться, уснуть, наконец. Политиканы постараются измыслить, как бы поскорее и повыгоднее использовать выигранное дело, — или же, балансируя, восстановить равновесие, если они плохо рассчитали. Профессионалы войны постараются продлить военные удовольствия, или, если этого им не позволят, возобновить его как можно скорее. Довоенные пацифисты вылезут из нор, куда они попрятались во время войны, и, как ни в чем ни бывало, очутятся на прежнем посту, рассыпаясь по-прежнему в трогательных из'явлениях своих миротворческих чувств. Тыловые «авторитеты», бившие в военный барабан все эти пять лет, поспешат вытащить из сундуков запрятанные туда ветки мира и станут по-прежнему помахивать ими, улыбаясь медово и расточая губки бантиком, слова любви. Воины, которые в окопах клялись, что никогда не забудут,—с готовностью примут все об'яснения, поздравления, рукопожатия, которыми их будут награждать...»

Огромное значение литературы выявляется сейчас с очевидностью. Если существуют еще люди, которым неясно, куда направляет Европу история, то художественные творения лучших современных писателей могут раскрыть глаза тем, кого не убеждают факты.

(Продолжение следует).

Между историей и политикой.

Моисеи русской интеллигенции.

Н. И. Иорданский.

1.

Библейское сказание о вожде, усомнившемся в силах своего народа и потому, осужденном умереть на границах земли обетованной, не увидев полного осуществления многолетних трудов и стремлений, принадлежит к самым глубоким произведениям народного творчества. Прошли тысячелетия, рассеялись и исчезли народы, погибли государства, а древний рассказ о судьбе Моисея, уходящего в могилу накануне завершения великой борьбы, продолжает сохранять волнующую силу. Так чутко уловило народное творчество и так ярко выразило в свойственных эпохе религиозно-художественных образах неизбежно повторяющееся в каждой революции трагическое столкновение Горы и Жиронды, умеренных и крайних, старых и новых вождей освобождающихся народных масс.

В наши дни, когда пред современниками непрерывно совершается суд истории над людьми и партиями, древняя легенда приобретает особую жизненность. Художественные образы воплощаются в реальных героев социально-политической борьбы. Тема о Моисее, усомнившемся и отвергнутом, становится одной из излюбленных тем.

К этой теме близко подходит и отрывок из обширных воспоминаний гр. Виктора Чернова, напечатанный в первой книжке нового полуэмигрантского журнала, который, конечно, называется «Летописью Революции» и который, конечно, проникнут явным недоброжелательством к революции с тем только отличием от других берлинских изданий такого же типа, что недоброжелательство «Летописи» носит не черносотенный, а меньшевистско-эс-эровский характер.

Воспоминания Чернова относятся к началу русской революции—к 1905 г., когда партия соц.-революционеров переживала еще «дни славы», и посвящены сравнительно небольшому эпизоду: конфликту между представителями подпольной партии и ее легальными выразителями в журналистике того времени—членами редакции журнала «Русское Богатство». Но нынешний, новый, читатель, едва ли знающий даже названия дореволюционных

толстых журналов, должен вспомнить, что в те бесповоротно ушедшие годы редакционные кружки ежемесячных журналов представляли своего рода идейные зеркала. В них отражалась приведенная в легальную, терпимую цензурой форму, революционная мысль той части интеллигенции, которая не уходила в подполье, а оставалась на поверхности, но считала себя отрядом партийной революционной армии. Как «Современный Мир» был зеркалом марксистской интеллигенции, так «Русское Богатство» являлось зеркалом эс-эровской, отчасти лево-кадетской, народнической интеллигенции. Сфера «Русского Богатства», вследствие значительной величины мелко-буржуазного диаметра, была в особенности широка. Она включала в себя не только городские элементы, но и деревенские или, по крайней мере, близкие к деревне—земских служащих, народных учителей, кооператоров и т. п.

Поэтому в небольшом эпизоде, рассказанном Черновым, и достаточно ярко, и достаточно полно отразились зачатки тех разногласий среди демократической интеллигенции, которые впоследствии, когда революционное движение выросло в народную революцию, превратились в открытую вооруженную борьбу.

2.

После весьма ограниченной амнистии, вырванной пролетариатом у царского правительства, Чернов вслед за другими эмигрантами поспешил в Россию. Приехав в Петроград, он, естественно, прежде всего стал думать и заботиться об организации большой политической газеты, открыто поднимающей партийное знамя. Один из близких к «Русскому Богатству» журналистов предложил Чернову воспользоваться для этой цели недавно начавшей выходить, но быстро завоевавшей большую популярность газетой «Сын Отечества».

«Сын Отечества» был типичным литературно-политическим органом предреволюционного времени. Он возник незадолго до манифеста 17 октября 1905 г., когда цензурные путы сильно ослабели. Издателем его был радикально настроенный богатый помещик Юрицын, редакция же и сотрудники представляли в политическом отношении довольно сложный блок, в который входили будущие правые и левые кадеты и будущие правые и левые эс-эры. Главным редактором был Г. И. Шрейдер, ближайшее участие в газете принимали с одной стороны Милюков, Набоков, И. Гессен, Ганфман, Яблоновский, с другой—многие сотрудники «Русского Богатства». Газета велась очень радикально. в ярко-народническом и народолюбиво-либеральном духе. Главные удары она направляла, разумеется, против самодержавия, но в ней уже до революции появились необычные в легальной печати партийно-полемические выпады против соц.-демократов, систематически отнимавших тогда у эс-эров и без того немногочисленные эс-эровские позиции среди рабочего класса. Я помню один такой выпад, который вызвал в нас тем большее возмущение, что соц.-демократы в то время не имели в легальной печати ни своего, ни близкого к ним

органа и не могли отвечать на нападки распространенной газеты иначе, как подпольными прокламациями.

В связи с кампанией в пользу немедленного мира с Японией, соц.-демократы доказывали, что действительно честный мир может заключить только власть, созданная народной революцией, а не гнилое и бессильное самодержавие. «Сын Отечества» постарался использовать нашу позицию для обвинения нас в воинственных замыслах. В газете появилась заметка о том, что соц.-демократы ведут агитацию против заключения мира, так как они не признают необходимости немедленного прекращения войны. Л. Д. Троцкий написал заметку, раз'ясняющую соц.-демократическую точку зрения, и мы отправились с ним в редакцию газеты, чтобы настоять на опубликовании нашего заявления. Шрейдер отнесся к этому желанию чрезвычайно уклончиво и передал нас И. Гессену, который, наоборот, решительно отказался печатать наш текст опровержения и только после долгого и острого спора взял на себя обязательство заявить в газете, что соц.-демократы отвергают толкование их позиции по вопросу о мире, появившееся в «Сыне Отечества». Но в напечатанной затем редакционной заметке Гессен, конечно, только повторил прежнее обвинение.

Такая газета—народническая и враждебная соц.-демократии, хорошо поставленная и обеспеченная, имевшая обширную аудиторию, была для Чернова счастливой находкой. Он горячо ухватился за мысль об усвоении этой газеты эс-эрами, тем более, что после 17 октября право-кадетская часть редакции уже отходила от «Сына Отечества» и подготовляла издание собственного партийного органа. Но превращение «Сына Отечества» в партийно-эс-эровскую газету и по литературно-политическим и по техническим причинам требовало активного участия редакции «Русского Богатства», сотрудники, которого должны были играть видную роль в новой газете.

Вначале переговоры между редакцией «Русского Богатства» и Черновым шли весьма благополучно, но затем возникли разногласия, рассказу о которых и посвящены воспоминания Чернова.

3.

Внутренние трения в эс-эровской группе начались, как это часто бывает, с персонально организационных вопросов. В тот момент, когда Чернов считал предварительные переговоры удачно завершенными и готовился к окончательному собранию сотрудников «Сына Отечества» для формальной организации новой редакции, один из старейших руководителей «Русского Богатства» Н. Ф. Анненский, выступил с неожиданными возражениями. Он говорил:

«Мы, народные социалисты, социалисты-революционеры, — дело не в названии,—делимся на две части: подпольную и надпольную. Они не в равных условиях. Подпольная партия организована, имеет свои с'езды, конференции, местные и центральные комитеты и т. д. Надпольная же партия не организована. Вот и выходит, что решали, решают и будут все

решать—те, кто организован. Надпольные же будут или используемыми одиночками, как Пешехонов и Мякотин,—либо совсем обойденными зрителями, как остальная часть «Русского Богатства». Этому должен быть положен конец... Должна быть сорганизована открытая для всех партия. Инициативу возьмет на себя хотя бы группа «Русского Богатства». Старая нелегальная партия должна дать всем своим членам—кроме тех, которые ей нужны для специальных, несовместимых с легальной работой целей—войти в эту открытую партию. Все общеполитические вопросы и все предприятия общего публичного характера,—в том числе вся политическая пресса,—переходит в ведение этой гласной партии. Нелегальная существует за ней или около нее, как подсобная по существу, но совершенно автономная организация технико-революционного характера. Это будет тайное общество, но действительно тайное, без программы, без прессы—может быть с публикациями по поводу отдельных своих конкретных чисто революционных действий. При таком положении легко разрешится и вопрос о «Сыне Отечества» — ясно, что он будет делом гласной открытой партии».

Свое предложение Анненский обосновывал, между прочим, и тем, что «Русское Богатство» было для эс-эров «главным идейным воспитателем и главной идейной лабораторией; и если бы случилось так... что группа конспиративных руководителей и группа «Русского Богатства» разошлись между собой, то неизвестно, за кем оказалась бы партия»...

В словах Анненского ясно звучит то роковое ослепление старых политических вождей, которое поражает их при революционных массовых движениях и не дает им возможности увидеть пришествие новых сил. Привычка к авторитетному положению, связанному с общественной известностью, препятствует им оценить значение и способности новых деятелей, выдвинутых на политическую арену народным под'емом и еще не имеющих громкого имени. Отсюда те ноты обиды и раздражения, которые слышатся в укорах Анненского по адресу неведомых пришельцев из подполья. Отсюда стремление создать организационные формы, обеспечивающие первенствующее влияние в партии старых руководителей. Однако предложение Анненского нельзя об'яснять только психологическими причинами. Практика политических партий показывает, что персональные раздоры и организационные разногласия почти всегда являются признаком назревающих принципиальных расхождений. Здесь с полным правом можно вспомнить Лермонтовский афоризм, что страсти это—идеи в начале своего развития.

Чернов вскоре убедился, что между подпольной и надпольной эс-эровщиной существует серьезное различие. Руководители «Русского Богатства» искренно считали себя добрыми революционерами, но в действительности они на другой день после 17 октября, после первых уступок самодержавия, отошли от народной революции.

«Мне показалось,—рассказывает Чернов,—что мои собеседники несколько ежатся от названия «социалист-революционер». Анненский ми-

мимоходом сказал, что это название великолепное, прекрасно выражающее нашу духовную сущность в эпоху самодержавия, но что теперь, если суждено упрочиться эре политической свободы, нашей партии придется вероятно переменить название, так как в демократической государственной среде все проблемы социализма становятся эволюционными».

Демократия делает революционизм условным, а не принципиальным, и потому упоминание о нем не обязательно.

Это мнение чрезвычайно знаменательно, как прямое и отчетливое выражение того символа веры, который стал законом соглашательского социализма во время войны и последующих революций и преодоление которого составляет одну из главных заслуг и задач коммунизма. Современные соглашатели более или менее прикрывают свои мысли громкими словами, но в действительности сущность их политики вполне исчерпывается бесхитростными заявлениями старого русского народника. Достижение формальной демократии, образование демократической государственной среды устраняют необходимость революционного социализма. Рабочее движение теряет право на насильственные методы борьбы. Оно должно преклониться пред демократическими свободами и признать верховное право формальных органов «народной воли». Противодействие переходу власти к советам, гражданская война в защиту учредительного собрания, разгром берлинских рабочих буржуазными отрядами соц.-демократа Носке, подавление пролетарского движения в Латвии, Эстонии и Финляндии и многие другие, менее кровавые, но однородные по своему значению эпизоды классовой борьбы находятся в непосредственной связи с развитием в международном масштабе тех разногласий, которые составляли предмет интимного спора небольшого кружка интеллигентов на заре русской революции.

4.

Общее умеренно-реформистское понимание революционного процесса правою частью русского народничества отражалось соответствующим образом и на отношении к конкретным проблемам к русской революционной действительности. Чернов рассказывает, что при обсуждении линии первой легальной эс-эровской газеты «одним из главных вопросов было отношение к стачечному и демонстрационному пылу тех дней». Попытка петербургского пролетариата—явочным порядком осуществить на всех фабриках и заводах 8-часовой рабочий день—вызывала ужас среди самых радикальных сотрудников «Сына Отечества». По словам Чернова, даже «молодые» представители «Русского Богатства» Мякотин и Пешехонов были особенно довольны, когда в этом вопросе и правые, и левые эс-эровские журналисты сошлись на лозунге—благоразумие и воздержание, несмотря на то, что завоевание 8-часового рабочего дня было при наличии других данных необходимым условием победоносного развития русской революции. Решающая роль пролетариата, неизбежность крайнего напряжения его классовой борьбы для свержения само-

державия и утверждения в России подлинной, а не формальной демократии были непонятными и чуждыми идеологам народничества в 1905 г. и остались такими же в 1917 г.

Но не говоря уже о классовой борьбе рабочего класса, даже в области крестьянского движения, на руководство которым эс-эры пред'являли всегда монопольное право, руководители легального народничества обнаруживали в 1905 г. поразительную близорукость и ограниченность. Чернов утверждает, что Анненский считал ахиллесовой пятой эс-эровской тактики отношение к мужицкому аграрному движению и специально к его захватническим тенденциям. Он подозревал эс-эров в простом приятии этих тенденций, которые он находил крайне опасными. Он настаивал на том, что перетасовка земельных отношений должна произойти исключительно в законодательном порядке. Провозгласить принцип «прямого действия», означало бы «сделать лишней творческую законодательную работу, превратить парламент в машинку для прикладывания штемпеля к тому, что сделает сама стихия. Но стихия снизу не может произвести сколько-нибудь рациональной земельной реформы; она может только беспорядочно расхватать землю; с этим же нужно по возможности бороться, и ни в каком случае не потакать».

Другой представитель народнической мысли Мякотин, обосновывая лозунг—не потакать, выдумал даже особую философию права и создал целую теорию «весомых и невесомых благ».

> «Явочный порядок или захватно-революционное право,—поучал он Чернова,—приемлемо для нас исключительно там, где идет речь о правах и благах не вещественного характера. Прямым действием можно и должно добывать право свободно говорить к народу, выпускать без цензуры книги и газеты, исповедывать свою веру, по-своему молиться, уходить с фабрики по истечении стольких-то часов работы, отстаивать неприкосновенность собственной личности. Но там, где право или притязание становится имущественным, вещественным, материальным—ставить законодательство перед фактом недопустимо. Ибо поставить перед фактом здесь значит что-то осязательное из собственности, из рук одного передать в руки другого. А здесь произвол не революционен. Ибо свободы и тому подобные невесомые блага могут быть общедоступны, как воздух. и здесь никого не ограничивают в правах; вещественные же блага ограничены по числу и потому здесь явочный порядок, утверждая права одного тем самым исключает права других».

Наконец, Пешехонов, «как ум по преимуществу практический, искал», в какую сторону с надеждой на успех можно повернуть крестьянское движение, чтобы «избежать безобразных и вредных эксцессов» и нашел лозунг: берите во временное управление, лозунг, который был прежде всего не практичен.

В 1905 г. и теоретические мудрствования Мякотина, и практические выкладки Пешехонова остались без приложения. Правительство оправилось от

удара, и Столыпин, как ум не по преимуществу, но совершенно практический, отбил атаки пролетарского авангарда. Бой возобновился только в 1917 г. Анненский не дожил до нового революционного взрыва, но остальные народники были участниками победы революции. Пешехонов и его единомышленники побывали даже министрами и имели возможность на деле проверить свои построения. Результаты известны. Крестьянство не удовлетворилось «невесомыми благами», предоставленными ему согласно великодушной теории Мякотина, но употребило все усилия, чтобы, не щадя крови и жертв, овладеть землею и другими реальными ценностями.

Народная революция разрубила мечом узел интеллигентских теоретических и практических хитросплетений. Но историческая ценность Черновского рассказа о спорах между надпольною и подпольною группами эс-эров не подлежит сомнению. Эти споры являются идеологическими корнями той колеблющейся аграрной политики, которая привела к бесславной гибели временное правительство Керенского.

В 1905 г. подпольные эс-эры еще не спускали знамени. После долгих разговоров Чернову удалось слепить левый центр, который и стал во главе первого открытого органа эс-эровской партии в России. Надпольная «молодежь» под давлением революционного под'ема неохотно и вяло, но поплелась за Черновым. За флагом остались только «старики». Редакция «Русского Богатства», как «солидарная и целостная организованная коллективная единица», утратила политическое бытие. «Старики» превратились в «обойденных зрителей», по выражению Анненского. Это—были первые в назревавшей революции Моисеи русской интеллигенции, которые, несмотря на крупную роль в борьбе с самодержавием, оказались бессильными перейти границы земли обетованной.

5.

Воспоминания Чернова прерываются на осенних месяцах 1905 г. Но жизнь уже дописала их. После первого раскола народнического блока последовало распадение «левого центра». Отлив революционных волн вызвал образование «надпольными» эс-эрами партий «народных социалистов» и «трудовиков», в которых не было ни народа, ни социализма. От революционной борьбы, в подлинном смысле слова, политические группы, составлявшие эти партии, после 1905 г. держались в почтительном отдалении.

Февральская революция, отдавшая фактическую власть в руки либеральной буржуазии, привлекла в качестве опоры «нового порядка» элементы мелко-буржуазного социализма и, прежде всего, элементы надпольного и подпольного эс-эрства. Но падение самодержавия и провозглашение формальной демократии выявило действительную социальную природу российского народничества. Эс-эровская партийная масса 1917 года могла бы с полным основанием сказать о себе то, что сказал, по словам Чернова, Азеф после получения в Женеве телеграммы о манифесте 17 октября 1905 г.: «как только будет достигнута конституция, он будет последовательным легалистом и эволюциони-

стом; всякое революционное вмешательство в ход событий стихии социальных требований масс он считает гибелью».

Идеологические зачатки этого перерождения так же ясно обрисовываются из подробной передачи Черновым собственных речей в спорах 1905 г. Его извилистые рассуждения об эволюционизме и революционизме, о различии между «захватом» и «явочным порядком действия» при отобрании крестьянами помещичьей земли, его стремления ценою компромисса сохранить связь с правыми попутчиками по направлению наглядно показывают, что и левый центр эс-эрства уже в 1905 году был достаточно дряблым и неспособным к роли вождя народной революции.

Судьба временного правительства Керенского, боровшегося против стихии социальных требований масс, была предрешена, таким образом, еще в 1905 году реакционною природою народничества. Перейдя в августе и сентябре 1917 года от политики увещаний и словесных угроз к политике вооруженного подавления развивавшейся крестьянской аграрной революции, это правительство было свергнуто народом и пало, увлекая за собой поддерживавшие его социал-реформистские, по преимуществу, эс-эровские политические группы.

Так образовалась вторая очередь Моисеев русской интеллигенции, павших политическими мертвецами у границы земли обетованной. Но так как политическая смерть не обязательно совпадает с физической, то новые Моисеи, пребывая в качестве эмигрантов, сохраняют уверенность, что они живы, а революция умерла. Мякотин, например, утверждает, что русскую революцию постиг «трагический неуспех». «Надежды и ожидания, возлагавшиеся на революцию, не оправдались. Революция не дала того, чего от нее ждали, на что надеялись». Русская революция, это—«разруха, которой до сих пор не видно конца и в которой не наблюдается никакого просвета» [1]).

Эти страшные слова лучше всего свидетельствуют о том, что они раздаются из политической могилы. В могиле, действительно,—бесконечная и беспросветная тьма.

---

[1]) На чужой стороне. Берлин, 1923. Мякотин. На распутьи.

Литературные отклики.

А. Воронский.

О группе писателей „Кузница" [1]).

Общая характеристика.

Мнения о группе пролетарских писателей «Кузница» весьма разноречивы. Одни полагают, что писатели из «Кузницы» живут в сущности по фальшивым документам: облыжно выдают свои писания за новое пролетарское искусство, перепевая на деле плохо и посредственно буржуазных писателей. Другие, наоборот, готовы признать, что только в «Кузнице», из «Кузницы», через «Кузницу» растет, зреет истинное пролетарское художественное слово, принципиально отличное от искусства буржуазного. Так, повидимому, прежде всего смотрят на себя «кузнецы».—«Признавая, что пролетарская поэзия, как наиболее молодая,—читаем мы в декларации московских пролетарских писателей,—далеко не безупречна в отношении совершенства формы, мы все же утверждаем, что это единственная подлинная поэзия зачинающегося коммунистического искусства, эры, способной развиться в великое общечеловеческое искусство для жизни, во имя жизни и торжества гармонично-прекрасного человека».

Из других суждений: Евг. Замятин полагает, что у пролетарских писателей «революционнейшее содержание и реакционнейшая форма: пролеткультское искусство—пока шаг назад к шестидесятым годам» (см. ст. «Я боюсь»).

---

1) «Вехи октября», Литературно-худож. альманах; изд. «Московский Рабочий», 1923 г.; Н. Ляшко, «Радуга», изд. «Кузница», 1923 г.; его же, «Железная тишина», изд. «Круг» 1923 г.; его же, «Рассказ о кандалах», изд. Госиздат, 1923 г.; Мих. Герасимов, «Завод весенний», изд. «Кузница», 1923 г.; его же, «Негасимая сила», изд. «Кузница», 1922 г; его же, «Электропоэма», изд. «Кузница», 1923 г.; С. Обрадович, «Город», изд. «Кузница», 1923 г.; Влад. Кириллов, «Отплытие», изд. «Кузница», 1923 г.; В. Александровский, «Россыпь огней», изд. «Кузница», 1922 г.; Ник. Полетаев, «Сломанные заборы», изд. «Кузница», 1923 г.; Вас. Казин, «Рабочий май», изд. «Круг», 1923 г.; Федор Гладков, «Пучина», изд. «Кузница», 1923 г.; его же, «Изгои», альманах, «Наши дни», № 2, 1922 г., Госиздат; Мих. Волков, «Заковыка», изд. «Кузница», 1923 г.; Г. Санников, «Под грузом», изд. «Кузница», 1923 г.; Александр Макаров, «Весенний сплав», изд. «Кузница», 1923 г.; Филипченко, «Эра славы», Госиздат 1918 г.; Павел Низовой, «Язычники», «Молодая гвардия», 1922 г., и др.

Редакция журнала «Леф» в своей декларации утверждает: «пролетискусство. Часть выродилась в казенных писателей, угнетая канцелярским языком и повторением полит.-азов. Другая подпала под все влияния академизма, только названиями организации напоминая об октябре. Третья лучшая часть—переучивается после розовых Белых по нашим вещам и, верим, будет дальше шагать с нами». По мнению Валерия Брюсова, «пролетарская поэзия—наше литературное «завтра», как футуризм для периода 1917—1922 г.г. было литературное «сегодня», как символизм—наше литературное «вчера»; в лучших произведениях пролетарских писателей пролетарское искусство «подходит к самобытной форме». В. В. Вересаеву кажется, что одно из главных препятствий и опасностей для современного пролетарского искусства заключается в том, что пролетарским поэтам пред'являют партийные требования: «ничего не выйдет хорошего, если свои живые ощущения и переживания он (пролет. поэт. *А. В.*) будет прилаживать к «Азбуке коммунизма» и требованиям приверженцев истинно-пролетарского искусства."

Во всех этих и иных многочисленных суждениях о пролетарских писателях, помимо прочего, имеется один основной недостаток: отсутствие *историзма*. Деятельность писателей из «Кузницы» рассматривается вне времени и пространства, а главное, независимо от той бытовой, исторической среды, в коей складывался литературный облик «кузнецов». Их берут как бы готовыми, данными, сложившимися, отвлекаясь от конкретной обстановки. После и в связи с октябрем появился, мол, ряд писателей, называющих себя пролетарскими. Дальше следуют рассуждения, что̀ такое пролетарское искусство. есть ли такое, возможно ли оно в природе, в какой мере писатели «Кузницы» являются художниками вообще и пролетарскими в особенности и пр. и т. п. Такой подход лишает возможности оценить творчество «кузнецов» с точки зрения правильного исторического глазомера, открывая широко двери суб'ективным настроениям, симпатиям, антипатиям, гаданиям и т. д.

При всем различии в возрасте, в одаренности, в технике, в направлении и в характере творчества, при всей текучести состава есть у писателей «Кузницы» некое общее, свое, коллективное лицо, довольно четкое для всякого, кто даст себе труд просмотреть их печатные произведения.

Если не ошибаемся, В. В. Вересаев однажды заметил, что каждый художник отражает в своих произведениях всегда какой-нибудь определенный возраст жизни своей. Это очень меткое и верное замечание становится еще более правильным в отношении к общественным периодам: писатель, особенно в наше бурное и быстротекучее время, переживает обычно несколько общественных сдвигов, переломов, периодов, но только один из этих моментов накладывает свой основной отпечаток, свою преимущественную окраску на художественное творчество писателя. Основное ядро «Кузницы» (Герасимов, Н. Ляшко, Обрадович, Филипченко, Кириллов) росло и духовно вызревало в предреволюционной обстановке кануна 1917 года. Чтобы убедиться в этом, достаточно присмотреться к началу их художественной деятельности. Первые рассказы Н. Ляшко помечены 1913—1915 годами; стихи М. Герасимова—

1913 годом, Обрадович начал печататься в начале войны, Иван Филипченко— в 1913 году. Канун войны и революции. Это было время, когда рабочий класс в России уже играл роль первостепенного общественного фактора, когда завод, фабрика уже в достаточно яркой форме показали, что в избяной, крестьянской, деревянной, «толстозадой» России народилась новая культура городов, стали, бетона и железа, что вместе с этим растут новые люди, синеблузники, с новым мироощущением, с новой верой, далекие от каратаевской, народнической, некрасовской, тургеневской Руси. Синеблузники уже боролись со своими ворогами по всему фронту не один и не два года, получили много боевых ран, и чем дальше продолжалась борьба, тем беспощадней, решительней становилась она. Главные силы свои русский рабочий и кто был с ним отдавали этой непосредственной схватке, подполью, политике. Уделить время, силы еще на фронт искусства не было никакой серьезной возможности. Тем из рабочей среды, кто по наклонностям своим, по запросам и настроенности пытался овладеть тонким и сложным оружием искусства, приходилось выбиваться в одиночку, самим по себе, без мощной поддержки партии, без коллектива, без своих руководителей, воспитателей, критиков, учителей, советников. Учиться можно было где-то в стороне, между делом, надеяться только на себя. Вместе с тем рабочий класс в России настолько уже духовно подвинулся вперед, что из его среды стали выходить не только политики, подпольщики, но и люди с художественными задатками и требованиями. Следует отметить также разложение и гниение на вершинах отечественного литературного парнаса, опошление и забвение всех действительно великих заветов классического периода, пустоту, пессимизм, эгоцентризм, тлен и смрад сегодняшней литературной действительности. Вырабатывался тип рабочего художника, поэта, культурного одиночки, учившегося в углах, в подвалах, как бог пошлет, лишенного своей художественной среды. Из истории русского рабочего революционного движения нам хорошо знаком тип культурного рабочего конца 90-х годов, прошедшего хорошую, длительную кружковую политическую выучку и ставшего белой вороной в родном поселке или заводе. Но здесь, в горниле политической борьбы, на позиции культурного одиночки удержаться было долго нельзя. В области искусства дело обстоит несколько иначе уже по одному тому, что искусство по природе своей более интимно. Кроме того, здесь не могло быть и не было даже «кружковщины», так как не было кружков.

В одиночку, предоставленные исключительно самим себе, росли и учились поэты и писатели «Кузницы». Рабочие, товарищи по заводской работе!.. «Родные, свои, а на устах чужое» (Н. Ляшко). Партия, ссылка!.. Но там было не до «звуков сладких», хотя бы и пролетарских,—там кипела злободневная политическая борьба, вырабатывались платформы, шла профсоюзная и др. работа. А откуда-то из миров неведомых прилетали «музы и феи», тянуло к столу, к бумаге. Эту муку слова, жажду приникнуть к таинственным и волшебным кастильским ключам, эти голоса о сокровенных тайнах слова, сладкую, изнуряющую отраву творческих порывов в подвале, в прачечной, в сы-

рости и плесени в очень отрывочной, экспрессионистской и местами туманной форме, но горячо и искренно передал Н. Ляшко в рассказе «Солнце, плечи и груз». Вл. Кириллов рассказывает: «любил я «житие» святых, их путь тернистый и суровый». И еще:

Но нелюдимый и чужой.
Я убегал на берег вешний,
Чтоб погрустить часок-другой
О жизни вольной и нездешней...
Был Лермонтов всего дороже
В те дни...

Н. Полетаев вспоминает о том, как он грезил о княжне Мэри, как с «Жюль Верном море мерил» и уходил в мечтательность, в блаженные бреда:

Все дождь идет и все в груди колотье,
А люди—вязнут в паутине злой,
Уйду в подвал, зароюся в лохмотья
И буду бредить, буду жить весной...

Обрадович:

Часто охвачен тоскою
Я уходил в поля:
Сонным ковала покоем
Сердце мое земля...

Настроения эти отнюдь не являются случайными, мимолетными для писателей из «Кузницы». Как мы увидим ниже, эти мотивы звучат в поэмах и стихах, относящихся и к более позднему и зрелому возрасту. Тоска, грусть, одиночество, склонность к мечтательности, к фантазмам, к грёзам и снам на яву, к созерцательности, нередко перебивают более твердые, жизнеутверждающие, боевые ноты, заглушая их совсем у некоторых, например, у Н. Полетаева. И по правде сказать в этих грустных, одиноких признаниях, в этой мечтательности нет ничего, чуждого старому искусству. И Жюль Верн, и княжна Мэри, и блаженные бреда о днях весенних, и мечты о Манон—все это обычно для десятка интеллигентского поколения.

Живые звуки звонких строк
Мне стали сладостней молитвы... (Кириллов).

И это—хорошо знакомо и известно.

Конечно, *истоки* этих настроений у писателей из «Кузницы» иные, чем, скажем, в обычных интеллигентских кругах.

Нужда и горе—наши ясли,
Подвальный сумрак—колыбель,
Где зори отрочества гасли
И пела вьюжная свирель... (Кириллов).

Детство и юность в подвалах, в сырости и сирости, в пропаде, в недоедании, в соседстве с задворками и мусорными ямами, в плесени и пыли, без солнца и трав. О подвалах, о злой чахотке слагает свои песни Н. Полетаев: «а я хочу вам спеть о соловьях, которых не слыхал». О жизни под за-

полох—у Обрадовича: «долго на жизнь мою хмурил брови с помойкой чертополох»; о жизни без работы, бродяжьей жизни—у Герасимова; о подвале, о жизни в степи с отарой—у Н. Ляшко; о деревне и кожевенном заведении—у В. Кириллова; все это отнюдь не похоже на душистые парки усадеб, ни на гимназические классы и студенческие аудитории. Хуже то, что рассказано обо всем этом не свеже и не оригинально. Обычные никитинские мотивы с тем различием, что у Никитина это задушевней, богаче. Лучшими в этой области являются песни Н. Полетаева, особенно «Песня о соловьях»: она вполне пригодна для хрестоматий нового типа. Несмотря, однако, на бедность и однотонность этих мотивов, пролетарские писатели несомненно внесли хотя и не новую, но здоровую струю в нашу литературную жизнь, совершенно погрязшую во всяких заумностях, в засебятине, в психологических туманностях и всяческих пустопорожних вывертах.

Другая сторона жизни протекала на заводе, у приводных ремней, у верстака, в гуле и грохоте машин, «у пасти огненных печей», «в зареве вагранок», среди чугуна, стали, железа, дребезга, лязга, скрежета, в копоти, в трудовом поту, в усталости:

Ржавыми шестернями
Жалобы той же тоски,
Долгими тусклыми днями
Мерили жизнь гудки... (Обрадович).

По песням об отрочестве, юности пролетарских писателей создается совершенно отчетливое представление, как—нужда, подвалы, голод, одиночество наложили неизгладимый, прочный отпечаток на духовный склад поэтов, как это прошлое поставило, положило предел радостному, весеннему, революционному, животворному, жизнерадостному, боевому,—ограничило размах их творчества, сделало их до известной степени глухими, невосприимчивыми к тому, что было после.

Многим, может быть, большинству даже ведома была и другая жизнь, деревенская, среди полей, перелесков, хат, мельниц, озер, рек, степей и вольных пахучих ветров. Но это стало далеким как детский сон и чужим,—от этого навсегда оторвали человека город, завод, фабрика. Вопрос о городе и деревне, вернее о заводе и деревне, разработан у писателей из «Кузницы» наиболее подробно, тщательно, полно, интересно и содержательно. Можно без преувеличения сказать, что это—одна из самых благотворных тем «Кузницы» с оригинальной обработкой ее.

Прелесть деревни, полей, лесов очень понятна и близка поэтам «Кузницы». Наиболее талантливо и искренно эту грусть по полю и земле выразил автор «Электропоэмы» Мих. Герасимов в прекрасных стихах «Березке»:

Я покидаю город звонкий,
Иду в простор немых полей,
Где образ призрачный и тонкий
Подруги плачущей моей.

Там влажною от слез щекою
Ласкаю белою кору
И прядь зеленую беру
Своею грубою рукою...
А ты затихнешь как живая,
Немую грусть мою поймешь
И, ветку нежно нагибая,
Слезу ненужную смахнешь...

О светлых, родных нивах неоднократно вспоминает Полетаев; Обрадовичу в машинном звоне мнится «перекличка журавлиная», «свист синиц», «звон серебряной ряби реки»...

Память свято хранила:
Звенящую синь лесов,
Полей золотые рогожи... (В. Александровский).

О бальзаме веселых тополей, о журавлях, «повисших люстрой» поет А. Макаров; о дымящихся утрами сонных лугах—у Санникова. С большой любовью, вниманием, со знанием мелочей рассказывает Н. Ляшко, как ходил с отарой в степи; о детстве в деревне вспоминает В. Кириллов.

Все это, однако, прошлое. Новые напластования легли на первоначальные впечатления. Пришел город, завод со своими огнями, грохотом, суетой, работой, с новыми людьми, с новой жизнью и властно подчинил, покорил, захватил людей, влил в них трепет и прозрение будущего, вселил новые чаяния. И прежде всего через завод почувствовалась остро печаль, тоска наших полей, скорбь наших деревенских сумерек, когда над полями, над хатами незримо опускается что-то древнее, изначальное, исконное, фатальное, когда тишь полей, однообразных и бескрайних, вливает в душу тоскливо сумеречное, когда встает вся убогость ее, деревенской жизни,—ее глубокая, глухая отрешенность и отграненность от широких проселочных дорог цивилизации, вся биологичность и беспомощность этой жизни, с туманами, мокрыми овинами, мокрыми ветками деревьев, с суеверием, смертью, драками, пьянством, грубостью.

Осенний вечер горько сгорбил
Коленно-приклоненный сад,
И сколько неизбывной скорби...
В соломенных морщинах хат... (М. Герасимов).

Эту тоску полей, бесприютность, беспризорность их хорошо и чутко понял М. Герасимов. В его стихах она наиболее полновесно и раньше других выражена (см. его сборник стихов «Завод весенний»). У других поэтов «Кузницы» этот мотив звучит тоже довольно ясно:

Белое, ровное поле,
Вешки у длинных дорог,
Сердце от грусти и боли
Я уберечь не мог... (В. Александровский).

Мотивы повторяются в стихах: «В пути», «Деревня». С. Обрадович пишет:

Веками сон, сугробный, потный, древний,
С метелями под свист сверчка,
Тоска над смутною судьбой деревни,
Проселочная тоска... („Изба").

В повестях и рассказах Н. Ляшко деревенская природа зарисована в мягких тонах, но люди, живущие в хатах, в степи—первобытны, жадны, жестоки, подозрительны, своекорыстны. В «Мареве» мужик-пастух Корней, двадцать лет проживший с женой без сучка, без задоринки, от случайно брошенных фраз случайного человека у костра загорается подозрением, что жена ему изменяла все время и что младший сын не его: он черноволос, не в родню. В рассказе «Лось» коммунистически настроенный парень Костя попал из города в деревню и здесь в лесу во время удачной охоты, из-за убитого лося он готов до последнего издыхания драться с другими охотниками, попытавшимися оспорить добычу. У него неожиданно пробуждается деревенское, родное, жадное, собственническое. В отрывке «В степи» степное, жирное, жвачное, семейное заставляет бывшего рабочего, работавшего еще недавно в подполье—Артема, сторониться своего старинного приятеля, виновато моргать на пачку нелегальных книг; он—под пятой своей жены Даши, тоже когда-то сидевшей в тюрьме, а теперь, в степи, превратившейся в злобную, крикливую бабу. Тут же хозяин Пантелей, состоятельный мужик, ограниченный, подозрительный, косящийся на городского человека. Здесь еще верят в степовиков и своими суевериями невольно заражают даже тех, городских, кто путешествует с котомкой, наполненной нелегальными книгами.

В хорошо отделанных, простых, обвеянных теплым добродушным юмором юморесках-рассказах Мих. Волкова—та же убогая, забитая, забытая, отсталая, словно из XII столетия смотрящая на современное деревня. Здесь, в деревне, в ветрах, во вьюгах не только печаль, одиночество, могильная тишь полей,—здесь так легко, просто, неотвратимо пробуждается атавистическое, звериное, жадное; здесь больше биологии, чем сознательной жизни; здесь мертвое хватает живое; душа человека возвращается в первобытное, дикое, стихийное, суеверное.

Грусть полей, ограниченность, атавизм деревни в русской поэзии и прозе не раз и не два находили себе талантливых художников, но, думается, впервые и именно из среды пролетарских писателей прозвучали ясные голоса, указавшие, что выход—в дымных, коптящих заводах. Заводы... Они не только дымят, не только выбрасывают они железные, стальные и иные полезные предметы. Они перелицовывают, перекраивают нашу деревянную, избяную, глухую, темную, тихую Русь, стирают с лица земли тоску и одиночество полей, разгоняют зыбь туманов, делают незаметными осеннее ненастье и зимнюю непогодь. Почему? Потому что у них веселая, огненная, озаренная душа,—потому что они по природе своей враждебны одиночеству, созерцательности,—что у них рубиновые, искрящиеся глаза,—неугомонное, неустающее сердце,

что эти веселые бодрые великаны и витязи говорят громкими, гулкими, уничтожающими тишь голосами, поют звонкие, стальные песни, что подобно сказочным добрым волшебникам они, всюду, где появляются, вызывают жизнь, движение, бодрый гам труда. Эту веселую душу завода хорошо и крепко почувствовали писатели «Кузницы».

Кадимый клубами тумана,
Осин рыдает хоровод.
Лишь ярко на груди кургана
Веселый искрится завод...
Пускай туман клубится зыбкий,
Печаль полей ползет без сил,
Мы видим—огненной улыбкой
Завод ненастья опалил... (М. Герасимов).

С. Обрадовичу кажется, что он заблудился в поземках полей; кругом кто-то «стонет и тужит», скачут призраки, кто-то веет саваном в лицо. Сбился... но откуда-то слышны стали отдаленные громы: город. И поэт взывает к нему как к избавителю:

Непогоды! Вой и молись!
Правь надо мной похороны!..
Огненный мой! Отзовись! Отзовись,
Город чугунно-бетонный!..

В. Александровский уверен, что его от тоски и пропада спас фабричный шум:

И сгинул бы в тумане столичном,
Как многие, скукой зарос,
Если бы радостно в шуме фабричном
Не слышал всплески роз...

У Н. Ляшко есть рассказ «Железная тишина», лучший из всего, написанного им. Завод, который перестал работать во время революции. Превосходно переданы гнетущее молчание машин, станков, котлов,—холод и стылость железа, зловещий летаргический сон железного великана. Завод замолк—и с полей, наступающих на завод, из деревень, растаскивающих его, ползет мертвящая немота, одичание, осиротелость.

Понятно завод, город не только разгоняют, развевают немоту, печаль, одиночество полей. В них выковывается новое будущее, в них зреет великое единение людей, они являются очагами борьбы неустанной, побед, новых достижений. Об этом—целый цикл стихов у Герасимова, Обрадовича, Александровского, Кириллова и др., стихов разнородных по силе, содержательности и талантливости—много очень бледных и однозвучных,—но об'единенных одним чувством и настроением. Отсюда—пафос поэзии железа и стали, пафос поэзии, прославляющей «чугунно-бетонные города», любовь—к мертвым машинам, как к живым, существам, преобразующим лицо земли, жизни людской,—к вещам и продуктам фабрик и заводов. Поэты и писатели «Куз-

ницы» уверены, что на заводах и фабриках слагается великая поэма о бессмертии труда, о великом организующем, творческом начале его, что там «срезаются стальные колосья для грядущего», что в зареве заводских огней рушатся уютные виллы, воедино сковываются и боль, и гнев, и тоска, и печаль и любовь,—что там колыбель новой России «без метелей и кабаков»,— оттуда двинется на поля «раскатистый трактор», оттуда будет «электрификация душ»; наконец, он, завод, научил поэтов от станка суровым, но радостным и боевым песням труда и революции. Наибольшей выразительности, самостоятельности, зрелости этот пафос поэзии машины, электричества, завода мы находим у Мих. Герасимова в его поэме «Электропоэма».

Любовь моя незнаемая.
Знайте, друзья и другие,
Обнимаю динамо я,
Части ее упругие...

Поэт знает, видит, что все в мире проникнуто чудодейственной силой динамо, что весь мир, вселенная—огромное динамо. Что такое любовь? «Это—поток электрического пламени во мне и железной крови машин». Человек? Мощная спираль Румкорфа. Труд? «Искра в контакте, как не разрядившаяся гроза, ждущая пронизывающего иного электрона». В поле, в лесу, в каждой былинке, в каждом движении и напряжении мускула, в каждом солнечном луче—эта сила:

Каждый бутон, каждый цветок,
Это—маленькое динамо...

Поймать, подчинить, конденсировать, заставить работать эту силу—и тогда появляются железные, стальные вещи, простые, ружье, топор и другие и с ними спокойно, уверенно, весело одному в поле, в лесу и человек чувствует, что он «не один, не один».

Но завод, машины, вещи, ими делаемые, город не только—могучие факторы чудесного будущего для человечества, они не только уничтожают, прогоняют немоту полей и проклятье их — в поте лица будешь добывать хлеб свой,—но сегодня они также и злые бездушные поработители людей, их— злые и беспощадные властелины, ибо в чужих руках находятся они, в руках угнетателей, рабовладельцев. К ним как Прометей к скале прикован человек труда, цепями нужды, горя, цепями крепкими, рабскими. У Н. Ляшко в рассказе «Солнце, груз и плечи» есть такой диалог:

— Кто это? О чем он?

— Железо славит...

— Слышите: славит нашу каторгу.

— Да, славлю.

— Пусть: железо еще не согнуло его.

— Железо не сгибает.

— Железо? А на руках, на ногах наших? Что ржавчиной точит нас?

— Да, точит и растит крылья...

— Наши крылья—цепи.

— И цепями оно крепит нас.

— Тюрьмы крепит оно.

— Нет, спаивает, вливается в нас, ведет к счастью...

Поэта не понимают, ему кричат: он не наш, он—враг, а он бросает им: «родные, свои, а на устах чужое» и дальше говорит об одиночестве поющего о железе. Человеку, прозревающему в будущее, за плечами которого не только согбенное «сегодня», но и молодое, радостное «завтра»,—ведомо, что железо крепит, спаивает, соединяет, но это—одна правда о железе. Другая правда в том, что оно порабощает, что из него изготовляются чудовищные орудия смерти и уничтожения людей, что оно режет, кромсает миллионы живых, здоровых людей. Вот эту другую правду о железе поэты и прозаики из «Кузницы», думается, оставили в тени. В их произведениях, особенно в стихах, в поэмах великая социальная борьба классов нашей эпохи нашла сравнительно слабый отзвук. У них нет прежде всего поработителя, эксплоататора, хозяина, властелина, машин, заводов, городов, тех, на кого работают, изнемогают в кровавом поту. Нет, дальше, великого гнева, того, что рождает и великую любовь. Не случайно, может быть, поэтому недавняя прошлая империалистская война, этот сгусток подлости, преступности, бесчеловечной жестокости, войны, у которой, употребляя выражение Гюго, душа дьявола и лицо трупа, почти не имеет среди писателей «Кузницы» своих вдохновенных обличителей-художников. То, что есть у Обрадовича («Над выгоревшей окраиной», «Окоп—как зверь», «Атака»), или в стихах М. Герасимова (см. «Завод весенний»).—мало, незначительно, случайно, написано как будто мимоходом.

Нет также и людской, живой, двигающейся, радующейся, стонущей, борющейся человеческой массы, людей труда, не в их абстрактном, а подлинном конкретном существовании. Есть машина, завод, природа и как бы наедине с ними, лицом к лицу—писатель, поэт со своими думами, раздумием, надеждами.

Больше всего человеческая трудовая масса чувствуется в поэмах Филипченко. Его «Эра славы» начинается посвящением: «класс мой великий, пролетариат, мировой, алый, с любовью тебе эта книга». В книге есть подлинно вдохновенные поэмы и славословия новой рабочей демократии, написанные с искренним под'емом и пафосом; иногда Филипченко поднимается до торжественности молитвенных песнопений. Таковы его гимны: «Беднота». «Слова слав», «С работы», «Города», «Руки» и др.

> Я поэмы спою о тебе, моя мать,
> О твоих красных витязях песни, былины,
> Красных богатырей как сражалася рать.
> Как назад не вернулся из них ни единый.
> Я былины сложу,
> Я сказанья скажу,
> Как борцов погребли у стремнины.

Как на бой поднялась ты за бедных сынов,
Искалеченных долей железной.
Я во тьме гробовой, в молниях слов
Звал на бой,
Поднималося солнце над бездной... („Беднота").

Но за всем тем, все это слишком суммарно, абстрактно, лишено живой образности, нет живой плоти и крови, осязаемого. В коллективе тов. Филипченко все сливается в одну массу,—живых, отдельных лиц не видно, как будто автор видит человеческую трудовую массу с вершин, откуда он превращается в муравейник. То, что коллектив состоит из живых, страдающих, радующихся людей,—что, хотя он и живет своей особой жизнью и является особым организмом, но состоит из живых клеток,—этого у поэта не видишь, не чувствуешь.

Слава ткачам и ткачихам простой парусины,
Блестящего шелка, атласа,
Слава портным и портнихам на магазины,
Слава тебе, трудящаяся, бесконечная масса,
Творящая жизни чудо
Всюду и всюду!..

Такие красные акафисты, красные псалмы и славословия, все же очень отвлечены, схематичны. У других писателей из «Кузницы» и этого нет. Природа, завод, поэт. В сущности в этом пафосе машин, заводов, чугунно-бетонных городов—много корней, растущих от интимного, индивидуального, от духовного одиночества, от тоски. Не от избытка сил своих, не от крепости мышц, не от богатства и преизбытка своего иногда поэт зовет к машине, прославляет ее, а от того, что дух из'язвлен, изранен, изгрызан, отравлен сомнениями, нерадостными настроениями, тяжким, изнурившим прошлым. Уже отмечалось выше, как тоска и немота полей привели поэтов «Кузницы» к огням, к веселью, к грохоту заводов. И дальше, роясь и перелистывая их книги, не трудно приметить, как эти же настроения вновь и вновь возвращаются к поэтам. «Мы взяли счастья по охапке, чтоб грусть осеннюю замучить». Оказывается, это не так легко. Вот тов. Александровский постоянно бодрится. Он рассказывает в стихах о том, что тащил раньше грусть, как намокшие валенки, что потом в шуме фабричном у него за спиной выросли крылья Весны, но наступают будни революции и от «московской мути» поэту «хочется головой о гранит». В «Россыпи огней» читатель все время чувствует как в бодрые, революционные песни то и дело вплетаются глухие, тоскливые мотивы одиночки, как поэту приходится делать усилия над собой, чтоб не отдаться им. Часто это ему удается, иногда нет, а скрытое наличие раз'едающих настроений ощущается почти постоянно.

У Полетаева в отношениях к городу и деревне—мучительная раздвоенность:

Поля! Я кинул город пыльный
Я к вам пришел, мои поля,
Больной, измученный, бессильный
И вы не приняли меня...

Поэт бежит из городских подвалов, в поля, но поля стали чужими, они не принимают. И хотя он уверен, что «лучше повеситься в ряд фонарем, склизкую муть рвать, чем одному в поле вертеть пустоту», но совершенно очевидно, что не от бодрости приходит мысль «повеситься в ряд фонарем», пусть это даже только противопоставление. Мих. Герасимов говорит: «чужда мне неба бирюза», но в его «заводе весеннем», его любовь к бирюзе столь прочна и явственна, что читатель первое заявление должен взять под законнейшее сомнение.

Но чуждый я родимой ниве,
От песен осени далек,
Качаюсь над щетиной жнивий,
Как запоздалый василек.
Напрасно с дрожью я стремился
Твой гул иль тишину впитать,
Нет—перелетной птице
С крылом подбитым не взлетать...

Здесь грусть по полям, по жнивью—как по потерянному раю; кроме того, поэт сравнивает себя с перелетной птицей, у которой подбито крыло.

Вл. Кириллов надеется, что скоро вспыхнут «иные огни», но пока признается:

Одинокие и бесприютные
Мы приходим на торжище дней...

Санников взывает к солнцу:

Донесу ли до светлого края.
Сдам ли утру синюю кладь,
Изнемогший, кричу, взываю—
Солнце, вставай, помогать...

Почему к солнцу? Почему не к людям, не к братьям по труду и нужде поэт обращает свой призыв? Он же говорит, что его участь «грузить и ждать и с болью петь».

Становится понятным, почему живая, трудовая, осязаемая человеческая личность остается в тени у поэтов «Кузницы», почему у них—природа, машины, поэт.

Отнюдь не хочу сказать, что подобными мотивами исчерпывается творчество писателей «Кузницы», но, во-первых, эти мотивы отнюдь у них не случайны, а, во-вторых, наличие их свидетельствует о расколотости, раздвоенности в их настроениях, в их мироощущениях. Сказанное не следует понимать как обвинение в том, что они повторяют буржуазные зады, что они засели в раковине индивидуализма, в чем их нередко упрекают. Французская пословица говорит, что самая красивая девушка не может дать больше того что она имеет. Писатели «Кузницы» прошли тяжкий путь голода, подвальной работы, скитаний и прочих всяческих лишений, им приходилось выбиваться в одиночку, на свой риск и страх в глухие годы, в глухих углах; им никто не

помогал, они не могли опереться на какие-либо традиции прошлого. Все это легло на плечи тяжелым грузом, отразилось, не могло не отразиться на их вещах. Излишни, неверны претензии видеть в этих вещах единственную подлинную поэзию коммунистического искусства—мы видали и еще дальше увидим как много здесь самых существенных из'янов,—но все же эта группа писателей нашла в себе довольно сил подняться до пафоса М. Герасимова, до красных акафистов Филипченко, до прекрасных по форме стихов В. Казина, до бодрых, революционных гимнов революции.

В тесной связи с пафосом поэзии чугунно-бетонного города находится проповедь космизма, пантеизма некоторыми писателями «Кузницы», проповедь особого мироощущения, когда человек как бы перестает чувствовать свой маленький комочек, именуемый человеческим «я», и тонет, растворяется в целом, во вселенной, в едином и нераздельном космосе.

Все растворилось,
Все растаяло—
Люди, скотина.
Птичьи стаи.
И я упорно растаял
Над бездной черной,
Растекся на миллионы десятин
Темных как ночь,
В морщинах борозд и былинках
В неисчислимых почках.
Былинках и зародышах—
Тайное зачатие сил во мне
И каждом камне... (М. Герасимов).

Поэзия Филипченко тоже проникнута этим космическим мироощущением. Поэт любимыми темами берет не отдельные стороны жизни, не отдельные явления природы, а бытие в целом, у него—миры, миллионы и мириады планет и систем. «Земля, земля, комок сгущенной грязи, средь золотых нулей ты—вид нуля средь пламенных кружащихся планет». Когда землю рассматривают как маленький комочек грязи, как золотой нуль, на ее поверхности трудно что-нибудь различить. Это—взгляд с каких-то надмирных, надзвездных высот. Впрочем, у Филипченко больше восторженного преклонения пред чудесной гармонией вселенной, пред подавляющей необ'ятностью ее, чем желания потонуть, раствориться в космическом.

Растворение своего «я» в космосе, слияние с ним ведет к одушевлению космоса, приводит к тому, что человек вкладывает себя, свои ощущения, мысли, свою жизнь во вселенную, и вселенная начинает оживать, очеловечиваться. Это очеловечивание, антропоморфизм наиболее ясно выражен в стихах Василия Казина, самого талантливого поэта из «Кузницы». В этом отношении чрезвычайно, например, знаменательны его стихи «Любим мы на судьбу людскую». Поэт с осуждением относится к тем, кто «надувает губы» на судьбу:

Протранжирим денежки на водку,
Просадимся в двадцать ли одно,
Иль упустим глупую красотку,
Сердце смертной горечью полно...
И не чуем, что вот тут же рядом
Нам, сварливым с головы до пят
Нашей поступи и нашим взглядам
Твари прочие от зависти кипят...

Оказывается, что от зависти кипят не только твари, но и «ветер мучается весь в изломах, чтоб изломом хоть бы чуть придать поклона той».

Он завидует нашим сапогам и т. д. В стихах В. Казина антропоморфизм перестает быть поэтическим, условным приемом, он становится миросозерцанием, поэтической философией; у Казина в самом деле топор кланяется, вечер обнимает, рубанок шушукает, солнце слышит. Теряется, стирается грань между вещами и людьми, между живым и не живым.

Ах, дядюшка, скажи, родной,—
Не то ли солнце стало мной
Не то ли сам я солнцем пьян...

И дальше:

Но кто родной—мой дядя ли Семен
Сергеевич, иль это солнце мая?.. („Рабочий май")

Отсюда естественен переход к вере, не то в какое-то особое бессм тие не то к признанию какой-то блаженной нирваны, где жизнь и сме[одинаково исчезают в некоей космической пучине.

И когда мое сердце устанет биться
И в земном затеряется страстный напев,
Верю, там на полях голубых возродится,
Расцветет и воскреснет мой огненный сев... (В. Кирил
(„Разговор со звездам

В другом стихотворении поэт говорит, что иногда разрывается м[«угрюмых будней». Тогда—

Станет ясно: вымышленно время.
Смерти нет и даже жизни нет...
И легко, легко глухое бремя,
Заглянувшему за грани лет... (В. Кириллов).

Со всей решительностью следует заявить, что попытки выдать этот к мизм, а тем более антропоморфизм, за подлинное, единственное и настоящ новое пролетарское мироощущение,—а в этих попытках недостатка нет должны встретить со стороны марксистского коммунизма самый решите ный отпор. В свое время ортодоксальным марксистам, в частности Г. В. П ханову, пришлось выступить с решительной отповедью по поводу позиц

занятой Горьким в статье «Разрушение личности» и повести «Исповедь». М. Горький усиленно выдвигал идею растворения «я» в коллективе и в космосе. С философской точки зрения генезис этих идей явно махистский, эмпириомонистский. Именно философская концепция Маха, Авенариуса, Богданова построена на признании крайней условности, шаткости, нереальности суб'екта и об'екта, «я» и «не-я», мира ощущений и «вещи в себе». Перенесите теоретические построения школы Маха в область эстетики—получится растворение «я» в «не-я», личности во вселенной. От положения «не тела причиняют наши ощущения, а совокупность элементов наших ощущений образуют тела»—прямой путь к эстетическому космизму, пантеизму. И наоборот. Революционная фразеология—растворение личности в коллективе, в космосе,—не может, однако, скрыть истинного содержания этих идей. Корень их мистический и индивидуалистический. Мы имеем дело, по существу, с бегством от своего «я», стремление прислониться к чему-то большому, всеоб'емлющему от своей сирости, желания уйти от жизненных противоречий, от борьбы, от гущи повседневной жизни. В частности задача коммунизма в том, чтобы сочетать человеческую индивидуальность с трудовым коллективом людей в их взаимном росте и обогащении, а совсем не в том, чтобы личность растворилась, потонула, распустилась в этом коллективе.

Далее. В космических и пантеистических ощущениях бесследно тонет живой, осязаемый, видимый человек. Отдельные этапы человеческой борьбы, отдельные события становятся неприметными, незначущими, они исчезают в общем потоке. Но целое живет только в своих частях и когда части становятся неразличимыми, тогда и целое превращается в пустое ничто. «Все ничто по сравнению с вечностью»; «да, но тогда и вечность ничто» (из Тургенева). Живой, действенный человек ищет прежде всего людей, современников, берет их такими, каковы они есть; он старается почувствовать, принять все лучшее в человеке и вытравить в нем все атавистическое, консервативное. И природу он берет в ее конкретности, осязаемости. Космизм же вышелушивает все это подлинно живое, интересное, нужное, важное. Он уводит людей от земли, давая возможность забыться, успокоить себя в мечтательной восторженности и созерцательности.

Все эти элементы нетрудно уловить в пролеткультовском космизме. Путь к космизму у писателей «Кузницы», зараженных им, лежал чрез одиночество, тоску, чрез мечтательность, фантазмы, подвалы. Космизм, как отмечалось выше, не мирится с живой, гудящей человеческой массой, и мы видим как «тихо с человеком» у наших космистов, не с человеком вообще, а с тем, кто радуется, страдает, борется, погибает, торжествует. В отвлеченном подходе к человеку сегодняшнего дня виновен прежде всего космизм, антропоморфизм.

Я рад, что веет ветерок,
Что я без ласки человечной
Не одинок, не одинок.
И легче мне без ласки женской,

Когда почую с ветерком,
Что всею вечностью вселенской
Я к жизни вызван и влеком... (В. Казин).

Потребность в людском, в человечном подменяется вселенской любовью т.-е. самым отвлеченным настроением.

Космизм созерцателен, пассивен. В стихах В. Казина всюду разлиты эта пассивная созерцательность, это полусонное, блаженное состояние, эта бездеятельная восторженность, эта сладостная слабость, нежные и мутные грезы на яву, это приятное головокружение.

Нет, злым, зрячим и активным должен быть передовой человек нашей эпохи, перекраивающий старый, буржуазный мир. Особенно в наши дни, без блаженной примиренности в космосе и через космос, без пассивной созерцательности. Не «горе имейте сердца», а долу, здесь, на земле, осязаемой, твердой. И любить он должен живой, а не вселенской любовью, любить своих братьев по борьбе и ненавидеть остро и зло врагов своих. Космизм, вселенская любовь, антропоморфизм, не философия борьбы, а—квиетизма, бездейственности.

Могут сказать, что у писателей «Кузницы», повинных в грехе космизма, доминируют все же бодрые, подлинно-революционные мотивы. Совершенно верно, но это не благодаря космизму и антропоморфизму, а—вопреки ему. Кроме того, есть разные формы космизма. Наиболее опасным является он у В. Казина. Это особенно жаль, потому что дарование его не подлежит сомнениям, потому что стих его свеж, чуток, певуч, вкус тонок, есть ряд превосходных революционных стихов («Осенняя весна», «Как я строил дом», «Каменщик», «Живой рубанок» и др.).

Октябрь и пролетарские писатели. Но об этом до следующего номера.

(Окончание следует).

Из белой прессы.

Побежденные[1].

Очерки.

Георгия Виллиама.

I.

Моя родина.

Мы подходили к Новороссийску. Громоздились невысокие, лесистые горы; море было спокойное, а из воды, неподалеку от мола, торчали мачты потопленного командами Черноморского флота. Влево, под горою, белели дачи Геленджика.

Под самым городом спротливо торчали высокие трубы и громоздились большие здания двух цементных заводов, конечно, «справляющих революцию», т.-е. бездействующих. Городские здания красиво расположились по правую сторону бухты; чернели дебаркадеры пристаней, элеваторов. Кое-какие постройки скучились около заводов, подошли к белому кружеву прибоя; а на вершине самой высокой горы, как голубь на колокольне, белел крохотный домик, вокруг которого ползали по горе неясные черные точки. Как я узнал потом, домик этот был правительственной обсерваторией для метеорологических наблюдений. Подвижные точки по горе—было стадо проживавшего наверху астронома, которого почему-то называли «гастрономом».

Когда наш пароход, наконец, бросил якорь и остановился на рейде против английского крейсера-стационера, ко мне подошел с раскрытым от удивления ртом маленький, похожий на макаку человек в коротенькой курточке пароходного «боя» и с некоторым недоверием в голосе спросил:

— That is your country? [2])

Человек этот в течение трехнедельного плавания от Лондона до Новороссийска прислуживал мне в каюте и за столом, и еще накануне выразил уверенность, что я дам ему на чай за услуги, не менее английского фунта.

— Потому что,—ломаным английским языком разъяснил он свою претензию,—у меня на родине вот такие маленькие дети,—он показал на четверть аршина от палубы,—вы, сэр, человек богатый, потому что вы едете в первом классе и у вас большой багаж.

Однако, едва ли не при первом взгляде на берег, против которого мы остановились на рейде, уверенность в том, что он получит от меня фунт, видимо, сильно поколебалась. Человек-обезьяна, выдававший себя за португальца, метис с Суматры, смерил меня высокомерным, но все еще недоверчивым взглядом и переспросил:

— Это ваша родина?

---

[1]) Перепечатывается из № 7 «Архива русской революции», редактируемого И. Гессеном в Берлине.

[2]) Это ваша родина?

Делать было нечего: приходилось сознаться, что мы, действительно, прибыли, наконец, в мое богоспасаемое «интернациональное» отечество, в территорию, занятую Добровольческой армией.

А картина на берегу открывалась неприглядная.

Стоял чудесный солнечный сентябрьский день и горный пейзаж вокруг залива был восхитителен. Но в этой прекрасной раме из голубого неба и темнозеленых гор тянулись вдоль берега неопрятные казенные выбеленные сараи, у которых стояли на часах оборванные, обросшие солдаты в папахах, солдаты, скорее похожие на опереточных бандитов, чем на солдат. Уныло тянулись на рельсах вдоль сараев ряды разбитых, загаженных вагонов. Резко посвистывали жалкие инвалиды-паровозы, покрытые копотью и ржавчиной. Дальше, поднимая облака белой цементной пыли, медленно ползли грузовые автомобили. Между путями бродили тощие поросята, куры; бездомные псы рылись и грызлись в кучах мусора: несколько оборванцев безучастно глазели на пароход. С криком носились чайки и дрались из-за плавающих у берега арбузных корок и отбросов с кораблей.

Из дверей товарного вагона вышла и неловко спрыгнула на землю молодая миловидная женщина, одетая по-городскому, и тотчас же вступила в мимическую беседу с нашими кочегарами, облепившими борт с кормы. Женщина показывала что-то руками и кричала; кочегары-индусы отвечали ей и ржали от удовольствия, сверкая своими жемчужными зубами.

Несколько грязных, закопченных катеров тотчас же подошли и причалили к пароходу; а один начал плавать вокруг, и сидящие в нем два черномазых господина жадно искали чего-то глазами на палубе и что-то кричали матросам. Матросы дождались, когда они подъехали вплотную и, при громком хохоте, окатили их водой. Катер с отчаянной бранью быстро отошел и снова начал, пофыркивая скверным двигателем, словно откашливаясь, плавать вокруг.

Быстро покончил с проверкой документов английский военный контроль, и на пароход поднялся по трапу безусый подпоручик в низкой кубанской папахе, с трехцветной нашивкой на рукаве. За ним лениво, волоча винтовку, взобрался оборванный солдат.

Нас, русских пассажиров, было на пароходе всего четверо; пароход был военный и привез в Новороссийск груз снарядов и взрывчатых веществ.

Офицер с нашивкой подошел, приложил руку к папа́хе, отрекомендовался комендантским адъютантом и сейчас же спросил, не желает ли кто-нибудь из нас обменять иностранную валюту на русские, донские деньги.

Видимо несколько конфузясь, он добавил:

— Знаете, это мой долг—чтобы вас не обманули... спекулянты...—Вот они!.. Уже пронюхали, что есть пассажиры... А вы думаете, они станут даром жечь бензин? Нет, они очень даже знают, зачем пожаловали...

Вынув бумажник, адъютант сообщил, что у него случайно есть при себе несколько тысяч и предложил обменять их—из любезности. Мы согласились, потому что русских денег у нас, действительно, не было; однако после оказалось, что предупредительный поручик жестоко надул нас.

За это он посвятил нас в местные злобы дня.

— Видите,—показал он ..а своего солдата с винтовкой, сурово посматривавшего на нас,—этого молодца я вожу с собой повсюду, потому что нет сладу со спекулянтами. Знают, подлецы, что я встречаю все заграничные пароходы, и липнут: возьмите, да возьмите с собой, поручик! Раз я взял одного грека с собой на пароход,—уверил, что мать его с сестрой из Константинополя приехали,—так что же вы думаете? Ни матери, ни сестры не оказалось, а он за два с чем-то часа двести тысяч рублей заработал, весь пароход ограбил, да еще мне, каналья, осмелился двадцать тысяч за содействие предложить!.. Да это еще ничего: они вышки особые на крышах у себя по-

наделали да в бинокль и следят—не покажется ли от Геленджика пароход. Разбойники!

Потом поручик рассказал, что теперь в Новороссийске, слава Богу, спокойно: стрельбы на улицах почти совсем не бывает и совершенно притихли «зеленые».

Видя недоумение на наших лицах, он спохватился и объяснил:

— Зеленые—это просто бандиты.—Поручик бегло посмотрел на солдата; тот потупился и едва заметная усмешка скользнула по сжатым губам.— Знаете, дезертируют в горы и грабят. Ну, особая вражда и к офицерству. Конечно, и мы их не милуем... Но теперь притихли; а прежде, бывало, на базаре господ офицеров обезоруживали...

Солдат ухмыльнулся; поручик сверкнул глазами, но промолчал; потом отковырял на прощанье и уехал и, пообещав прислать за нами катер, посоветовал больше сотни не платить.

— А то они готовы шкуру снять с приезжего, особенно, как увидят, что интеллигент... Хуже зеленых, могу сказать... Словом, народец!

Через час приехал обещанный катерок. На корме сидел весь вымазанный углем мальчик в серой бараньей шапке-бадейке. Босой и гибкой, как у обезьяны, ногой, совершенно черной от присохшей к ней грязи, он ловко правил рулем и, сверкая белыми зубами, с аппетитом ел арбуз с хлебом. Когда катер, описав полукруг, причалил к трапу, я спросил мальчика:

— Сколько стоит этот арбуз?

Мальчишка вскинул на меня из-под своей бадейки смелыми, серыми глазами и ответил нехотя:

— Пятьдесят рублей.

Я полюбопытствовал:

— Сколько же ты получаешь жалованья, если можешь есть такие дорогие арбузы?

Мальчик, продолжая откусывать сочные, кроваво-красные куски, ответил:

— Полтораста в день.

— Рублей?

— А что?

Мальчик продолжал есть свое дорогое кушанье с невозмутимым спокойствием, повидимому, находя совершенно нормальным, что арбуз стоит пятьдесят рублей, что ему платят полтораста в день и что при этом он выглядит совершенно голодранцем. Во взгляде его серых глаз я уловил что-то очень близкое к тому, что заметил в усмешке солдата, когда поручик говорил о зеленых: не то насмешку, не то затаенную угрозу.

На берегу, куда нас доставил катер,—увы не за сотню, как нам обещал адъютант!—наш багаж был с величайшей тщательностью осмотрен таможенными, заставившими нас вдобавок прождать до самого вечера. И вот я—опять на родине!

Едкая цементная пыль, чахлые желтые цветы, дичь и мерзость! Под дебаркадерами великолепно оборудованного порта кучи мусора; толпы слоняющихся оборванцев в белых холщевых рубашках и штанах, в фуражках цвета хаки.

— Красные пленные,—мотнув головой на унылые фигуры, сказал нам рулевой; сдвинул бадейку на затылок, и катер запыхтел и запрыгал по коротким, зеленоватым волнам порта среди арбузных корок и всякой дряни, плавающей в воде.

Скоро около наших чемоданов, сваленных кучей, собралась толпа; началась торговля насчет платы носильщикам. Цены заламывали невероятные; а со стороны посматривал на нас казак с винтовкой за плечами и с нагайкой в руках. Плечи у казака были широкие, лицо рябое, взгляд разбойничий, а в легкой усмешке опять почувствовалось что-то неуловимое, похожее на то, что было в серых глазах мальчишки с дорогим арбузом и солдата с винтовкой, когда он смотрел на своего поручика.

Сделалось тошно; потянуло назад на пароход, к хорошо одетым людям с добрыми лицами и приветливыми глазами. Возврата не было...

— Это ваша родина? — вдруг припомнил я испуганную рожицу пароходного боя и, грешный человек, на этот раз не обиделся на него и даже пожалел, что, вместо ожидавшегося им фунта, положил в его черную лапку с белой ладонью всего два шиллинга.

Родина встречала меня во всем смраде своего оголтения, нищеты и унижения.

А над портом кричали чайки и, быстро меняя цвета, постепенно темнели горы. Над домиком «гастронома» робко вспыхнула первая звезда.

II.

Бурачки.

Не розами встретила нас родина; но первую ночь мы провели все-таки под кровом. Поверив на слово комендантскому адъютанту, что в Новороссийске «почти совсем не стреляют», мы долго бродили в темноте по цементной пыли дурно замощенных улиц. Ночь была черная, южная; небо цвета голубой лазури, все в сияющих золотых звездах. Жутко было в потемках среди низеньких домишек с закрытыми ставнями; какие-то тени жались вдоль стен; что-то хищное затаилось, казалось, в тишине и мраке. Изредка вырывался сноп яркого света из раскрытой двери греческого ресторанчика, вырывался с волной музыки, с обрывками песен и пьяных криков. Город веселился в темноте и тайне. Долго ходили мы по неосвещенным улицам, к нашему счастью не зная, чем мы рисковали в этом городе, в котором «почти не быв... стрельбы» по ночам.

Переночевали мы с женой в душной, вонючей, полной клопами комнате у ста... него еврея, николаевского солдата. Впустив нас за невероятную цену,—по реком... дации какого-то случайно натолкнувшегося на нас почтальона,—в свою кварти... еврей наглухо запер двери и окна и даже забаррикадировал их изнутри мебел... Похоже было, что он опасался нападения разбойников и готовился выдержать оса...

На наш вопрос о причинах такой осторожности старик ответил коротко:

— Режут.

Он принес огарок в медном шандале, присел к столу, пригладил свою пож... тевшую по краям от старости бороду и сказал:

— И что такое сделалось с людьми? Вчера рядом семью зарезали. Тол... ребенка грудного оставили. Бог на нашу Россию сердится...

Старик кряхтя и кашляя вышел и заперся. Огарок догорел. Мы долго сид... в потемках; скреблись мыши, жалили клопы, душно было. Но усталость взяла св...

Проснулись—солнце. Бьют сквозь щели в ставнях яркие лучи. Слава богу, дохнули и, ободранные дряхлым хозяином выше всякой меры, мы вышли искать кв... тиру.

Не знаю, что с нами было бы, если бы мы случайно не встретили мальчи... в бараньей шапке, перевозившего нас в город на катере; того самого, который полу... полтораста в день и рулем правил не руками, как все, а ногой. В городе мышиной но... не было, все было занято.

Звали мальчугана Павликом и он посоветовал нам сходить к его маме.

— Може пустит... Добровольцы все комнаты реквизировали... Ступайте ... нефтекачку, спросите, где живет Бурачек. Бурачек—мой папаша.

Долго шли мы по улицам, мимо площадей, обнесенных колючей проволок... заставленных сломанными лафетами, зарядными ящиками, автомобилями, орудиям... Прошли мимо вокзала, перелезли через виадук, под которым сновали паровозы и, н... конец, подошли к двухэтажному кирпичному дому с вывеской «контора нефтекачки

У ворот мы увидели красивого кудрявого парня лет восемнадцати. Он оказался братом Павлика и предложил обождать маму, ушедшую на базар.

— Може и пустит,—как и Павлик, неопределенно пообещал он.

Мама, высокая, статная хохлушка, в очипке, в засаленной до лоска свитке, в высоких, залепленных белой цементной грязью мужских сапогах, скоро явилась. Она сказала, что комнаты у нее нет, что Павлик болтун и лодырь и что она уже задаст ему за то, что морочит головы людям.

— Добро, что квартира казенная,—сказала она сердито,—а то наболтает, а комендант реквизирует—и придется самим зиму в сарае жить...

Мы пошли к виадуку; но хохлушка вернула нас. Она сказала:

— Мне вас жалко; вы ведь тоже люди. Сдам вам кухню, если отец согласится. Кухня у нас белая, чистая, что-то особенное.

А старший сын добавил, глядя на нас своими большими ласковыми глазами:

— Что-то отдельное,—что, вероятно, выражало высшую степень совершенства.

Пришел отец, симпатичный бородатый машинист с нефтекачки, в синей блузе, в картузе, весь пропитанный нефтью. Поздоровавшись с нами за руку, как со старыми знакомыми, он сказал жене:

— Как можно не пустить: ведь они люди и не на улице же им жить! Может, прежде богатые господа были...

И уже примелькавшийся мне едва уловимый огонек недружелюбной иронии блеснул в глазах добродушного бородача, когда он говорил последнюю фразу.

Осмотрев кухоньку, действительно сиявшую чистотой, я спросил, сколько они хотят за нее в месяц?

И папа, и мама, и кудрявый молодец с ласковыми глазами замахали на меня руками, словно в испуге.

— Да что вы! Да как можно,—заговорили они хором.—Как можно, чтобы за деньги? Живите себе даром, сколько пожелаете! Разве мы не понимаем?..

Насильно уговорили их взять плату. И тогда они начали торговаться; но в конце концов согласились сдать все-таки недорого. Мы поблагодарили, живо перевезли вещи и устроились. Вечером к нам явилась вся семья Бурачков, «чтобы нам не показалось скучно на новом месте». Сели, где кому пришлось,—комнатка была крохотная,— начались расспросы, разговоры. Бурачек-отец принялся политично хвалить добровольцев.

— Молодцы,—говорил он, неуверенно поглядывая на жену.—Видите в окно вон эту горку?—Я взглянул: за окном опять горела яркая звезда над домиком астронома.—Вот из-за этой горки они и пришли. И много же их было! Большевики,—он сказал было «наши», но поправился, быстро посмотрев на хохлушку,—большевики уходили по Сухумскому шоссе, а они вдогонку, бах, бах! Словно леший в горах охает...

Бурачек помолчал; потом опять стал рассказывать:

— Прогнали красных—и сколько же их тогда положили, страсть господня!— и стали свои порядки наводить. Освобождение началось. Сначала матросов постращали. Те с дуру-то остались: «наше дело, говорят, на воде, мы и с кадетами жить станем»... Ну, все, как следует, по хорошему: выгнали их за мол, заставили канаву для себя выкопать, а потом—подведут к краю и из револьвера по одиночке. А потом сейчас в канаву. Так, верите ли, как раки они в той канаве шевелились, пока не засыпали. Да и потом на том месте вся земля шевелилась: потому не добивали, чтобы другим неповадно было.

— И все в спину,—со вздохом присовокупила хохлушка.—Они стоят, а офицер один, молодой, совсем хлопчик, сейчас из револьвера щелк!—он и летит в яму... Тысячи полторы перебили...

Старший сын улыбнулся и ласково посмотрел на меня.

— Разрывными пулями тоже били... Дум-дум... Если в затылок ударит, полчерепа своротит. Одному своротят, а другие глядят, ждут. Что-то отдельное!

— Добро управились,—снова заговорил Бурачек.—Только пошел после этого такой смрад, что хоть из города уходи. Известно, жара, засыпали неглубоко. Пришлось всем жителям прошение подавать, чтобы позволили выкопать и в другое место переложить. А комендант: «а мне что, говорит, хоть студень из них варите». Стали их тогда из земли подымать, да на кладбище...

— Гы, гы, гы!—вдруг захохотал младший, Павлик.

— Ты чего это?—строго заметила мать.

— А как же, мама, чудно мне очень: лежит это он на кладбище и думает: а где же у меня полчерепа, например?.. Гы, гы!

Бурачек цыкнул на сына и продолжал:

— Освободили и порядки навели. Жить совсем хорошо стало. Одного не возьму в толк: отчего бы это? Конечно, мы люди необразованные, интеллигентских дел не понимаем, а только ни к чему теперь приступу нет. На базар пойдешь и то тебя либо по морде, либо нагайкой. Купить ничего не купишь, потому дорого, а паспорт показывай. Ты, может, зеленый, говорят, а нет паспорта, сейчас тебя в комендантское да по тому месту, откуда ноги растут. Намедни сына моего младшего, Павлика этого самого, около ворот сгребли: подавай паспорт. Уж какой у мальчугана паспорт!.. Отвели на станцию да так шомполами обработали, аж вся спина словно чугунная стала...

Павлик согласился:

— Добро отчистили... Ну, да положим,—скромно добавил он,—после того и добровольцу тому, кадету, тоже хорошо досталось. Бить который меня велел. Встретили его ребята в потемках, да камнями. Солдат с ним был, убежал. А самого его поутру в канавке около «кукушки» нашли—вместо головы, говядина, а в рот д...ма напихали...

Павлик умолк, потом запел вполголоса. И тут я впервые услышал песенку, единственную, сочиненную за нашу революцию, настоящую народную песенку:

Красное яблочко наливается,
Красная армия вперед продвигается...

Павлик пел и как-то очень уж откровенно посматривал на нас с женой своими смелыми, серыми глазами. Все молчали.

Красное яблочко, куда катишься,
В Новороссийск попадешь, не воротишься...

— Павлик!—строго окликнула его мать. Тот только глазами на нее засверкал и продолжал дальше, уже полным голосом:

Прапорщик, прапорщик, зачем ты женишься,
Когда придут большевики, куда ты денешься?..

Бурачек с улыбкой посмотрел на нас:

— Вы уж простите: дитя, не понимает!

— Нехорошо, Павел,—остановил он сына.—Может кто в окно услыхать. Добровольцы нам свободу дали, а ты чего распелся!..

Потом опять обратился ко мне:

— Вы вот люди интеллигентные, за границей жили, учились. Объясните мне пожалуйста, не пойму я: хлопчик мой старший, вон он сидит,—в политехникуме в Екатеринодаре учился. Как пришли добровольцы, я его послал туда с матерью чтобы опять значит зачислили; а директор ихний новый и говорит: идите, говорит к большевикам, пускай они для вас свои политехникумы открывают, красные... Какие это красные политехникумы бывают?

Горячо вступилась хохлушка; даже щеки у нее зарделись и глаза вспыхнули

— Да еще что кажет: сыну твоему восемнадцать по бумагам исполнилось. Его в армию надо, а не учить... Через месяц, кажет, мобилизация, гляди, чтобы к зеле-

ным не ушел, а то с тебя шкуру спустят!.. Так, вместо политехникума, на табачной фабрике в конторе служит; хлопчик способный, лучше всех учился...

— Ладно, мать,—остановил ее Бурачек.—Раскудахталась... Людям покой надо дать... Приятно почивать на новом месте.

Бурачки один за другим протянули нам руки...

Ночью меня разбудила беспорядочная пальба. Стреляли со всех сторон, по одиночке, пачками. Где-то далеко ухнул орудийный выстрел и тысячекратным эхом раскатился в горах. Стрельба не прекращалась до рассвета. Когда я вышел утром, чтобы итти в город, около наших ворот, раскинувшись, лежал мертвый кубанский казак и смотрел неживыми глазами в небо. Мимо торопливо шли чумазые рабочие в депо, офицеры с винтовками за плечами; жандармы со станции. На мертвого не обращали решительно никакого внимания: словно, дохлая собака валяется. Я спросил у Бурачка о причинах пальбы ночью.

— А это у нас каждую ночь,—сказал он.—Зеленых пугают... Намедни бак с бензином продырявили, насилу справили... А что казак этот,—он тронул труп сапогом,—так это стражник. Беспокойный был человек.

Собиравшийся на свою фабрику сын добавил:

— Это что: вот третьего дня одного в отхожем месте нашли, так это работа! Все: руки, ноги—цело; а головы нигде отыскать не могут! Что же вы думаете? Голову в бочку упрятали. На другой день весь обоз собрали и нашли; в самую гущу упрятали...

Павлик, тоже вышедший послушать умных разговоров, так и покатился...

Вечером я пошел на вокзал за хлебом, в буфет. У прилавка стояли два казака в черкесках, в низких кубанских папахах. Вокзал был от нашей новой квартиры не более, как в сотне шагов. Памятуя ночную пальбу, я захватил с собой толстую трость со стальным наконечником. Казаки посмотрели на меня с живым любопытством.

— Пулеметная палочка,—сказал один.

Другой согласился.

— Действительно. Только что же с этого? Ну, ударит раз, два... А потом?

Домой возвращаться было жутко. Мертвеца все еще не убрали от ворот, только оттащили к сторонке, чтобы не мешал ходить. Когда я рассказал о встрече с казаками у буфета на вокзале, Бурачек-отец сказал успокоительно:

— Вас они ничего. Вот если бы офицер!.. Зеленые это.

При этом Бурачек сообщил мне интересную историю.

— Кругом теперь зеленые. За дровами едут и то пулеметы и батарею берут. В горы ходить все боятся. А за перевалом, где гастрономов дом, сады старые, черкесские. Аулы разорили еще при дедах наших, а сады остались. Орехов там, кизиля, груш вот этаких, яблоков, ужас сколько! Брать их некому. Мне гастроном сказывал— он не боится и к нему зеленые чай пить ходят. Так он видел: ежи, понимаете, собирают фрукты, на зиму должно быть. Складывают их этакими стопочками и сухим листом прикрывают. А на базаре одна такая груша пятьдесят рублей стоит!

Он с грустью добавил:

— Умственные эти ежи!.. Оно, положим, что и мы бы фрукту собрали—не хуже их. Только никак невозможно. И гастронома только недавно из тюрьмы выпустили, а ты — пойди, и сейчас пикет увидит и — бах! Ему что! Скажет, с зелеными нюхается!.. А зеленые — тут около станции в вагонах живут... И со стражей вместе вино пьют... только фрукту собирать, этого невозможно...

Ночью пальба возобновилась. Бурачки спали у себя в сарае, как ни в чем не бывало. А я целую ночь думал: кто такие эти люди Бурачки? Одиночное явление, или?.. Или и все население «в районе вооруженных сил Юга России» вот этакое?

III.

«Кукушка».

Против казенного дома, где была белая кухонка Бурачков, находился виадук, перекинутый через линию Владикавказской железной дороги. Целый день по виадуку катился поток людей, а ночью около него останавливалась на отдых «кукушка». У лестницы виадука была маленькая крытая платформа, станция «кукушки». По ночам здесь ночевали бездомные; иногда находили утром мертвых. По другую сторону был вокзал, место гиблое, где вповалку валялись на полу и неделями сидели вокруг столов в буфете первого класса в ожидании отправления проезжие. Многие, не дождавшись, заболевали тифом и с кресла валились под стол, где и умирали. Кругом вокзала всюду, где только возможно было приткнуться, сидели на вещах казаки, барыни с детьми, раненые оборванцы. По ночам здесь царил ужас и хорошо себя чувствовали только карманники. При отправлении и отходе поездов была давка, истерики, щедро сыпались зуботычины и удары нагайками, бывала и стрельба. Публика лезла на крыши, на тормозные стаканы, ее били, оттаскивали, но она лезла снова, когда поезд уже был на ходу. Бесконечные очереди за билетами стояли и лежали около кассы.

«Кукушкой» называли поезд из четырех разбитых, донельзя загаженных классных вагонов, поддерживающий сообщение с городом.

«Кукушка» ходила без расписания. Иногда она заканчивала свои рейсы в 4 часа дня, иногда в 10 часов вечера. Зависело это от одной вокзальной дамы; если дама попадала домой рано, публике предоставлялось или ночевать в городе, или итти домой пешком через осушенное дно залива в темноте, что было опасно, потому что там убивали. Но если дама застревала в гостях, «кукушка» поджидала ее и приходила к виадуку ночью. По ночам в «кукушку» приходили ночевать зеленые, вокзальные воришки и, главное, в вагоны впускали девиц с гостями.

С 6 часов вечера на вокзале и около него появлялась полиция и начинались повальные обыски и проверка документов. Задерживали железнодорожных рабочих и служащих, пришедших в буфет купить хлеба, и так как они приходили обычно без паспортов, их жестоко били шомполами и нагайками, а иногда и прикладами; потом с них брали выкуп и отпускали, а если не было денег, то отправляли в контрразведку, откуда многие не возвращались вовсе.

На огромных пустырях, на осушенном дне залива, отделявшем вокзал и прилегавшую к нему слободу от города, ютились бродячие персидские цыгане, называвшие себя «сербиянами», народ, заросший грязью и безнадежно изорвавшийся и обленившийся. Милостыню они просили так назойливо, что их боялась даже оголтелая железнодорожная стража. Около самого въезда в город были раскинуты шатры. Там жили цыгане, кузнецы, конокрады и ворожеи. Вокруг табора бродили тощие, с выдавшимися вперед ребрами, бездомные псы и тут же находилась свалка нечистот.

На пустыре вокзальные воры собирались для дележа добычи, поэтому там почти всегда валялись опорожненные баулы, чемоданы, дорожные корзины. Поделив добычу, жулики разбредались по пустым вагонам и пьянствовали; отдыхали со своими подругами в кучах мусора на солнышке; а иногда во время дележа происходили шумные драки, пускались в ход ножи. На пустырь валили палых животных.

Но по ночам на пустыре было тихо. Изредка мелькала боязливая тень запоздалого пешехода. Раздавались всегда бесплодные призывы на помощь, выстрелы; иногда кто-то жалко стонал до рассвета.

Однажды я рискнул перейти ночью через это проклятое место, днем белое от раскаленного солнцем цемента. Пройдя до половины, я увидел около обсаженной чахлыми акациями дороги труп, вероятно, только что убитого человека. Около него стояли мужчина и женщина; мужчина обчищал палочкой грязь с штиблет на еще не-

драгивающих ногах. Вокруг головы расплывалась черная лужа. Остро пахло свежей кровью—точно на бойне. Они мельком взглянули на меня и женщина сказала:

— Снимем штиблеты; он все равно не живой.

Я спросил:

— Отчего он не живой?

Мужчина пристально посмотрел на меня и нехотя процедил:

— Идите, куда идете.

А женщина добавила злым голосом:

— Не то и вам то же будет!

Вероятно, такие сцены разыгрывались здесь часто. Понятно поэтому, какую важность имела для обывателей привокзального района «кукушка».

Живя у Бурачков, я быстро приобрел некоторую популярность. Однажды на наш дом напали ночью вооруженные люди. Они покушались ограбить находившуюся в одной из квартир контору нефтекачки. Случайно проснувшийся сосед-офицер открыл стрельбу; грабители бежали; даже расстрелянный в упор прямо в лицо из браунинга и свалившийся, как мешок, со второго этажа разбойник успел уползти и скрыться до рассвета. Во время нападения вызвали по телефону стражу с вокзала; никто не явился. Я написал о случившемся заметку в газету и—на другой день, когда я ехал в город в «кукушке», мне почтительно поклонился контролер. Вызвав меня на площадку, он таинственно прошептал мне на ухо, боязливо оглядываясь кругом:

— Обязательно пропечатайте эту самую даму! Помилуйте, столько народу мучает... Вчера в двенадцатом часу ночи приехали!..

Даму я пропечатал; конечно, без результата; если не считать, что вызывали, для внушения, по этому поводу редактора. «Кукушка» продолжала ходить по-прежнему; но мне это доставило известность настолько громкую, что со мной выразил желание познакомиться сам комендант станции, которому тоже понадобилось кого-то пропечатать.

Комендант, бывший полковник гвардии, пригласил меня вечерком попить чайку; и в располагающей обстановке около шумящего, давно мною невиданного, самовара сообщил мне действительно любопытный «материал» о железнодорожном житье-бытье. Черные дела творились на станции «Новороссийск» при генерале Деникине!..

Все сообщенное мне я, по желанию полковника, записал в свой блок-нот, а когда кончил, попросил его подписаться. Как сейчас помню эту оригинальную сцену.

В большой, уютно обставленной комнате, за накрытым камчатной скатертью столом сидела семья коменданта. Жена, бледная петербургская дама с подвязанной щекой, разливала чай. Блестящий никкелированный самовар выбрасывал клубы пара. Ярко горело электричество в красивой арматуре. На стенах ковры, оружие кавказской чеканки. Усердно дуя на блюдечко, пили чай с молоком два толстощеких кадета... Серебряная сухарница с булочками, чайник под вышитой салфеточкой...

Полковник с рыжими, закрученными à la Вильгельм усами долго таращил на меня глаза, покраснел и глухо спросил:

— Это зачем же, подпись то-есть?

Я объяснил ему, что без его подписи сведения будут голословные и их не напечатают.

— Может возникнуть судебное дело и меня привлекут за клевету—без вашей подписи!..

Комендант совершенно спокойно и уверенно произнес:

— Этого я не сделаю... Видите,—продолжал он.—Я больше не служу; еду в Р., в офицерскую школу. Вы знаете, офицерское жалованье мизерное, на него жить невозможно. Мне самому приходилось оказывать услуги. Я должен подписаться против себя самого.

По его собственному рассказу «услуги» состояли в том, что в вагонах, вместо снарядов, одежды и продовольствия для добровольческого фронта, везли товары, принадлежащие спекулянтам. Фронт в то самое время замерзал и голодал где-то за

Орлом, не получая из глубокого тыла ничего, кроме лубочных картинок «Осваг» с изображением Московского Кремля и каких-то витязей. На фронте не хватало даже снарядов. А комендант со своими сотрудниками везли мануфактуры, парфюмерию, шелковые чулки и перчатки, прицепив к такому поезду один какой-нибудь вагон с военным грузом или просто поставив в один из вагонов ящик с шрапнелью, благодаря чему поезд пропускали беспрепятственно, как военный. Сам полковник и другие, ему подобные, в это время дрожали от страха при мысли о победе большевиков; кричали по ночам спросонья; но—красть и губить тем самым свою последнюю надежду, фронт, продолжали...

Я высказал это коменданту. Он согласился, что выходит как будто бы несколько чудно. Но интерес его к моей особе исчез. Он разочарованно протянул:

— А я думал, что вы этого негодяя Н. пропечатаете...

Дама с подвязанной щекой сказала с воодушевлением:

— Это такой негодяй, такой!.. Выдали английское обмундирование, он себе три комплекта взял, а Ивану Федоровичу, мужу, два, да плохих, оставил!..

Я допил чай и ушел. Комендант проводил меня до двери и, топорща свои усы приятной улыбочкой, все повторял:

— А быть может вы того? Без подписи? Главное, матерьялец для вас самый интересный!

И долгое время спустя он, встречаясь со мною в той же пресловутой «кукушке», приятно топорщил усы и с видом заговорщика спрашивал:

— Не надумали еще? А надо бы его, курицына сына!.. Да и других за компанью. Ведь вешать за это мало, как честный офицер говорю!

По-прежнему работала «кукушка»: днем она возила в город и из города всякую служилую мелкоту, а ночью в вагонах «резвились». И все так же приставал старик контролер: дама, регулировавшая рейсирование «кукушки», выводила его из себя.

«Кукушка» по несколько раз в день сходила с рельс; ее вытаскивал приезжавший дежурный паровоз и ставил на путь истинный. Ходила она черепашьим шагом, так что от аварий никто не страдал. Пассажиры ругались и шли пешком: в компании было сравнительно безопасно, да и недалеко, потому что она сходила с рельс постоянно в одном и том же месте, недалеко от виадука.

Вечером контролер, ревнитель гласности, проспавший обязательно еще раз разоблачить даму, становился у двери единственного отпертого вагона—остальные он предусмотрительно запирал,—и взимал плату с вокзальных девиц, приводивших своих гостей. Приходили воры с соблазнительными пакетами, с бутылками в карманах. Наведывалась озябшая стража.

Ночью, когда в кромешной тьме гремела кругом бестолковая перестрелка, темные окна загаженных вагонов озарялись зловещим светом. Контролер уходил домой. В «кукушке» пили, дрались, горланили песни, шла игра в карты.

Комендант посматривал на «кукушку» из окна; она останавливалась как раз против дома, а квартира его была во втором этаже. Он знал, что ему полагалось знать. Конечно, «кукушка»—мерзость, как и все другое, и ее следовало бы «пропечатать»; но—жалование комендантское мизерное, а совместить гласность с соучастием—все не удавалось!

IV.

Тиф.

В Новороссийске было одно место, которое называлось «Привоз»—площадь в конце города, у подножия гор, куда из окрестных станиц привозились всякие деревенские продукты.

Глубокой осенью, когда я впервые побывал на этой площади, «Привоз» представлял собою море жирной и глубокой черноземной грязи, в которой тонули по сту-

пицы колес высокие арбы кубанских казаков, запряженные рослыми, длиннорогими волами. На арбах, не в пример прошлым изобильным временам, были по большей части только арбузы да кабаки—большие зеленые тыквы с яркожелтым мясом внутри, да еще мешки с ядовитым чинаровым семенем, которое сходило за орехи, хотя от него рвало кровью. Казаки в рваных бешметах и папахах, сидевшие на возах статные, голубоглазые казачки в высоких мужских сапогах, с нескрываемой насмешливой враждебностью, поглядывали на истощенных городских барынь, тонувших в грязи в своих модных ботинках, в ажурных шелковых чулках, с захлестанными цементной грязью подолами коротких модных юбок, с изящными, но, увы, пустыми корзиночками в руках. Барыни бесплодно искали сметаны, яиц, сала и чуть не вступали в драку из-за каждой тощей курицы. Долго разглаживали казаки получаемые донские кредитки с аляповато изображенным на них Ермаком или атаманом Платовым, и со вздохом прятали за голенище. Вокруг «Привоза» синели и зеленели уходящие вдаль горы.

Поодаль от возов были ряды, в которых торговали всякой утварью. Были тут самовары со вдавленными боками, облупившаяся эмалированная посуда, яркие ленты, старое платье, банки с леденцами, кровати и т. п. дрянь, свидетельствовавшая о том, что всякое производство в районе добровольческой армии прекратилось. Казаков привлекала мануфактура, и они толкались около яток, где навалена была пестрыми стопами всякая гниль и заваль, привозившаяся через Батум из Италии, Франции и Англии—за баснословно высокие цены. Около мануфактуры вертелись юркие, лукавые греки, поблескивая черными, жгучими глазами. Лица у казаков были злые.

У кабаков и харчевен что-то ели, валялся в грязи мертвопьяный; дрались две толстые торговки, охваченные плотным кольцом довольных зрителей. Стражник с разбойничьей рожей от скуки похлопывал себя нагайкой по голенищу.

Дома вокруг «Привоза» какие-то грязновато-серые с облупившейся штукатуркой, с ржавыми крышами, были заклеены плакатами «Освага». Плакаты были большие, яркие, напоминавшие старинный лубок. На них изображался Троцкий с рожками, в красном фраке, окруженный сонмищем красных чертей; длинный красный змей с зубастой пастью, подползающий к дорожному верстовому столбу с надписью на нем: «Китай» и т. п. чепухой, расклеивавшейся в целях антибольшевистской пропаганды.

Побродив по «Привозу», я пошел домой.

Пробираясь по грязи сторонкой, около домов, где было меньше риска увязнуть по колено, я вдруг отшатнулся и отскочил: на меня пахнула такая струя трупного смрада, что закружилась голова и едва не вырвало. Я поднял голову. Передо мной тянулось длинное двухэтажное здание, темное, с пятнами сырости на штукатурке. Все до последнего окна в нем были выбиты. Смрад выносился из зияющих дыр. Я заглянул внутрь и увидел огромную залу, сплошь заставленную кроватями.

Я подумал:

«Вероятно, казармы».

Но тут же сообразил, что если б это были казармы, то в них сидели бы и ходили люди, так как было еще совсем светло: а в этой зале были люди, но все они смирно лежали на кроватях, прикрытые одеялами. Вдруг одно из одеял приподнялось. Костлявая, желтая рука высунулась наружу; открылся желтый лоб с прилипшими к нему прядками черных волос. Рука поискала что-то вокруг, ничего не нашла и опять спряталась, натянув на голову одеяло.

Я отошел подальше от дома, чтобы лучше можно было заглянуть внутрь; заглянул и содрогнулся. На кроватях, на полу, между и под кроватями, на голых досках, на грязных соломенниках, без подушек, без белья, лежали или тихо копошились в жару сотни больных. Через открытую дверь виднелась другая зала и в ней было то же самое. Тогда я понял: это были тифозные.

Это были жертвы маленьких, отвратительных насекомых, бельевых вшей, называвшихся «тифозными танками», разносившими смертельный яд пятнистого тифа

в рядах добровольцев и всех соприкасавшихся с ними. Это были жертвы того страшного бича, которым Провидение карало за жестокое презрение к человеку. То был наш русский «император смертей», как в древности называли чуму, не щадивший никого: ни генералов, ни банкиров, ни барынь в обезьяньих мехах и кружевах, ни оторванную от домов народную массу, завербованную в ряды добровольцев. Нигде и никогда эта ужасная болезнь не получала такого развития, как на юге России при Деникине! Это был апофеоз заброшенности, беспомощности; последнее выражение отчаяния.

Что делалось в этом страшном месте, когда во мраке ночей в разбитые окна врывалась ледяная Новороссийская «бора» норд-ост, срывая одеяла с мечущихся в жару больных, погибавших здесь без ухода, без всякой помощи...

Немного поодаль, к зданию была прибита небольшая белая вывеска с черной каймой вокруг надписи «Лазарет № 4». Под вывеской находились ворота. Во дворе были свалены простые гробы. Около ворот стояла беременная сестра милосердия с миловидным, покрытым веснушками лицом под белоснежной косынкой. Она была в модной коротенькой юбочке, из-под которой уродливо вылезал ее живот; ноги были в кокетливых туфельках на высоких каблучках. Она недовольным голосом выговаривала что-то безусому офицеру с пустым рукавом, на котором была вышита на черном фоне мертвая голова со скрещенными костями, указывавшая, что он служит в «батальоне смерти» имени генерала Корнилова.

Со второго этажа, из окна над воротами, выглядывала другая сестра милосердия, хорошенькая, с розовыми щеками и выбивающимися из-под белой косынки кудряшками. В руках у нее была обтрепанная книга; но она не читала, прислушиваясь с любопытством к тому, что говорилось внизу. Поодаль от беременной сестры милосердия стояло человек пять толстомордых лазаретных солдат, называемых «бульонщиками»; лениво переговариваясь, они лузгали тыквенные семечки, далеко отплевывая шелуху. А перед ними, по щиколотку в грязи, стояла со смиренным, морщинистым лицом старая казачка в высоких сапогах. Беременная сестра несколько раз нетерпеливо взглядывала на нее и пожимала плечами; наконец, она не выдержала и, сделав плачущее лицо, сказала злым хныкающим голосом:

— Чего ты торчишь? Сказали тебе: убирайся! Почем я знаю, где твой Корнюшка—может быть, давно закопали!.. Володя!—простонала она, поднимая глаза на офицера.

Безрукий «корниловец» сделал свирепое лицо и сделал движение к казачке. Старушка шарахнулась прочь, споткнулась на что-то позади себя и упала в грязь. Сестра во втором этаже улыбнулась; санитары громко захохотали; офицер-корниловец засмеялся. Беременная сестра побледнела от злости. Она с ненавистью устремила взгляд в лицо «Володи» и простонала:

— Да ну же, да помоги же ей!..

Офицер сделался серьезен и шагнул к старухе; но та успела подняться и в страшном испуге бросилась от него прочь, старая, маленькая, грязная; боязливо и гневно оглядываясь назад.

Пошел и я. Сумерки спускались над городом. Горы по ту сторону залива темнели, быстро меняя цвета. Сначала они были розовые, потом фиолетовые, под конец стали темно-коричневые. Вдоль пристаней и на кораблях, стоявших на рейде, зажглись огоньки. Белый огонь вспыхнул на маяке на конце мола. Море глухо плескалось в каменную набережную, выбрасывая на берег арбузные корки, щепки.

«Откуда, однако, там такой трупный запах?»—задал я самому себе вопрос, вскарабкиваясь на «кукушку», чтобы ехать домой.

Ответ на мое недоумение я получил недели через две от одного священника в Екатеринодаре, куда я поехал по делам.

Я познакомился с ним в ресторане. Священник этот сидел в меховом лисьем подряснике, багровый, с неопрятной седой бородой, жадно ел котлеты с белым соусом

и горячо говорил своему собеседнику, молодому, элегантному генералу с Владимиром на шее, как раз по поводу интересовавшего меня «Лазарета № 4». Как раз в это время в Екатеринодар эвакуировались правительственные учреждения, и он приехал из Новороссийска за деньгами. Жуя и выплевывая куски котлеты, он говорил:

— На глупости дают!.. А тут посмотрели бы сами: как пришлось принимать от города эту, прости Господи, помойку, так меня, извините за выражение, вырвало.

Он прожевал громадный кусок, махнул рукой и продолжал с негодованием:

— Ни одного гроба, а покойники, понимаете. не только в сортирах, под лестницами, даже на чердаке были. Подымут одеяло на кровати, а там вместо больного разложившийся труп... Тьфу.

— И как только живые больные не задохнулись? Еще воистину слава Богу, что ни одного стекла в окнах не было, смрад-то относило...

Генерал слушал и холодно и вежливо улыбался. Вокруг шумела бесшабашная толпа...

По дороге из города домой, к Бурачкам, мне приходилось проходить мимо обширного лагеря беженцев, греков, армян. В солнечную погоду я видел, как статные, черноглазые женщины в лохмотьях что-то готовили на кострах, сидя на корточках, кормили детей, пряли волнистую шерсть. Лагерь, кроме двух-трех солдатских палаток, состоял из низких, в аршин, навесов, устроенных из старого листового железа. Под эти навесы залезали, как в звериные норы. Когда бушевал норд-ост, листы железа срывало и с грохотом носило по пустырю. Жалкую рухлядь тоже носило и она часто попадала в черную грязь широких канав около дороги. Костры гасил дождь и снег. Тогда по ночам по пустырю бродили странные привидения. С развевающимися по ветру косами, с синими лицами и с выбивающими дробь зубами, женщины ловили свои промокшие насквозь ветоши, снова сталкивали листы железа для шатров, а неумолкающая буря со злобным хохотом снова разбрасывала их. Плакали дети. Сжавшись в комок, лежали в лужах под дождем и ветром жалкие фигуры.

В этом стане погибающих свирепствовал тиф. Но умерших отсюда убирали. Лагерь находился подле самой дороги из города на «Стандарт», к пристаням. Мимо проносились, поднимая тучи едкой цементной пыли, автомобили с развевающимися трехцветными флажками.

Смрад разлагающихся мертвецов мог бы достигнуть обоняния важных генералов, изящных, пахнущих духами дам, поэтому по утрам в это место скорби приезжали дрогали, подбирали покойников и увозили их в общую яму, куда их закапывали без гробов, «без церковного пенья, без ладана»... Вместе с тифозными валила всякие другие трупы, всегда обнаруживавшиеся с наступлением дня на улицах.

Много больных было в общежитиях для беженцев; на вокзале, в пустых вагонах; на баржах, на пароходах; на бульварных скамейках; просто на улицах. У нас в редакции заболел курьер. Не только положить, его было некуда даже посадить. Он бродил весь красный, в полубреду; падал, поднимался и снова бродил. Пущены были в ход все связи и знакомства, хлопотал сам военный губернатор, но места для больного не было ни в одной больнице, даже на полу, нигде. Целую неделю просили, приказывали, угрожали; наконец его приняли в какой-то лазарет, где он, лежа на каменном полу без подстилки, в тот же день и умер. Да что там курьер, в это же время в вагоне генерала Врангеля, бывшего тогда не у дел, заболел и умер его друг, русский генерал—без всякой помощи.

Перед отъездом в Турцию моя жена пошла в баню. Вернувшись, она рассказала:

— В бане, на полу, где моются женщины, в луже грязной воды лежит,—как говорили мне банщицы, вот уже третьи сутки,—тифозная больная. Она приехали в Новороссийск с поездом, заболела; ей посоветовали сходить в баню; она пошла, да там и осталась. В больницу ее не берут, а когда обратились в полицию, в участке сказали: «помрет, уберем»!..

Когда я садился на пароход, я видел на соседней пристани эшелон добровольцев, возвратившихся из Грузии. В полном походном снаряжении солдаты отдыхали, лежа на земле. Офицер скомандовал встать. Солдаты поднялись и выстроились; но половина их осталась лежать: это были тифозные.

V.

„Осваг".

С этим странным названием я познакомился на главной улице Новороссийска на Серебряковской. Прочитал на вывеске.

«Черноморский Осваг»?

Задумался:

«Это что такое за штука?»

Однако разъяснение скоро нашлось.

Как-то встретил знакомого москвича. Общественный деятель, даже большевик в прошлом,—но только идейный,—он так напугался от практического применения своей теории, что сбежал от старых единомышленников, и не только от коммунизма, от всякого социализма открещивался: обжегшись на молоке, дул, так сказать, на воду.

Мне хотелось прочитать в Новороссийске несколько лекций. Я спросил у знакомого, как организовать их. Он ответил:

— Дело самое пустое. Я служу в союзе кооперативов. Союз организовывает лекции—если темы подходящие,—и платит по сто рублей от штуки. Это мало; к тому же начальство старается совать ему палки в колеса. Между тем «Освагу» разрешения дают беспрепятственно и платит он лекторам не сто, а пятьсот рублей.

Я обрадовался.

— Стало быть, вы можете объяснить мне, что такое «Осваг»?

Знакомый рассмеялся.

— Место злачное,—сказал он.—Как вы однако за границей от нас отстали: даже понятия об «Осваге» не имеете... Впрочем, для устройства лекций учреждение весьма подходящее: разрешение достанет, помещение снимет, афиши расклеит и гонорар выдаст без задержки. И даже независимо от того, придут или не придут слушатели...

Далее он разъяснил, что «Осваг»—это осведомительное бюро отдела пропаганды при «Особом Совещании».

— Словом,—закончил знакомый,—вы так все равно ничего не поймете, пока не поживете у нас подольше. Видели, наверное, всякие страшные картинки на стенах с поучительными сентенциями о «великой, единой и неделимой» и портреты генералов с их изречениями? Ну, вот это и есть «Осваг».

Он не ошибся: я действительно ничего не понял. А стены домов и окна магазинов в Новороссийске, правда, были сплошь оклеены дешевыми литографиями, наподобие известных лубков, как-то «Смерть пьяницы», «Водка есть кровь сатаны» и т. д.

На этих картинках фигурировали: Московский Кремль, освещенный зарею, русский витязь на борзом коне, Троцкий в образе чорта, ярко рыжий англичанин тащил за собою связку крохотных корабликов и вез на веревочке игрушечные пушечки. На этом была надпись:

«Мои друзья, русские, я, англичанин, дам вам все нужное для победы».

Картинки препотешные; конечно, мне и в голову не приходило, что посредством их да еще небольших черносотенных прокламаций серьезно предполагали бороться—хотя и за казенный счет!—с многоголовой гидрой большевизма. В заключение я решил что ни Троцкий с рожками, ни рыжий англичанин, ни даже генералы в лавровых венках нисколько не помешают мне обратиться в «Осваг» для устройства

лекций. Поэтому в одно восхитительное осеннее утро, когда горы и море улыбались золотому солнышку и даже страшная «пятая пристань», залитая кровью русских офицеров, смотрела ласково, я пошел в «Осваг».

Меня приняли, выслушали и проводили к начальнику. Это был худощавый брюнет с задумчивым лицом и черными глазами, бедно одетый в штатское платье. За его столом тогда сидел священник с подозрительно отечным, желтым ликом; около стоял господин благообразной наружности, с рыжей бородой веером, в общем удивительно похожий на великодушного бандита, на манер Роб-Роя или Ринальдо.

Мое предложение было принято. Я прочитал несколько лекций; все еще, однако, не выяснив себе толком: что такое «Осваг»? Знакомый оказался прав.

Но вот, после третьей, кажется, лекции, начальник отдела агитации вызвал меня к себе и предложил мне постоянную службу в «Осваге» в качестве заведующего литературным бюро и издательством «Освага».

— Сначала присмотритесь,—предложил он,—потом, если понравится, мы вас зачислим в штат приказом.

А рыжий бандит шепнул мне в ухо:

— Сахар, муку, дрова будете получать из склада... Комнату можете реквизировать... Спирт из Абрау-Дюрсо получаем!..

Я начал ходить в «Осваг» на занятия. В чем состояли мои обязанности, я до сих пор хорошенько не знаю. Предупреждали меня, чтобы я не внимал лукавым речам типографщиков, желающих освобождать от мобилизации своих печатников через «Осваг»; прочитал скучнейшую агитационную брошюру профессора Н., которую по совести посоветовал бросить в печь. Но недоумение, наконец, разрешилось: однажды ко мне подошел господин с рыжей бородой, похожий на великодушного бандита, фамильярно взял меня под руку и откровенно предложил:

— Не желаете ли вы одновременно служить «по информации»?

Это означало:

— Не желаете ли сделаться шпионом?

Бандит скромно прибавил:

— За это вы будете получать еще тысячу дополнительно...

Я пошел к начальнику отдела и заявил, что нашел службу в «Осваге» для себя неподходящей и поэтому ухожу.

Начальник был недоволен. Про него говорили, что он—идейный и даже партийный человек. К какой партии он принадлежал, я не знаю. Мой отказ видимо волновал его и он с горячей укоризной заметил мне:

— Вы, господа, все желаете выполнять аристократическую часть работы. На кого же свалить черную, грубую, подчас неприятную работу? А ведь она также нужна... Словом, советую вам еще повременить с окончательным решением...

Я перестал бывать в «Осваге».

Еще до этого, на одной из моих лекций, со мной познакомился один весьма любопытный тип. Тип этот сделал мне признание:

— Что вам за охота ссориться с «Освагом»? Не нравится, не ходите; но зачем же заявлять об отказе. Деньги вам все равно платить будут, а потом—как знать? Может быть и приглянется. У нас ребята добрые, а заведение питательное...

После лекции мой новый знакомый поздравил меня с успехом и пригласил в некоторое укромное местечко под рестораном «Слон», где хлысты торговали малороссийской колбасой и «самогонкой». После третьей рюмки господин этот немного охмелел, перешел на «ты» и рассказал, что он состоит начальником отдела устной пропаганды «Освага»

— Как же вы пропагандируете?—поинтересовался я.

Он рассказал:

— Видишь, у меня есть целый штат прохвостов, то бишь агитаторов, обучавшихся в особой школе... Образованные мерзавцы!.. Они ездят по моим инструк-

циям—для провокации. Чтобы тебе стал сразу понятен характер деятельности, выслушай: Иду я, или один из моих негодяев,—например, по Серебряковке и вижу: солдат без ноги, без головы, без руки там, одним словом, пьяный, пристает к публике: «подайте жертве германского плена!». Я к нему: «Желаешь получать сто на день?» Ну, конечно, желает... Так вот что, братское сердце: вместо того, чтобы без толку голосить «жертва германского плена», голоси: «жертва большевистской чрезвычайки». Понятно?! Говори про чрезвычайку, ври, что в голову прилезет и—получай сто целковых—на пропой души».

Тут я припомнил, что мне это уже приходилось слышать в Новороссийске. Пьяные, оборванные, наглые люди в солдатских фуражках и в шинелях, благоухая «самогонкой», что-то такое рассказывали об ужасах, пережитых ими в чрезвычайках, нередко откровенно дополняя свои рассказы:

— По сто целковых платит за эту самую канитель Василь Иваныч.—Подайте жертве!

Характер деятельности «Освага» постепенно выяснялся. Окончательно выяснился он несколько позже.

Я работал в Новороссийске в газете и начинал уже понемногу забывать об «Осваге». Однажды вечером в редакцию зашел начальник «устной агитации» и положил ко мне на стол туго набитый портфель. Весело и значительно поглядев на меня, он спросил:

— Угадай, что в портфеле?

Не дожидаясь ответа, он добавил:

— Денежки, батенька, денежки!

И расхохотался.

Я ничего не понимал. Мой новый друг продолжал:

— А знаешь, сколько?

Я только плечами пожал, недоумевая.

— Шестьдесят тысяч... Но—главное не в этом. Главное, угадай, для кого эти деньги?

И на эту загадку я не ответил. Тогда он торжественно вытащил пачку совсем новеньких, только-что из типографии, еще пахнущих краской, тысячных «колокольчиков» и сказал:

— Этакий непонятливый. Для тебя эти деньги; получай, и пойдем в Капернаум вспрыскивать получку!..

Уединившись за грязной ситцевой занавеской в подвале у гостеприимных хлыстов, он шлепнул портфель на стол и сказал доверчиво:

— Я знаю, что ты не дурак. Ты и без меня понимаешь, что таких денег даром не дают.

Я согласился

— Поэтому,—продолжал он,—вот тебе кроме денег еще проездной билет до Батума и обратно. В Батуме, или там в Сухуме, сейчас находится К—й,—мы имеем сведения: к товарищу Чхеидзе в гости пожаловал!..—Ведь ты его не любишь?—заглядывая мне пристально в глаза, вдруг спросил он.

— Допустим,—согласился я.

— Ну видишь, тем лучше, стало быть,—обрадовался он.—Ты являешься в Батум, в Сухум,—словом, туда, где он, и...—он сделал жест, как будто давил ногтем насекомое, все время не спуская с меня пристального взгляда.

Он хлопнул меня по плечу, весело расхохотался и подмигнул мне:

— Знаю, знаю, батенька, что ты любишь хорошеньких, и такую тебе бабенцию в спутницы подыскал—все пальчики оближешь! Пьет, как драгун, и—ни в одном глазу!

Я не знал, что делать: хотелось ударить по этой подлой, смеющейся роже, хотелось плакать; и подленький страх змеей заползал в душу, ведь подобных предложений не делают зря; или соглашайся, или—пуля откуда-нибудь из-за угла—и свидетеля рискованной затеи нет. А в Новороссийске дело с этим обстояло просто: убивали столько, что полиция даже не интересовалась, кто убитый: закопают, и все.

Устный пропагандист, однако, сейчас же отгадал мои колебания. Он расхохотался еще искреннее, еще благодушнее:

— А еще писатель,—забубнил он,—публицист! Психолог! Даже позеленел весь! А ведь нет того, чтобы понять, что это просто шутка. Ну, станет кто-нибудь о таких вещах в кабаках всерьез разговаривать?..

В этот вечер я долго не мог заснуть у себя в редакции. Горело электричество; сотни огромных крыс смело носились по полу, карабкались по стенам, дрались. Вокруг, в лавровых венках висели портреты Корнилова, Алексеева, Дроздова. Черная мгла смотрела в окно. А я думал об «Осваге». Теперь он был для меня совершенно ясен.

Я думал о том, что в этом учреждении работают русские профессора, писатели с большими именами, работает несчастная русская молодежь и,—признаюсь,—слезы градом катились у меня из глаз.

— Вот вам и Троцкий в красной визитке, витязь со сверкающим мечом, залитый зарею Московский Кремль!..

На следующий день газета вернулась из цензуры с большими пробелами: видно было, что не в меру поусердствовал красный карандаш цензора. На другой день—то же самое. Потом пришла бумага из «особого отдела». Официальное предупреждение с напоминанием об ответственности... Я всмотрелся в подпись—и прочитал красиво, отчетливо выведенную фамилию «устной пропаганды».

А потом явился и он самолично. Шумный, веселый, похлопывающий всех по плечу, по животу.

— Видал-миндал?—загрохотал он, подходя ко мне.—Я ведь по этой части могу, по цензорской!..

Он подмигнул и провел пальцем у себя вокруг шеи:

— А кто говорит много, и по этой могу! Ловко?!.

(Окончание следует).

Критика и библиография

Дм. Семеновский. Благовещание. Кн-во Свирель. Ив.-Вознесенск 1922 г., стр. 126.

Над Семеновским стоит подумать. Судьба его представляется нам зыбкой и загадочной. В поэте надломилось что-то очень тайное и ценное, и мир его души стал болезненным миром—маревом. В поэте больна та сердцевина, которая рождает утверждение, высказывает слово, вынашивает и приносит образ. Над всею книжкой веет что-то неуверенное, робкое, трепещущее, порою склоняющееся к отчаянию. И зловещая поэма о безумце-бедняке, сломленном непосильной и неправой мечтой, таит странные созвучия с отдельными пьесами предшествующих глав (Благовещание, стр. 121).

Можно об'яснить эту хрупкость, эту неуверенность поэтического голоса Семеновского и—параллельно этому—многие недостатки его слово-выражения (со стороны четкости, необходимости, неоспоримости слова) промежуточным, так сказать межклассовым положением поэта по происхождению, по связям его с окружающей средой. Он выродок, он изгой своего (духовного) сословия (сравн. стр. 34, 61 и 109), он не пролетарий, не крестьянин, он—та социальная частица, которая несется на гребне чужой волны и беспомощно озирается на окрестные, столь же чужие ей, волны. Поэтому, может быть, в голосе его нет силы и неизгладимой впечатлительности, грозы и металла; в образе нет яркой очерченности и неповторимости; в мысли нет могучести и полета, а в сердце нет того бурного огня и дыхания, которое приходит из почвы.

Семеновский—поэт одинокий, беспомощный в своем одиночестве, наивной и робкой любви. Да, любовь его, любовность его, поэтическое одушевление, то горение, о котором он говорит:

> Тайно теплюсь, незримо сгораю...
> (Стр. 20)—

несомненны. Но печальна эта теплая, только теплая любовь, эти подлинные сетования поэта над собою:

> Все мы—лишь свечи в тумане синем.
> Как свечи, мы теплимся, слабо лучась...
> (Стр. 109).

> О, раскройтесь, сердечные двери.
> Встань любовь на моей тропе.
> Дай мне силу бороться и верить,
> Научи улыбаться и петь. (Стр. 60).

Любовь поэта расплывается в нескольких направлениях. Это неясная пантеистическая любовь к земле, к миру, идеалистически преображенному непонятной (ибо не видно ее истока), а потому и не правой грезой поэта,—иллюзионный пантеизм. Поэт видит «Голубой мост», соединивший небо с землею, преобразивший землю во что-то, что краше и светлее рая (24, 86).

> Мы—только ипостаси Голубого,
> Рассеянного всюду, как эфир.
> (Стр. 10)—

утверждает поэт, не видя, как зыбко и обманчиво это утверждение в его устах, как подорвано оно словами, подлинно вырвавшимися из его сердцевины:

> Мне хочется поверить в Голубое...
> (10)—

Это «мне хочется» или

> Мне кажется, что нет уничтоженья...
> (10)—

это «кажется» и

> Я понял, что солнце... (12)—

это «понял»—выдают поэта с головой.

Да, все это намеренно, все это рождено усилием, это греза, которой не верит сам поэт, это обманчивые сны, которые не доводут до добра («Речкой бойкой и вертлявой», стр. 74).

Пафос радости земли, неба на земле, увы, не убедителен, и нем, когда поэт так искусственно и неуверенно его выражает:

> Могу ли не склонить колени
> На незабудковый покров... (11).

Да, он никогда их не склонял,—скажем мы, чувствуя тепло и грезу, а не пламень и ясновидение в этих и многих других строках.

Мы могли бы указать на длинный ряд неудачных или просто ненастоящих слов в этом отделе книги. Не типичность и общность образа [каменные громады (13), лиственный собор (13), неба праздничная риза... Собор цветов златовенчанных (13)], сомнительность эпитета (ржаные васильки, на земле прелестной, в этом мире прелестном и милом, смиренных, простых васильков...), невыдержанность пьес [например, в стих. «Голубой мост» пустырь чередуется с придорожною ширью (9), в стих. Пасха:

> А звон плывет—плывет над селами.
> И где-то за туманом глохнет...

и рядом: «Колокола галдят, как пьяные» (34)], вычурность [напр., «Древо дней уронило покров» (56) или: «Лес грустит о ландышах, о солнце...» (48)] прозаизмы [напр., «Песней душу с радостью свивает» (22) или:

> «В какой-то вихрь однообразный
> Безвольно вкручиваюсь я»... (61)],—

все эти отдельные, частые недостаточности в слове-образе свидетельствуют о некоей негармонизации и неопределенности в природе поэта. Кстати, мы вообще определяем поэзию Семеновского не как построенную на гармонизации внутренней и внешней и музыкальности, а скорее—на образности, на игре-смене образа и эпитета, работа над звуковой мелодией стиха почти не заметна. Эти стихи большею частью маленькие рассказы и лирические монологи, написанные мерной и рифмованной речью.

В отделе «Родина» поэт находит больше верных слов и очерченных образов, теперь его любовь выходит из отвлеченной и туманной, не оформленной до конца мистики и звучит большею силою и напевностью. Эта любовь—к Руси, к трудящемуся, к обездоленному (что сближает Семеновского с Никитиным). Поэт испытал и запомнил тихую красу северной земли, ее короткого лета, ее звездных зим. Поставленный на реальную почву, голос поэта достигает порой прихотливой яркости и бойкости (праздник и др.). В некоторых пьесах этого цикла еще живы Блок, Брюсов (как в предыдущем иногда нам звучал Клюев), но в позднейших поэт достигает большей самобытности и выразительности [«Здравствуй, отеческий кров» (35), «Цветами скромности и терпенья» (стр. 37) и др.]. Но и в этом отделе есть внутренние противоречия и диссонансы между отдельными пьесами [напр., «Сходка» (стр. 40) «Проказа злобы, лжи и лести» (62)]. Удаются автору переложения народных стихов—былинных и духовных, хотя следует особо поговорить о законности и смысле подобных имитаций и вообще того свободного заимствования из языка церковных песнопений, которым поэт иногда украшает строфы.

Слово Семеновского еще не твердо, не единственно; путь неуверен: муки разочарований, муки искания не перейдены. Но основной поэтический лад души—любовь и любовная радость—намечен, и некоторые песни уже спеты: в них весть о человеке, счастливом и прекрасном на милой и ласковой земле.

Поэту предстоит глубже и строже определить свое созвучие с миром, связи с людьми, средства своего пути, возможности своего подвига. С тою общественностью, которую он славит, с тяжкой тропою труда соединиться кровью и плотью. Порою его волнуют голоса иные (Светопреставление, 58), часто он слишком отрешен в «голубую», идиллическую, нетрудовую поэтику природы. Поэт мятется, поэт не видит перед собою дороги («Я не знаю, что людям дать», 60). Этого созвучия внутреннего лада с миром не создать искусственно, не достичь насильственно. Может быть, в муках этой промежуточности, в тоске отколотости от чего-то материкового, целого, в грусти и немощи одиночества, в созвучании разным голосам и уклонах в противоречия и лежит личный путь нашего поэта. Может быть, его голос—голос тех оторванных одиночек, каких не мало сейчас на дороге современности, и его призвание—выразить своеобразную мелодию угасающей в бесплодии и разорван-

ности одинокой души. Но, как бы то ни было, мы желаем ему большей твердости в своем деле, больше строгости и требовательности к себе, больше взыскательности и ответственности, мудрой осмотрительности и взвешенности в слове. Мир поэзии—мир действенный, струны поэта должны быть напряжены не только в голове и сердце, но через всю личность, тело, жизнь, мир поэта, так, чтобы звучание его голоса, на которое ответил бы ему мир, было трепетом всего существа певца.

Петр Журов.

В. Г. Короленко. Путешествие в Америку (наблюдения, впечатления, размышления, незаконченные рассказы), изд-во «Задруга», Москва 1923 г., стр. 191.

«Старый звонарь отзвонил». Короленко—уже прошлое. Но Короленко—звено, замыкающее жемчужную цепь классической литературы и, в то же время, соединяющее ее с литературой сегодняшнего дня: то, что исповедывал Короленко — глубокую общественную честность, правдивость и тщательную бережность в обращении с художественным словом—должен исповедывать каждый современник, выходящий на столбовую дорогу литературы. Он, в противоположность большинству современников, не был факиром слова; он был только тихим, мягким волшебником. Вот это потерянное волшебство литературного языка в первую очередь и заставляет напоминать о Короленко; к этому же толкает и другое явление современной литературы—ее поворот на слякотные проселки упадочничества, моральной дешевизны и арцыбашевской обнаженности. Следствие: необходимо бережное, систематизированное собирание литературного наследства Короленко. Правда, его наследство невелико,—оно, главным образом, заключается в дневниках и письмах, но ценность его безусловна. «Путешествие в Америку»—сборник неизданных произведений Короленко, впервые опубликованных в эмигрантском журнале («На чужой стороне»)—до сих пор со стороны «критики» наших ежедневных изданий не встретило никакого отклика. Мы все еще, очевидно, не привыкли серьезно относиться к литературе.

«Путешествие в Америку» об'единяет двенадцать очерков и незаконченную повесть «Софрон Иванович». Все это—плод поездки В. Г-ча в Америку, предпринятой им в 1893 году. Незаконченность и недоработка книги об'ясняется как чисто личными причинами—смертью дочери Короленко, надолго выбившей его из колеи, так и причинами общественного характера—процессом Мултанских вотяков, в котором В. Г-ч принимал деятельнейшее участие. Несмотря на недоработку, а, часто, и конспективность, в очерках налицо основные свойства Короленко-писателя: шелковая мягкость пейзажа, отточенность и ясность силуэта, глубина и продуманность подхода. Очерки собраны в книге в строгой логической последовательности: изумрудные шхеры Финляндии, тихие просторы датских побережий, Лондон в белесом парике тумана, чопорные английские поля, сияющая бездна океана, гигантская машина Америки, легкозвездная, серебрянопыльная Ниагара, индустриальная пирамида шумного Чикаго.

Очерки, по преимуществу, носят зарисовочный характер. В них нет ни острого социального скальпеля, ни словесной кирки, откапывающей подпочвенность видимого, ни скептического анализа исследователя. Короленко, конечно, не рассматривал Англию, как страну классической комедии парламентаризма, а Америку—как вавилонскую башню долларов, но он, так или иначе в путевых очерках (о, это громадная тема!) — коснулся и общественности; говоря об общественности Запада и заатлантического гиганта, исходил, как всегда, из чувства человечности, справедливости и идеализма. А это (в те времена)—лучшая заслуга писателя.

В обработанном и законченном виде путевые очерки Короленко заняли бы место рядом с его «Пустынными местами». Но и в настоящем виде часть из них («В Америку», «На Ниагаре», «Русские на чикагском перекрестке»)—должны войти в его творчество на правах полноправного необходимого слагаемого.

«Софрон Иванович»—уже не очерк:

это прообраз большой повести. К этой, разработанной только первично, теме Короленко возвращался—как известно из его писем и предисловия к рецензируемой книге—несколько раз. Несомненно, повесть—по мысли Короленко — должна была дополнять его чудесный рассказ «Без языка», противопоставляя заброшенному в Америку российскому мужику—российского интеллигента, переоценивающего современную цивилизацию с надзвездной высоты социальной утопии. Сюжет повести (в его первичном развитии) очень несложен. В Копенгагене, у саркофага Торвальдсена, Короленко встретил соотечественника — «рослого, красивого старика с кудрявыми, седыми волосами и темными бровями», в сопровождении туземца и молодой девушки. Девушка оказалась женой старика—Софрона Ивановича Череванова. Благодаря совместной поездке—сначала до Англии, а потом и до Америки—Короленко узнает оригинальную чету ближе. Оба—типы довольно знакомые по литературе: она—искренне любящая, он—безраздельно плененный мыслью переустройства общества, посредством... идеальнейшей воздухоплавательной машины,—как пропагандиста идеи. В Америке, пользуясь Чикагской выставкой, Софрон Иванович думал дать ход своим изобретениям.

Дальнейшее развитие, сюжета, безусловно, потекло бы по руслу дон-кихотских приключений, трагикомичность которых облеклась бы в милый, незабываемый, человечески-горький и трогательно-нежный юмор. По доработке повести русская литература имела бы лишнюю жемчужину. За это говорит и внешняя оправа сюжета: путь по океану—описание ночи: соприкосновения двух бездн и скользящего на их грани корабля—выдержано великолепно.

Н. С—ов.

Мариэтта Шагинян. Своя судьба. Роман. Из-во Л. Д. Френкеля. М. — Петр. 1923 г.

Роман М. Шагинян был закончен еще в 1916 г., но только теперь появляется он в печати в полном своем об'еме. Не годы—десятилетия лежат между его написанием и его напечатанием. К далеким рубежам старого мира отодвинула революция события, людей и их книги, помеченные дореволюционными датами. И это могло бы естественно наложить печать некоторого анахронизма и на роман Шагинян, если бы тема его не содержала того зерна, вечно живого и по-своему всегда с в о е в р е м е н н о г о, а потому и с о в р е м е н н о г о интереса, который лежит в основе произведений, вскрывающих чисто научные проблемы, не успевшие стать до конца вырешенными за эти трагические годы войны и революции. М. Шагинян в четкой художественной форме, но вооруженная подлинным знанием, обнаруживая отличное знакомство со сложнейшими вопросами такой еще молодой науки, как наука о душевных заболеваниях,—ставит своим романом целый ряд вопросов, глубину которых оценит на-ряду со специалистом-психиатром и каждый внимательный читатель. Но надо поспешить отметить, что патология ради патологии,—та дешевенькая «достоевщина», на которую падка известная часть беллетристики,—менее всего занимает автора. Умный и наблюдательный художник, Шагинян свою большую тему о «судьбе»—о том темном «неорганизованном начале», которое зовется «душой»—облекла в оболочку занимательного романа, насыщенного действием и построенного в ритме закономерно развивающегося движения. События, в нем излагаемые, должны восприниматься через призму ощущений «дневника» молодого доктора — зрителя и даже участника событий, разыгравшихся в санатории для нервных и душевных больных некоего профессора Фёрстера, к которому автор дневника поступает ординатором. Профессор лечит своих больных—их облики остро очерчены Шагинян—не руководствуясь шаблонами обычных представлений о свойствах психических аномалий. У Фёрстера есть своя—и очень любопытная—теория о душе и характере, а равно и об их отклонении от нормы. Вот несколько особенно примечательных записей, раскрывающих сущность фёрстовского учения:

«Между сознанием и душой должён стоять характер.

Когда между сознанием и душой вовсе не стоит характер, мы имеем перед собою душевнобольного. Душевная болезнь есть либо утрата характера, либо обостренное чувство неимения его. Врач, берущийся лечить только «душу» отдельно от самого человека, совершает роковую ошибку. Лечение должно заключаться в выработке промежуточной связи между сознанием и душой, т.-е. в выработке характера».

И еще:

«Изгнание душевнобольных из дома и попытка всю жизнь держать их в больницах есть отказ от их лечения. Цель всякого честного больничного врача должна быть в том, чтобы сделать больного (возможно скорее) пригодным для жизни у себя дома».

Такое лечение не без основания называет один из помощников профессора—врач Зарубин—«антропологическим лечением». А еще лучше сущность фёрстовского метода об'ясняет фельдшер Семенов (чудесно зарисованная Шагинян фигура!) в таких образных сравнениях:

«Всего человека лечим,—душу-то отдельно от человека лечить—это значит вроде как винтик отдельно от машины чинить. Не в винтике дело, а в связи его с машиной». И вот в эту санаторию, где с такою нежностью и заботливостью относятся к людям, утратившим «характер»,—попадает страдающий неразгаданным психическим недугом некий Ястребцев, который оказал самое растлевающее влияние на всех пациентов Фёрстера. Ястребцев в каждом усугубил «индивидуальный их соблазн», при чем его воздействие оказалось столь сильным, что один из больных, некий Лапушкин, страдавший эротоманией, не выдержав вновь нахлынувших на него соблазнов, отравился. Влияние Ястребцова отложилось и на тех, кто не числился в качестве пациентов санатории Фёрстера, и, прежде всего, на дочери профессора, влюбленной в техника Хансена, человека женатого. Роман между Маро—дочерью Фёрстера—и техником обрывается, хотя и Маро и Хансен, словно толкаемые чьей-то злой волей, готовы пойти на «грех». Таким образом, вся мирная жизнь санатории взбудоражена. Мало того; из Петербурга приехал ревизор—личный враг профессора—подленький и гаденький суб'ект, искавший причин к закрытию санатории. И эти причины были подсказаны тем же Ястребцевым.

Казалось бы, что до сих пор роман течет довольно банально, как банальна и фигура подстрекателя и соблазнителя Ястребцева. Но Шагинян слишком чутка и умна, чтобы не рассеять этот готовый сорваться упрек в банальности построения фабулы. Дело в том, что фигура Ястребцева неожиданно выясняется совсем в ином свете. Фёрстер разгадал истинную сущность его болезни. Не он влиял на больных, а сам находился под их воздействием. Ястребцев,—доказывает профессор, — медиумичен. Он мгновенно чувствовал чужое настроение и легко схватывал чужое миросозерцание. Сильные энтелехии (энтелехия же, по Лейбницу, значит совершенная индивидуальность) — сильные индивидуальности оказывали на него болезненное воздействие.

Таким образом, заразившись настроением и Маро, и Лапушкина, и всех остальных больных, которых он якобы толкал на соблазн и грех,—Ястребцев сам оказался под воздействием их «энтелехий», но его можно спасти. Он,—полагает Фёрстер,—может принести огромную пользу, если начнет работать в согласованном коллективе, с людьми, сильными волей, направленной к добру и порядку. Ястребцев, как угадывает Фёрстер, мог бы быть талантливым педагогом. У детей нет злой воли. Психика их слишком слаба, чтобы влиять. «Они заражают взрослых только естественным, честным, чистым».

И Ястребцев поступит воспитателем в школу. Я не располагаю научным материалом, с помощью которого я мог бы рассмотреть метод Фёрстера, систему его лечения и отгадку болезни Ястребцева. Это дело врачей-специалистов. Мы можем указать лишь на художественное оформление большой и сложной темы романа. И оно почти во всем на очень большой высоте. Ряд замечательно ярко изображенных фигур (Маро, техник Лапушкин) и та занимательность, с которой ведется все повествование, свидетельствует об этом. Несколько сочиненным кажется мне

сам Фёрстер: уж очень он во всех отношениях безупречен. Идеальный муж и отец, талантливый врач, превосходный администратор—приходится верить на слово, что в одном человеке уместилось столько добродетелей!.. Но верится всетаки с трудом. И потом: зачем этот нимб глубокой религиозности в сугубо христианской оболочке, которым окружает Фёрстера Шагинян?..

А в целом—умная и интересная книга, написанная чутким художником, не побоявшимся «ученой» темы.

Ю. С—в.

А. Скачко. Попутчики (из хроники 1919 г.). Всеросс. Пролеткульт. Москва 1923 г., стр. 74.

«Попутчики»—это рассказ о четырех коммунистах и одном военспеце, которые отправляются на утлой лодке «туркменке» из Астрахани в Баку по Каспийскому морю, захваченному добровольным флотом. Со страшным риском, сквозь бдительные белогвардейские кордоны, пробирается лодка в Баку, пережив шторм, встречи с добровольческими пароходами и т. д. Книжда дает яркие и талантливые характеристики отдельных пассажиров лодки. Вот, например, комиссар „туркменки," матрос Чикарев. Это типичный прирожденный пролетарий, который считает, что право участия в революции—«право называться пролетарием»—надо выстрадать всей своей жизнью.

«Я такую школу с самого рожденья, сорок лет уж прохожу,—говорит он.—Вон у меня на работе и глаз вышибло и руку перебило, и ревматизмом всего свело, и жена у меня драной клячей сделалась, и дети с голоду передохли... И вот теперь, когда мы дорвались до пролетарской революции, он, буржуй, всю жизнь на моей спине ехавший, он тоже пролетарий и в революции на равных правах со мною? Да еще норовит все дело опять на свой лад повернуть... Нет, брат, шалишь!

Это человек беспощадной воли, большой жестокости по отношению к «буржуям», но в то же время и безгранично преданный революции.

Так же ярко намечен коммунист-романтик, грузин Бессо, для которого коммунистическая революция—это взлет Икара на восковых крыльях к солнцу. «Но, ведь, если бы Икар не показал дороги в воздух, то сейчас аэропланы не бороздили бы небо... Пусть мы, русские коммунисты, окажемся Икарами, но за нами придут аэропланы европейского и американского пролетариата»...

Более бегло охарактеризованы: коммунист-армянин Сурен, мучительно преодолевающий в себе националиста-дашнака и ад'ютант Чикарева «товарищ Петра» — тип коммуниста-пролетария, быть может, один из всех пассажиров лодки не являющийся «попутчиком», а настоящим членом компартии.

Любопытную фигуру представляет военспец-сменовеховец, Суровцев, который вполне искренно примкнул к советской революции, так как, по его мнению, лишь она может осуществить идею создания «великой неделимой России».

«Коммунизм пока наша единственная сила,—горячо заявляет он.—Это наш защитный цвет. Без него мы погибли. Как национальная сила, как буржуазная держава, мы сейчас ничто, мы ноль!.. А как коммунистическую республику, ну-ка, тронь нас! У нас в каждой стране миллионы союзников найдутся».

Среди страшных опасностей совершает свой путь „туркменка" по Каспийскому морю, а пассажиры ее, невзирая ни на что, ведут горячие политические споры, точно забыв о близости добровольческого флота и деникинской контр-разведки. Но вот, когда до Баку остается каких-нибудь 200 верст, внезапно начинается полный штиль. С отчаянием, с бешенством ждут пассажиры малейшего ветерка, но он не приходит. Вместо него, лодку обнаруживает добровольческий пароход «Крюгер», который и «ликвидирует» экипаж „туркменки." От белогвардейских палачей спасается лишь Бессо, но, раненый в бедро, со связанными руками, он мучительно умирает в течение нескольких дней—повторяя свой Гаршинский прототип.

Небольшая повесть А. Скачко, в отличие от большинства программных произведений на революционную тему—отличается несомненной свежестью и талантливостью. Немного портят впечатление от новеллы—заключительные две странички,

где автор делает совершенно ненужные, немного «нравоучительные» рассуждения о сущности гражданской войны, о значении революции, обновляющей мир и т. п.

В. Кряжин.

С. И. Абакумов. Н. А. Добролюбов, как сатирик. Казань 1922, стр. 51.

Со дня смерти одного из «властителей дум» 60-х годов и прямого предшественника марксистской критики Н. А. Добролюбова прошло более 60 лет, а у нас до сих пор нет обобщающей монографии, которая охватила бы в целом его жизнь и творчество.

Отдельные стороны этой кратковременной жизни и деятельности—Добролюбов умер на 26 году—нашли более или менее пристальных исследователей в лице Чернышевского, Плеханова, Стеклова, Богучарского, Коллонтай, Лемке, Овсянико-Куликовского, Аничкова, Княжнина, Котляревского, Долгова и др. Исследовался преимущественно основной массив творчества Добролюбова — критико-публицистический. И совершенно незаслуженно оставалась в тени художественно-сатирическая сторона его таланта.

Этот пробел в исследовательской работе над Добролюбовым и восполняет книга С. И. Абакумова, которая ставит себе частную, специальную тему: «Добролюбов как сатирик». Работа произведена в высокой степени тщательно, добросовестно: к делу привлечены не опубликованные или полуопубликованные материалы из Добролюбовского архива при Пушкинском доме.

Уже в отроческих стихах 14-летнего Добролюбова (текст этих не то что названных детскими—стихотворений дан в приложении) бьется сатирическая жилка. В студенческие годы сатирические стихотворения и эпиграммы на Греча, на Давыдова—за которые Добролюбов едва не поплатился — уже дышат гневным сарказмом и острым чувством современности — отличительными чертами его сатирического таланта. Отношение к этой современности—только отрицательное.

В 1857 г. Добролюбов становится постоянным сотрудником «Современника». «Он получает таким образом кафедру, с которой в течение пяти лет будет раздаваться его учительное слово». Оставаясь по существу прежде всего публицистом и политическим сатириком, Добролюбов вынужден выступать здесь больше всего, как литературный критик. Миросозерцание Добролюбова уже сконструировалось вполне: цельность и законченность его удивительны. Революция была пафосом всей его жизни. «Я—отчаянный социалист»,—говорил он друзьям. В печати, конечно, приходилось прибегать к «эзопову языку» и вместо слова «революция» выражаться так: «самобытное воздействие народной жизни» (!).

С 1858 г. наблюдается кратковременный расцвет сатирической журналистики. Один за другим выходят «Весельчак», «Искра», «Арлекин», «Гудок», «Развлечение». С 1859 г. Добролюбов становится сотрудником «Искры» и редактором «Свистка». «Свисток»—сатирическое приложение к «Современнику»—всецело создание Добролюбова: ему (не Некрасову) принадлежит инициатива издания, подбор сотрудников, общее руководство и постоянное сотрудничество. Участниками журнала состояли: Некрасов, Чернышевский, Панаев, Елисеев, Щедрин, Михайлов и др. Всего вышло за время с 1859 по 1863 г.г.—девять нумеров (последний уже без участия Добролюбова).

Насмешка Добролюбова чужда какой-либо салонности: она бьет прямо в лоб, не избегая, где можно, называть вещи их именами: горькая ирония, ядовитый, разлагающий сарказм, резкий свист—вот ее приемы. Там, где нельзя было свистать резко, приходилось подсвистывать «благонравно и почтительно»: это был своеобразный агитационный прием: дифирамбический свист, свист от восторга перед красотами современности, свист «юношески-благонравный и соловьиный».

Острие сатиры «Свистка» было направлено не только против «рутинистов», но и против либералов всех оттенков, начиная от Герцена, продолжая Тургеневым, Кавелиным и кончая Катковым (тогда еще либералом). Впервые группа социалистически настроенных радикалов, с Добролюбовым и Чернышевским

во главе, резко противопоставила себя умеренным прогрессистам. Успех «Свистка» был огромный: только звон Герценовского «Колокола» из Лондона был иногда в силах покрывать его. Но, конечно, «Свисток» вызвал и бурю негодования—не только в реакционно-консервативных кругах, но и в либерально-прогрессивных. «Совершался какой-то наплыв бездарных и рьяных семинаристов—и появилась новая, лающая и рыкающая литература»—возмущался барин-Тургенев, называвший Чернышевского «простою змеей», а Добролюбова—«очковой». Другой барин—Герцен—так далеко зашел в своей полемике против «желчевиков»-разночинцев, что Чернышевскому пришлось ехать в Лондон—об'ясняться с ним: Герцен—как известно—был для революционной интеллигенции 60-х г.г. «союзником только на короткий срок».

«Свисток» был боевым органом сатирической журналистики 60-х годов. «Идеалы нового радикально-социалистического миросозерцания и его отношение к действительности он выявил с большим блеском и смелостью». Недюжинный сатирический талант Добролюбова развернулся здесь с такою силою, что можно говорить о Добролюбове, как о прямом предшественнике Салтыкова-Щедрина.

Интересная работа С. И. Абакумова очень выиграла бы, если бы она была написана на широком фоне общественной и литературной жизни 60-х годов. В настоящем же виде она носит характер все же узко-специальный.

Проф. **А. Цинговатов.**

С. И. Кочетов. Красный сказ, под ред. А. Ефремина, изд. Высш. Военного Редакционного Совета. М. 1923 г., стр. 359; тираж 8.000.

К пятилетнему юбилею революции вышла эта книга. «Предлагаемая работа,—читаем в предисловии,—представляет собою попытку дать книгу для чтения на уроках родного языка в военно-учебных заведениях... Поставив себе целью революционное воспитание будущих руководителей армии пролетариата, мы прежде всего старались дать образцы произведений, отмеченных яркой печатью революционности—с одной стороны и пролетарской идеологии—с другой... Часть материала, находящегося здесь, не является тем, что обыкновенно принято называть художественным произведением. Но революция, быть может, во многом внесла свою поправку и в это понятие; с другой стороны, цель книги побуждала прибегать к такому материалу»... Эти основные принципы и задания последовательно и четко выдержаны на всем протяжении хрестоматии.

Весь материал расположен по пяти отделам: I. Красная армия и гражданская война. II. Религия—опиум для народа. III. День Интернационала, 1-е мая. IV. Революция 1905 г. V. Свержение царизма и пролетарская революция.

Материал подобран очень свежий, интересный, богатый и разнообразный. Составитель обнаружил хорошее знакомство с современной литературой.

Даны отрывки из речей и статей Ленина, Троцкого, Луначарского, Зиновьева, воспоминания видных революционеров (Сверчкова, Дыбенко, Антонова-Овсеенко), очень широко использованы современные пролетарские писатели; кроме них привлечены также—М. Горький, Тарасов, Клюев, Блок, Брюсов, С. Городецкий, Маяковский, Шенгели, Вересаев, Вс. Иванов, Пильняк, Зозуля и др.

Основной поставленной цели—агитационно-пропагандистской и социального воспитания—хрестоматия достигает: революционный пафос, боевой напор эпохи военного коммунизма отражены ярко, пролетарская идеология выявлена красочно. Несомненно, хрестоматия—прекрасная книга для чтения в военных учебных заведениях на уроках родного языка и обществоведения.

Но тут же возникает вопрос чисто педагогического и методического свойства: может ли данная хрестоматия быть **единственной** книгой для чтения на уроках **родного языка**?—Конечно, нет. Без параллельной хрестоматии—из русских классиков—разумеется, нельзя обойтись. Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Герцен, Некрасов, Толстой, Достоевский и др., наконец, народная поэзия **не** могут отсутствовать на уроках **родного** языка. Это ясно, как день, для всякого

педагога. Хрестоматия не свободна от дефектов и пробелов, которые естественно об'яснить—как это и делает составитель,—«новизной работы и спешностью ее выполнения». Отметим некоторые из них.

Обилие лирических стихотворений эффектно-ударного типа нарушает стиль «хрестоматии», «книги для чтения в классе» и намечает определенный и нежелательный в данном случае уклон к стилю эстрадного «чтеца-декламатора». Отдел, посвященный Красной армии—непропорционально обширен.

Отсутствует интересная характеристика В. И. Ленина, сделанная М. Горьким («Коммунистич. Интернационал», № 12, 1920 г.). Отсутствуют иваново-вознесенские пролетарские поэты. Отсутствует Гастев. Если отведено место «Двенадцати» Блока, то почему не уделить его и «Товарищу» Есенина? О 1905 годе были неплохие стихотворения у Брюсова, Сологуба.

Если украшением хрестоматии является удивительное стихотворение Тихонова «Сами», посвященное Ленину—то совсем не украшают книгу стихи Арского «Бойцы» — воспевающие Красную армию в тонах расслабленной слащавой надсоновщины. Едва ли удачно включены стихотворения Кириллова «Проводы красноармейца» и Обрадовича «Сдвиг»: в первом мы имеем косноязычное Ро-Со-Фе-Со-Ре; во втором мертворожденное Со-Ре. Кто же так произносит?!. В книге—достаточное количество опечаток (напр., отдел V помечен IV)—иногда искажений («веничке» вм. «венчике» у Блока). «Левый марш» Маяковского не только искажен опечатками («ормиз» вм. «орлий», «в строе» вм. «в старое»), но отчасти и усовершенствован: вместо оригинальной строки «стальной изливаются лавой» дана банальная фразочка: «стальной извиваются лентой» (!); отсутствует необходимый подзаголовок «матросам» и, наконец, виньетка изображает опять-таки не матросов. Словом—великолепное стихотворение изуродовано.

К книге приложены портреты основоположников революционного марксизма и вождей Октябрьской революции. Текст украшен превосходными виньетками из жизни красноармейцев, рабочих и крестьян.

Второе издание «Красного сказа» конечно—не за горами. Остается только пожелать, чтобы оно вышло освобожденным от балласта, исправленным и дополненным. Потребность в такого рода хрестоматии—огромная.

Проф. **А. Цинговатов.**

Виктор Чернов. Записки социалиста-революционера, книга 1-я, изд. Гржебина. Берлин — Петербург — Москва 1922 г., стр., 339.

Свиток эмигрантских мемуаров продолжает развертываться. В зеркало прошлого смотрятся представители всех слоев эмиграции: от престарелой графини Клейнмихель—ее знамени—до носителей этого знамени: бывших либеральных земцев и «народолюбивых» писателей. «Записки» Виктора Чернова, выброшенного бородатыми «селянами» за красный борт России, т.-е. в ряды все тех же знаменосцев прошлого, занимают в белом свитке несколько особое место: под рубрикой «летопись революции». «Записки» Чернова посвящены ранней поре его революционной деятельности (без кавычек), протекавшей в 1888—1889 годы—в годы жесточайшей реакции, или—как он пишет—«безвременья». Начинаются записки со школьной скамьи—с воспоминаний о первом пробуждении «сознательности»—влюбленности в «жутко-притягивающий миф» о «нигилистах», в траурный образ замученной Перовской и тяжелую музыку златокованных Некрасовских строк. Влюбленность в только-что обезглавленное народническое движение приводит романтического гимназиста к «культу» мужика. «К этому культу переход совершился как-то вдруг. Потребность в культе чувствовалась всегда». И выражалась первоначально,—поясняет автор,—в иконопоклонничестве, а, позднее, в 12 лет,—в мечтах о завоевании «православным воинством» Цареграда. Потом под бесформенный культ подводится некий научный фундамент—книги Энгельгардта, Добролюбова, Бокля и, наконец, Михайловского. За книгами Михайловского следуют встречи с бывшими политическими ссыльными—Балмашевым, Натансоном и Сазоновым, студенческие вечеринки с фейерверочными речами

подвыпивших присяжных поверенных, скандал с гимназическим законоучителем—первичная революционная марка и—переезд из родного Саратова в Дерпт. В Дерпте Чернов кончает гимназию. Здесь те же товарищеские вечеринки, первые встречи с марксистами, на рождественских каникулах—поездка в Питер—знакомство с революционным студенческим кружком, где, среди оппонентов, выступали «рыжеватый в очках, Струве» и другой студент—«худощавый брюнет с благородным лицом еврейского типа, по фамилии Цедербаум».

В Питере автор получает первое «боевое крещение»—две агитационные листовки, одна из которых была написана Н. К. Михайловским. Намечается революционный путь. С переездом в Москву—под своды «alma mater»—он определяется окончательно: Чернов становится руководителем одного из студенческих кружков, состоящего из пятнадцати девиц. Девицы—это Чернов не забывает сообщить читателю—называют своего руководителя по-институтски—кокетливо: «милым медвежонком». Вместе с кружками, широко развивались землячества; собрания землячеств были «лабораториями для подготовки будущих ораторов». Зарождается «Союзный Совет», спайка с другими городами. Для об'езда университетских городов командируется ближайший друг Чернова—П. С. Ширский—впоследствии, при Керенском, «революционный сенатор», а в 1919 г.—замечает в скобках Чернов—«верный политический союзник Деникинской добрармии».

Затем идет общестуденческий с'езд и юбилей Михайловского. Поздравительный адрес Михайловскому отвозит Чернов. «Меня особенно поразили в Н. К. Михайловском,—рассказывает он об этом свидании,—глаза серые, большие, слегка выпуклые, обладавшие каким-то странным магнетическим свойством. Михайловский говорил со свойственной ему холодноватой манерой». О чем же беседовал с ним краснеющий студент? О всем, решительно о всем. О «межеумочной полосе жизни». О революционных перспективах.

— А... террор?

Михайловский несколько мгновений помолчал.

— Террор? Да, вряд-ли минует и эта чаша новое революционное поколение. В терроре есть что то роковое, неизбывное... Как проклятие...

Визит к Михайловскому оказывается для Чернова чуть ли не роковым: он замечает за собой слежку. И—как раз'ясняется на последующих страницах—со стороны одного из членов студенческого кружка, оказавшегося провокатором. Однако дело проходит. Жизнь течет обычным чередом, замыкаясь узкими рамками кружковщины. Мелькают «знакомые лица»: Кускова, Прокопович, Шингарев, «приват-доцент» Милюков. Разрабатывается «теория борьбы», проектируется использование либералов—для «устройства в России либерально-конституционного режима»—в ожидании собственного «созревания», поется «Gaudeamus igitur», пишутся рефераты. А, на-ряду с этим, в той же студенческой среде катится, разрастаясь, стальная волна марксизма. Бесформенности лирического культа «народа», опирающегося на талантливую диалектику Михайловского, противопоставляется система борьбы классов. Туманным «исканиям» прекрасного призрака—разгорающийся факел будущего. Это признает Чернов. «Мы,—говорит он,—были, по преимуществу, искателями; они—утвердившимися в правой вере. Они были сплоченнее нас: новизна их учения на русской почве заставляла их выработать почти масонское тяготение друг к другу и противопоставление себя всему остальному миру». Таким, по свидетельству Чернова, было на заре своей русское марксистское движение, откристаллизовавшее в своих глубинах коммунистическую партию.

При описании одного из собраний, мы встречаемся и с ее гениальным вождем, оппонировавшим В. П. Воронцову. «Это был Владимир Ульянов (Ленин). Он показался мне,—рассказывается в «Записках»—очень невзрачным; его картавящий голос звучал, однако, уверенностью и чувством превосходства. «Огрызался» он очень успешно, деловито, слегка насмешливо и хладнокровно».

Но победоносное нарастание марксизма у Чернова показано, разумеется, только мимоходом, при случае; ведь его «записки»—«записки социалиста-революцио-

нера!» Но марксизм изучал он усердно. Правда, с жалобами на «казуистику» и «талмудическую запутанность» Маркса, но все же усердно. Особенно в тюрьме, которой заканчивается его первый университетский год. Тюремное заточение открывается допросом. Допрашивает Чернова «знаменитый» Зубатов. Зубатов в «Записках» Чернова выступает, между прочим, щеголеватым, фамильярным, кокетничающим, разухабистым держимордой.

— А, здравствуйте, здравствуйте, Виктор Михайлович! Очень рад, очень рад!—приветствует он своего узника.

И, через изысканную полицейскую казуистику, приходит к обычному загримированному заключению: «выдаче сообщников». На отрицательный ответ, конечно, не обижается:

— Я, быть может, сделаю еще попытку с вами побеседовать, — последнюю; да, предупреждаю, последнюю. А пока вам не мешает на досуге подумать, есть ли какой-нибудь смысл в отрицании очевидности... и в служении предрассудкам.— До свиданья!..

Тюрьма—гробовая крышка Петропавловки, в которую упирались гордые головы Чернышевского и Желябова — сменяется ссылкой: провинциальным Камышиным. Камышин—чеховским Тамбовым: использованием «легальных возможностей»—организацией кружков среди рабочих-кустарей, созданием народовольческого ядра в воскресной школе и работами—«прививкой антимарксистского ферума» среди учащейся молодежи. Но «прививки» не достигали цели: «марксисты были для того времени несомненными властителями дум молодого поколения, и все попытки плыть против течения тогда, обычно, обрекались на полный неуспех». Зато кое-какие результаты имели «прививки» в деревне, среди сектантов и наиболее развитых «селян».

Но и это были только единицы: деревня пробуждалась медленно. Однако влюбленность Чернова в «народ» получила здесь некоторую взаимность.

— Мы не знаем,—говорил автору один из его бородатых друзей,—за каких людей вас считать, как вас чтить, как благодарить. Вы, ведь, истинно святые люди, указатели пути к добру. На колени надо перед вами, молиться на вас...—Этот эпизод для эффекта вставлен как «заключительный аккорд» в одну из глав. Подчеркивая его, Чернов пишет: «Было сладко и стыдно»...

Помимо кокетства, есть и другой—более крупный ее минус—этот минус—в ее растянутости, в совершенном игнорировании чувства меры, в «водянистых» размышлениях и идеологических истолкованиях, притом, часто, пересказываемых, т.-е. восстановленных по памяти и, следовательно, произвольных, неточных.

Что же касается ее достоинств, то к ним, безусловно, относится ее литературность—правда, довольно тяжеловесная, но, все же, отличающая ее от многих подобных изданий. В литературности Чернову отказать нельзя. Некоторые главы—(описание Камышина, Тамбова и деревни) читаются с удовольствием: довольно-меткие характеристики, живые типы, удачные зарисовки. В общем же, как материал историко-революционный, книга особого значения и интереса не представляет.

Это—не история. Это—не «летопись». Это—не «Подпольная Россия» Степняка-Кравчинского,—о, далеко, не «Подпольная Россия». В книге нет об'ективности. Масштаб ее—очень узкий масштаб. Книга нужна, главным образом, автору. Для читателя она интересна только в самом сжатом виде. Она не волнует. Ее данные или слишком суб'ективны, или мелки. И только для того, кто захочет вспомнить юность похороненной в Берлинских моргах старейшей русской политической партии, она может ее частично отобразить. «Мы в основу клали массовое народное движение, основанное на тесном органическом союзе пролетариата городской индустрии с трудовым крестьянством деревень»,— говорится в конце «Записок».

Так представляли свое революционное будущее с.-р-ы. С такой мыслью покидал Тамбовскую деревню автор «Записок». С тех пор много утекло и воды, и крови. Это—уже «plusquamperfectum».

Гребни революционного моря выхлестнули автора «Записок» не только на министерское кресло, но и на гнилую трибуну так называемого Учредительного собрания. И когда те, которых, «как масонов, тянет друг к другу», сумели дока-

зать, что социалистическое будущее—не в легких крыльях энтузиазма, а—на острии меча, обезглавливающего прошлое, те-же революционные гребни выхлестнули его за красный борт России. Рождение новой России—агония партии с.-р-ов. Ибо партия с.-р., цепляясь за прошлое, восстала против будущего. И бесславно умерла.

Психологическое об'яснение ее смерти (догму кружковщины, вечную погоню за бесплотным, хотя и прекрасным призраком, отрыв от живой жизни и сусальную романтику)—отчасти можно рассмотреть даже в ее юношеском лице, набросанном в «Записках». Это, конечно, относится к их достоинствам.

Ник. Смирнов.

Л. Троцкий. Война и революция. Крушение Второго Интернационала и подготовка Третьего. Т. П. П. Гос. Изд. 1922. Стр. 519.

Второй том заграничных статей Л. Троцкого тесно примыкает к первому и почти целиком посвящен кризису международного социализма во время мировой войны и возрождению его—в результате Циммервальдской и Кинтальской конференций и деятельности подлинно интернационалистических групп.

В огромном большинстве в этот том вошли статьи, печатавшиеся в парижском «Нашем Слове» и в нью-йоркском «Новом Мире». Ценность этого сборника—огромна: он дает живой фактический материал для изучения важнейшей эпохи «великого предательства», учиненного по отношению к пролетариату социал-патриотами всех стран. Статьи Л. Троцкого, написанные под непосредственным впечатлением только происшедших событий, изобилующие конкретными подробностями, гораздо ближе приближают нас к событиям той эпохи, нежели какие-либо «об'ективные» исследования. Именно эпизодичность некоторых статей и заметок, которую совершенно напрасно оговаривает автор, придает им особый аромат современности, который как раз ценен не столько для нового поколения читателей», сколько для старого поколения участников и исследователей этих событий.

Статьи сборника сгруппированы, по своему содержанию, в 13 больших отделов. Характеризовать каждый из отделов, конечно, не представляется возможным; это свелось бы к составлению ряда исторических очерков, на основании статей Л. Троцкого и др. материалов. Чуть ли не наиболее важным отделом является посвященный Циммервальду. Автор дает, между прочим, любопытные бытовые подробности этой исторической конференции:

«Завтракали и обедали за длинным столом, сидя национальными группами: только русские, в качестве переводчиков и посредников, были разбросаны в разных местах. После обеда Гримм иногда, по общему требованию, мастерски пел «иодль», эти странные горловые песни горцев; Серрати, главный редактор «Avanti», пел народные неаполитанские песни, Чернов сладеньким тенором пел «разбойничков», о том Гримм вставал и своим сухим деловым тоном, точно не он потешал только что публику иодлем, заявляя, что заседание немедленно открывается в другом зале. И. все тотчас же поднимались с места и шли на работу» (45 стр.).

Помимо блестящей характеристики отдельных делегаций (немецкой: Ледебур, Гофман; балканской: Раковский, Коларов и др.), Л. Троцкий описывает работы конференции, добытые ею результаты и вызванные повсюду отголоски. При крайней недостаточности материалов по истории международного социалистического движения во время мировой войны, этот отдел книги Л. Троцкого является бесценным историческим материалом для всех исследователей и историков.

Ряд следующих отделов посвящен эволюции: французского социализма, германской и австрийской социал-демократии, вызванной Циммервальдской и последующей Кинтальской конференциями. С обычным умением Л. Троцкий умудряется в 4—5 строках дать исчерпывающую характеристику этих сложных процессов.

Вот, например, убийственная характеристика деятельности двух лидеров французского социализма Ренодела и Лонге:

«Поддерживать в войне социалистическую партию, как орудие дисциплиниро-

вания масс, в интересах и под контролем капиталистического государства, и использовать эту работу в интересах упрочения или, по крайней мере, удержания политически-парламентских позиций самой партии—такова общая задача Реноделя и Лонге. Они расходятся только в технике ее выполнения. Расходясь, они дополняют друг друга. Глазами Реноделя социал-патриотический Янус с доверием и надеждой взирает на республику; глазами Лонге он с беспокойством глядит на массы» (235 стр.).

На-ряду с этими характеристиками Л. Троцкий делает глубочайшие прогнозы развертывающихся событий, которые, в большинстве случаев, в дальнейшем блестяще подтвердились. Вот, напр., вывод, к которому он приходит, рассматривая задачи германского пролетариата, поскольку они вырисовывались уже в 1916 г.

«Вопрос о республике сливается для германского пролетариата с вопросом о борьбе за власть: республика в Германии осуществима только как политическая оболочка пролетарской диктатуры. Но совершенно очевидно, что, став у власти, в результате победоносной революции, партия пролетариата вынуждена будет немедленно же приступить к работе социалистического преобразования общества. Историческая задача германского пролетариата выражается, таким образом, не в чисто политической антитезе: монархия—республика, а в другой, гораздо более глубокой, антитезе: империализм—социализм» (стр. 282—283).

Конечно, не вина германского пролетариата, а лишь предавших его вождей, что он не смог осуществить эту историческую антитезу, намеченную Л. Троцким. Совершенно справедливо указывает автор, что: «буржуазная республика оказалась возможной в Германии, только как длительная заминка в процессе классового восстания пролетариата, вызванная изменой Шейдеманов и Эбертов, в ноябре 1918 года—прямым продолжением их измены в августе 1914 года».

Ряд отделов посвящен русским социал-патриотам всех мастей и оттенков, как работавшим в России, так и подвизавшимся, сплошь и рядом в качестве доносчиков и клеветников, за границей. Необходимо отметить здесь исключительную по силе и жгучей иронии характеристику известного Алексинского («Негодяй»), которая заставляет вспомнить о лучших страницах Салтыкова-Щедрина.

Последующие отделы заключают крайне любопытную историю высылки Л. Троцкого из Франции, вынужденного путешествия через Испанию в Америку, а также обратного путешествия через Канаду с пребыванием в концентрационном лагере. Эти материалы отчасти уже воспроизведены Л. Троцким в его книжке «В плену у англичан», но в настоящем томе они пополнены новыми любопытными данными.

Ряд статей, посвященных американскому социалистическому движению, а также зачинающейся русской революции—заключают сборник Л. Троцкого.

Блестящий стиль автора, щедро рассеянные меткие характеристики, огромное количество чисто фактического и притом малоизвестного материала, все это делает новую книгу Л. Троцкого ценнейшим вкладом в нашу не очень богатую литературу о международном социалистическом движении в эпоху мировой войны. С внешней стороны книга издана великолепно и снабжена десятками прекрасно исполненных художественных портретов главных деятелей русского и международного коммунизма. Серию портретов открывает портрет Володарского, памяти которого и посвящена книга.

В. Кряжин.

Б. Штейн. Торговая политика и торговые договоры Советской России. 1917—1922 г.г. Гос. Изд. 1923 г. Стр. 248.

Материалы международной политики Р. С. Ф. С. Р., накопившиеся за 5 лет, уже давно ждут своей разработки, между тем к таковой почти еще не приступали. Книга Б. Штейна представляет попытку выполнить этот недочет в сфере торговой политики Р. С. Ф. С. Р. Автор совершенно правильно указывает, что наши спецы—юристы до сих пор или совершенно игнорировали торговые договоры, заключенные Сов. Россией, или, за границей, с пеной у рта, требовали непризна-

ния их. Благодаря этому, у нас до сих пор совершенно отсутствует юридический и исторический анализ этих документов, столь важный для всей торговой политики Р. С. Ф. С. Р.

Исследование Б. Штейна, носящее одновременно догматический и исторический характер, анализирует торговую политику Р. С. Ф. С. Р., начиная с Брестского мира и кончая настоящим временем. Наиболее интересны те части книги, где рассматривается упорная торговая война, которую до сих пор продолжает, под разными формами, вести против России Антанта. Цель, преследуемая при этом последней,— совершенно ясна: она хочет установить такие торговые отношения, при которых Россия фактически превратилась бы в ее колонию. Наоборот, Советская власть борется за то, «чтобы Россия имела возможность не вообще покупать, а покупать то, что нужно ее хозяйству, не вообще продавать, а только то, что она хочет и может продать». И вот перед нами развертывается интереснейшая картина этой борьбы, разбиваемой автором на 6 этапов. От метода вооруженной интервенции Антанта переходит к экономической блокаде (с конца 1918 г.), после крушения которой начинается попытка экономически воздействовать на Россию в позитивной форме. Программа Антанты на этом этапе вполне определяется словами Ллойд-Джорджа, высказавшего убеждение, что «от соприкосновения с капиталистическим миром коммунистическая Россия неизбежно разложится». Сохранение внешней торговли в руках государства вызвало, однако, крах этой хитроумной тактики, и вот мы видим, как Антанта с 1921 г. принуждена возобновить с Россией уже более нормальные политико-экономические связи. На этот период падают торговые договоры, заключенные с Англией, Германией, Норвегией и, наконец, Италией. В прошлом году Антанта сделала последнюю попытку ценой политического признания России— навязать ей форму колониальной связи. Таков именно и был смысл Генуэзской и Гаагской конференций, смысл, разгаданный Россией и отвергнутый ею.

Как мы видим, пять лет борьбы на международном торговом фронте означали для России пять побед над европейским капитализмом. В настоящий момент Россия вступила в шестую фазу, которая, по словам автора, будет характеризоваться полным отрицанием состояния международно-политического бесправия, в котором фактически 5 лет находилась Россия.

«Перед торговой политикой Сов. России встает задача кристаллизации своей торгово-политической системы, как внешнего выражения внутренней конструкции и социального своеобразия советской экономики».

Чрезвычайно обстоятельно написанная книга Б. Штейна, изобилующая фактическим материалом и снабженная многочисленными приложениями, несомненно вполне осуществляет поставленную автором задачу: дать всестороннее исследование, посвященное торговой политике Р. С. Ф. С. Р., столь важной для ее правильного политико-экономического развития.

В. Кряжин.

Мих. Павлович (М. П. Вельтман). Р. С. Ф. С. Р. в империалистическом окружении. Выпуск II. Советская Россия и капиталистическая Англия. Госуд. Издательство, 1922 г., стр. 86.

Его-же.—Выпуск III. Советская Россия и капиталистическая Америка. Госуд. Издательство, 1922 г., стр. 102.

Его-же.—Советская Россия и империалистическая Япония. Издат. «Красная Новь». Москва 1923 г., стр. 146.

Задуманная М. П. Павловичем серия книжек под общим заглавием «Р. С. Ф. С. Р. в империалистическом окружении» быстро подвигается вперед. Вслед за книжкой о России и Франции, своевременно нами разобранной на страницах «Красной Нови», появились одна за другой, отделенные краткими промежутками, книжки о России и Англии, России и Америке и России и Японии. Новые книжки отличаются всеми обычными достоинствами работ Павловича, одного из наиболее осведомленных и основательных знатоков международных отношений нашего времени. Широкий захват темы, обилие приводимых материалов, выдержанная марксистская точка зрения, живость изложения—

все это выгодно отличает работы Павловича от обычно-сухих и фактических сочинений по внешней политике. Автор удачно соединяет в себе научного теоретика и отзывчивого практического деятеля. Благодаря этому книжки Павловича, облеченные к тому же в популярную форму, могут служить хорошим ориентирующим введением в изучение сложных и запутанных вопросов внешней политики наших дней.

Книжка, трактующая о Советской России и капиталистической Англии, дает картину русско-английских отношений от эпох царизма и до кануна Генуэзской конференции. Кратко, но удачно характеризует автор англо-русскую распрю в прошлом, непрестанное столкновение русских и британских интересов на Ближнем, Среднем и Дальнем Востоке. Отмечая перелом в этой традиционно-враждебной политике Павлович подчеркивает позорную зависимость русской дипломатии от английской указки, особенно сказавшуюся в знаменитом соглашении по персидским делам (1907 г.) и во всей дальнейшей политике в Персии, где России суждено было сыграть роль великобританского «мавра».

Большая часть этой книжки Павловича посвящена борьбе английского империализма с Советской Россией, при чем автором использован любопытный и свежий материал. Выпукло отмечены все основные моменты интервенционистской политики; особенно удачно освещена английская экспансия на Кавказ в связи с бакинской нефтью. С исчерпывающей подробностью останавливается автор на изменениях этой политики, сказавшихся в попытках завязать торговые сношения и в той или иной степени сговориться с Россией по вопросам экономики. Изложение здесь доведено до Вашингтонской конференции и ее ближайших последствий.

Не со всеми положениями М. Павловича можно, однако, согласиться. Так утверждение, что «буржуазная Россия Милюковых и Гучковых с Дарданельскими и другими великодержавными проектами была еще более ненавистна Великобритании и последняя готова была поддерживать гнилой царизм, режим Распутиных и прочих мракобесов и черносотенцев...» (стр. 20),—чрезвычайно голословно и вряд ли может быть подкреплено какими-либо фактическими данными. Наоборот, мы хорошо знаем, какую роль в подготовке февральской революции играл английский посол Бьюкенен (в этом отношении резко отличавшийся от французского посла Палеолога), как близок он был с лидерами прогрессивного блока, возглавляемого идеологически ни кем другим, как П. Н. Милюковым. Наконец, не менее хорошо известно англофильство, часто совершенно неумеренное, того же прогрессивного блока, особенно его кадетской части. Можно сильно сомневаться, чтобы англичане предпочитали великодержавный царизм с его неустойчивой, безответственной политикой (германофильства царя и его жены англичане очень боялись) определенно ориентирующемуся на Антанту «буржуазному правительству Милюковых и Гучковых».

Большую ценность представляет вторая книжка Павловича: «Советская Россия и капиталистическая Америка». Это в сущности первая попытка обследовать взаимоотношения России и далекой Заатлантической Республики. Здесь опять автором приведен обильный и солидный материал. В части первой, трактующей о доoктябрьском периоде русско-американских отношений, Павлович показывает, как чрезвычайно дружеские отношения двух великих держав, начавшиеся с войны за независимость и тянущиеся почти через весь XIX век, портятся в конце прошлого столетия и начале XX века, ознаменовавшись русско-американским соперничеством на Дальнем Востоке, главное в Маньчжурии. Маньчжурская проблема красной чертой проходит через все русско-американские отношения, новейшего времени, то на короткий срок затихая, в связи с американо-японской борьбой, то возгораясь с новой силой. Лишь мировая война поставила Америку в одни ряды с Россией и Японией.

Чрезвычайно любопытны данные об отношениях Соединенных Штатов с Советской Россией. Павлович характеризует эту политику, как неустойчивую, колеблющуюся, отличающуюся от вполне опреде-

ленной политики Франции и Англии. Напрасно только он вслед за Чичериным обвиняет американскую дипломатию в провинциализме, узости горизонта. Нет ли тут просто больше расчетливости и умения детально оценивать каждый свой шаг—качеств столь несвойственных авантюристическому азарту современных западно-европейских политиков и типа Пуанкаре, Керзона и Муссолини. Характеризуя экономическую заинтересованность Америки в России, автор подробно останавливается на хозяйственном развитии Америки за время мировой войны, на партиях и их отношениях к Советской России. Особенно же следует отметить главу «С.-Штаты и мировая борьба за нефть». Нефтяная проблема, играющая теперь такую колоссальную роль, исчерпывающе обрисована Павловичем. Заканчивает эту книжку глава об американской помощи голодающим России, в недавнюю годину ужасного стихийного бедствия.

Книжка «Советская Россия и империалистическая Япония» повествует об прошлых и настоящих русско-японских отношениях. Нельзя, однако, сказать, чтобы материал в этой книжке был распределен вполне пропорционально. Книжка, в сущности, распадается на две части. Одна дает довольно подробное и удачно скомпанованное описание империалистической политики царской России на Дальнем Востоке (Русско-Японская война и ее антецеденты); другая часть также очень обстоятельная посвящена сегодняшней Японии и доводит изложение вплоть до взятия Владивостока революционными войсками. В промежутке же [illegible] [illegible]-го провал. [illegible] отношения России и [illegible] после русско-японской войны [illegible] на другую книжку автора не [illegible] необходимого текста) и не охарактеризованы все стадии интервенционистской политики Японии в Сибири. За то последний период русско-японских отношений разработан исключительно подробно, что несомненно представляет высокий интерес. Прекрасно выяснены автором основы современного японского империализма и его завоевательные планы. В приложении опубликованы материалы и документы, а также помещена схема территориальных приобретений, распространения и влияния Японии.

Четыре вышедших книжки серии «Р. С. Ф. С. Р. в империалистическом окружении», посвященные истории взаимоотношений Советской России с великими державами Антанты, являются первой частью труда М. Павловича. Дальнейшие выпуски по плану автора осветят отношения Р. С. Ф. С. Р. к Германии, пограничным европейским державам и пограничным государствам Востока.

И. Бороздин.

В. А. Кряжин. Национально-освободительное движение на Ближнем Востоке. Часть 1-я. Москва 1923. Издание Всероссийской научной ассоциации востоковедения. Серия политико-экономическая, под ред. М. Павловича, стр. 150, с 4 картами.

В ныне вышедшей первой части «Национально-освободительного движения на Востоке» автор рассматривает экономическое и политическое положение Сирии и Палестины, Киликии, Месопотамии и Египта.

Труд В. А. Кряжина появился как раз в момент, когда страны Ближнего Востока настойчиво и открыто ведут борьбу с империалистами и капиталистами Англии, Франции и Италии и очень ценен для России, где нет работ, посвященных политическому и экономическому движению в арабских странах. По каждой из перечисленных стран автор дает краткий экономический очерк и затем связывает с ним общественные и народные движения, доводя их до последних дней.

Автор тщательно и основательно анализирует политику Франции и Англии, и в историческом и экономическом освещении рельефно обрисовывает причины неудачи этой политики после мировой войны, в связи с пробуждением национального сознания, прежде всего, среди местной интеллигенции и буржуазии, а в последнее время среди народных масс, в которых освободительное движение нередко принимает форму борьбы против иностранцев, и которые действуют в значительной степени под влиянием фанатичного духовенства.

Автор очень удачно отмечает перелом в политике западных держав, вызванный

крушением колониальной политики прежнего времени, основанной только на силе, и необходимостью теперь же начать переход к новой политике, при которой империалисты базируются на экономическом захвате, идя в политическом отношении на уступки,—наиболее яркое выражение новой политике дали Соединенные Штаты в Китае, старающиеся устроить там свои дела путем культурно-экономического подчинения Китая.

Но что, может быть, возможно для Соединенных Штатов в Китае, то недостижимо для Антанты на Ближнем Востоке, где слишком велика ненависть к колонизаторам и слишком сильны старые привычки империалистов. Поэтому новая политика в данный момент причудливо переплетается со старой и, в итоге, империалисты держатся по-прежнему силой. Попытки империалистов обмануть восточные народы созданием якобы, независимых государств терпит везде фиаско, посаженные кукольные государи и правительства начинают действовать, под давлением обстоятельств, против своих же покровителей и ведут с ними, если не явную, то тайную борьбу. Отсюда необходимость громадных военных расходов, постоянные восстания и бесконечные дипломатические и политические интриги. При этом, в боязни потерять свои куски добычи и погоне за новыми, английские, французские и итальянские империалисты открыто действуют друг против друга, и с этой точки зрения уже и теперь державы «согласия» во многих отношениях могут быть названы державами «несогласия». Хорошей иллюстрацией сказанного является подробно изложенная тов. Кряжиным история приключений эмира Фейсала, посаженного французами на «престол» в Дамаск и затем выгнанного ими и превращенного силой английских штыков и золота в «Царя Месопотамского» (Ирак).

Не менее интересно освещены автором злоключения Франции в Киликии, ознаменовавшиеся рядом поражений французских войск, и окончившиеся предательством со стороны Франции ее верных союзников в Киликии армян и передачей области «по дружбе» турецкому, ангорскому правительству.

Особо важное значение для Англии имеет Египет, как колония и как государство, примыкающее к Суецкому каналу, и, кроме того, могущее сыграть роль, предполагая его независимость, в Аравии и Сирии в движении против западных империалистов. Автор, в сжатой форме, но очень выпукло, обрисовывает тупик, в который привела Англию в Египет политика кабинета Ллойд-Джорджа. Во время мировой войны, когда Англия искала поддержки восточных народов против Турции, египтянам, как и индусам, были даны самые заманчивые обещания всевозможных реформ и независимости. Но, очевидно, Англия рассчитывала, что после войны все войдет в свою прежнюю колею, и жестоко ошиблась в расчете: оказалось, что по векселям нужно платить, что времена переменились, и восточные народы перестали быть рабочей, покорной силой, с которой легко производить колониальные эксперименты. Тов. Кряжин на последних страницах своей книги и излагает события в Египте после мировой войны, приведшие к большим уступкам со стороны Англии и к росту не только национального, охватившего широкие массы, движения, но и революционного.

Недостаток труда тов. Кряжина—это чувствующаяся во многих местах неполнота материала и газетный характер некоторых страниц книги. Пробелы книги признает и сам автор, об'ясняющий их трудностями собрать точный материал по арабским государствам за отсутствием новых статистических и информационно-политических материалов, так как в данное время «на Ближнем Востоке почти прекратилось собирание тех точных статистических данных, которые одни лишь могут дать ясное представление об экономической жизни и о социальных изменениях». На-ряду с этим, благодаря «свирепой цензуре» просвещенных союзников, в прессу поступает очень мало сведений, при этом еще часто искаженных или совсем неверных.

При таком положении источников, несомненная заслуга автора в том, что он сумел составить живо написанную и интересную, популярно-научную книгу, в которой умело использовал бывшие в его распоряжении материалы и при этом

избежал обычной ошибки многих плохо осведомленных по Востоку авторов, переделывающих материалы и события на свой лад, благодаря чему получаются картины Востока мало или совсем несоответствующие действительности и могущие вызвать у неподготовленного читателя совершенно ложные представления о великом современном движении народных масс на Востоке.

Книга тов. Кряжина, как сказано, является особенно своевременной и ценной теперь, когда благодаря дипломатической борьбе возрождающейся Турции с державами согласия, на Лозаннской конференции вопрос не только о Турции, но и о всех странах ближнего Востока, так или иначе входящих с нею в соприкосновение, имеет большой злободневный интерес.

А. Тимофеев.

С. М. Дубнов. Евреи в России и Западной Европе. Издательство Л. Д. Френкель. Москва—Петроград 1923 г., 375 стр.

В этом издании собраны 3 книги С. М. Дубнова: первая относится к годам царствования Александра III, вторая—к эпохе Николая II, третья содержит в себе историю евреев в Западной Европе.

Очередная трагедия еврейского народа, начавшаяся кровавой датой 1881 года, с которой антисемитская реакция достигла своего апогея, как в России, так и на Западе,—развертывается Дубновым с той последовательностью, которая дает полную жуткую картину нечеловеческих страданий нации, систематически уничтожаемую, с одинаковым рвением, как в «республиканских», конституционных странах Запада, так и жандармско-полицейским строем России.

«Культурные» западные зверства и дикарская остервенелость Востока в «еврейском вопросе» создали действительно «надрывающую сердце повесть о бесконечном истязании человека человеком». Антисемитизм в России вылился в организованные погромы, под знаком одной неизменной формулы: раз'яренного действия толпы и бездействия полиции. Во многих городах евреи были предупреждены, что их будут бить. Погромщики провозглашали: идем на вы!

Организованная еврейская самоохрана, фактически была лишь нагаечным мясом, из которого войска, казаки и полиция приготовляли бифштекс, ибо «жид» не имел права защищаться. На подмогу погромщикам выступала коронованная юдофобия, заявлявшая устами Александра III: «Мы не должны забывать, что евреи распяли Господа нашего и пролили его драгоценную кровь».

На-ряду с погромами дубиной и кулаком, были и законодательные погромы. Таких ограничительных законов для евреев в Своде было 650, автор подробно останавливается на губительном действии этого законодательного обстрела. Целая система хитроумных издевательств проходит перед читателем: закон «об именах», который карал уголовной ответственностью евреев, переделывавших свои имена искаженные в метриках, нельзя было называться Иосифом вместо Иосель, Израилем вместо Сруля.

За пойманного проживавшего вне черты оседлости еврея выдавались премии. Взимаемый мясной налог, шедший на различные учреждения еврейских общин, должен был оплачивать труды полиции, ловившей плательщиков налога и выселявшей их с редкой жестокостью. Так заставляли приговоренного к повешению покупать на свой счет веревку!—восклицает автор.

На вопрос, что будет с евреями при непрерывных преследованиях, Победоносцев ответил: одна треть вымрет, одна треть выселится из страны, одна треть бесследно растворится в окружающем населении.

Автор показывает, как молот, дробивший еврейство, выковывал национальную твердость и жажду борьбы за освобождение.

Погромы, докатившиеся из России до Англии, вызвали в Лондоне ряд протестов с резолюциями «глубокого сожаления по поводу возобновившихся страданий евреев в России—страданий, вытекающих из суровых исключительных законов».

Эти резолюции с обращением к «Вашему Величеству» от граждан Лондона

были характерным ребячьим либерализмом, который наивно полагал обращением к «величеству» смягчить ужасы расправы над евреями, автор только не подчеркивает этой характерности.

В ответ на это русский официоз—брюссельская газета «Nord» — отвечал: Никогда семитам не жилось так легко на Руси, как в настоящее время...

И от этой хорошей жизни, экономически разоренное и угнетенное еврейство бежало в Америку, Францию, Германию и Англию. Этот крестный путь и описывает автор.

Но общественное движение евреев выражается не только этим. В конце XIX в. нарастает социалистическое движение, политический сионизм, сущность которого сводилась к сокращению диаспоры путем концентрации еврейства, духовный сионизм и национально-культурный автономизм, которые ставили себе задачей реорганизацию диаспоры на началах национальной автономии.

Автор захватывает широкую тему общественного под'ема второй половины 90-х годов и дает ее под своим углом зрения—возрождения национального самосознания еврейского народа, подвергая критике все то, что его ослабляло, в частности, ассимиляцию.

Для Дубнова, евреи прежде всего евреи и потом уже классы. Внеклассовый, об'ективный подход же заставляет его в конце II-й книги притти к сознательному заключению:

«Светлая весна 1917 года, избавившая Россию от царизма... дала шести миллионам бесправных полную гражданскую эмансипацию... еврейский народ стал уже готовиться к обновлению, к строительству своей жизни на новых началах... Но скоро начался хаос гражданской войны. Еврейский центр оказался разбитым на кусочки... два миллиона евреев на Украйне стали жертвами трехлетней гражданской войны и были растерты в порошок между жерновами белых и красных армий»...

Переходя к III книге—к антисемитизму в Германии и рисуя ее внутреннее положение, автор делает ошибочное заключение, возложив напрасные надежды на «широкие социальные реформы», которые, по его мнению, сгладили бы обострение борьбы между трудом и капиталом и не привели бы к «катастрофе—мировой войне 1914 г., а затем взрыва социальной и гражданской войны, последствия которой еще трудно предугадать».

В третьей книге, посвященной истории евреев на Западе, то же что и в первых двух: погромы, издевательства, ритуальные процессы и просто скандальные громкие дела, вроде Дрейфусовского, словом все то, чем характеризовалась жизнь еврейства на Западе в эпоху антисемитской реакции.

Большое внимание уделено здесь развитию еврейской общественности, литературе, науке.

В конце приложен список источников. Книга Дубнова читается с большим интересом. Обилие фактического материала, широта подхода, живой, ясный язык. Это настоящий обвинительный акт против угнетателей и полная захватывающая картина Голгофы еврейства в капиталистических буржуазных странах.

Ник. Спасский.

Проф. В. Рожицын. Очерки по истории первобытной культуры. Лекции, читанные в Коммунистическом Университете имени т. Артема в 1922 академическом году. Харьков. Державнiє видавництво Украiни. 1922. Стр. 236.

Дело историка и философа-марксиста оценить эту книгу в целом. Они найдут для себя много интересного и неожиданного и в своеобразном понимании В. Рожицыным материалистической диалектики и в различных гипотезах о происхождении того или другого культурного факта.

Я хотел бы остановиться преимущественно на том, что, может быть, ускользнет от внимания тех, кто будет оценивать книгу с точки зрения исторической или философской—на главах, посвященных «первобытной природе» и «происхождению человека».

Вопросы о происхождении мира, земли, жизни, человека чрезвычайно интересуют аудитории, подобные аудиториям совпартшкол или рабфаков. Стремление

знать—огромное и ответить на это стремление в форме безусловно точной—весьма трудно, ибо по всем перечисленным выше вопросам существуют, естественно, только гипотезы, основанные на всей совокупности наших знаний о природе, гипотезы более или менее вероятные. И не впадая в грубый и вульгарный догматизм, близкий к догматизму библейскому, нельзя ни одной из этих теорий выдавать за что-то бесспорное.

К сожалению, В. Рожицын в этом отношении дает нам пример в высшей степени отрицательный. Его теории гипотезы не только не основаны на фактах, не только не вероятны, они просто элементарно безграмотны. Эта безграмотность настолько очевидна, что всякий хоть немного занимавшийся естествознанием заметит ее сразу. Но наши лектора на местах не всегда обладают достаточными познаниями по естествознанию. почему нужно предостеречь их от пользования книгой В. Рожицына. Поэтому я и позволю себе иллюстрировать сказанное несколькими примерами, взятыми из указанных глав.

Прежде, чем перейти к изложению своей теории развития живых существ, В. Рожицын отмечает, что до сих пор «не удавались попытки искусственного приготовления живых существ, за исключением самых маленьких одноклеточных (назовите их, т. Рожицын! А. П.), стоящих на границе неорганического мира» (стр. 25). Сообщив о таком замечательном открытии, наш автор переходит к изобретению мрачной картины органической жизни. «Все главное,—утверждает он,—развивается на кладбище... животное может жить только там, где есть другие животные, пожираемые им, или растения, которыми оно питается. Растение развивается только на почве органических остатков, на кладбищах, где жили и умерли раньше другие растения и животные» (стр. 26). До сих пор ботаники наивно полагали, что отличительной чертой растений и является синтезирование органических соединений из воды, углекислого газа, из неорганических солей почвы. В. Рожицын безжалостно разбивает эту научную иллюзию! И послушайте, в каком высоко-«научном» стиле ведется изложение

«Кладбища, т.-е. залежи органических остатков, представляют собой огромную естественную лабораторию, где простые мелкие организмы,—молекулы (?) жизненных явлений и неорганические молекулы или атомные (?) соединения, входящие в состав живых существ, смешиваются (?!) между собой, открывая возможность образования новых живых существ... Без влаги и света труп высыхает и превращается в мумию (?!), в которой органические процессы совершаются с большой медленностью или приводят, в конце концов, к распаду (?) органических элементов на неорганические» (!). Какие элементы называются неорганическими, какие органическими и как они «распадаются»,—это уж секрет изобретателя,—В. Рожицына.

Дальше изображается происхождение живых существ. Стиль тот же, «научность» та же. Сущность—в следующем.

В начале,—видите ли,—миллионов сто лет тому назад, земля напоминала собой болото, пропитанное сильно нагретыми водными испарениями».

Благодаря, главным образом, нагреванию, происходило «скопление тех веществ, которые входят в состав живых существ». Появились «ранние полуорганические соединения», одноклеточные, потомки которых, по уверению Рожицына, до сих пор живут «в болотистой почве», «достигая до нескольких аршин в об'еме» (?). Наконец, появились растения, студенистые и неустойчивые; но тут же развились растения-паразиты «главные силы, развития которых ушли в корни, а не в ствол, и корни приспособились к высасыванию соков из живых растений» (стр. 28). «Таким (?) образом,—продолжает наш автор,—возникли первые корненогие существа, обладающие только одним органом, органом питания, в виде цепко присасывающихся корней. Промежуточное корненогое существо имело вид мешка, переваривающего пищу и окруженного корненогими отростками. Развитие этого типа дало в результате то животное-растение, которое не поднялось в своем росте выше спрута (!). Спрут, каракатица, гидра,—теперь самые примитивные (?) животные, тогда были высшей достигнутой ступенью». Тут что ни слово

то перл. Но пойдем за т. Рожицыным дальше. Из описанных выше необыкновенных существ со временем развились простые земноводные, с тяжелым студенистым телом: «бывшие корни-ноги осложнились (!) в трех направлениях—в сторону образования простейших жабр, рта и бесформенных лопастей — плавников»... Эти «первобытные земноводные» обладали, по словам профессора П. Рожицына, странной особенностью: они «так же легко приспособлялись, как легко погибали от незначительных перемен в окружающей среде». Неправда ли, удивительное свойство!

Но вот спокойное развитие «земноводного болотного животного мира» нарушилось, благодаря катастрофе «сокращения тепла и влажности». Неуклюжие «оконечности» развились в ноги, туловище покрылось волосами. Так, из земноводных возникли млекопитающие, «в составе которых нам известен мамонт, исполинский носорог, пещерный медведь, лев, обезьяна и, наконец, то животное, из которого впоследствии развился человек. Следовательно (?!), породы животных образовались не одно из другого, от высшего к низшему (?), эволюционным путем, в направлении постепенного прогресса и совершенствования, а параллельно, одновременно, вследствие великой катастрофы тепла и влажности. Происхождение человека от обезьяны представляет с этой точки зрения устарелое и неоправдываемое фактами предположение. Зоологический животный тип человека развился из более простых, но, вместе с тем, более могучих земноводных (!) пород параллельно (!) с обезьяной, мамонтом, оленем и медведем» (стр. 31).

Я не стану утомлять читателя пересказом того, что пишет профессор Рожицын о происхождении человека, приведу лишь одно, не лишенное своеобразной оригинальности, утверждение: «предположение о том, что человек был покрыт косматой шерстью, основано на умозаключении, а не на фактических данных. Во всяком случае, надо предполагать, что первоначальное животное, из которого развился человек, не имело шерсти, как же первобытные гады, а потом развитие волос на теле далеко не пошло и снова исчезло, когда органическая теплота заменилась механической» (стр. 44).

Таковы гипотезы и теории профессора Рожицына. Нет необходимости их опровергать или разбирать: они сами говорят за себя: безграничная развязность безграничного невежества их первооснова. Естествоиспытатели могут читать книгу В. Рожицына вместо рассказов какого-либо юмориста, типа Лейкина. Но совсем не смешно, когда подумаешь о сотнях слушателей проф. В. Рожицына и тысячах его читателей, из которых многие, вероятно, принимают эту сплошную галиматью за новейшее слово науки. Нет более верного способа дискредитировать новую, марксистскую профессуру, пришедшую в высшую школу после октября, путем подобных выступлений.

Я ограничил свою заметку исключительно вопросами естествознания,—однако,—не входя в подробное рассмотрение взглядов В. Рожицына,—я хотел бы все же дать читателю некоторое представление о его марксизме. Он всюду старательно стремится доказать ничтожность значения разума и разумной воли человека. По его мнению, например, культура это—«промежуточная среда между людьми и природой, созданная человеческим трудом, но не зависящая от сознательной воли и разума человека» (стр. 3).

Эту точку зрения он стремится последовательно провести в своем изложении. Так, желая доказать случайность открытия способов пользования огнем, он указывает, что и животные пользуются теплом огня. Например, «обезьяна или мамонт могли греться около случайного огня и даже поддерживать горение, бросая в костер ветви» (! стр. 45).

Говоря о развитии инструмента, В. Рожицын доходит до абсолютнейшей метафизики: инструменты «сами» диалектически развиваются. Так «употребляемая (австралийским дикарем) в течение многих сотен лет палка сама изменилась и превратилась в бумеранг...» (стр. 69). Костер «диалектический» развивается в очаг, очаг—в камин, камин—в печь. Открытие и разум человека тут роли не играют. «Костер переходит в очаг в силу качественного нарастания количественных момен-

тов развития. Диалектическая последовательность технического развития строго определена силами, не зависящими от ума человека, но определяющими собой его развитие. Человек, пользующийся костром, мог бы непосредственно перейти к паровой машине только в том случае, если бы его культурный уровень соответствовал эпохе, когда имеется паровая машина, а в таком случае изобретение становится невозможным, потому что машина уже (!) имеется» (стр. 64). Таково безвыходное положение человека! Благодаря магическому действию «диалектики» все «само» развивается, а человек является элементом пассивным и чуть ли не страдающим. Чем лучше эта «диалектика»—диалектики святых отцов православной церкви? Никогда у Маркса и вообще у основоположников марксизма не было ничего похожего на такую интерпретацию. «В общественном отправлении своей жизни люди вступают в определенные, от их воли не зависящие отношения — производственные отношения...»—вот повидимому то место из Маркса, которое смутило В. Рожицына, но отсюда до «самопроизвольного» развития палки в бумеранг—дистанция огромного размера!

В том же духе толкует Рожицын о первобытной экономике, развитии земледелия, первобытной семье, первобытном материализме, происхождении религии, искусстве и т. д.

Нет, нехорошо сделал проф. В. Рожицын, что прочел такой «курс» студентам коммунистического университета, и еще хуже,—что напечатал свои лекции, введя в невыгодную сделку Украинский Госиздат и соблазнив многих, ищущих ответа на «проклятые вопросы» своей развязной и невежественной болтовней.

А. П. Пинкевич.

Проф. К. А. Тимирязев. Исторический метод в биологии. Десять общедоступных чтений. Русский библиографический институт бр. А. и И. Гранат и К°. Москва 1922 г.; стр. 163.

Появление каждой книги К. Тимирязева на книжном рынке означает закрепление позиций воинствующего материализма и разоблачение в глазах широкого круга читателей вздорности и никчемности витализма, неовитализма и им подобных попыток идеализма обосноваться в области естествознания. С редким мастерством умеет К. Тимирязев не только вскрыть всю беспочвенность подобных попыток, но и всегда показать—на чью мельницу такие попытки льют воду. «В последнее время там и сям начинают раздаваться голоса, утверждающие, что этот путь (экспериментальный метод в физиологии. Б. А.) неверен, что физика и химия бессильны разрешить задачи физиологии, что и в об'ективных жизненных явлениях есть нечто, неподдающееся об'яснению на основании законов, общих для мира живых и неживых существ. Витализм, который, казалось, уже был сдан в архив, начинает кое-где приподнимать голову и затягивать свою старую песнь, встречая сочувствие со стороны всех, кто только нехотя мирились с широким разливом точного знания и, конечно, с нескрываемой радостью приветствуют все его воображаемые недочеты (курсив наш. Б. А.).. Пора понять, что витализм никогда не был и не может быть положительной доктриной. Это—только отрицание права науки на завтрашний день, самоуверенное прорицание, что она никогда не об'яснит того-то и того-то, высказываемое, конечно, в спокойной уверенности, что если она сделает этот запретный шаг, то загородку можно будет отнести на шаг вперед». При чтении этих строк может показаться, что они вызваны последними писаниями иных наших академиков и профессоров, с высоты своей мнимой учености ставящих пределы человеческому познанию вообще, исходя из факта его ограниченности относительности в настоящее время. Строки эти написаны, однако, еще в девяностых годах прошлого столетия и остаются злободневными теперь потому, что в них правильно подмечена (хотя по понятным причинам и несколько туманно выражена) социальная подоплека всяких ликующих приветствий по поводу воображаемых недочетов точного знания.

Книга Тимирязева посвящена выявлению значения исторического метода в биологии и описанию успехов его применения. Основной ее мыслью является положение, что «всякое возможно полное изучение конкретного явления неизменно приводит к изучению его истории», а, следовательно, добавим мы, к диалектическому, а не к метафизическому его пониманию. Вместе с этим книга является блестящим изложением основ дарвинизма и образцом осторожного, критического отношения к неоламаркизму, менделизму и некоторым другим направлениям в современной биологии, неумеренное увлечение которыми приводит часто к недооценке и затушевыванию важных заслуг великого творца эволюционного учения.

Основная часть книги—шесть первых глав печатались в 90-х годах в журнале «Русская Мысль», три последующие были написаны для энциклопедического словаря Гранат и последняя глава—«Историческая биология и экономический материализм в истории» написана вновь. В виду этого отдельные главы несколько разнятся между собой по характеру изложения и являются неодинаково доступными для читателя со средней подготовкой. Трудноваты будут для него главы, написанные для словаря: «Изменчивость», «Наследственность», «Естественный отбор». Тем не менее каждому марксисту, лектору, естественнику, желающему вооружиться против всяких откровенных или прикрытых попыток идеализма проникнуть в область точного знания, следует горячо рекомендовать непременно проштудировать эту книгу.

Б. Андреев.

«Искра». Общедоступный научный журнал № 1. Апрель 1923. Издательство «Красная Новь» Г. П. П., in 4°, 52 стр.

«Журнал ставит себе целью помочь широким народным массам в приобретении знания». «Он будет знакомить читателей с успехами техники и очередными техническими задачами. Но и «успехи и завоевания чистой науки найдут (в нем. Г. Б.) значительное место». «Читатель, ищущий осмыслить свой труд и свою жизнь на основе ясного и точного знания законов природы, найдет у нас (в журнале «Искра». Г. Б.) материал для построения научно-материалистического миросозерцания».

Эти выдержки из «От редакции» «Искры» показывают, какие задачи ставит себе журнал.

Появление периодического издания подобного типа—очень своевременно. Тем более, что у нас нет вообще научно-популярных журналов, доступных широким массам.

Недавно возродившийся журнал «Природа» — единственный серьезно-поставленный научно-популярный журнал, по своему характеру отнюдь не может считаться действительно популярным журналом. «Природа» и по содержанию и по языку своих статей предназначена для работников умственного труда, стремящихся не отставать от успехов естествознания в тех областях, в которых они не специалисты: для нашей ра[illegible]ей учащейся молодежи и тем более для рабочего и среднего советского служащег[illegible]он слишком труден. Кроме того, «Природа» не имеет определенного идейного облика. Это отнюдь не журнал определенного мировоззрения, если, конечно, не считать мировоззрением ту эклектическую смесь взглядов и мнений, которая естественно получается во всяком собрании статей различных авторов, большинство из которых стоят в настоящее время не в лагере материализма.

Другой, выходящий научно-популярный журнал «В мастерской природы» (общества «Мироведение») вполне общедоступен по форме и содержанию статей, но не может стать в один ряд с «Искрой», так как подбор статей в нем случаен, распространение очень ограничено. Таким образом «Искра» должна встретить самый радушный прием у читателей, если она выполнит свои обещания.

Выполняет ли их № 1? По-моему именно: да!

Правда, есть в этом номере и недостатки, но все они легко устранимого типа и не столь существенны.

Главным недостатком журнала, по моему мнению, надо признать слишком хо-

рощую его внешность. Большое число рисунков, две таблицы на вкладных листах, глянцовитая плотная бумага, редкий шрифт, виньетки в начале и конце статей, обложка с портретом Лавуазье на особом листке и пр.,—все это, конечно, достоинства. Но если мы примем во внимание, что главная задача журнала—популяризация знания среди рабочей молодежи—то станет ясным, что эти достоинства могут оказаться недостатками. Чем роскошнее издание, тем больше его себестоимость для издательства, тем дороже цена, тем ограниченнее распространение.

Цена номера—40 копеек золотом, т.-е. по курсу этих дней (конец апреля) около 14 рублей. Конечно, это не дорого для такого хорошего издания, но нашей учащейся молодежи, сельскому учителю и средняку рабочему и эта сумма не легко дается. Поэтому в интересах большей общедоступности следовало бы дать более скромное по внешности издание.

Другим недостатком—надо считать некоторую невыдержанность стиля статей. На-ряду с вполне популярными (Зимин «О пересадке голов насекомых и перемене инстиктов» или Завадовский «О жизни изолированных органов»)—есть трудно-читаемая статья Конобеевского «Самая маленькая частица вещества», и, наконец, такие статьи, в которых авторы местами забывают, с каким читателем они должны иметь дело, и среди вполне популярного изложения вдруг вставляют без пояснения научный термин или иностранные слова, взятые из нашего испорченного иностранщиной интеллигентского языка (напр.: фактор или ангар и пр.). Было бы желательно, чтобы «Искра» взяла пример с наших мастеров-популяризаторов: Бородина, Тимирязева и др., которые никогда не пользуются иностранными словами там, где имеется всем понятное, наукой допускаемое для обозначения данного понятия русское слово. Иностранщина в наших газетах и политических речах и брошюрах, к сожалению, уже принесла свои плоды: непонятные слова постоянно пускаются в обиход совсем не там, где им надлежит быть по смыслу.

Неприятным исключением среди хорошо подобранных и значительных по своему содержанию статей является в отделе «Мелочи и заметки» заметка: «Судьба целлеллитов»: она совершенно бессодержательна, и кажется, точно ее поместили так себе, только чтобы заполнить место. Не удачна и другая заметка «Человек и машина»: у мало-мальски сознательного читателя возникнет тотчас по прочтении ее вопрос: как это подсчитали, сколько всего машин на земле и какова их общая мощность? Ответа же он не найдет.

Ахиллесовой пятой всякой популяризации всегда была та ненаучность, в которую легко, очень легко соскользнуть, при попытке дать возможно простое изложение научной мысли. «Искра» с честью избежала почти во всех статьях этой опасности. Только в двух местах авторы статей допустили научные вольности:

Назарову в статье «Крахмал из воздуха и воды» не следовало впадать в старую ошибку и писать: «свет невидимый нами». Об ультрафиолетовых лучах лучше писать, не укрепляя в читателе представления, что свет существует вне связи с органами зрения: это вода на мельницу наших идейных противников. Затем, у Вознесенского («Вечность материи») говорится о «крупинках и палочках хлорофилла». Надо сказать: зернышки, содержащие хлорофилл, так как хлорофилл ведь только пропитывает белковую основу хлоропласта.

В той же статье неудачно причисление стигмарий, сигиллярий и лепедодендронов (ископаемых растений каменноугольного периода) к корневищам. Несмотря на некоторые их особенности, их скорее можно считать корнями этих древних деревьев и отнюдь не подземными стеблями. Все эти промахи не затеняют, однако, очень приятного впечатления, производимого рассматриваемым журналом.

Что особенно ценно, так это свежесть тем, при чем ни в одной статье, даже излагающей самые сенсационные новости науки, нет ни малейшего признака игры на сенсацию. Все строго научно и в то же время живо и интересно. Статья

Вознесенского, упомянутая выше, несмотря на избитость темы, написана также свежо и вполне уместно, так как без освещения этого «вечного» вопроса не может обойтись ни одна систематическая популяризация естествознания.

Хорошо спаяна «чистая» наука с техникой (см., напр., статью Назарова, упомянутую выше).

Имеется библиографический отдел, относительно которого (по поводу рецензии Кожобоевского) надо, однако, высказать пожелание, чтобы более определенно отмечалась степень доступности того или другого издания; о Эйнштейне «О специальной и общей теории относительности» надо было бы сказать, что общедоступностью в ней не пахнет, хотя в подзаголовке и сказано «общедоступное изложение». А то, ведь, читатель вводится в заблуждение.

Очень остроумно со стороны редакции помещение на последней странице «Метрической системы мер». Читатель сможет, читая журнал, тут же перевести недостаточно еще нам привычные километры на версты, также наглядно представить себе столько-то миллиметров.

Боссэ.

«Естествознание в школе». Журнал по вопросам естественно-исторического образования. Под общей редакцией проф. Б. Е. Райкова. №№ 1—2, 3—5 и 6—8 за 1922 г. №№ 1—2 за 1923 г.

Перед нами четыре книжки этого журнала, заслуживающего серьезного внимания. Полный комплект его за 1922 г. и первая книга 1923 года позволяют определить более или менее полно его содержание и общую физиономию. Как я еще отмечу дальше, не во всем этот журнал кажется мне вполне удовлетворяющим современной вопиющей нужде в таком периодическом органе, будящем естественно-научные интересы и проводящем идеи усиления и оздоровления преподавания естественных наук. Но все же нельзя не признать журнал начинанием нужным, полезным и заслуживающим всяческой поддержки.

В каждом номере журнала педагог-естественник найдет для себя кое-что новое, пробуждающее в нем критическое отношение к старым устоявшимся формам преподавания и составляющее достойный предмет для дискуссии и реальных мероприятий.

Такое именно будирующее мысль значение имеет статья С. А. Павловича в № 1—2 журнала за 1922 г., посвященная «старому и новому в оборудовании школы».

Статья ставит большой и важный вопрос о вредных сторонах чрезмерного применения так называемых «наглядных пособий» и намечает ряд ценных положений, с которыми небесполезно познакомиться как Госманапу, так и другим учреждениям, обслуживающим и руководящим нашей школой, не говоря уже о рядовых педагогах, для которых многие мысли Павловича покажутся целым откровением.

В том же номере любопытна и оригинальна статейка А. М. Смирнова: «О физических экскурсиях в природу». Эта статейка представляет собой, собственн[о] эскиз, набросок, но бросает ряд интере[с]ных мыслей и дает методические прием[ы], которые не банальны вообще и сове[р]шенно новы в применении к преподава[]нию физики.

Следующий выпуск журнала (№ 3—[5] за 1922 г.) составлен почти исключительн[о] из статей московских авторов и знакоми[т] педагога с тремя интересными подходам[и] к преподаванию естествознания в школ[е].

Живо и интересно написана стат[ья] Н. П. Поповой: «О роли естествознани[я] в школе первой ступени», где автор, осн[о]вываясь на своем многолетнем опыте не будучи сама естественницей по обр[а]зованию, проводит идею так называемо[го] комплексного преподавания, построе[н]ного на основе изучения окружающ[их] явлений природы. Интересна стат[ья] В. Ф. Натали, знакомящая с работо[й] московского биологического сада, з[а]служенно завоевавшего внимание к с[е]бе не только московских педагого[в]. Прекрасно и сочно написана, жизнен[но] взята статья Б. В. Всесвятского: «Знач[...]

ние и методы кружковой работы по ознакомлению детей с природой», составленная на основании опыта «Биостанции юных натуралистов им. К. А. Тимирязева», что в Сокольниках.

Наконец, особняком стоит интересная статья К. Ягодовского о «Курсе пропедевтической геометрии в общей системе школьного преподавания».

В этой статье К. Ягодовский—бесспорно один из лучших и наиболее оригинальных наших методистов—дает опять-таки ряд ценных соображений, над которыми небесполезно задуматься каждому педагогу.

№№ 6—8 журнала содержат хорошую статью проф. М. Н. Римского-Корсакова на крайне нужную тему: «Зимние зоологические экскурсии» и очень ценную в методическом отношении статью Б. Райкова: «К методике геологических экскурсий».

Большой и актуальный интерес представляет напечатанная петитом статья Н. Владимирского: «К «биологии» провинциальной краеведческой работы», в которой автор дает живую картинку условий, характера и результатов работы одного из таких краеведческих начинаний в Ярославской губернии. Много интересного материала дает помещенная здесь же статья академика В. М. Шимкевича, посвященная «Жоржу Кювье, его жизни и трудам», но, признаться, она, по существу, имеет лишь косвенное отношение к задачам и остальному содержанию журнала.

Центральное место в выпуске этого года занимает большая и обстоятельная статья Б. Е. Райкова, посвященная методу Любена и его судьбе в русской школе. Статья является самостоятельным историческим исследованием и в этом отношении представляет заметное явление в нашей, в общем весьма бедной литературе по истории педагогики.

Помимо этих основных статей, в разных номерах журнала читатель найдет ряд некрологов или воспоминаний, посвященных крупным деятелям по естественно-научному образованию в России (П. Р. Фрейбергу, проф. Г. Ф. Морозову, Н. Ф. Золотницкому, Л. С. Севруку, Э. Ф. Лесгафту). Мы считаем их очень нужными и полезными, поскольку они позволяют педагогу-читателю в законом заключительном абрисе и исторической перспективе оценить историческое значение и роль этих деятелей, оставивших тот или иной крупный след в русской педагогической мысли.

Наконец, большой интерес представляют подробные протоколы заседаний «Русского общества распространения естественно-научного образования», помещаемые систематически в каждом номере журнала. Это общество, об'единяющее большой круг научных деятелей и педагогов Петрограда, живет, судя по протоколам, живой и интенсивной жизнью и нередко доклады, ставящиеся в нем, и последующая дискуссия представляют весьма большой общий интерес.

Большой благодарности заслуживает секретарь этого общества Л. И. Крамп, которая составила очень обстоятельный «Список книг по естествознанию, вышедших за время с 1917 по 1922 год», помещенный по частям в №№ 6—8 за 1922 г. и № 1—2 за 1923 г.

При полном отсутствии планомерной библиографии, этот список окажет огромное пособие педагогу в деле ориентирования на нашем книжном рынке последних лет, лишь начинающем выходить из хаотического состояния.

Таким образом, как видно из нашего краткого перечня, рецензируемый журнал содержит достаточно много ценного и полезного материала, для того, чтобы его стоило рекомендовать всякому, кто интересуется проблемами распространения естественно-научного образования в России.

Вместе с тем нельзя, конечно, не отметить некоторых черт и особенностей журнала, которые оставляют известное чувство неудовлетворенности и требуют критических замечаний.

Это, прежде всего, некоторая сухость и академизм, которые ставят журнал несколько в стороне от тех порывистых, порою односторонних и наивных, но в основе своей здоровых и исторически необходимых исканий современной революционной педагогической мысли. Трудно освободиться от мысли при чтении журнала, что он несколько «чурается» таких еще недавно злободневных вопросов, как

проблемы «трудового принципа» в школе и места естествознания при правильном понимании и проведении этого принципа. Можно было бы высказать пожелание, чтобы журнал дал место статьям, освещающим общее место естествознания в школе, его взаимоотношения с другими предметами, ввел письма с мест, переписку с читателями и вообще ряд тех мероприятий, которые приблизили бы его к педагогической и школьной повседневности и вывели бы на дорогу общественной жизни и массовой работы. Нам кажется, что состав сотрудников вполне обеспечивает право журнала на такую ответственную работу инструктирования рядового народного учительства на этом трудном пути переорганизации всей школьной работы на основе естественно-научных методов и материала. С другой стороны, огромный педагогический и редакторский опыт и гибкость редактора вполне подскажут ему тот верный путь широкой массовой работы, который так необходим в наши дни.

Другое наше замечание касается некоторого излишнего пиетета, который иногда проскальзывает по отношению того или иного заслуженного профессора. Такое именно впечатление производит крайне почтительная статья проф. Боча о бесталанной и крайне неудачной книжке проф. Кузнецова: «Ботанические экскурсии». Эта крайне претенциозная книжка (см. мою подробную рецензию о ней в № 4 «Печати и Революции» за 1922 г.) представляет на самом деле пример той методической мешанины, которую нередко проявляют часто и большие специалисты ученые, забывающие, что педагогическая и в особенности экскурсионная работа имеет свою «методику», с которой нужно считаться. Читая рецензию Боча, о книжке Кузнецова, не можешь освободиться от мысли, что расточаемые в ней похвалы основаны больше на доверии и пиетете по отношению к личности автора, чем на основе свободной и независимой оценки содержания книжки. Редакции журнала следует обратить особое серьезное внимание на эту сторону дела, ибо такие рецензии неприятно режут и являются диссонансом на общем фоне выдержанных и полезных советов и статей журнала.

Высказанные критические замечания отнюдь не умаляют общей большой ценности журнала. И при настоящих условиях журнал заключает в себе много ценного и полезного для всякого педагога материала, и нельзя не удивляться энергии его редактора, который при самых трудных внешних условиях все же ни на минуту не давал ему замереть.

Журнал заслуживает внимания и поддержки и пока является единственным органом, об'единяющим лучших педагогов естественников и дающим тот научно педагогический материал, без которого не может быть построена возрождающаяся школа.

Б. Завадовский.

СОДЕРЖАНИЕ.

«КРАСНАЯ НОВЬ»

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ и НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ.

Выходит один раз в $1^1/_2$—2 месяца книжками в 17—19 л.л.

ВЫШЛО 11 НОМЕРОВ.

Состав сотрудников:

Художественное слово.

В. Александровский, А. Аросев, Мих. Артамонов, Н. Асеев, Анна Баркова, Демьян Бедный, С. Бобров, Валерий Брюсов, Артем Веселый, Анна Веснина, В. В. Вересаев, Максимилиан Волошин, В. Волчанецкая, Иван Вольнов, Д. Выгодский, М. Герасимов, Ф. Гладков, Андрей Глоба, С. Городецкий, Максим Горький, А. Дроздов, И. Ерошин, С. Есенин, Мих. Зощенко, Ал. Зуев, Всев. Иванов, Вера Ильина, Вас. Казин, Ив. Касаткин, В. Кириллов, С. Клычков, Кл. Лаврова, Е. Лунц, Н. Ляшко, О. Мандельштам, А. Мариенгоф, В. Маяковский, В. Муйжель, Петр Мытарь, В. Нарбут, А. Неверов, П. Низовой, Н. Никитин, С. Обрадович, П. Орешин, Н. Павлович, Б. Пастернак, А. Перегудов, Б. Пильняк, В. Плетнев, С. Подьячев, Ел. Полонская, Н. Полетаев, А. Пришелец, П. Радимов, Лариса Рейснер, Ив. Рукавишников, С. Семенов, Д. Семеновский, Сергеев-Ценский, П. Сухотин, Н. Тихонов, А. Н. Толстой, К. Тренев, К. Федин, Е. Федоров, Ольга Форш, В. Ходасевич, А. Чапыгин, М. Шагинян, Г. Шенгели, М. Шимкевич, Вяч. Шишков, Эйдеман, Ил. Эренбург, А. Яковлев и др.

Политика, экономика, наука, критика, библиография.

Вл. Архангельский, Антропов, Б. Арватов, Н. Асеев, Л. Аксельрод (Ортодокс), В. Баженов, В. Базаров, С. Бобров, О. Бик, И. Бороздин, проф. Блажко, Н. Бухарин, Илья Вардин, А. Воронский, Евг. Варга, В. Ваганян, Б. Горев (Гольдман), С. Гусев, С. Городецкий, Карл Грасис, Ш. Двolайцкий, А. Деборин, Б. Завадовский, М. Завадовский, С. Ингулов, Н. Крупская, М. Кантор, Г. Кржижановский, П. С. Коган, В. Кураев, А. Канторович, Н. Ленин, А. Луначарский, Ю. Ларин, А. Лозовский, И. Майский, Н. Мещеряков, А. Меньшой, П. Месяцев, Милютин, З. Маркович, Нурмин, В. Невский, А. Неверов, М. Ольминский, Е. Преображенский, М. Павлович, Вяч. Полонский, Г. Пятаков, проф. Прянишников, М. Н. Покровский, Пржеборовский, Е. Пашуканис, Карл Радек, А. Реформатский, М. Рейснер, И. Рейснер, Д. Рязанов, М. Смит, Вл. Сарабьянов, В. Смушков, Н. Степанов, В. Смирнов, Н. Суханов, П. Садыкер, Т. Сапожников, А. Тимирязев, Л. Троцкий, В. Фриче, Мих. Фрунзе, Фридеман, А. Хрящева, Клара Цеткин, С. Членов, Я. Шафир, А. Юрлов, Я. Яковлев и др.

Книга первая.

Всеволод Иванов. Партизаны. Рассказ.— ***М. Пожарова.*** Стихи.— ***С. Подьячев.*** „Голодающие". (С натуры). — ***Д. Семеновский.*** Современные частушки. — ***Николай Колоколов.*** Стихи. **Политико-экономический отдел.** ***Н. Ленин.*** О продовольственном налоге.— ***Ш. Двolайцкий.*** Накопление капитала и проблема империализма.— ***К. Радек.*** Третий год борьбы советской республики против мирового капитала.— ***А. Хрящева.*** К характеристике крестьянских хозяйств периода войны и революции.— ***Н. Крупская.*** Система Тэйлора и организация работы советских учреждений. **Искусство и жизнь.** ***А. Луначарский.*** Наши задачи в области художественной жизни.— ***В. Фриче.*** Ромэн Роллан. **Отдел научно-популярный.** ***А. Тимирязев.*** Периодическая система элементов Менделеева и современная физика. **Научная хроника.** ***Вл. Архангельский.*** Наши достижения в аэрогидродинамике.— ***В. Баженов.*** Успехи применения радио за границей. **Внутри советской России.** ***Е. Преображенский.*** Новая полоса.— ***И. Вардин.*** „После Кронштадта". **Иностранное обозрение.** ***М. Смит.*** Производственные и социально-политические предпосылки забастовки английских углекопов.— ***М. Павлович.*** Кемалистское движение в Турции.— ***М. Павлович.*** С. Штаты и советская Россия. **Из прошлого.** ***Вяч. Полонский.*** Вейтлинг и Бакунин. **В порядке дискуссии.** ***М. Ольминский.*** О книге т. Бухарина.— ***Не-ревизионист.*** О книге т. Бухарина.— ***Н. Бухарин и Г. Пятаков.*** Кавалерийский рейд и тяжелая артиллерия. **Из зарубежной прессы.** ***Н. Мещеряков.*** „Наши за границей".— ***А. Воронский.*** Уэльс о советской России. **Критика и библиография.** 1. ***А. Воронский.*** Об отшельниках, безумцах и бунтарях.— 2. ***Нурмин.*** Леонид Андреев. „Дневник сатаны".— 3. ***А. Меньшой.*** „Парализованные".— 4. ***Нурмин.*** Феликс Гра. „Террор".— 5. ***А. В.*** Распад идеологии.—6. ***М. Кантор.*** „Народное хозяйство", ежемес. экон. журнал.— 7. ***Проф. Реформатский.*** Наука и ее работники.—8. ***Мих. Павлович.*** Мих. Лемке „250 дней в царской ставке".— 9. ***Я. Шафир.*** Н. Ашешов. Софья Перовская.— 10. ***Я. Ш.***

Л. Г. Дейч. „Русская революц. эмиграция 70-х годов".— 11. *А. Аросев.* Ген. Слащев-Крымский. Требую суда общества и гласности.— 12. *А. Аросев.* Мих. Павлович. Экономическое развитие и аграрная программа в Персии XX века.—13. *Подземский.* „Красный журналист".

Книга вторая.

Вячеслав Иванов. Алтайские сказки.— *Дмитрий Семеновский.* Песнь песней. Стихи.— *Ольга Форш* (А. Терек). Чемодан. Рассказ.— *Мих. Артамонов.* Из полевых песен. Стихи.— *А. Аросев.* Страда. Записки.— *В. Александровский.* Из поэмы „Деревня". Стихи.— *Павел Низовой.* Крыло птицы. Рассказ.— *Борис Пастернак.* Уральские стихи. **Политико-экономический отдел.** *Евгений Варга.* Как строилась промышленность и разрешался земельный вопрос в советской Венгрии.—*Мих. Фрунзе.* Единая военная доктрина и Кр. армия.—*Я. Шафир.* „Экономическая политика белых". **Научно-популярный отдел.** *Г. Кржижановский.* Заметки об электрификации.— *Д. Прянишников.* От азота воздуха к азоту нервной и мышечной ткани.— *А. Тимирязев.* Принцип относительности (о теории Эйнштейна).— *А. Тимирязев.* Успехи физики в сов. России. **Из прошлого.** *Вяч. Полонский.* Крепостные и сибирские годы М. Бакунина. **Искусство и жизнь.** *Роза Люксембург.* В. Короленко.— *В. Фриче.* От войны к революции.— *А. Воронский.* Литературные заметки. **Внутри советской России.** *С. Клепиков.* Неурожай 1921 г.— *П. Месяцев.* Голодное переселение.— *Я. Яковлев.* Махновщина и анархизм.— *Ил. Вардин.* Реакционная демократия. **Вопросы международного рабочего движения.** *К. Радек.* Комментарии к третьему конгрессу Комм. Интернац.— *Мих. Павлович.* Восточный вопрос на III конгрессе. **Отклики на зарубежную печать.** *М. Покровский.* Противоречия г. Милюкова.— *Н. Мещеряков.* Легкомысленный путешественник. **В порядке дискуссии.** *Сарабьянов.* От примитивов к крайностям.— *Н. Бухарин.* Настоящая потеха и настоящее мучение. **Критика и библиография.** *Анчар.* „150.000.000".— *Нурмин.* О новой книге В. Короленко.— *П. Яровой.* Быт в произведениях А. Неверова.— *Н. Захаров-Меньский.* Поэзия никитинцев.— *В. Невский.* Взаимодействие или монизм.— *Вад. Смушков.* Из эпохи „Звезды" и „Правды" (1911—1914 г.г.).—*В. Смушков.* На службе германской революции.— *А. Воронский.* От народнического утопизма к контр-революционной кулацкой идеологии.— *Нурмин.* К эволюции русского либерализма.— *Мещеряков.* Мечты, мечты.— *Дон-Аминадо.* „Зеленая палочка".— *П. С. Коган.* Александр Блок (некролог).

Книга третья.

С. Подьячев. „Болящий". Рассказ.— *Н. Никитин.* Мокей. Сказ.—*М. Шимкевич.* Волк. Рассказ.— *Артем Веселый.* Мы. Драматические картины.— *В. Плетнев.* Золото Рассказ.— *Е. Федоров.* Байтас. Из киргизских восстаний.—*В. Тамарин.* Пустыня (из истории одного похода).— *Е. Волчанецкая.* „За други своя". Стихи.— *Эйдеман.* Старец (с латышского). Стихи.— *К. Лаврова.* Сухмень. Стихи.— *А. Пришелец.* В засуху. Стихи.— *Анна Баркова.* Женщина. Стихи.— *Демьян Бедный.* Печаль. Стихи.— *Б. И. Горев (Гольдман).* Марксизм и рабочее движение в Петербурге четверть века назад. (Воспоминания).— *Вяч. Полонский.* Крепостные и сибирские годы Мих. Бакунина (окончание).— *Б. Завадовский.* Проблема старости и омоложения в свете новейших работ Штейнаха, Воронова и других.— *И. Степанов.* Мимо и дальше от Маркса.— *Е. Преображенский.* Перспективы новой экономической политики.—*А. Смит.* К вопросу об издержках революции.— *Е. Пашуканис.* Буржуазный юрист о природе государства.— *П. Коган.* Русская литература в годы октябрьской революции.— *А. Воронский.* Из современных настроений.— *Н. Мещеряков.* „Новые вехи".— *Ил. Вардин.* Раскол партии кадетов. **За рубежом.** *Антропов.* Англия. Экономические последствия мировой войны. **Внутри советской России.** *В. Кураев.* От войны к миру. **В порядке дискуссии.** *С. Гусев.* Еще о новой экономической политике.— *Вл. Сарабьянов.* Письмо в редакцию.—*Демьян Бедный.* Когда ж он проснется? **Критика и библиография.** *Анчар.* О романе Бибика.— *П. Яровой.* Варвара Бутягина. „Лютики". Стихи.— *Вл. Сарабьянов.* Л. Троцкий. Новый этап.—*Вл. Сарабьянов.* Гортер. Империализм, мировая война и соц.-демократия. — *Б. Э.* Восстановление хозяйства и развитие произв. сил юго-востока.— *Гр. С-ор.* Л. Крицман. Единый хоз. план.— *В. Ваганян.* Г. В. Плеханов. I. Год на родине. II. Речь на моск. гос. совещании.— *А. Воронский.* Похмелье. Г. Кирдецов. У врат Петрограда.— *Ил. Вардин.* Эс-эры и колчаковщина.— *Б. Завадовский.* „Природа".—*А. В.* Печать и Революция.

Книга четвертая.

Александр Яковлев. Порыв. Рассказ.—*Борис Пильняк.* Простые рассказы.— *Лариса Рейснер.* С пути. Дневник.—*Семен Подьячев.* „Православные" (рассказ). — *Семен Подьячев.* „Из недавнего прошлого".—*Н. Ляшко.* Ворова мать (рассказ). — *Артем Веселый.* В деревне на масленице (рассказ).— *Петр Мытарь.* Сорок три (очерк).—*А. Аросев.* Октябрьский рассвет (из записной книжки).—*Арнольд Колбановский.* Муки слова.—*Павел Низовой.* Смена (рассказ).— *А. Перегудов.* Казенник.— *В. Федоров.* Четыре пуговицы.—*Стихи:* Бориса Пастернака, Анатолия К., С. Обрадовича, Анны Барковой, Д. Выгодского.—*Б. М. Завадовский.* Наука в советской России.—*Ю. Ларин.* О пределах приспособляемости нашей новой экономической поли-

тики.—*К. Радек*. Пути русской революции (по поводу новой экономической политики). — *Милютин*. На экономические темы.—*А. Луначарский*. Достоевский как художник и мыслитель.—*В. Вересаев*. Художник жизни (о Л. Н. Толстом).—*В. Плетнев*. Некрасов и современность.—*С. Бобров*. Кони о Некрасове и Достоевском. **Внутри советской России**. *Сарабьянов*. Кое-какие итоги нового курса.—*Демьян Бедный*. Курология. **Критика и библиография**. *П. Коган*. Литературные заметки (об Андрее Белом.)—*Сергей Городецкий*. Обзор областной поэзии.—*Цег*. „Самое главное".—*А. Тимирязев*. Обзор литературы о принципе относительности.—*Б. Арватов*. Общая эстетика.—*Ил. Вардин*. „Пролетарская Революция" № 1.—*Ил. Вардин*. Я. Яковлев „Русский анархизм". **Белая печать**. *С. Гусев*. О гражданской войне.—*И. Вардин*. Мелкое земледелие (о книге Чупрова).— *Орфик*. Мережковский. Царство антихриста.

Книга пятая.

Вячеслав Шишков. Вихрь (драма в 4-х действиях).—*Михаил Зощенко*. Лялька Пятьдесят (рассказ).—*Сергей Семенов*. Тиф (рассказ).—*Борис Пильняк*. Отрывки из романа „Голый Год".—*Всеволод Иванов*. Бронепоезд № 14.69 (повесть).—*В. Вересаев*. К Афродите (из гомеровых гимнов).—*Стихи*: Ольги Криницкой, М. Герасимова, П. Радимова.—*Бернард Шоу*. Диктатура пролетариата (с английского).—*М. Покровский*. Наши спецы в их собственном изображении.—*Ш. Дволайцкий*. Мировое хозяйство и кризис 1920—1921 г.г.—*В. Смирнов*. Наша экономическая политика.—*Н. Мещеряков*. Задачи современной кооперации.—*А. Воронский*. Советская Россия в освещении белого обозревателя.— *Н. Мещеряков*. Распад.—*П. С. Коган*. Памяти В. Г. Короленко.—*С. Бобров*. Символист Блок. **За рубежом**. *М. Павлович*. Вашингтонская конференция. **Внутри советской России**. *П. Месяцев*. Сельско-хозяйств. кризис.—*К*. В журнальном мире (хроника).—Проф. *Блажко*. Успехи астрономии.—Проф. *Пржеборовский*. Успехи химии в России.—*Демьян Бедный*. Басни.—*Сергей Городецкий*. Красномосковье (стихи). **Критика и библиография**. *Статьи и рецензии*: Нурмина, Боброва, М. Рейснера, М. Ш., Б. Завадовского, З. Марковича, В. Смушкова, З. Марковича.—*А. Воронский*. Из человеческих документов.—*Объявления*.

Книга шестая.

А. Чапыгин. „На лебяжьих озерах". Повесть.—*А. Аросев*. Недавние дни. Очерки.— *Анна Веснина*. Крест. Рассказ.—Стихи: *Сергей Есенин, Борис Пастернак, В. Казин, П. Радимов, Сергей Клычков, Д. Семеновский, П. Сухотин, Н. Полетаев, Мих. Герасимов, Г. Шенгели, Петр Орешин*.—*Ник. Суханов*. В июле 1917 года.—*С. Членов*. Германская революция и социал-демократия.—*А. Лозовский*. Мировое наступление капитала и единый пролетарский фронт. **Закат Европы**—I. *Карл Грасис*. Вехисты о Шпенглере.—II. *В. Базаров*. О. Шпенглер и его критики.—III. *Сергей Бобров*. Контуженный разум.—*Е. Преображенский*. Русский рубль за время войны и революции.—*А. Воронский*. Литературные отклики.—*М. Рейснер*. Старое и новое.—*Мих. Завадовский*. Аскания-Нова.—*П. Садыкер*. Войны будущего. **За рубежом**. *Мих. Павлович*. Генуэзская конференция. — *Клара Цеткин*. Железнодорожная забастовка в Германии. **Внутри сов. России**. *С. Ингулов*. Заметки о голоде. **Литературные края**. *С. Бобров*. „Я, Николай Ставрогин..." *Н. Мещеряков*. Русские сменовеховцы.—*Нурмин*. В журнальном мире.—*О. Бик*. Литературные края.—*Объявления*.

Книга седьмая.

А. Неверов. Маленькие рассказы.—*Максимилиан Волошин*. Из поэмы „Путями Каина". Стихи.—*Всеволод Иванов*. Голубые пески. Роман.—Стихи: *Василий Казин, Мих. Герасимов, С. Обрадович*.—*Александр Зуев*. Смута. Бытовые очерки.—Стихи: *С. Есенин, И. Ерошин, С. Клычков, П. Радимов*.—*А. Аросев*. Недавние дни (окончание).— *Г. Шенгели, В. Маяковский, Н. Асеев, С. Бобров*.—*Л. Троцкий*. „Дело было в Испании" (по записной книжке).—*М. Н. Покровский*. Правда ли, что в России абсолютизм „существовал наперекор общественному развитию"?—*С. Членов*. Сумерки божков.—*Д. Рязанов*. Рикардо как человек и мыслитель.—*Г. Пятаков*. Философия современного империализма (этюд о Шпенглере).—*Фридеман*. О феномене Horell'я. С предисловием *Б. Завадовского*.—*А. К. Тимирязев*. Внутри-атомная энергия. **Внутри советской России**. *С. Ингулов*. На текущие темы.—*Н. Мещеряков*. Новое студенчество. **Литературные края**. *Ник. Асеев*. Письма о поэзии.—*П. С. Коган*. С. Есенин. **Критика и библиография**. Статьи и рецензии: *Н. Асеева, С. Боброва, А. Воронского, А. Неверова, А. Юрлова, А. Аросева, М. Н. Покровского, И. Степанова, С. Членова, К. Грасиса, Канторовича, Сапожникова и др.*—*Объявления*.

Книга восьмая.

Н. Тихонов. Сами. Стихи.—*Петр Орешин*. Квасок. Комиссарка. Стихи.—*В. Вересаев*. Из повести „В тупике".—*Ник. Асеев, Илья Эренбург, О. Мандельштам, В. Нарбут*. Стихи.—*Всеволод Иванов*. Голубые пески. Роман (продолжение).—*Елизавета Полонская, Василий Казин, Н. Полетаев*. Стихи.—*Ник. Никитин*. Из повести „Рвотный форт". *Владислав Ходасевич, Сергей Клычков*. Стихи.—*А. Зуев*. „Смута". Бытовые очерки (окон-

чание).—*С. Огурцов.* Частушки.—*С. Витте* „Покушение на мою жизнь" (из II тома „Воспоминаний").—*И. Майский.* Демократическая контр-революция (из воспоминаний).—*Джон Гобсон.* Проблемы нового мира (с английского).—*М. Рубинштейн.* Борьба за нефть.—*А. Буцевич.* Высшая школа.—*В. Мотылев.* Об основных проблемах экономической теории социализма.—*В. В. Савич.* Попытка уяснения процесса творчества с точки зрения рефлекторного акта.—*Н. Понятский.* Отповедь старого дарвиниста. **Литературные края.** *Н. Асеев.* По морю бумажному (журнальный обзор).—*А. Воронский.* Литературные силуэты. I. Б. Пильняк.—**Внутри сов. России.** *Нурмин.* Процесс правых эс-эров. **Критика и библиография.** Рецензии *Н. С., А. Н-ва, Сергея Боброва, Марковича, Горева, Милютина, Канторовича, Б. Завадовского, Д. Хлебникова* и других авторов.—*В. Маяковский.* Хлебников.—*Объявления.*

Книга девятая.

Георгий Шенгели. Поручик Мертвецов. Стихи.—*Николай Тихонов.* Песня об отпускном солдате, Колымага и др. Стихи.—*В. Вересаев.* Два отрывка из повести „В тупике". *Вера Инбер, Вера Ильина, Владимир Нарбут.* Стихи.—*Всеволод Иванов.* Голубые пески. Роман (продолжение).—*Василий Казин, Петр Орешин, Дм. Семеновский.* Стихи.—*Ганс Сакс.* Фюнзингенский конокрад и вороватые крестьяне. Перевод Бориса Пастернак.—*Ольга Форш.* Африканский брат. Рассказ.—*Сергей Бобров.* Глаза свободы. Стихи.—*Александр Дроздов.* Бес. Рассказ.—*И. Майский.* Демократическая контр-революция (продолжение).—*Карл Радек.* Что дала октябрьская революция.—*Е. Преображенский.* Крах капитализма в Европе.—*Рубинштейн.* Стиннес.—*Яковлева.* Общее положение профессионального образования в Р.С.Ф.С.Р.—*Я. Шатуновский.* Коммунизм в борьбе с голодом.—*А. Пюттер.* Голодная смерть. Пер. с немецкого Г. Азимова, с предисловием Б. Завадовского.—*К. Радек.* Генуэзская и Гаагская конференции.—**За рубежом.** *Мих. Павлович.* Японский империализм.—*П. Китайгородский.* Современная Ирландия.—**Литературные края.** *А. Воронский.* Литературные силуэты.—**Внутри советской России.** *С. Ингулов.* Без помещиков.—**Критика и библиография.** Рецензии *А. А., А. Воронского, Б. Горева, А. К., В. Кряжина* и др.—*Объявления.*

Книга десятая.

И. Эренбург. Жизнь и гибель Николая Курбова (отрывок из романа).—*Мариэтта Шагинян.* Перемена. Быль.—*А. Чапыгин.* Чемср. Рассказ.—*Всеволод Иванов.* Голубые пески. Роман (продолжение).—*Н. Асеева, С. Колбасьева, Е. Полонской, Валентина Парнаха, А. Ширяевца, Петра Орешина, П. Незнамова, Сергея Клычкова, Г. Санникова* (стихи).—*Алексей Толстой.* Аэлита. Роман.—*И. Майский.* Демократическая контрреволюция (продолжение).—*П. Н. Дурново.* Записка Дурново со вступительной статьей Мих. Павловича.—*Л. И. Аксельрод (Ортодокс).* Курс лекций по историческому материализму. I. Возможны ли исторические законы.—*Н. Сретенский.* Людвиг Фейербах.—*В. Молотов.* На шестой год (к итогам и перспективам партийной работы).—*А. Немилов.* Успехи биологии в сов. России.—**Внутри советской России.** *Вяч. Шишков.* „С котомкой" (путевые заметки).—**Литературные края.** *А. Воронский.* Литературные силуэты. III. Е. Замятин.—*Н. Смирнов.* По журнальным страницам.—**Библиография.** Рецензии *А. А., А. Воронского, С. Боброва, Э. Бика, А. Юрлова, С. Зорина, Мих. Павловича, А. Андреева, Рубинштейна* и др.—*Объявления.*

Книга одиннадцатая.

М. Горький. Автобиографические рассказы.—*Дм. Земляк, П. Незнамов, О. Мандельштам, Вера Инбер.* Стихи.—*Алексей Толстой.* „Аэлита". Роман (продолжение).—*С. Обрадович, А. Кусиков, П. Радимов, Сергей Клычков, В. Наседкин, Мих. Герасимов.* Стихи.—*Николай Огнев.* „Евразия". Повесть.—*Всев. Иванов.* „Голубые пески". Роман (продолжение).—*А. С. Мартынов.* Мои украинские впечатления и размышления.—*Л. И. Аксельрод (Ортодокс).* Курс лекций по историческому материализму. Лекция 2-ая.—*В. Смирнов.* Наше денежное обращение и пути его оздоровления.—*С. Членов.* Современный Берлин (впечатления).—*И. Майский.* Демократическая контр-революция (продолжение).—**Внутри советской России.** *Вяч. Шишков.* „С котомкой" (окончание).—**За рубежом.** *М. Павлович.* Русские события и угроза будущей войны.—*П. Китайгородский.* Власть нефти.—*Н. Бухарин.* По скучной дороге (ответ моим критикам).—**Литературные края.** *А. Воронский.* Литературные заметки.—*М. Левидов.* Организованное упрощение культуры.—*В. Кряжин.* История одного отречения.—**Библиография.** Рецензии *Юрия Соболева, А. А. Неверова, М. Щанина, Ник. Смирнова, П. Сапожникова, Мих. Завадовского, Б. Завадовского, А. К.* и др.—*Объявления.*

Книга двенадцатая.

М. Горький. Автобиографические рассказы.—*Алексей Толстой.* Аэлита. Роман (окончание).—*Мариэтта Шагинян.* Перемена (продолжение).—*А. Малышкин.* Вокзалы. Повесть.—*А. Сигорский.* Плюшевая головка. Рассказ.—*А. Аросев.* Председатель. Повесть.—*Соколов-Микитов.* В лесу.—*М. Волошин, О. Мандельштам, В. Парнах, П. Радимов, С. Клычков, В. Ильина.* Стихи.—*И. Майский.* Демократическая контр-революция (окончание).—*Н. Огинский.* Мировое хозяйство в оценке наших эконо-

мистов.—*А. Мартынов.* Великая историческая проверка (часть II).—*Ил. Вардин.* Либерализм—царизм—революция.—*Мих. Завадовский.* Этюд о К. Тимирязеве.—**Внутри советской России.** *Ив. Вольнов.* Деревенская пестрядь.—**Литературные края.** *П. С. Коган.* Современная литература за рубежем.—*Сергей Бобров.* Лоскутья победы.—*А. Воронский.* Литературные отклики.—*Ник. Иорданский.* Между историей и политикой.—**Критика и библиография.** Рецензии *Юрия Соболева, А. А., С. Вольфсон, В. Кряжина, Б. Завадовского, Б. Андреева, Н. Николаева.—Объявления.*

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Сретенский б., Милютинский пер., 5-й подъезд, 4-й этаж. Тел. 2-71-00
Прием по понедельникам, средам и пятницам от 1 до 3 ч. дня.
Рукописи менее печатного листа не возвращаются.
Ответств. редактор—А. Воронский. Издатель—Государственное Издательство.
Члены Ред. Коллегии { *А. Бубнов. В. Смирнов.*

Книгоиздательство артели писателей „КРУГ“

Москва, Мясницкая, Б. Успенский, д. 5, кв. 36, тел. 2-03-81.

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

АЛЬМАНАХ „КРУГ“ № 1.

Содержание: стихи: Б. Пастернака, В. Казина, Н. Асеева, С. Обрадовича, П. Орешина, В. Ильиной, И. Эренбурга; повести и рассказы: А. Малышкина — „Падение Даира“. Евг. Замятина — „На куличках“. М. Зощенко — „Коза“. В. Каверина — „Пятый странник“. Бор. Пильняка — „Третья столица“. Обл. худ. Ю. Анненкова.

АЛЬМАНАХ „КРУГ“ № 2.

Содержание: стихи: Б. Пастернака, П. Незнамова, В. Ильиной, И. Аксенова, В. Василенко, Е. Приходченко; повести и рассказы: Конст. Федина — „Анна Тимофеевна“. С. Буданцева — „Мятеж“. Н. Никитина — „Ночь“. Н. Огнева — „Щи республики“. Обл. худ. Ю. Анненкова.

ВЕСЕЛЫЙ АЛЬМАНАХ.

Содержание: Ник. Никитин — „Подарок Фатьмы“, рассказ. Ив. Лутьин „История одной собаки“, рассказ. М. Козырев — „Покосная тяжба“, эпопея. М. Зощенко — „Война“, рассказ. Б. Ромашев — „Попово веселье“, рассказ. Л. Лунц — „Обезьяны идут“, пьеса. А. Юрковский — „Два правых американских ботинка“, рассказ. Обл. худ. Л. Бруни.

А. Аросев — „Две повести“. **Его же** — „Белая лестница“, кн. рассказов. **Н. Асеев** — „Избрань“, кн. стихов, обл. конструктивиста Родченко. **Еф. Зозуля** — Книга рассказов, том I, обл. худ. Бор. Ефимова. **Всев. Иванов** — „Седьмой берег“, кн. рассказов, обл. худ. Ю. Анненкова (разошлось). **В. Ильина** — „Крылатый приемыш“, кн. стихов, обл. худ. Г. Ечеистова. **В. Казин** — „Рабочий май“, кн. стихов. **Н. Лесков** — „Заячий ремиз“, повесть, обл. худ. Л. Бруни. **Н. Ляшко** — „Железная тишина“, кн. рассказов. **Вл. Маяковский** — „Лирика“, кн. стихов, обл. худ. Лавинского. **Его же** — „Сатиры“ обл. конструктивиста Родченко. **Бор. Пильняк** — „Никола на Посадьях“, кн. рассказов, обл. худ Ю. Анненкова. **Его же** — „Голый год“, роман, 2-е издание. **Мих. Пришвин** — „Черный араб“, кн. рассказов. **Н. Тихонов** — „Брага“, 2-я кн. стихов, обл. худ. Ю. Анненкова. **Конст. Федин** — „Пустырь“, кн. рассказов. **О. Форш** — „Равви“, пьеса. **Ее же** — „Обыватели“, кн. рассказов. **А. Ширяевец** — „Мужикослов“, поэма. **М. Шкапская** — „Явь“, поэма, обл худ. Л. Бруни. **А. Яковлев** — „Повольники“, кн. рассказов, обл. худ. И. Рерберга (разошлось).

ПЕЧАТАЮТСЯ:

С. Бобров — „Записки стихотворца“. **Евг. Замятин** — „Уездное“, кн. рассказов, 2-е издание, обл. худ. Кустодиева. **Всев. Иванов** — „Седьмой берег“, кн. рассказов, 2-е издание. **Его же** — „Голубые пески“, повесть. **Вен. Каверин** — „Мастера и подмастерья“, кн. рассказов. **О. Мандельштам** — Книга стихов. **Вл. Маяковский** — „Солнце“, поэма, обл. и рисунки худ. Ларионова. **Вл. Нейштадт** — „Чужая Лира“, переводы из одиннадцати немецких поэтов, обл. худ. Г. Ечеистова. **П. Низовой** — „Черноземье“, роман. **Ник. Никитин** — „Бунт“, кн. рассказов. **А. Перегудов** — „Лесные рассказы“. **Мих. Пришвин** — „Охота и лов на севере“, кн. рассказов. **С. Семенов** — „Голод“, роман. **М. Слонимский** — „Шестой стрелковый“, кн. рассказов. **А. Соболь** — „Обломки“, кн. рассказов. **М. Шагинян** — „Литературный дневник“. **Вяч. Шишков** — „С котомкой“, очерки. **Его же** — „Тайга“, повесть.

СЕРИЯ ДЕШЕВОЙ БИБЛИОТЕКИ „КРУГА“:

А. Глоба — „Стенька“, сцена в стихах. **Всев. Иванов** — „Полая арапия“, рассказ. **П. Низовой** — „Смена“, рассказ. **С. Подьячев** — „Голодающие“, рассказ. **Его же** — „Болящие“, рассказ. **А. Сигорский** — „Плюшевая головка“, рассказ. **В. Тамарин** — „Пустыня“, рассказ. **К. Тренев** — „Вихри“, рассказ. **Е. Федоров** — „Байтас“, рассказ. **А. Чапыгин** — „Наследыш“, рассказ. **Его же** — „Чемер“, рассказ. **А. Яковлев** — „Порыв“, рассказ.

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ:

АЛЬМАНАХ „КРУГ“ № 3.

Предполагаемое содержание: стихи: В. Волошина, В. Ильиной, В. Каменского, В. Катаева, П. Незнамова. Повести и рассказы: С. Григорьева, Бор. Пильняка, А. Юрковского и др.; обл. худ. Ю. Анненкова.

Ник. Никитин — „Полет“, повесть. **Н. Огнев** — „Двенадцатый час“, кн. рассказов. **Панаева** (Головачева) — „Воспоминания“, предисловие и примечание К. И. Чуковского. **Б. Пастернак** — „Темы и вариации“, кн. стихов. **Вл. Собко** — „Два с половиной года по ту сторону красного рубежа“ (мемуары).